



**Дружба
народов**

5/2018



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 25.04.2018.
Подписано в печать 27.04.2018.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 8480. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

Александр
ЭБАНОИДЗЕ

ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Борис СЛУЦКИЙ. Вешкой в бескрайнем снегу. Стихи.....	3
Андрей ВАСИЛЬЕВ. Ветеран. Повесть	7
Александр ОРЛОВ. Моя Смоленщина. Стихи	69
Валерий ПИСКУНОВ. Эльбрусский эдельвейс. Повесть	72
Игорь БЯЛЬСКИЙ. Историографическое. Стихи	99
Валерий БОХОВ. Железный чукча. Рассказ	101
Александр ГУТОВ. Оловянный солдатик. Стихи	112
Елена НЕСТЕРИНА. Вайнахтсман и киндеры. Рассказ	114
Мария ИГНАТЬЕВА. Неутолённые размеры. Стихи	123
Евгений ВОЙСКУНСКИЙ. Боголюбов. Главы из романа	126
Сергей ЗАХАРОВ. Рассказы	134
По страницам молитвы. К 70-летию Израиля	
Наум КОРЖАВИН, Геннадий КАЦОВ, Феликс ЧЕЧИК, Татьяна ВОЛЬТСКАЯ,	
Семён КРАЙТМАН, Владимир ГАНДЕЛЬСМАН. Стихи	147
Игорь ТАРАСЕВИЧ. Отвод. Рассказ	152
Тимур МАКСЮТОВ. Осколок синевы. Рассказы.....	160

Проза.doc

Илья ФАЛИКОВ. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги	176
---	-----

Публицистика

Сергей ПАНАРИН. Миграции на шкале истории	202
Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О цели и направлении.	
Два письма на одну тему	211

Дружба на вырост

Борис ЛЕЙБОВ. В высокой траве. Рассказы	218
«Если смотреть ТВ, можно пропустить всё самое интересное в жизни...»	
Размышления белгородских школьников	229

Библионавтика

Ольга БАЛЛА. Европейка в «Абсурдистане» (Э.Фатланд. «Советистан»)	249
---	-----

Подробное чтение

Дмитрий ВОЛОДИХИН. Две России. Политика и вера в романе	
Алексея Иванова «Тобол: Мало избранных»	253

Книжный развал

Ольга ПОГОДИНА. Человеческий голос (П.Басинский. «Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой»)	259
Юлия ПОДЛУБНОВА. Селфи на фоне спама (И.Котюх. «Естественно особенный случай»)	261
Борис КУТЕНКОВ. С позиции освобождённого (Д.Воденников. «Воденников в прозе»)	264
Александр ЧАНЦЕВ. Тёплый холод («Невидимки»: Литературный альманах)	267

Эхо

Глаза отца. Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ	270
---	-----

Борис Слуцкий

Вешкой в бескрайнем снегу

Из неопубликованного

После первого прочтения Борисом Слуцким своих стихов на секции поэзии Союза писателей СССР ее председатель Михаил Светлов сказал присутствующим: «Мне кажется, всем ясно, что пришел поэт лучше нас».

До сих пор положение в поэзии изменилось не сильно.

Через тридцать лет с момента ухода Слуцкого Ю.Л.Болдырев стал открывать и предъявлять читателям целые пласты неизвестных стихотворений поэта. Но и сегодня их остается еще очень много. Слуцкий вновь приходит к читателю на страницах многих ведущих литературных журналов.

* * *

1

Я эту историю знаю.
Я слыхивал этот рассказ.
Цепляя, мешая, пронзая,
она повторялась не раз.

Завязка её и развязка,
за томом пролистанный том —
сначала волшебная сказка
и страшная — вскоре потом.

Её поученья итожа,
я жизнь вспомяну и свою —
я тоже, я тоже, я тоже
в ней — пусть примечаньем — стою.

Цитатою, ссылкой, сноской,
строкою, короткой и броской,
и вешкой в бескрайнем снегу
себя там представить могу.

2

Я был в этой юности — юным,
в той молодости — молодым
с тем жаром, огнём этим южным
естественно связан мой дым.
Учили нас на рояле,
а после — наоборот,
у нас в паспортах стояли
один и тот же год,
один и тот же город,
одна и та же страна,
я был точно так же молод
и пёр с ним против рожна.
В какой космической пыли,
в какой грязище земной
частицы, что некогда были
им,
а также и мной?
Свело ли нас тяготенье,
а может быть, развело?
Нам слушать ангелов пенье
легко или тяжело?
Доходят нечастые вести
из дальних заморий о нём,
а жили когда-то мы вместе
и в перечне были одним,
в одной нас держали обойме,
одной нас ценили ценой,
судьбина над нами обоими
спускалась тучей одной.

* * *

Русские и обрусевшие проживают в Москве.
Никаких инородцев. Никаких иноверцев.
Русский мозг работает у каждого в голове
В каждой груди московской бьётся русское сердце.

Больше всего поработал Лев Николаич Толстой
и Александр Сергеич Пушкин — работал много,
чтобы каждая жидкость русский давала отстой,
чтобы движенье каждое с Русью шагало в ногу.

Русская школа учила русскому языку,
русская песня учила русскому духу.

Стало русским словом немецкое имя — Фет.
Имя Блок — немецкое — стало русским словом.

* * *

Птица Блок
и птица Фет,
птица Пастернака
музыке небесных сфер
подавали знаки.
И земных напевов тщится
ритм усвоить, ореол
птица Сириус и птица
Марс, и птица Орион.
Хор поэтов, хор планет,
птичий хор.

* * *

Хорошо бы проверить
длину, высоту, ширину,
глубину впечатлений
был ли гением тот,
кто мне в юности,
как ни взгляну,
представлялся, как гений.

По Молочной по улице
(в Харькове) долго идти
было из дому в школу.
Надо бы протяжённость
перепроверить пути.
Может быть, и не долго,
а скоро.

Бесконечной казалась война,
эти длинные годы войны,
дней длинноты, ночей пустоты...
Перемерить однако
длину той длины
мне не хочется что-то.

* * *

Время ещё было —
то ли год, то ли час,
но время ещё было.
Было время для нас
не какое-то «оно»
время,
а целый год,
полный будильник звона
и календарь — листов.

Очень старый старик

До такой отметки дожил,
что не только сед и стар:
никому уже не должен
и работать перестал.

Сорок и ещё раз сорок,
чуть не сорок сороков
прожил в спорах, битвах, ссорах —
точен, работающ, толков.

Все товарищи почили,
все друзья погребены.
Достиженья их большие
до небес вознесены.

Рок ли не распорядился?
Рак ли отпуска не дал?

Как он вовремя родился!
Умереть он — опоздал.

Словно из контекста вырван,
выломан из гребешка
на бульваре детским играм
внемлет он, дремля слегка.

И уже привыкли дети,
что старик придёт с утра
и выискивать в газете
примется, как и вчера.

Был участник, стал — свидетель,
зритель стал с недавних пор,
и уже привыкли дети,
что слезится сонный взор.

* * *

Факт есть факт.
И стоит столько,
сколько должен стоять факт.
Надо блаженную тупость стойка,
чтобы его излагать в строфах.

Надо священную наглость лирика,
чтоб завоевание эмпирика
лёгкою рифмою оперить
или с эстрады проговорить.

Тупость, а также дерзость поэта,
святость его, дурь, чистота —
надо всё это и только это,
факты не стоят ни черта.

* * *

Из дней продлённых образован,
в белозелёной роще, в масть
берёзовым и бирюзовым,
и грозным был месяц май.

Он состоял из чаш и рощ,
шумевших на родном подзоле,
и зеленела в поле рожь,
и розовели в небе зори.

* * *

На меня ли работает время?
На меня или не на меня,
то гремя столетиями всеми,
то секундами семеня. (неоконч.)

Публикация и подготовка текстов Андрея КРАМАРЕНКО

Андрей Васильев

Ветеран

Повесть

Август 1941 года

В августе рассветы на севере Карелии долгие и тягучие, будто вода, прихваченная первыми заморозками. И притом тихие и безветренные. В замершем перед восходом солнца воздухе стук топора раскатывался чуть ли не на всю ширь озера. И лишь долетев до стоявших на берегу высоченных сосен, глух в изломанных непогодой ветвях. В укывшейся за стеной леса деревушке никто не догадывался о том, что творится на старой барже, замерзшей в трехстах метрах от причала.

В ее тесном трюме стояли, сидели, лежали пять десятков эсков, худых, оборванных, в одинаково куцых черных телогрейках. И каждый напряженно прислушивался к тому, что происходило наверху, одновременно и страшась доносившихся оттуда звуков и по вековой русской привычке надеясь, что все обойдется.

«Может, по их правилам, так и надо — зашить досками люк?», — пробежал шепот меж эсками. Даже новички с пересылки знают, что ждать можно чего угодно. Но когда на палубе сняли крышку с широкой вентиляционной трубы и в трюме стало светлее, лица людей разгладились, а кто-то облегченно выдохнул.

Наверху между тем шла какая-то возня. Энкавэдэшники о чем-то препирались, после матерного окрика один из споривших ушел к корме. Второй остался около трубы. Его прерывистое, как после тяжелой работы, дыхание было отчетливо слышно в трюме. Впрочем, дело свое он закончил быстро: раздался металлический щелчок, и, прогрохотав вниз по трубе, на доски пола шлепнулась связка гранат. Куда спрятаться в набитом людьми трюме за те считанные секунды, что оставались до срабатывания запала?! Инстинктивно качнулись назад, безуспешно попытавшись сдвинуть спрессованную человеческую массу, и замерли, обреченно закрыв глаза. Еще живые, но уже мертвые. И грянул взрыв, вымарывая это противоречие, а заодно и пять десятков душ. Пусть не безгрешных, но в любом разе более чистых, чем у тех, кто обрек их на смерть...

Май 1987 года

Комната была безликой, как будто, обставляя ее, хозяева руководствовались иллюстрациями из брошюры «Уютный дом». Две тяжеловесные горки, густо заставленные прессованным псевдохрусталем. Массивный книжный шкаф с книгами,

Васильев Андрей Владимирович — шеф-редактор издательства IRS Publishing House, журналист, автор 6 сценариев документальных фильмов и 18 книг, среди которых сборник рассказов «Прозаическая сага», исторические исследования «Сны старой крепости», «Зачарованный город», «Волшебные сказки Тебриза», «Дом — это мир» и другие.

выкупленными на макулатурные талоны. Диван, покрытый ядовито-зеленым мохеровым пледом. Торжественно-парадная люстра, которой самое место было бы в провинциальной церкви. Нотку фривольности вносили три тусклых эстампа, за стеклами которых виднелось что-то сдержанно абстрактное. Стулья у стены были расставлены на равном расстоянии друг от друга — хоть линейкой промеряй. Но истинным образцом порядка был письменный стол. На нем лежали строго сориентированные по краям столешницы пачка писчей бумаги, четыре остро отточенных карандаша, очечник и аккуратно сложенная по сгибам газета. Несколько нарушая эту бюрократическую композицию, на углу стоял телефон, независимостью размещения подчеркивая свою важность. В комнате не было ни одного «милого пустячка», который подавал бы знак о привязанностях или увлечениях обитателя. Хотя, возможно, у него их просто не было.

Впрочем, хозяин кабинета в этой обстановке чувствовал себя привычно и даже комфортно. Николаю Павловичу Калашникову было под семьдесят, и для своих лет он выглядел замечательно. Спина прямая, на щеках здоровый румянец, седые волосы, блестящие после душа, аккуратно зачесаны назад. Лицо добродушное, простоватое, но не глупое.

Поскольку утро было не только раннее, но и праздничное, Николай Павлович был уже облачен в темные, хорошо отглаженные брюки и белоснежную, в нарушение всех модных тенденций накрахмаленную сорочку. В руках он держал пиджак, покрытый, как панцирем, множеством ветеранских значков и медалей. Хотя знающий человек, конечно, обратил бы внимание на то, что в этой «экспозиции заслуг и достижений» нет ни одного боевого ордена, а медали, как их называют военные, исключительно «собачьи», то есть отчеканенные к разным датам Вооруженных сил.

Настроение у Николая Павловича было чудесное, полностью соответствующее доносящимся с улицы задорным маршам. Повесив пиджак на спинку стула, он уселся за письменный стол и, водрузив на нос очки, привычным движением развернул газету. Как всякий опытный читатель, в потоке редакционного пустозвонства Калашников мгновенно выловил самый интересный для себя материал — «Шахтеры продолжают забастовку», отправленный стыдливым ответсексом на четвертую полосу.

Не то чтобы Николая Павловича так уж занимала судьба этой чумазой публики, еще недавно занимавшей первые места во всех всесоюзных президиумах. С замшелых времен Стаханова ее не только ставили в пример, но и директивно предлагали равняться на нее представителям не столь героических профессий. Однако с новым руководством страны дружба у горняков не сложилась. Платили им по-прежнему много, вот только купить на эти бумажки ничего было нельзя.

Понятно, шахтеры, как выражалась сегодня молодежь, были Калашникову «по барабану». Но не мог он отказать себе в удовольствии вволю позлорадствовать над слабостью власти, которая никак не могла справиться со смутьянами. Кишка у нее была тонка, чтобы перебросить куда надо дивизию Дзержинского да заткнуть глотки всем местным горлопанам.

Однако в очередной раз убедиться в бесхребетности Горбачева у Николая Павловича не вышло. Подал голос телефон. Пропустив для важности два звонка (это у вас нужен, а не вы мне), на третьем Калашников взял трубку.

— Калашников. Слушаю, — сухо бросил он в микрофон. Но услышав приветствие, тут же заулыбался. На том конце провода был хороший и полезный знакомый — заведующий отделом пропаганды райкома партии Аркадий Петрович.

— Как жизнь ветеранская? — уверенно-оптимистично поинтересовался партийный функционер. Оптимизм ему был положен по должности.

— Здорово! Был у тебя на прошлой неделе, но не застал. — Хотя в этом визите не было ничего особенного, Калашников постарался вложить в ответ максимум

теплоты, как будто в райком он ходил исключительно для того, чтобы повидаться с Аркадием Петровичем.

— На семинаре в Москве парился, — не без пренебрежения к столице и к сидящим в ней начальникам проинформировал Аркадий Петрович — все-таки шел третий год «эпохи гласности», — и тут же перешел к делу: — Выручай! К нам норвежцы приехали. Ветераны Сопротивления. Надо с нашими встречу устроить. Хорошо бы и ты пришел.

Дел никаких у Калашникова не было. Однако сразу согласиться означало снизить цену за услугу. Поэтому Николай Павлович решил поторговаться.

— Да я вроде договорился с боевыми товарищами повидаться. Посидеть, повспоминать. По сто граммов за тех, кто до Победы не дожил, выпить.

Но на такого напал. Аркадий Петрович, этот райкомовский златоуст, мог и людей повыше рангом, чем Калашников, уболтать.

— Все успеешь. Это на час максимум. А потом мы тебя на машине забросим куда скажешь. Давай, не ломайся! Ты же мне говорил, что на севере воевал. Расскажешь гостям, как насмерть стояли, фронт держали. А то они стали подзабывать, кто войну выиграл.

Против последнего аргумента возразить было нечего.

— Ладно, уговорил, — признал свое поражение Николай Павлович. — Когда прикажешь явиться?

— Начало через час, — уже официальным тоном проинформировал Аркадий Петрович и повесил трубку.

Районный центр, в котором проживал Николай Павлович, по случаю праздника постарались принарядить. Правда, помогло это мало, смотрелся он все равно убого, впрочем, как и тысячи подобных ему маленьких российских городков. Каких-нибудь триста километров на запад стояли в окружении той же волшебной карельской природы финские города и поселки, и были они почему-то обихожены, аккуратными, радующими глаз чистотой и основательностью всего, что было в них возведено. А на российской стороне, хоть и существовали здесь поселения старше финских и на сто, и на двести лет, вид они имели временный и случайный, будто их обитатели жили на чемоданах, готовые в любой момент бросить постылый край и укатить в места более благодатные.

Делались, конечно, время от времени попытки облагородить эти псевдоурбанистические уродцы, но либо средства были как всегда ограниченными, либо смысла особого власть в этой затее не видела, поскольку сама тоже сидела на чемоданах в ожидании вызова, если не в Москву, то хотя бы в Ленинград.

Последние поползновения придать этому поселку, застрявшему в той самой смычке между городом и деревней, хоть какую-то пристойную форму пришлось на послевоенные годы, когда Карелия, снабжавшая лесом все стройки в европейской части Советского Союза, переживала краткий промышленный ренессанс. Понаехавшее начальство, и особенно их жены, требовали культурных условий в виде квартир с центральным отоплением, туалетов с ванными и балконов с архитектурными излишествами для сушки белья. Но, несмотря на все усилия и периодические грозные окрики из обкома, из затеи облагородить карельские города ничего не вышло. Амбиции тогдашних зодчих так и не смогли подняться выше третьего этажа, зато в полной мере выразились в облупившихся к нашему времени полуколоннах, рогах избытка, снопах пшеницы и экзотических фруктах, которых здесь отродясь на прилавках магазинов не видели.

Из-за всей этой прогрессирующей разрухи развешанные по случаю Дня Победы яркие плакаты и транспаранты смотрелись наглыми заплатами на ветхих строениях в стиле сталинского ампира, образовывавших главную улицу. Унылое впечатление заброшенности, правда, скрашивали высаженные много лет назад и теперь набравшие

силу пушистые лиственницы, скромные осины и красавицы березы, уже надевшие зеленые наряды. Да сами горожане, искренне радовавшиеся и звучащей из репродукторов бравурной музыке, и выходным дням, и по-весеннему яркому солнцу, смотрелись неплохо, никак не уступая нарядами надменной столичной публике.

Не спеша шагавший по тротуару Калашников раскланивался со знакомыми, пожимал руки, обменивался приветствиями. По тому, как с ним охотно здоровались, видно было, что в городке он человек известный и уважаемый. Спешащие куда-то по своим очень важным делам девчонки-пионерки, пошептавшись, даже отдали ему салют. Сверкающий на солнце наградами ветеран в ответ им по-отечески улыбнулся и помахал рукой. Приятно, когда твои заслуги перед страной не забыты.

Чудесное настроение, не покидавшее все утро Николая Павловича, он во всей сохранности донес до райкома партии. Даже бушевавший в здании аврал не повлиял на безмятежное состояние его души. В конце концов, не он отвечал за готовившуюся в спешке встречу, а значит, и не его это была забота. Поэтому, не обращая внимания на царившую суматоху, он сразу же направился на второй этаж, где в фойе перед актовым залом стояли, сбившись в тесный кружок, товарищи по оружию. Весь их отстраненный от окружающей суеты вид как бы говорил: «Мы для страны все сделали, а теперь уж вы кувыркайтесь».

Аврал был в той самой завершающей стадии, когда он становится неуправляемым и может вылиться либо в полный бардак, либо в ослепительный административный триумф. Грузчики в синих спецовках затаскивали из фойе в зал длинный стол «для заседаний». Молодой человек еще сохранившегося в провинции лихого комсомольского вида, опасно балансируя на верхней ступеньке стремянки, пытался закрепить на стене ленту транспаранта, поздравляющего трудящихся с 9 мая. Несколько девушек, расположившись прямо на полу, собирали букеты из только что доставленных из парников тюльпанов и гвоздик. По мере сил добавляли беспорядка и райкомовские работники. По фойе они передвигались исключительно деловой рысью, рассыпая при этом направо и налево руководящие указания, на которые, признаться, никто не обращал внимания.

Привычка к штурмовщине выручила. Буквально за минуту до появления зарубежной делегации все-таки удалось создать подобие порядка и даже придать ему праздничный вид. В грязь лицом не ударили, престиж державы не уронили. Норвежцы вступили в фойе, расцвеченное цветами и лозунгами, украшенное транспарантами и плакатами.

Радужно улыбаясь, у лестницы гостей встречали отцы города: первый секретарь райкома Олег Рудольфович Коски — сорокалетний подтянутый мужчина в отлично сидящем сером костюме из английской шерсти, его совершенно безликие замы по пропаганде и оргвопросам, пузатый начальник райотдела милиции и замордованный проблемой уже три года невыполняемого плана директор единственного в городе предприятия. Второй и третий ряды составляла массовка — представители советских органов, профсоюзники, комсомольские вожди и прочая малоответственная публика, на которую повесили организацию обеда, выпивку, транспорт, подарки и культурную программу.

На фоне мужиковатых невзрачных коллег Коски, сосланный сюда решением горных сил за некоторое вольнодумство, смотрелся куда большим иностранцем, чем норвежцы, которые больше выделялись ростом, нежели каким-то особенным заграничным форсом. Исключение составляла стройная молодая женщина в элегантном жакете. В отличие от остальных членов делегации, у которых на лацканах простеньких курток и старомодных пиджаков были прикреплены канцелярские скрепки — знак участника норвежского Сопротивления, у нее на груди висел Военный крест с мечом — высшая награда Норвегии за храбрость. На вид ей нельзя было дать больше пятидесяти, но уложенные в модную прическу платиновые волосы, в которых

густо проблескивала седина, подсказывали, что ей значительно больше. Мужчины уважительно пропустили ее вперед, и она первая поздоровалась с Коски. Причем по-русски, что сильно обрадовало первого секретаря, не успевшего вычислить в толпе гостей переводчика.

Процедура представления не заняла много времени, поскольку массовку к ней не допустили. Вместо нее взбодренный строгим взглядом Коски секретарь по пропаганде подогнал жавшихся доселе в стороне советских ветеранов. Те смущенно улыбались и изо всех сил старались не оконфузиться. Впрочем, их стеснительность быстро прошла — норвежцы оказались простыми мужиками, плевавшими на все дипломатические политесы. Они хлопали по плечам наших, тыкали пальцами в ордена и всячески демонстрировали, что этой встрече очень рады. Этому гордому народу вообще не свойственно раболепие, и наши ветераны, порядком замордованные пустым и громогласным, а главное — ни к чему не обязывающим славословием, постепенно оттаивали, смотрели на гостей как на людей, которым тоже пришлось хлебнуть лиха во время войны.

Братание было в самом разгаре, когда умевший контролировать ситуацию Коски заметил, что в ветеранском контингенте недостает Калашникова. Оказывается, тот продолжал стоять в стороне, побледневший и даже какой-то поникший.

— Николай Павлович, идите к нам! — решил исправить допущенную замом оплошность первый секретарь.

Но неизменно внимательный к просьбам начальства Калашников на этот раз словно и не расслышал приглашения. Потребовалось не меньше минуты, прежде чем он направился к норвежцам. Шел он как тяжело больной человек, еле-еле переставляя ноги, словно кто-то подменил его невесомые австрийские туфли на свинцовые галоши водолаза.

Однако эти поведенческие нюансы прошли мимо внимания Олега Рудольфовича. Увлеченный ролью радушного хозяина, он сообщил о подаче очередного праздничного «блюда».

— Вот, господа, познакомьтесь! Николай Павлович Калашников. С первых дней войны на фронте. Воевал на севере. Так ведь, Николай Павлович?

Николай Павлович в ответ лишь вяло кивнул. Разгоряченные общением с советскими ветеранами норвежцы, которым перевели слова Коски, кинулись обнимать героя. Последней подошла женщина с Военным крестом, пристально посмотрела ему в глаза, сухо представилась: «Олафсон Лииса». Однако руки не подала. Николай Павлович жалко улыбнулся и отошел к окну.

Стараясь не привлекать к себе внимания, Калашников за спинами коллег-ветеранов тихонько пробрался вдоль стены к лестнице. Но как только он оказался на ней, былая прыть тут же к нему вернулась.

На разбитом недалеко от райкома скверике, куда буквально влетел Калашников, праздничное гулянье было уже в полном разгаре.

Калашников, который никак не мог отдышаться, с трудом нашел за кустами свободную скамейку. Нет, места, конечно, были, да в конце концов, уступили бы ему место, но любое соседство сейчас было для него в тягость. Никого видеть не хотелось. Он с облегчением уселся на лавку, которую алкаши затащили в кусты подальше от гугукающих малышей и кудахтающих мамаш, долго шарил по карманам, отыскивая куда-то запропавшую зажигалку. Но закурить все равно не мог. Сигареты то ломались, то крошились. Дааа... Уж чего-чего, а этой встречи он не ждал... Да нет! Не так. Сорок пять лет назад все бы отдал, чтобы эту женщину увидеть! Хоть издали... Хоть на секунду... А теперь опаснее, чем она, для него в мире никого не было.

Часть I. Поселок

Июнь 1940 года

«По состоянию на 9 часов 26 июня с.г. никаких открытых антисоветских, повстанческих и других вражеских проявлений по КФССР не отмечено. Работа наркомата и периферийных аппаратов НКГБ проходит нормально.

Нарком госбезопасности КФССР М. Баскаков».

У городов и даже у маленьких сел обязательно бывает душа. Иной раз она есть даже у домов, если люди живут в них долго и стены успевают впитать разговоры жильцов, обещания и ссоры, детские крики и смех. У одноэтажного дома культуры, воздвигнутого в Пряже в начале тридцатых годов, души не было. Не из чего ей тут было вырасти и не к чему прилепиться. Политпросветское учреждение было построено не для людей, а для абстрактных «трудящихся», которые должны были питаться исключительно речами районного начальства, а свои эстетические потребности удовлетворять за счет бездарных и хвастливых плакатов, которые обильно тиражировались в предвоенное время. И ходили сюда только потому, что пойти больше было некуда. Ну, или по долгу членства в партии, комсомоле, профсоюзе, ДОСААФ или иной организации-симулякре общественной жизни.

Вот и сейчас небольшой зал с унылыми зелено-сортирными стенами заполнили комсомолыцы района. Впрочем, молодежь всей этой казенной унылости не замечала в силу кипящей энергией молодости и того, что иного в жизни не знала, а потому и сравнивать ей было не с чем. «Волга-Волга», «Цирк» и прочие лубочные картины, которые им в этом же зале показывали, воспринимались, скорее, как сказки, к их жизни никакого отношения не имевшие. А жизнь — вот она: сцена, на которой стоит покрытый зеленым сукном стол, бюст Сталина в глубине, над столом транспарант «ПЛАН — ЗАКОН. ВЫПОЛНЕНИЕ — ДОЛГ. ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕ — ЧЕСТЬ!»

Собрание комсомольского актива шло уже четвертый час. Под потолком плавали набрякшие никотином облака табачного дыма, пол устилал плотный слой подсолнечной лузги. Только семечки и спасали от накатывающей волнами сонной одури. Лучше всего устроились опоздавшие. Они группировались около дверей, из которых хоть немного тянуло прохладным вечерним воздухом. Здесь можно было не только относительно свободно дышать, но и тихо переговариваться, благо ораторы уже тоже притомились и с крика перешли на монотонную скороговорку.

— И что б мне на минуту раньше уйти, — корил себя подпиравший стенку вместе с остальными счастливыми Колька Калашников. — Ведь как подлез, стервец! «Я тебя в прошлый раз выручил, а теперь ты меня выручай!» И заныл, заныл: «У меня дядя из армии приехал. Я ему рыбалку обещал. Червей накопал. А тут собрание! Сходи за меня!» А какого хрена ты в секретари ячейки рвался?! Можно подумать, тебя за воротник тащили. Свои-то дела мне когда делать?

Колька совсем закручинился, хотя это было ему несвойственно. Парень он был простой, веселый, и всякие интеллигентские мерехлюндии глубоко презирал.

Ведь как хорошо все складывалось. Зарплату на МТС успел первым получить, в сельпо еще вчера попросил отложить платок, вечером с ребятами погонять мяч договорился...

В невеселые размышления слесаря третьего разряда пряжинской МТС, члена ВЛКСМ, призванного девятнадцати лет от роду Николая Калашникова вторгся зазвучавший со сцены девчоночий, почти детский голос.

— Мы решили всем классом работать тридцать дней в леспромхозе, — выкрикнула с трибуны худенькая белобрысая девчонка лет пятнадцати-шестнадцати. Была она немного нескладная, да и к тому же не белобрысая, как многие местные в зале, а скорее, волосы у нее были платиновые, хотя этого слова тогда Колька еще не знал. —

Деньги мы отдадим в ОСОАВИАХИМ. На них купят еще один самолет. Наши ребята смогут учиться летать. — Тут у нее произошла заминка, которую она все-таки героически преодолела. — И девочки тоже. Как Марина Раскова.

Пожалуй, дело было не в звонком детском голосе — недомерок-школьниц в зале было полно, — а в том, как странно эта девчонка выговаривала слова. Вроде бы все правильно, но словно из учебника по русскому языку зачитывала фразы.

— Это кто такая? — Колька толкнул локтем в бок пристроившегося рядом школьного приятеля Юрку Родионова. — На одуванчик похожа.

— Финка. Лииса Мухинен. В леспромхозе живет. Она с отцом из Финляндии приехала, — так же шепотом пояснил Юрка.

— Зачем?

— Зачем? — Юрка даже удивился такой неосведомленности друга. — Учат наших лес валить самыми передовыми методами.

— Так она теперь карело-финка, — хихикнул Колька. Шутка была старая, но все еще пользовалась у молодежи успехом.

На сцену между тем выбрался следующий оратор. Судя по толстой ученической тетради в руках, говорить он собирался долго.

— Слушай, давай удерем, — занервничал Колька. — Магазин закроют.

Ребята выскользнули за дверь и были таковы. А собрание продолжалось.

В магазин Юра заходить не стал. Чего он там не видел?! Если бы у тети Маши что-то дельное появилось, так очередь стояла бы через всю улицу. Он присел на ступеньку и стал ждать, когда Колька отоварится.

Не сказать чтобы они были закадычными друзьями. Всего-навсего сидели в школе за одной партой. Но как-то положено в этом возрасте иметь друга, наперсника что ли, как прочел он недавно в одной книге. Тем более, что Колька парень был компанейский, не злой. Ленивый, правда, зато не завистливый. Хотя кому здесь, в Пряже, завидовать? Бедность была поголовной и поэтому считалась нормой. Жили на картошке да «карельском сале», как здесь называли грибы. Рыба, при всем ее изобилии в реках и озерах, на столах появлялась редко. Удочкой много не надергаешь, а с глубины брать — лодка нужна. Юрка с Николаем уже год обхаживали одного местного деда, у которого была небольшая плоскодонка, в надежде, что он разрешит ею пользоваться. Дед на манер капризной девицы услуги с удовольствием принимал, но, как только речь заходила о том, чтобы на рыбалку поехать без него, тут же делался глухим и немым. И понятно: с каждого улова он не по-честному треть брал, а грабастал половину. Пробовали они с Колькой бреднем промыслять, но тут ведь не волжские плесы, где без порток можно целый день по воде бродить. Озера холоднющие. Час в воде просидишь, так все сморщится, что выглядишь бесполом манекеном, которого Юрка однажды в витрине петрозаводского магазина видел.

В общем, в Пряже не жировали, но и с голода не пухли. Жили, как и все в большой Советской стране, ожиданием обещанного светлого завтра. Конечно, планка ожиданий была у пряжинцев ниже, чем у москвичей или, скажем, киевлян. Они бы вполне обошлись новым пальтишком для дочки, валенками к зиме и возом уже наколотых бесплатных дров. Но пока и этого не было. А на нет, как известно, и суда нет. Что зря роптать.

Вся надежда для Юрки и его одноклассников была на осенний призыв. Армия для человека грамотного, энергичного, идейно выдержанного — а Юра себя считал именно таким — была воротами в иную жизнь. Только подготовиться к ней надо тщательно, чтобы не прозевать свой шанс. И Юра уже три года посещал занятия в ОСОВИАХИМе, собирал и разбирал учебную винтовку, парился в противогазе, клеил модели самолетов, потому что очень хотел попасть в авиационную часть. А там уж заметят, он не сомневался.

Он так размышлял, что невольно вздрогнул при звуке громко хлопнувшей двери.

На крыльцо вывалился прижимавший два свертка к груди потный, счастливый Калашников.

— Уфф! Успел! — сообщил Колька. — Пошли.

Жили они в одной стороне, причем недалеко друг от друга, что было очень удобно. Зимой, возникни какая-нибудь надобность в учебнике или еще в чем, в одной рубаше можно было от крыльца до крыльца пробежать. Да и из школы веселей вдвоем возвращаться. Правда, теперь они работали в разных местах: Колька — на МТС, а Юра — секретарем в райсовете, но тем приятнее было вспомнить недавнюю молодость и поговорить о будущей жизни, которая, несомненно, в самое ближайшее время изменится в лучшую сторону.

Они шли поселковой улицей, где каждый дом был им знаком не только по его обитателям, но и всякой оторванной или вновь прибитой доской. Да и что там было особенно рассматривать! Высокие карельские избы, сложенные из почерневших массивных бревен, чередовались с длинными бараками, в которых квартировали завербовавшиеся на лесозаготовки. Бараков в последнее время стало особенно много. Поначалу они даже неплохо смотрелись. Аккуратные, свежеевыкрашенные суриком, эти знаки наступающей индустриализации прямо-таки радовали глаз. Но осенние злые дожди быстро выбили краску, она приобрела грязный оттенок, окна проткнули кривые трубы буржук (строили наспех, и изо всех щелей зимой нестерпимо дуло), а во всю длину бараков навешали веревок, на которых и летом, и зимой сушилось нищее, заплатанное белье. Впрочем, увлеченные беседой парни на всю эту привычную убогость внимания не обращали.

— Юрка, а может, мне на флот пойти? — Эта тема поднималась уже не в первый раз.

— Тебя даже в лодке укачивает, — отрезал Юра, который не любил пустых разговоров.

— То — лодка, а там большие корабли, — попробовал возразить Николай, но дальше спорить не стал. Ему вдруг сделался этот разговор скучен своей приземленностью. — Да если честно, мне все равно, — признался он. — Лишь бы из этого леса выбраться. Ты-то, думаю, тоже здесь не удержишься. Вон в авиацию со своими модельками собрался.

Столь мирно начавшийся разговор вполне мог перерасти в ссору, тем более что случались они между друзьями часто, особенно когда Колька в слишком уж ярких красках принимался рисовать ожидавшую его военную карьеру.

Юра-то был уверен, что Колькин потолок — слесарь 4-го разряда на местной МТС. Никаких кораблей никогда он водить не будет, и командовать дивизиями ему тоже не придется. Ленив был его дружок чрезвычайно, от книг бегал, как черт от лапана, и с увлечением мог говорить только о футболе. Однако Колька из-за этого не комплексовал, никаких чувств вроде ущербности и тем более зависти к чужой зажиточности не испытывал. Все вокруг так же плохо жили. Поэтому Колька при всей своей бедности, одной паре штанов и двух рубашках ощущал себя вполне успешным человеком. Может, не самым успешным, но уж точно не хуже других.

Юрка уже открыл рот, чтобы отбить полезшего не в свое дело приятеля (элерон ведь от пропеллера не отличит, а еще моделями попрекает!), но тут на них накатила стайка мальчишек, гнавшая по улице порядком сдувшийся мяч. Такое Калашников пропустить не мог. Отпихнув мальчика, он поддел мяч носком ботинка и мощным ударом послал его через забор. Поскольку проделано это было виртуозно, в технике знаменитого полузащитника «Динамо» Михаила Якушина (Калашников видел его игру однажды в кинохронике), к Кольке опять вернулось хорошее настроение, и он решил, что обижать друга не стоит.

— Ладно, не переживай! Возьмут тебя, Юрка, в летчики. Не сомневайся. А меня пусть в танкисты, — с искренней грустью добавил он. — И разъедемся мы в разные концы.

— Ага, — отозвался Юрка. — «На запад поедет один из вас, на Дальний Восток — другой».

— Точно, — подхватил не почувствовавший иронии Колька. — А через десять лет мы встретимся.

— И непременно в Москве.

— Да. Известный полярный летчик Юрий Родионов и командир Красной Армии Николай Калашников, — закатывая от удовольствия глаза, продолжал фантазировать Колька.

— И куда мы пойдем? — попробовал спустить его на землю Юра. Он-то понимал, что разговор пустой: на пражинских болотах «известные полярные летчики», как и «командиры Красной Армии», не растут. Но мечтать советскому человеку, особенно молодому, было положено. Причем в строго определенном направлении. Например, об ударном труде, о самопожертвовании во имя высокой цели, о трудностях, которые преодолевать надо непременно героически. Вместе с верой в мудрость верховного вождя и уверенностью в том, что все пролетарии мира мечтали бы перебраться на постоянное жительство в СССР, все это входило в примитивный комсомольский катехизис. Более того, не мечтающий о высоком предназначении выглядел подозрительно. Трудно сказать, чего в этом было больше — революционного идеализма или фанатичного идиотизма.

— Сначала — в Большой театр. А потом в самую дорогую столовую. Возьмем борщ, котлеты, чай с пирогами. До чего же есть хочется! Пошли быстрее!

Мечта о «котлетах и чае с пирогами» подоспела вовремя: ребята как раз подошли к дому Калашниковых — избе-пятистенке, в которой и было всего что сени да большая горница с русской печкой. Обычный дом, каких в Пряже десятки. Не выделялся он и убранством: две железные койки под лоскутными одеялами, стол с четырьмя стульями, которые было принято называть «венскими», меж двух маленьких окошек с мутными стеклами — пузатый деревенский комод.

Мать, Клавдия Васильевна, рано постаревшая от тяжелого сельского труда, хотя на самом деле ей и сорока еще не было, шила за столом. Но, увидев ребят, шитье свое тут же спрятала и захлопотала, успевая и говорить и на стол накрывать.

— Коля! Ты где запропал? Юра! Проходи, проходи. Сейчас поужинать соберу. А я жду, жду. Вроде смена давно кончилась.

— У нас собрание в клубе было. Вот, мама, — и Колька вручил матери оба свертка.

Мать положила их на стол и стала осторожно раскрывать, стараясь не порвать оберточную бумагу.

— Ой! Платок! Да какой красивый! Это мне?

— Тебе, мам, тебе, — важно кивнул головой пунцовый от удовольствия Колька.

— И конфеты! Это же мои любимые! — Она могла бы, конечно, сказать, что всего второй раз в жизни получает подарки. Первый случился три десятка лет назад, когда ночевавший у них в избе приказчик из Лодейного поля подарил ей деревянную свистульку, которая до сих пор бережно хранилась в сундуке. Но по привычке промолчала.

— Зарплата была, — пояснил Колька. — У меня еще деньги остались. Возьми на хозяйство. — Он достал из кармана несколько мятых купюр.

Клавдия Васильевна, никак не ожидавшая прихода в дом такого достатка, сначала растерялась, а потом, конечно, вспомнила, что прорех в хозяйстве еще столько, что, дай бог, самые большие прикрыть.

— Ты припрячь их, завтра в магазин сходим. Ботинки тебе приглядела. — И тут же вспомнила об обязанностях хозяйки. — Господи! Что же я стою! У меня же мужики не кормлены. Садись, Юрочка! Все давно готово.

Сполоснув руки под рукомойником, ребята уселись за стол. Клавдия Ивановна

поставила перед ними чугунок с горячей картошкой — правда, прошлогодней, молодая еще не выросла, — крынку с молоком, доску с крупно нарезанными кусками хлеба.

— Чуть не забыла! — мать метнулась в сени и принесла оттуда миску с пучками зеленого лука. — Такой лук сладкий уродился! Только что с грядки срезала.

Ребята ели споро, по-рабочему. Николай солидно молчал, привыкая к новой роли главного работника в семье. А вот Юра, которому из-за занятости отца и матери в школе нормально поесть редко удавалось, нахваливал ужин.

— Картошка у вас, Клавдия Васильевна, замечательная. До того рассыпчатая, что и ложкой давить не надо. Как вы только такую выращиваете?

— Ешь, ешь, Юрочка! Давай еще положи! — суежилась довольная Клавдия Васильевна.

— Ох, нет! Спасибо, тетя Клава. Наелся на два дня вперед. — Юра посмотрел на висевшие на стене ходики. — Побегу. Пора. Отец просил помочь.

Следующий день не задался с самого утра. На работу Калашников чуть не опоздал. Зацепился ногой за камень, и подошва сандалии, которая и без того держалась на соплях, отлетела к чертям. Пришлось подвязывать ее обрывком веревки, который, к счастью, завалялся в кармане. В итоге приковылял в МТС, когда самые интересные задания были распределены. Рассчитывавшему покопаться в движке забарахлившего красавца ЗиС-5 Кольке вместо этого вручили грудку ржавых, грязных деталей и велели отчистить их до блеска.

Два часа Калашников честно тер эти железяки. Въевшаяся в металл ржавчина поддавалась с трудом. Он бы, конечно, справился с ней, но тут во дворе МТС зазвучали незнакомые голоса, и Кольку разобрало любопытство. Он побросал детали в ведро с бензином, — пусть, дескать, отмокают, — отряхнул штанины спецовки и выкатился из цеха якобы на перекур. И ведь не зря.

Во дворе среди сломанных сеялок, беззубых борон, требующих ремонта плугов и прочего пришедшего в негодность сельхозинвентаря бродили мальчишки и девчонки. Стоявший у дверей в цех директор МТС Василий Петрович Калмыков следил за ними настороженным взглядом орлицы, у гнезда которой вьется подозрительный гость.

— Школьники, — поделился Василий Иванович с подошедшим Колькой. — Металлолом на самолет собирают. Винтики, железочки... А только отвернись, так они новый трактор утащат.

— Так и гнали бы их, Василий Петрович! — посоветовал Колька, ценимый директором за чуткость к проблемам начальства.

— Нельзя, Мыкола! — горько вздохнул Василий Петрович. — Из райкома звонили. Велели поддержать почин, трясце его матери!

На самом деле Кольке вовсе не хотелось, чтобы школьников прогнали. Во-первых, двор давно уже надо было привести в порядок, и скорее всего это поручили бы самому младшему на МТС — Калашникову. Во-вторых, хотелось покрасоваться перед ребятами. Многих он знал в лицо, они учились на два класса младше. Поэтому Колька занял позицию рядом с директором, достал из кармана пачку папирос и не без лихости закурил.

Ребята на матерого пролетария Кольку Калашникова никакого внимания не обращали. Волокли какие-то перекрученные трубы, стаскивали в кучу пробитые ржавчиной листы, исковерканные швеллеры, расплюснутые диски. Гора металлолома росла на глазах.

— А что, Василий Петрович, может, они и вправду на самолет наберут? — не удержался Колька.

Колькин прогноз директору явно не понравился, и он решил осадить молодого.

— У тебя, Калашников, столько брака бывает, что на эскадрилью набрать можно, — буркнул директор.

Колька, привычный к резкой смене настроения начальства, на эту несправедливую

критику никак не среагировал. Он с интересом наблюдал, как белобрысая худенькая девчонка в мешковатых лыжных брюках и явно отцовском свитере пытается выдернуть вросшую в землю трубу. Походкой бывшего мужчины Калашников подошел к ней и движением руки отодвинул в сторону.

— Отойди! Дай-ка я! — Колька ухватился за верхний конец трубы и стал ее раскачивать. Труба понемногу поддавалась. Колька картинно напрягал мускулы и громко пыхтел, стараясь при этом краем глаза уловить реакцию девчонки. И тут коварная железяка, до этого всем своим видом демонстрировавшая прочную укорененность в карельской почве, вдруг вылетела из нее с каким-то утробным чавканьем. Не ожидавший этого Колька со всего маха шлепнулся на землю, да так, что ноги в рваных сандалиях взлетели к небу.

Номер получился прямо-таки цирковой. Девочка тихо засмеялась. Директора от хохота скорчило, да и остальные, наблюдавшие эту сцену, с удовольствием присоединились к неожиданной потехе. Что же касается Кольки, то этот взрыв веселья, конечно, его расстроил. Но вида он не подал.

— Ха-ха-ха! Как смешно. Ну, упал человек. С кем не бывает, — оправдывался он, отряхиваясь. И тут первый раз внимательно посмотрел на виновницу своего позора. Это была та самая девчонка с комсомольского собрания, которая хотела летать, как славная советская летчица Марина Раскова.

— Слушай! Я же тебя знаю! Ты из Финляндии приехала. — Колька обвиняюще наставил указательный палец на девчонку.

— А что? Нельзя было? — дерзко ответила та.

Признаться, Колька немного смутился и хотел уже было с достоинством отойти на заранее подготовленные позиции рядом с директором, но посмотрел на белобрысую еще раз и пропал. Никогда он не встречал такой девушки и сразу понял, что больше уже не встретит. Один раз такой шанс выпадает. И если он его упустит, то все оставшиеся годы пройдут зря, бессмысленно, впустую. Такая паника овладела Колькой, такая сумятица в мыслях пошла, что ничего умнее он придумать не смог, как спросить:

— Ты «Цирк» видела?

— Цирк? — озадаченно переспросила девчонка.

— Мировая картина, — зачастил Калашников, лишь бы удержать ее. — Там одна американская циркачка влюбилась в негра... Хочешь посмотреть? — вопрос он задал так, автоматически, уже понимая, что проиграл. Куда ему, пряжинскому пеньку до нее, фактически иностранки. Но ответ последовал неожиданный.

— Мне шестнадцать только в сентябре будет. На вечерний сеанс не пустят.

Вот! Вот оно! Улыбнулась-таки удача. Колька сразу воспрял.

— Ерунда! Проведу. У меня товарищ помощником киномеханика работает.

— Хорошо, — улыбнулась девчонка. — Я приду.

— Буду ждать, не опаздывай! — поспешил закрепить успех совершенно счастливый Калашников.

Народ после окончания киносеанса в клубе расходиться не спешил. А куда торопиться? На дворе белые ночи. Светло, хоть газету читай. Да и воскресенье завтра. Сколько бы дел за неделю ни набралось, а все одно — главное, на работу утром не вскакивать. Коля и Лииса тоже задержались у афиши, чтобы еще раз взглянуть на артистов.

— Любовь Орлова очень красивая, — не без зависти вздохнула Лииса.

— Ты тоже... — мучительно поискав ответ, все-таки нашелся Николай.

— Смеешься? — Лииса с подозрением посмотрела на Колю.

— Вовсе нет! Честно! — Калашников для правдоподобности даже выпучил глаза. Мол, и в мыслях не было обмануть.

Лииса в ответ ничего не сказала, только улыбнулась. Да и как тут не улыбнуться.

Шутит ее новый знакомый. Любовь Орлова — первая красавица СССР, артистка, поет, танцует. А как она одевается! Лииса попробовала представить себя в таком платье на улице Пряжи. Вся округа сбежалась бы смотреть. Нет уж! Лучше, как сейчас: серая юбочка до колен и блузка с рукавами-фонариками, которую сшила мама. Конечно, если бы были туфли-лодочки хотя бы на маленьком каблучке... Но они очень дорого стоят. А у отца не такая уж большая зарплата. Ничего страшного. Парусиновые тапочки после того, как Лииса начистила их зубным порошком, тоже стали очень неплохо смотреться.

— Мне осенью в армию идти, — совсем некстати прервал ее размышления Коля. А затем, густо покраснев, выпалил: — Ты стала бы мне писать?

Вопрос Лиису озадачил. Она-то тут при чем? Письма ребятам в армию пишут их девушки. Это она от подруг слышала. Обещают, что будут ждать, рисуют целующихся голубей, сердца, пронзенные стрелой, и прочие глупости. А она — школьница. Правда, уже в десятый класс перешла. Но все равно школьница. Она свою любимую куклу до сих пор рядом с собой укладывает на ночь. Почему он о письмах в армию спросил? Или то, что она в кино с ним сходила, это было свиданием?

— У тебя нет девушки? — наконец решилась Лииса.

От такого вопроса в лоб Николай оторопел, но врать, как это было положено по кодексу пряжинских ухажеров, не стал. Стыдно ему было обманывать эту девочку, все равно как котенка обидеть.

— Девушки? — переспросил Колька и решил, что лучше сказать, как оно есть. — Нет!

— Почему? — тут же последовал новый вопрос.

«Господи! Ну как ей объяснить?! Что не до того было... Что первые приличные штаны только полгода как появились. Не в спецовке же на свидание идти. И тут же понял, что все эти объяснения ерунда. Просто не встретил такую, с которой было бы хорошо. Вот как с ней, с Лизой. Но разве так скажешь?.. Только и смог выдавить из себя, будто на весь женский пол обижен:

— Да ну их! Никогда не знаешь, чего от них ждать.

А Лиисе эта игра в вопросы и ответы нравилась все больше и больше.

— А от меня?

У Кольки даже лоб под кепкой вспотел.

— Нет, ты — другая.

— Какая другая?

И чего пристала? Так ей все и скажи.

— Ну, не знаю. — Колька попробовал обмахнуться кепкой. — Другая, в общем, — наконец нашелся он.

Но Лииса уже остановиться не могла. Бывает, что так и тянет за язык, хотя понимаешь, что лучше бы промолчать.

— Это у тебя любимый ответ — не знаю?

И тут же получила от обиженного кавалера:

— А вовсе и нет! — Затем последовал и горький вывод: — Значит, не будешь.

— Не знаю. Я подумаю. — Лучшего ответа и опытная женщина не придумала бы. Лииса улыбнулась Николаю и пошла вперед. Он поплелся за ней.

«Сеть — одни дыры. Да такие здоровые, что и лосось пролезет. Только что он в нашей сетке забыл?!» — Николай попробовал стянуть прореху, но получилось еще хуже. Появилась складка, в которую непременно будет набиваться всякий мусор. «Нет уж! Если делать, то по-человечески». Он опять расправил сеть и стал аккуратно вывязывать ячейки. «И чего мы полезли в эту протоку? Полведра окуней и восемь, — Колька опять пересчитал места разрывов, — нет, девять дыр. Тут работы на неделю».

К сети, растянутой у сарая на длинной жерди, подошла мать. Поставила у стены тляпку, которой окучивала картошку. Со стоном разогнулась.

— Все! Сил моих больше нет. Поясницу ломит. Пойдем, Коля! Хотя чаю попьем.

Колька сделал вид, что занят особо сложным узлом.

— У меня еще дела.

— Дела... Опять к малолетке своей усвищишь, — тут же откликнулась Клавдия Васильевна и с ехидцей добавила: — Будто в поселке взрослых девок нет. За школьницей бегают. Все соседи смеются.

Клавдии Васильевне до слез было обидно, что ее сын, видный парень, образованный (не то что его покойный папаша, помяни его Господи!), а бегают за школьницей. Ладно бы из местных была. Народ вокруг хоть и бедный, но дружный. Случись что, на выручку придут, подмогут. А у этой ни кола, ни двора, да и батька с мамкой какие-то чудные. Третий год в Пряже, а огорода не завели. Питаются из магазина.

Разговор был старый и неприятный. Опять влезать в него Калашникову не хотелось. Он только буркнул:

— Да будет тебе, мать...

Но мать уже завелась.

— Будет, будет. Вот надерет тебе ее папаша задницу, будешь тогда знать.

Колька представил себе эту картину и, не удержавшись, рассмеялся.

— Он — коммунист, сознательный.

— Вот он тебе сознательно и надерет, — подвела итог дискуссии мать.

На самом деле ни отцу, ни матери Лиисы и дела не было ни до нее, ни до ее старшей сестры. Колька давно уже это выяснил. Родители пропадали на партийных собраниях, каких-то совещаниях, встречах с другими «красными финнами», ночи напролет сидели за «Капиталом» Маркса, конспектировали каждую новую статью Сталина. Девчонки сыты, одеты — что еще надо? — по всей видимости, рассуждали они. Фактически сестры были предоставлены сами себе. Но именно доверие, с которым к ним относились мать и отец, и заставляло их вести себя по-взрослому. Учились они хорошо, сами стирали, гладили, готовили еду. Весь дом был на них. Лииса очень быстро выучила русскую поговорку «дело на безделье не меняют» и решительно пресекала все попытки Кольки влезть в ее учебно-рабочий график с танцами или концертом в клубе.

Поэтому мать на него ругалась зря. Не так уж часто Калашников видел Лиису, или Лизу, как он ее называл. Хотя дай ему волю, он бы и ночевал у нее под окном. Каждая минутка, проведенная с ней, была дорога, только пробегали они ох как быстро. Вот и сейчас сидели они с Лизкой на берегу озера в неопишуемой красоте карельского вечера, и все было бы замечательно, если бы не эта финская приверженность к дисциплине. Она отравляла Кольке все удовольствие, не хуже рока, который вечно вмешивался в жизнь разных древних героев.

Вот сейчас Лиза поднимется и скажет: «Прости, Коля! Мне нужно идти». А он какое хорошее место нашел. Бревнышко притащил, чтобы на него присесть можно было. Костерок развел — комаров отгонять. Вид — закачаешься! И ведь сказать еще так много надо. Остались-то считанные недели — и переоденут его в военную форму.

Надо сказать, что после знакомства с Лиисой перспектива службы в Краснознаменном Военно-морском флоте, как, впрочем, и в Красной Армии, не казалась уже Калашникову такой привлекательной. Расстаться с Лиисой ведь придется не на год и не на два. А что за это время произойдет? Кто знает, заранее кручинился Колька.

— Сейчас костер погаснет, — поежилась Лииса.

— Не погаснет, — поспешил успокоить ее Колька. — Вон я сколько веток натаскал. До утра хватит.

— До утра нельзя, — вздохнула Лииса. — Мне отцу комбинезон еще надо зашить. Пойдем, Коля!

Однако с бревнышка не встала. Ободренный Колька тихонько, почти невесомо положил свою руку поверх ладони Лиисы. Так накрывают птенца, боясь повредить его хрупкое тельце. Лииса сделала вид, что ничего не заметила, но оба при этом затаили дыхание. Так и сидели, не дыша, боясь встретиться глазами, потому что тогда нужно будет что-то сказать. А вдруг скажешь не то. И тогда все рухнет и, скорее всего, уже не повторится. Ничего в эти краткие мгновения Кольке не хотелось... Даже мысли о том, чтобы поцеловать Лиису, не было. Только беречь, хранить, защищать ее. От всех напастей, всех бед...

Минута, другая... Лииса вытащила ладошку из-под Колиной руки, хотя там было уютно и тепло, и встала.

— Пойдем, — уже другим, более решительным тоном сказала она.

— Еще немного посидим. Светло же еще, — на всякий случай поканючил Колька, в глубине души понимая, что удерживать ее без толку.

— Надо идти, — прошептала Лииса и так ласково посмотрела на Кольку, что он понял: ей тоже не хочется уходить.

У въезда в поселок стоял, перегородив дорогу, грузовик. Капот над двигателем был откинут. Из-под него торчала задница шофера, обтянутая армейскими галифе. В стороне курили трое военных в кожанках. На вежливое «здравствуйте» Лиисы они никак не отреагировали, проводив парочку равнодушными взглядами. Калашников и Лииса прошли еще метров пятьдесят, где к ним прицепился дед Степан, маявщийся один от скуки на скамейке.

— Гуляете! — заметил он с паскудной интонацией в голосе. — Считаю, уже целый час возятся, — кивнул он в сторону машины. — Ничего у них не выходит. Квалификация, — он с особым удовольствием выговорил это новое для него слово, — не та.

Калашникову эти незнакомые военные были по фигу. И будь он один, прошел бы мимо, никак не реагируя на выданную дедом Степаном информацию. Но при Лиисе, из которой «спасибо» и «пожалуйста» сыпались, как горох из дырявого мешка, приходилось изображать из себя образцового мальчика, уважающего старших и не обижающего младших. Поэтому пришлось поинтересоваться:

— А кто такие? В первый раз вижу.

Дед Степан от этого вопроса сразу расцвел.

— Органы! — Он уважительно поднял палец к небу, будто были эти мужики в кожанках никак не меньше ангельского чина. А затем добавил, понизив голос: — Надо полагать, по душу Родионовых приехали.

Родионовы в Пряже были одни — Юрка и его родители. Но к чему они, скромные сельские учителя, органам, воюющим со шпионами и врагами народа? Врет, как обычно, дед Степан, подумал Калашников, но на всякий случай переспросил:

— А с чего ты взял?

— Расспрашивали, как к их дому проехать, — с торжеством выдал дед. — Допрыгался учитель. А нечего кресты с божьего храма сшибать.

— Какие кресты? Что ты, дед, несешь?

— А ничего! Повяжут и папашу, и дружка твоего Юрку. Всю семейку его безбожную, — распалился старый хрен.

Вот гад! Хотел Колька матюкнуть деда, да при Лизе неудобно. Схватил ее за руку и потащил прочь. Оглянулся через плечо: военные так и торчали около грузовика. «А если правда за Юркой? Ну, поймут потом, что ошиблись, а сколько времени пройдет! Вон на соседней улице тоже взяли по ошибке Тимо Пунтила. Три года отсидел. Вернулся и помер. В тюрьме почки отбили. Нет! Надо сказать! Предупредить!»

— Лиза, ты беги домой, а мне еще в одно место заскочить надо. Совсем забыл.

И не прощаясь, Колька рванул через забор, через чужие огороды самой короткой дорогой, какую знал, к дому Родионовых.

Весь ободрался, ноги обстрекал крапивой, зато срезал приличный кусок. К Юркиной избе подбежал, запыхавшись, и сразу же, не переведя дух, принялся стучать в низкое окно. Но на стук никто не откликнулся. То ли крепко спали, то ли никого дома не было.

— Юрка! Юрка! Проснись! — позвал Колька, прижав губы к стеклу. Не дай бог соседи всполошатся. Начнутся тогда расспросы, кто да зачем.

Но тут в избе кто-то завозился, окошко распахнулось, из него высунулся Юрка. Увидев Николая, заворчал.

— Ну, что стучишь? На часы посмотри! Уж, верно, первый час.

Колька и дослушивать его не стал.

— Юрка! Беги! Вас арестовать приехали, — выпалил он, пританцовывая от нетерпения.

— Кто? Что ты несешь? — парень никак не мог очухаться от сна.

— Эн-ка-вэ-дэ. Сам видел. Уходите!

Только тут до Юрки дошло, что приятель не шутки шутит. Да и нет в Пряже таких дураков, чтобы про НКВД шутить. И от этого стало по-настоящему страшно.

— Отец и мать на хуторе у дяди Коли, — немеющими губами едва выговорил Юра.

— И ты к ним беги. Да вылезай быстрее. Вот деньги, — Николай сунул Юре комок рублей, оставшихся от зарплаты.

— Спасибо!

— Да беги ты наконец!

В конце улицы послышался звук приближающегося грузовика. Ребята порскнули в разные стороны.

Следующий день начался как обычно, и беды, казалось бы, ничто не предвещало. Кольку нарядили в пару с Михеичем ремонтировать полуторку. Хотя «ремонтировать» это громко сказано. Михеич Кольку иначе как «рукосуем» не называл и к серьезной работе не допускал. Предпочитал все делать сам. Поэтому обязанности Калашникова сводились к тому, что он подавал ключи, счищал ржавчину с деталей и паялся на Михеича, если тот говорил: «Смотри, рукосуй, как это делать надо!»

Они заканчивали снимать коробку передач, когда подошел директор МТС и чужим, каким-то деревянным голосом сказал:

— Калашников! Телефонограмма пришла. Тебя уполномоченный эн-ка-вэ-дэ вызывает, — и так посмотрел на Кольку, что у того от страха кишки узлом завязались.

Директор, бывший командир эскадрона 2-й Конармии Оки Городовикова, одного опасался — проворонить, не распознать «контру», которая, по уверениям товарища Сталина, продолжала множиться на просторах нашей бескрайней Родины. Постояв некоторое время в раздумье над Колькой и решив, что выделять с ним сопровождающего из членов партии будет излишним (куда ему бежать?), директор ушел в контору.

Слова директора слышали многие, а кто не слышал, тем тут же передали, и теперь рабочие, друзья и товарищи Калашникова смотрели на него не то чтобы с подозрением, но с отчуждением, будто уже вlepили ему на лоб клеймо «Не свой». Под этими косыми взглядами Колька прибрал верстак, спрятал инструменты, переоделся и, не прощаясь, вышел за ворота МТС.

Бежать, спрятаться где-то в лесу, на каком-нибудь дальнем озере у знакомых рыбаков у него и в мыслях не было. Это Юрке хорошо было советовать, а сам он, как стало ему теперь ясно, из другого теста был слеплен, пожиже замесом. Ноги были будто ватные, глаза словно паутиной залепило — он то и дело тер их кулаком, — а в голове крутилось одно: «Что будет? Что будет со мной? Отпираться! От всего отпираться... Ничего не знаю, ничего не видел». Но подлый, тоненький голосок внутри твердил: «Без

толку... Они все знают...» И вставали в памяти и те, кого хорошо знал, и те, с кем был знаком лишь шапочно. Так же вызвали однажды, и исчезли люди без следа. И поминать их даже боялись. Делали вид, что никогда таких и не было. Сколько их только из Пряжи исчезло!

За этими тухлыми мыслями и не заметил, как добрел до одноэтажного здания из красного кирпича, рядом с входом в которое была небольшая табличка «ПРЯЖИНСКИЙ РАЙОТДЕЛ НКВД». Войти сразу не решился. Выкурил две папиросы в палисаднике, пытаясь успокоиться, но ничего из этого не вышло. Подташнивало, горло то и дело перехватывало спазмом. «А-а, ладно! Перед смертью не надышишься». Сдернул с головы кепку и потянул за ручку двери.

У входа за канцелярским столом сидел сержант при портупее и фуражке. Он посмотрел на Николая без всякого интереса и сухо поинтересовался:

— К кому?

С трудом проглотив застрявший в горле ком, Калашников прохрипел:

— Меня товарищ уполномоченный вызвал.

— Как фамилия?

— Моя? — Колька ухватился за край стола, потому что почувствовал: сейчас грохнется в обморок. — Калашников.

— Руку убери, — так же равнодушно сказал сержант. — Сейчас посмотрим, — и стал водить пальцем по списку, который лежал перед ним. — Есть такой. Садись вон там на стул. Вызовут.

Сколько он просидел в том коридоре, выкрашенном унылой зеленой краской, Колька не помнил. Наверное, долго. Но зато немного успокоился и даже дышать начал без мерзких всхлипов. Но когда у дежурного зазвонил телефон, страх опять придавил комлем столетней сосны. Сержант рывкнул в трубку: «Так точно!» и повернулся к Николаю:

— Калашников! Заходи!

Вошел — как в омут нырнул. Поначалу ничего разобрать не мог. Наконец уткнулся взглядом во что-то знакомое — портрет Сталина. Рядом портрет Берии. В пенсне, сером френче. Ни орденов, ни звезд. Будто не НКВД, а Наркомпросом командует. Такой ужас внушал этот невзрачный мегрел, что Калашников поспешил взгляд на товарища Сталина перевести. Этот свой! Он — за народ. В обиду не даст.

Под портретами стоял стол. Справа от него громоздился высоченный шкаф с папками, а слева — здоровенный сейф. Из него торчала узкая спина хозяина кабинета. Он что-то в нем перекладывал, шуршал бумагами, не обращая внимания на Николая. В конце концов, наведя порядок в своей канцелярии, он захлопнул дверцу, запер ее на замок и сунул ключ в карман. Когда уполномоченный распрямился и повернулся к Калашникову, он оказался невзрачным мужичонкой, небольшого росточка, с дебелим лицом скопца и маленьким красным носиком. Слегка косолапя, мужичок прошествовал к столу, за которым и угнезвился. Некоторое время он молча рассматривал Калашникова, словно не мог понять, что за диковинный человек вперся к нему в кабинет.

— Что нужно? — наконец нагледевшись, спросил он.

— Мне сказали, что вы вызывали, — несколько опешив от такого вопроса, пробормотал Калашников.

— Кто такой?

— Калашников.

Вновь возникла пауза. Уполномоченный перебирал бумаги на столе, сортировал их, складывал в стопочку. Возможно, это был специальный прием, с помощью которого энкаведэшник давал понять, что отныне временем, да и судьбой вызванного на допрос распоряжается он.

— Имя, отчество?

— Коля... Николай Павлович.

— Где проживаете?

— Поселок Пряжа, улица Коммунаров, дом 7.

— Место работы?

— Машинно-тракторная станция. Слесарь.

— Мать — Клавдия Васильевна Калашникова. Работает в совхозе дояркой. Отец умер. Так?

— Да.

После каждого ответа Кольки уполномоченный ставил карандашом галочку в блокноте. Не обнаружив никаких несоответствий со своими данными, энкавэдэшник поощрительно улыбнулся все еще стоявшему навытяжку парню.

— Ну что, Калашников? Как жить-то дальше будешь? — поинтересовался он тоном родного дядюшки.

Не зная, что и ответить на столь невразумительный вопрос, Колька только пожал плечами.

— Молчишь. Понятно. Юрия Родионова знаешь? — все так же тихо, но уже со скрытой угрозой в голосе спросил уполномоченный.

Колька, хоть и ждал этого вопроса и готовился к нему, а нахлынувшего опять страха скрыть не смог. Переложил кепку из одной руки в другую, зачем-то полез в карман. И лишь потом охрипшим голосом пробормотал.

— Учились мы в одном классе.

Уполномоченный Колькино волнение, конечно, заметил. Ломал людей и посерьезней. А у этого сопляка все на лице было написано. Дави его потихоньку — все выложит.

— Когда видел его в последний раз?

— Три дня назад. В клубе.

— Два дня назад исчезли и его родители, и он. Куда они могли уехать? — задал энкавэдэшник главный вопрос и уставился на Кольку.

Тот про ответы, которые столь долго заготавливал, уже забыл. В голове был сумбур. Нестерпимо хотелось пить. И уж готов он был рассказать про хутор, где прятались Юрка и его родители, лишь бы этот кошмар скорее кончился, но почему-то неожиданно для себя сказал:

— Не знаю.

Этот ответ уполномоченного как будто даже обрадовал. Он заулыбался во всю свою маленькую мордочку, словно Колька сообщил ему нечто приятное.

— Странно. Твои товарищи показали, что вы с Родионовым близкие друзья. За одной партой сидели. И ничего не знаешь?

А Кольке вдруг стало все равно. Врал уполномоченный. Если бы он стал его приятелей расспрашивать, те бы предупредили.

— Это в школе. Уроки вместе готовили.

— Только в школе? А мне сказали, что ты и сейчас часто у Родионовых бываешь. И он к вам захаживает.

— Заходил пару раз, — не стал отнекиваться Колька, а про себя подумал: «А ты что? Пост у их дома выставил?»

Смену настроения у Николая энкавэдэшник сразу же приметил. И решил, что хватит в игрушки играть.

— Да нет. Не пару, — веско сказал он и вдруг заорал: — Ты что, щенок, врать мне решил?! С огнем играешь. Ты же у меня как на ладони. — Уполномоченный показал Кольке раскрытую пухлую ладошку. — Раз — и прихлопну. И не будет больше семейства Калашниковых. Ни тебя, ни мамки твоей.

Весь кураж с Кольки как водой смыло. Попытался отвести глаза от искаженной злобой физиономии энкавэдэшника да попал на портрет Берии. Тот смотрел на Калашникова с холодным любопытством, будто все уже про него для себя решил.

— Я не знаю... — запнулся он и тут не выдержал, само вырвалось: — Но, может, они на хуторе у дяди Коли.

Удовлетворенный вырванным признанием уполномоченный откинулся на спинку стула.

— Николая Родионова? Знаем такого. Проверим. — Голос у него опять стал ласковым. — Ладно. Ну что, Коля? Я ведь тебя не из-за этого позвал. Это так, к слову. Должен ведь ты как сознательный комсомолец оказывать помощь органам. Ты садись! Садись!

Николай опустился на табуретку. Ноги у него дрожали, щека дергалась.

— Райком комсомола рекомендовал тебя для работы в эн-ка-вэ-дэ, — все с той же улыбкой сообщил уполномоченный.

— Меня на флот обещали послать, — зачем-то сказал Калашников.

— Посылают знаешь куда? — расхохотался энкавэдэшник. — Нет, брат, для тебя дело нашлось более ответственное. Со шпионами, с врагами нашей Родины бороться. Готов?

— Я постараюсь, — выдавил Коля.

— Иди! Скоро вызовем, — пообещал уполномоченный.

С вызова в НКВД прошла неделя. Про Родионовых в Пряже ничего не говорили. Может, они и успели уйти, но скорее всего их взяли. По-тихому, в тот час, когда нежить свои темные дела справляет. На работе к Кольке отношение изменилось. Не то чтобы сторонились, но откровенничать боялись и даже по пустякам не обращались. А кто его знает, кем он из этого страшного дома вышел? Вдруг поручили за МТС доглядывать. И такое бывало. Ляпнешь что-нибудь, а ночью стук в дверь: «Вы гражданин такой-то? Собирайтесь!»

От презрения к себе (струсил ведь, на фу-фу уполномоченный его взял), от сторожкости бывших товарищей на душе до того гадко было, что Коля даже обрадовался, когда в понедельник принесли повестку. «Ну, сплеховал. С кем не бывает, — оправдывался он перед собой. — Но уж это в последний раз. На границе — он был уверен, что служить придется именно там — и товарищи надежные появятся, и дело важное буду делать — Родину от врагов охранять. Через три года посмотрим, у кого пойманных шпионов на счету больше: у Калашникова или у Карацупы».

Вот только Лиису, Лизу жалко было. Как она без него будет? Да что врать! Как *он* будет без нее? Он и дня не мог прожить, чтобы ее не увидеть. А если не получалось, то сразу же садился писать ей письмо, которое и вручал при встрече. А потом жадно следил за тем, как она его читает. И сейчас, пока ждал, когда она выйдет, удивлялся: «Это же надо, глупость какая! Что за радость в ожидании? Но ведь Лизу-то ждать не обидно. И даже приятно. Будто праздника ждешь...»

Хлопнула дверь барака, послышались легкие шаги, и вот она. «Господи, какая же красавица! — в который уж раз удивился Коля. — Как это люди не замечают?»

Лииса подбежала, ткнулась лбом в Колькино плечо: целовать даже в щеку она на улице стеснялась.

— Почему вчера не пришел? Я весь вечер ждала.

— Никак не мог. Матери надо было помочь дрова в сарай убрать. — Калашников тяжело вздохнул. Ну что он несет, какие к черту дрова? — Лиза! Один день остался...

Лииса сразу посерьезнела, пригорюнилась. Но как птичка, которая не умеет грустить, тут же придумала:

— Но ты приедешь в отпуск, а я буду тебя встречать.

— На побывку, — автоматически поправил Коля, которому очень нравилось учить Лиису премудростям русского языка.

— Побывку... — послушно повторила за ним Лииса.

— Только я, Лиза, не знаю, где буду служить. — Коля поднял с земли прутик

и провел им длинную линию, пытаясь показать Лиисе, как далеко он может оказаться. — Может, на Дальнем Востоке.

— Пусть он будет даже самым дальним. Я буду тебя ждать. — Лииса подняла голову и посмотрела ему в глаза. И Николай понял: она будет. Что бы ни случилось.

— Помнишь, мы на озеро ходили?

Лииса кивнула.

— Я там два камушка подобрал, Николай достал из кармана два небольших зеленовато-голубых камушка. — Смотри! Они такого же цвета, как вода в озере. Один будешь хранить ты, а другой — я. Соскучишься — посмотри на него. А я на свой смотреть буду. И будто мы разговариваем.

Часть II. Лагерь

Октябрь 1940 года

«Сегодня ночью намечается к аресту 11 чел. подучетного элемента, проходящего по агентурным делам. Всего арестованных 99 (чел.).

Нарком госбезопасности КФССР М. Баскаков».

Дорога, километр за километром тянувшаяся через лес, выматывала все силы. На ней, наверное, и пяти ровных метров не было. Если не ухаб, то торчал из земли вылезший погреться камень или чудовищной змеей переползал колею толстенный корень давно срубленного дерева. Полуторка кряхтела, стонала, гремела всеми плохо пригнанными сочленениями изношенного железного организма, но больше десяти километров в час выдать не могла. Шофер, разбитной парень лет тридцати в замасленном комбинезоне и сдвинутом на затылок кожаном картузе, только матерился, поминутно дергая рычаг коробки передач. Калашников, чтобы ему не мешать, забился в самый угол кабины. Поначалу он еще берегся от вваливавшихся в окно клубов мелкой пыли — уж очень было жаль новенькую форму с малиновыми петлицами НКВД, — но потом понял всю безуспешность этих попыток и только старался не откусить язык при нырке в очередную выбоину. Ехали уже третий час, от тоски трепались о жизни.

— Везде люди живут, — поучительно заметил шофер, лихо преодолев огромную лужу. — Вот у меня брат в Магадан на прииск завербовался. Ничего, пишет, шоферит помаленьку. Хорошо заколачивает, — подмигнул он и, заметив, что вещмешок Калашникова опять свалился с сиденья, предложил: — Да брось ты его в кузов! Или у тебя там бьющееся?

— Какое бьющееся? — удивился Калашников.

— Ну, там пластинки патефонные или чашки, — пояснил шофер. — Мне на прошлой неделе воткнули на складе ящик. И ни слова. Я что? Я везу. А дорога — сам видишь. Приезжаю в лагерь, сгружаю. Старшой сразу — шась к этому ящику. Вскрыл — а там одни осколки. Оказывается, стаканы там были. А мне откуда знать?! Орал, паскуда, словно ошпаренный.

— Ты в лагере работаешь? — поинтересовался Калашников, который из занятий на курсах вынес весьма слабое представление о будущем месте службы и теперь был рад любой информации.

— Не. Мы туда только возим.

— Как там?

Шофер пожал плечами.

— Не ссы! Как везде.

— Условия-то нормальные? — допытывался новоиспеченный кандидат на звание.

— Условия? Курорт! — осклабился шофер, но потом покосился на малиновые петлицы Калашникова и поправился. — А кто их знает?! Мое дело — баранку крутить. А тебя что, туда определили?

— Туда, — тяжело вздохнул Калашников.

С мечтой о границе было покончено еще на первом собеседовании в управлении НКВД. Собственно, собеседования, то есть обмена мнениями, и не было. Кадровик быстро просмотрел документы Калашникова и объявил:

— И-тэ-эл.

— Что? — не понял Калашников.

— Исправительно-трудовой лагерь, — объяснил кадровик.

— Я же на границу хотел, — промямлил Калашников.

— И-тэ-эл, — повторил кадровик и захлопнул папку с личным делом.

Грузовик, натужно воя, буквально продрался через вылезшие на дорогу маленькие кривые березки и выкатился на окраину огромной вырубki. Теперь у Калашникова была возможность изучить этот самый ИТЛ во всех деталях. Среди проплешины, окруженной еще не тронутым сосновым лесом, был выгорожен колючей проволокой участок. Колючка была натянута в три ряда, да так густо, что и кошка бы не пролезла. По сторонам периметра были сооружены вышки, прикрытые деревянными козырьками. На них торчали вооруженные винтовками охранники. Рядом с двойными воротами стоял щитовой одноэтажный дом. По всей видимости, комендатура. А дальше, за плацем в два ряда выстроились низкие потемневшие от времени бараки и хозяйственные постройки.

В широко распахнутые ворота, над которыми висел выцветший транспарант «ТРУД ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ, ДЕЛО СЛАВЫ, ДЕЛО ДОБЛЕСТИ И ГЕРОЙСТВА», под брань конвоиров и лай овчарок втягивалась колонна заключенных. Черные телогрейки, серые от голода и тяжелого труда лица. Люди, словно тени. Усталые, равнодушные ко всему. И такая же равнодушная охрана, раздающая удары не по злобе, а по въевшейся привычке.

— Ну, бывай! — Шофер протянул Калашникову руку. — Сейчас разгрузусь и назад.

Николай вылез из кабины и замялся, не зная, кого спросить. Изматерившимся конвойным было не до него, у них никак не сходился счет. Но тут он заметил, что у дверей в комендатуру коренастый сержант с красной повязкой на рукаве прилаживает на доску новый плакат. На плакате над вздымающейся в небо плотиной Днепрогэса была высокохудожественно изображена воздушная армада советских бомбовозов, готовых крепко дать по рукам агрессору при первой угрозе этому детищу пятилеток. У ног сержанта крутился пушистый лопухий щенок. Он неуклюже подпрыгивал, пытаясь вцепиться в край плаката, но каждый раз получал щелчок в нос от сержанта. К нему и направился Калашников, за три шага, как учили на курсах, перейдя на строевой и приложив ладонь к козырьку фуражки.

— Товарищ сержант, кандидат на звание Калашников прибыл для дальнейшего прохождения службы, — доложил Николай срывающимся от волнения голосом.

Сержант некоторое время молча рассматривал Калашникова.

— Значит, прибыл... А уж мы тебя заждались. Когда же придет товарищ Калашников, чтобы поучить нас, лесных дураков, всем премудростям, которым его на курсах научили. Добро пожаловать, гость дорогой!

Озадаченный такой встречей Калашников недоуменно улыбнулся, совершенно не представляя, как реагировать на слова сержанта.

— Чего зубы скалишь? — прошипел сержант. — Смирно!

Он еще раз оглядел Калашникова и, по-видимому удовлетворенный вторичным осмотром, показал на плакат.

— Во! Смотри! Вишь эту мощь? Как, по-твоему, могла бы она быть без вот

этого? — Сержант обвел рукой колючку, вышки, бараки, озверевшую от собственной бестолковости вохру. — Я тебе скажу: нет. Мы — основа нашего социалистического государства рабочих и крестьян. Понял?

Калашников в ответ несмело кивнул.

— Башкой не мотай! Должен отвечать «Так точно!», — заметил сержант уже добродушнее. — Повтори!

— Так точно! — проорал Калашников, демонстрируя лихость и понятливость. И опять не попал.

— Может, ты дурак? — поинтересовался сержант. От него ощутимо разило водочным перегаром. — Тебя на курсах не научили правильно отвечать старшему по званию? «Так точно, товарищ сержант» надо говорить.

— Так точно, товарищ сержант! — поправился Николай.

Сержант выщелкнул из пачки папироску, неторопливо размял ее, но не зажег, должно быть, вспомнив, что еще не всеми знаниями одарил новичка.

— Фамилия моя Мёдов. Семен Евсеевич. На петлицах два кубаря... — Сержант даже потыкал для наглядности в них толстым пальцем. — Это что значит? Значит, у нас в эн-ка-вэ-дэ я сержант. А в армии носил бы звание лейтенанта. А здесь я заместитель начальника исправительно-трудового лагеря товарища старшего лейтенанта госбезопасности Тельнова. Но товарищу Тельнову на тебя насрать. Служить ты будешь под моей командой. И на фамилию мою ты не надейся. Прикажу ложку моего говна съесть, сожрешь с радостной улыбкой. Вот такая диспозиция на ближайшие годы. Посторонись, раззява!

Сержант оттолкнул в сторону слегка очумевшего от этой речи Калашникова. К воротам пригromыхала телега, на которой лежали раздетые до белья мертвые заключенные. Это зрелище так испугало Николая, что он не мог оторвать от телеги глаз, забыв даже о грозном сержанте со сладкой фамилией.

— Давай, вали в казарму! — приказал Мёдов, которому надоело это представление. — Размещайся! Вот, Найда, еще одного обормота мне на голову прислали, — сообщил он щенку, уже не обращая внимания на нового подчиненного.

В октябре светает поздно. День уже намного убавился. Только что ээкам с того? Смена все равно двенадцать часов. А если у начальника лагеря свербит от усердия, то и все четырнадцать. И тянется время в холодном лесу бесконечно. К концу смены промерзли не то что до костей, до кишок. Поэтому, собираясь на работу, наматывали на себя все тряпки, — а много ли их у ээка! — наливались обжигающе горячим кипятком. Нетерпеливые съедали пайку сырого, плохо пропеченного хлеба сразу же. Те, что похозяйственнее, крошили хлеб в кипятком. Получалось хлебово, нечто вроде тюри. А самые расчетливые пихали пайку за пазуху, чтобы на делянке отщипывать от нее по крохе, рассасывать ее, мять цинготными деснами, стараясь как можно дольше удержать во рту восхитительный вкус хлеба.

В столовой для охраны тоже готовились к трудовому дню. Харч здесь, понятно, был иной. Кормили вохру не хуже сталинских соколов — летчиков. На столах стояли подносы, на которых горкой был навален нарезанный крупными кусками хлеб. Рядом помешались миски, где в воде плавали желтые брусочки сливочного масла. В большие жестяные кружки был насыпан сахарный песок — клади в чай сколько хошь! А вот по карманам прятать не смей. За этим следили строго. Были случаи, когда конвойные выменивали у заключенных на хлеб припрятанное теми золотишко или другие ценности, которые положено сдавать уполномоченному.

За столами сидели тесно. Завтрак — дело святое. На него выходили все. Некоторые, не удовлетворяясь казенной едой, доставали домашний припас — сало, колбасу, баночки с вареньем. Дежурные разносили большие алюминиевые чайники с чаем.

Калашников с трудом пристроился с краю. Сидящие за столом на него даже не

посмотрели, увлеченные обменом новостями. В основном говорили о службе. Когда полушубки и валенки начнут выдавать, что за кино в красном уголке завтра будут показывать, с каким отрядом обычно проблемы бывают. Хвалили за строгость какого-то Вохмянинова, который вчера насмерть забил заключенного, вышедшего за границу лесосеки.

— Ты представляешь, — шумно прихлебывая чай, рассказывал молодой парень с мордой, густо покрытой красными угрями, — он даже стрелять не стал. А подошел и прикладом, прикладом его по башке. «Зачем людей тревожить», — говорит. Вот комик! Ухохочешься.

Вохра восхищенно загоготала.

— С чего развеселились? — Над столом неожиданно навис Мёдов. Грохнув на стол большую миску с отварным мясом, он злобно уставился на Калашникова.

— Встать! Пошел отсюда!

Калашников вскочил, расплескав чай. Уронил фуражку. Пытался поднять, но в нее вцепился шенок Мёдова. Еле отнял у собаки фуражку и под хохот охранников пошел к выходу из столовой. Сержант между тем уселся на место Калашникова, пододвинул к себе миску, но, видно, что-то вспомнил.

— Стой! Ко мне! — проорал он в спину Калашникову.

Калашников вернулся к столу.

— Тебе кто разрешил идти?! — поинтересовался Мёдов, отправляя кусок мяса в рот.

— Виноват, товарищ сержант. — Николай старался не смотреть на Мёдова, до того он ему был противен.

— Без моего разрешения даже дышать не моги, — наставительно произнес сержант и бросил второй кусок под стол щенку. — Иди в оружейную, получи винтовку. Будешь сопровождать на лесосеку.

— Есть сопровождать, товарищ сержант.

— Так-то лучше, — пробормотал Мёдов, обгрызая мясо с мосла. — Расселся, понимаешь, как фон-барон.

— Ну, ты мастер, Семён Евсеич! Дрессировка, как в цирке, — подобострастно заметил один из охранников. — Одно слово — Дуров!

Охранники опять заржали. Калашников стоял как оплеванный.

Мёдов и поспешавший за ним Калашников поднялись на увал. Отсюда начиналась лесосека. Поражал ее размах. На месте сосновых боров торчали пеньки да громоздились сваленные в кучи ветки. Но кое-где лес еще держался. Словно на ратном поле стояли, приготовившись к битве, последние полки вековых сосен и мохнатых елей.

Стучали топоры. С треском и шумом падали подпиленные деревья. Сотни, тысячи людей, согнанные в этот не самый большой даже в Карелии лагерь, пилили, обрубали сучья, волокли бревна, укладывали их в штабеля. Но не было в этом гигантском муравейнике энергии, которая должна бы ощущаться при таком размахе. Не было и быть не могло в подневольном труде заключенных радости, азарта, цели, которые присущи людям при любой совместной работе. Ее единственным двигателем были конвоиры, торчавшие на всех пригорках. А вся мотивация сводилась к пайке хлеба, которую урезали вдвое, если норма не выполнялась.

Стоя на коленях — дерево надо было срезать у самой земли, за этим следили нормировщики из вольнонаемных, — двое тощих эков из последних сил попеременно тянули друг на друга двуручную пилу. Подруб был сделан халтурный, неглубокий, и пила постоянно застревала.

— Все жилы эта сосна вытянула, — от усталости язык у эка еле ворочался. Каждое слово вываливалось с трудом, на выдохе. — В возчики бы. Лошадь тащит, а ты только вожжами потряхиваешь.

— О кухне еще помечтай, — со злобой ответил второй, поднимаясь с колен. —

Тащи пилу! Теперь свалим. К лошадям с 58-й не ставят. Туда только социально близких блатных берут.

— Упирайся! Мёдов идет, — перебил его первый, и они навалились спинами на сосну.

Рядом действительно прошли Мёдов и Калашников.

— Калашников! Посмотри, кто это там в кустах отсиживается, — бросил через плечо сержант. Тужащихся эков он будто бы и не заметил. Эти работали, а значит, были ему неинтересны.

Николай, выкрикнув: «Есть, товарищ сержант!», рысью поспешил к кустикам можжевельника, в сторону которых мотнул головой Мёдов. Он уже понял, что любая задержка с выполнением приказа выльется для него в новые унижения.

В кустах со спущенными штанами действительно сидел эк. Ситуация получалась дурацкая. И вопрос, который задал ему Калашников, был такой же.

— Ты что тут?

Но, видно, эк был из новичков и смутился не меньше Калашникова.

— Извините, гражданин начальник, — почти прошептал он, задирая голову, чтобы видеть лицо Калашникова. — Понос замучил. Третий день кровью хожу.

Николай хотел уже развернуться и уйти, но тут к ним подошел Мёдов. Этот знал, что и как с эка спрашивать, хотя вопрос вроде бы адресовал Калашникову.

— Почему заключенный отлынивает от работы?

— В санчасть бы его, товарищ сержант, — вытянулся перед начальством кандидат на звание.

— Ничего. Мы его сами полечим, — словно и вправду разбирался в болезнях, заметил Мёдов.

Он выдернул из кучи срубленных ветвей крепкую, увесистую палку, взвесил ее в руке и с коротким размахом хватил по спине эка. Тот упал, попробовал подняться, но новый удар опять свалил его.

— Ах ты, гад! Мразь! Растопырился на природе, — приговаривал Мёдов после каждого удара. Когда палка сломалась, сержант принялся охаживать лежащего ногами. Встать эк уже не пытался, лишь закрывал руками голову.

Умаявшись, сержант присел на бревно, со вкусом закурил. Докурив до картонного мундштука папиросу, легко поднялся, подошел к слабо стонущему эку и со всего размаха всадил ему сапог в живот.

— Скажи охране: пусть за ним присмотрят. Чтоб больше от работы не бегал, — бросил он Калашникову. Тот молча кивнул.

Колька не был слюнтяем. Драк никогда не боялся. Да и не обходилась без них жизнь в поселке. Видел, как пластались подвыпившие плотогоны, как колхозники били конокрада. Но с такой холодной жестокостью он столкнулся впервые. Мёдов ведь бил эка не за провинность, не по пьяни, а лишь потому, что бить можно было безнаказанно, что не мог тот ни ответить, ни защититься, ни отомстить. Это было страшно.

Калашников не знал слова «садизм». Не попало оно ему в школьных учебниках. Думая о Мёдове, он называл его «гад», «нелюдь», «скот». Сержант и вправду казался ему злобным уродом, затесавшимся среди нормальных людей. Ему, молодому дураку, всего два дня пробывшему в лагере, и в голову не приходило, что здесь все такие. А других и не могло быть, потому что лагеря для того и были созданы, чтобы сломать человека, превратить его в ничто, то есть уничтожить если не физически, то морально.

Введенный в заблуждение названием «исправительно-трудовой лагерь», Николай верил, что тут действительно занимаются «перековкой». Тут воспитывают, помогают осознать пагубность вредительства родной стране. Мёдов в эту идеалистическую схему никак не укладывался. Кольке казалось, что если он расскажет начальнику лагеря о

том, как Мёдов расправился с больным человеком, то его обязательно похвалят за бдительность и принципиальность.

После обеда Калашников пришел в комендатуру. Дежурный подтвердил, что старший лейтенант госбезопасности у себя в кабинете. Тельнов разговаривал по телефону. Николай хотел уже ретироваться, но начальник приглашающе махнул ему рукой.

Повесив трубку, Тельнов вытер платком взмокший лоб — разговор, видимо, был неприятный — и вопросительно посмотрел на стоявшего по стойке смирно Калашникова.

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? — Кандидат на звание расправил плечи, выпятил грудь, весь подсобрался, желая произвести впечатление на начальника.

— Раз пришел, обращайся! — безразлично ответил старший лейтенант, не обращая внимания на потуги Калашникова. Он взял со стола маленькую игрушечную лейку и принялся поливать стоявшие на подоконнике герани.

— Тут Мёдов... — смешался не ожидавший такого приема Калашников.

— Чего ямлишь? — подбодрил подчиненного Тельнов. — Выкладывай!

— Сержант Мёдов избил заключенного...

Тельнов продолжал поливать герань. Напоив последнее в ряду растение, он наконец повернулся к Калашникову.

— Семён Евсеевич? Избил? — уточнил старший лейтенант.

— Сегодня. На лесосеке. Больного, — поспешил выложить Николай.

Будь Калашников опытнее и наблюдательнее, он бы заметил, что его доклад о бесчинствах Мёдова, скорее, забавляет, чем возмущает начальника лагеря.

— А ведь не скажешь. С виду такой добрый человек. Ай-ай-ай! Какой позор! — Тельнов с трудом сдерживал смех. — Еще и в самодеятельности поет. Ты, как тебя, Калашников, молодец, что ко мне пришел. Да! Работник органов! Чистые руки, горячее сердце! Надо же! Будем меры принимать.

Старший лейтенант распахнул дверь и крикнул в коридор:

— Мёдов! Зайди ко мне, — и уселся за стол, приговаривая: — Ай-ай-ай! Ну, надо же!

В кабинет вошел Мёдов.

— Вызывали, товарищ старший лейтенант?

— Как же ты, Семён Евсеевич, опростоволосился перед нашей молодой сменой? — закрутил головой Тельнов. — Вот товарищ Калашников утверждает, что ты рукоприкладством занимаешься. Заключенных избиваешь.

До Мёдова наконец дошло, что начальник развлекается, и он поспешил подыграть ему.

— Даже не знаю, Юрий Александрович. Не иначе бес попутал. Как же мне теперь свою вину перед товарищем Калашниковым загладить? — Для правдоподобия Мёдов даже скорчил скорбно-виноватую рожу.

— Да, трудная задача, — продолжал потеху Тельнов. — А давай-ка, Семён Евсеевич, дадим товарищу Калашникову четыре наряда вне очереди. Может, тогда он отучится на старших товарищей стучать, а заодно поймет, что он не в санаторий приехал, где с каждой падалью цирлихи-манирлихи разводят.

— Очень правильное решение, товарищ старший лейтенант, — поддержал начальника Мёдов. — А позвольте я еще от себя добавлю в целях воспитания младшего поколения?

— Ну, конечно, Семён Евсеевич. Ты же педагог со стажем. — Тельнов поощрительно подмигнул Мёдову.

— Вот что, интеллигент сопливый! — тон сержанта резко изменился. Потеха была закончена. — Вернешься из наряда — всей казарме сапоги перечистишь. И так четыре дня подряд. А теперь... Кругом! Шагом марш!

Окончательно очумевший от разыгранной перед ним сцены, Калашников развернулся и вышел из кабинета.

Как и обещал Мёдов, на следующий день Калашникова назначили дежурным по лагерю. После утреннего развода на работы Николай отправился в обход бараков. Снаружи они все были на одно лицо: длинные, приземистые, будто придавленные осенними тучами, с глубокими щелями в стенах, заткнутыми мхом и тряпками, замазанными глиной. Но внутри у каждого барака, который жильем язык не поворачивался назвать, шла, наверное, своя жизнь, которую Николаю еще предстояло узнать.

По дневному времени в бараке было пусто. Его обитатели еще до рассвета отправились на работу. Но не все. На нарах, на втором ярусе, с удобством расположилась группа уголовников. Шла игра в штосс. На лоскутном, порядком засаленном ватном одеяле, сложив ноги по-турецки, сидели напротив друг друга два игрока. В качестве стола использовалась такая же грязная подушка. Вокруг них пристроились трое прихлебателей из блатных, внимательно следившие за каждой сдачей. Одному из игроков везло, а может, он более искусно передергивал карты. Во всяком случае, он был в выигрыше: рядом с ним лежали две буханки хлеба, пачка чая, куча одежды. Второй проигрался уже до исподнего, но куража, однако, не терял.

— Еще будешь? — поинтересовался банкомет.

Понтер, раздосадованный очередным проигрышем, заистерил по обыкновению блатных.

— Твою мать! Буду, буду!

Поскольку такие вопли в этой среде были явлением обычным, на них никто не среагировал. Банкомет — жилистый дядек неопределенного возраста, со шрамом на щеке и множеством наколов на руках — презрительно спросил:

— Что играешь?

На кон ставить было нечего. У понтера — дерганого парня с косой челкой на узком лбу — был затравленный вид. Недолго думая, он сдернул галошу с ноги одного из холуев.

— Галоши за сто! — объявил понтер.

— Казенное не играем. Был договор, — равнодушно процедил банкомет.

У понтера на лице проявились разом злость и разочарование. Но его обнадежил сидящий неподалеку мальчишка, косящий под приклатненного.

— Толик! Я шас спроворю! — И прыгнул с нар.

Вихляющей походкой, подсмотренной у наставников, он направился к чистящему печку дневному. У того на шее был намотан толстый шерстяной шарф. Зайдя сзади, холуек потянул за конец шарфа, но дневальный не собирался с ним расставаться. Жидок был этот сопляк против коренастого мужика, которому достаточно было толкнуть слабосильную сявку в грудь, чтобы тот грохнулся на пол.

— Ты что, баклан?! На перо захотел?! Отдай! — заверещал мальчишка, надеясь на заступничество всей кодлы. Еще лежа, он достал из рукава ватника заточку, медленно встал. Дневальный в ответ взял в руку увесистое полено, готовясь защищать свою жизнь. Игроки, однако, не спешили своему на помощь, с любопытством наблюдая за завязывающейся дракой.

В этот скандальный момент в уютный мирок «социально близких» советской власти и лагерному начальству ввалился Калашников. Причем не просто ввалился, но еще крепко саданулся головой о низкую притолоку. Для полноты ощущений в нос ему ударил густой запах пота, грязи, мочи, все пропитавшей гари из вечно дымящей печки. Потребовалось несколько секунд, чтобы он пришел в себя и стал хоть что-то различать.

Впрочем, мизансцену из-за появления начальника ее участники менять не стали.

Разве что приبلатненный опять сунул заточку в рукав ватника. А дневальный так и стоял, сжав в руке полено. Даже неопытному Калашникову стало ясно, что вошел он вовремя. Дело бы точно закончилось членовредительством, а то и трупом.

— Прекратить! В карцер отправлю! — как можно более грозно крикнул он. Но, похоже, даже сопляка-мальчишку его окрик не испугал.

— Все нормально, начальник, — развязно бросил тот.

— Почему не на работе?

— Занедужили. Животики болят, — с издевкой ответил приبلатненный.

— Освобождение есть? — У Калашникова прямо кулаки чесались, так хотелось ему врезать по этой ухмыляющейся роже.

Видно, почувствовав, что обстановка накаляется, банкомет не торопясь слез с нар и подошел вплотную к Калашникову.

— Чего шумишь, начальник? Все законно. Лично гражданин Мёдов разрешил. У него и спроси, — тихо и внушительно сказал он.

Тут уж крыть было нечем. Развернувшись, Калашников вышел из барака. Все так же неторопливо, проходя мимо дневального, банкомет резко ударил его в живот. Тот скрючился от боли. Банкомет не спеша стянул у него с шеи шарф, развернул его. Он был весь в дырах.

Один день сменял другой. В дождях и утренних заморозках заканчивалась короткая карельская осень. Для многих в лагере последняя осень жизни. Над карельской тайгой, над бескрайними озерами и совсем крохотными ламбушками повисли набрякшие первым снегом тучи. Ледяная пленка покрыла лужи на кривых лесовозных дорогах. Холодно, мрачно, пустынно. Неслучайно этот край выбрала для себя злая хозяйка Похьелы колдунья Лоухи. И вот закружилась в воздухе одинокая снежинка, а за ней возникла и вторая. И падает, сыплется с неба снег. Он ложится на пожухлую траву, садится на темно-зеленые лапы сосен. Он спасенье для беглеца, он поможет скрыть его следы.

На поиски ушедшего в побег заключенного Мёдов отрядил, конечно, Калашникова.

— Пора тебе, молодой, шилом патоки хлебнуть, чтоб понял: у нас служба не сахар, — напутствовал Николая сержант. Мёдов смотрел на него волком, никак не мог забыть, что тот решился пожаловаться начальнику лагеря. Конвоиры в свою компанию тоже не допускали, стараясь при всяком удобном случае насолить или зло посмеяться. С заключенными разговоры не приветствовались. И бывало целыми днями Калашникову не с кем было и словом перемолвиться.

Мёдов, понятно, на Калашникова особо не надеялся, поэтому выделил как бы в помощь пожилого конвойного, который служил в системе Белбалтлага с момента основания, то есть с 1931 года. Поисковую группу укрепили двумя служебными собаками — здоровущими злыми овчарками, натасканными валить на землю эка с одного прыжка.

Такой разнородной компанией они третий час утюжили лес возле того участка, откуда сбежал заключенный. Снега насыпалось уже прилично, и собаки никак не могли взять след. Калашников продрог до костей и мечтал лишь о возвращении в теплую казарму. В возможность найти беглеца в этих дебрях он не верил.

— Он за три часа километров десять уже отмахал. Лучше вернуться да в Управление доложить, — предложил он все так же бодро шагавшему напарнику.

— Нешто! — откликнулся тот. — Поймаем. Никуда он не денется. Сейчас собачки след возьмут, и погоним, как зайца, — и прикрикнул на заскучавших собак. — След! След!

И ведь прав оказался ветеран конвойного дела. Минут через десять у мелкого овражка собаки забеспокоились, закрутились, а потом уверенно двинулись вдоль его бровки.

В остервенении охоты на человека псы рвались с поводков, пришлось с быстрого

шага перейти на бег. Вслед за собаками ломились через кусты, перепрыгивали через упавшие деревья. Постепенно азарт охватил и Калашникова, и теперь он не отставал от напарника.

— Вижу! Он! — просипел на выдохе Николай, заметив тень, метнувшуюся за толстый ствол сосны. — Спускай собак!

Беглец уже с полчаса знал, что за ним погоня. И понимал, что от лагерных собак ему не уйти. Если даже на какое-то время лай слабел, глух, то это всего лишь означало, что псы где-то за увалом, но сейчас выбегут на гребень и окажется, что они теперь еще ближе, что еще минута, другая — и настигнут, вцепятся, начнут рвать. От этих мыслей ноги слабели, сердце билось с перебоями. Он чаще цеплялся за пеньки, несколько раз падал, но вновь вставал и бежал, задыхаясь, пытаясь протолкнуть в иссохшее, пережатое спазмом горло глоток воздуха.

Лес, который хоть как-то укрывал его от преследователей, кончился, и эск выскочил на старую вырубку.

«Конец», — мелькнуло в голове. Здесь прятаться было негде. Но он все равно продолжал бежать. Вернее, это ему казалось, что бежит. На самом деле он еле передвигал ноги, пропахивая в свежее выпавшем снегу длинные борозды.

Он успел отойти от леса метров на триста, когда из него вылетели овчарки и длинными, стелющимися над землей прыжками устремились к беглецу. За ними поспевали двое с винтовками наперевес. Это последнее, что увидел эск. Прыгнувшая ему на спину собака буквально вбила его лицом в снег. Все, что он смог, это прикрыть голову руками, спрятав ладони поглубже в рукава телогрейки. Псы были надрессированы сходу вцепляться в горло. Первым подбежал к лежащему неподвижно в снегу беглецу Калашников. Он оттащил псов за ошейники, рывкнул на них: «Сидеть!» и зачем-то принялся вязать руки эску. Тяжело дыша, подошел конвойный. Закинул винтовку за плечо, ласково потрепал собак по загривкам. Затем достал из кармана кисет с табаком и аккуратно нарезанными квадратиками газеты, не спеша, с сознанием выполненной работы свернул сигарку и закурил.

Калашников, еще недавно азартно преследовавший беглеца, сделался вдруг самому себе противен. «Аника-воин! Карацупа! Надо же! Обезвредил опасного врага. Теперь вам, товарищ Калашников, непременно будет благодарность от командования, а то и орден», — крутилось в голове.

Конвойный, докурив, выплюнул сигарку и притоптал ее сапогом.

— Бррр! Что-то меня знобить начинает. Надо двигать. А то еще насморк подхватил. — Конвойный снял с плеча винтовку и передернул затвор.

— Не надо! Не надо! — прошептал помертвевшими губами все вмиг понявший эск.

Конвойный с бедра выстрелил ему в грудь, а потом, прицелившись, в голову, и снова забросил винтовку за спину.

— Ты ж понимаешь, как слегка подмерзну, сразу насморк, — как ни в чем не бывало продолжил он. — Этого завтра подберут. Пошли, пошли! Чего на него глазеть? Еще на эту падаль насмотришься.

Конвойный зашагал к лесу. Собаки послушно побежали за ним.

Снегопад стал гуще. Вся лагерная мерзость пряталась под белый покров: утоптанная ногами заключенных в каменную плиту плац, унылая череда серых бараков, казарма, окруженная полосой битых бутылок, скелеты караульных вышек. И даже колючая проволока с присевшими на нее снежинками превратилась в белоснежные нарядные кружева.

Но все это был обман. Морок. Лагерь оставался лагерем. И Калашников в нем был таким же узником без надежды на свободу.

Часть III. Лиуса

Май 1941 года

«Всего арестовано 111 чел., в этом числе за истекшее время суток арестовано 3 чел. подучетного элемента, проходящего по агентурным делам.

Нарком госбезопасности КФССР М. Баскаков».

Древние не зря началом года считали весну. Весной не только природа оживает, но и надежда. Правда, потом ее сушит летнее солнце, мочит и гноит дождями осень и окончательно хоронит зима. Но это все потом. А сейчас, в начале мая, все ожидания ожили, повеяло наконец теплом, травка-муравка всякая полезла, в том числе и кислица, и щавель — первое лекарство для эка от цинги. И что особенно замечательно: разная летучая нечисть еще не выплодилась. Ни комаров-кровососов, ни мошки. Дыши полной грудью. Благо воздух еще не занормирован, на пайки не поделен. Ну, и охране, понятно, хорошо. Под дождем не мокни на посту, под снегом не мерзни в оцеплении. Хоть и нелюдь, а солнцу тоже рада.

На скамейке у комендатуры пристроились, блаженствуя в тепле, двое конвоиров. Глазки неусыпные прикрыли, дремлют, изредка перебрасываясь фразами. Тоже в весенних хлопотах.

— Летнее обмундирование когда выдадут, не слышал? У меня гимнастерка того и гляди продерется.

— Стирать надо чаще. Вон моя — как новенькая. Думаю, материей взять. Сынишке костюм справлю.

— Хозяйственный ты мужик... В баню-то в субботу пойдешь? Ребята собираются.

— В Нижний Наволок? А чего нет? У Егорыча самогон добрый.

Разморило так, что и закурить лень, хоть и сильно хотелось. Однако чуткое ухо охранника ситуацию постоянно блюдет. И когда рядом протопали легкие офицерские сапоги, глаза у вохры распахнулись одновременно. Впрочем, встревожились напрасно. Через плац к комендатуре шагал Колька Калашников — человек пустой и неопасный.

— Может, Калашникова тоже позовем? — великодушно предложил один из сидевших на лавочке.

Обдумав все «за» и «против» и не увидев в приятельстве с кандидатом на звание особой выгоды, второй выдал резолюцию:

— А ну его. Малахольный он какой-то. Водку не пьет, по бабам не ходит.

И правда, Калашников в коллективе лагерных охранников, сплоченном совместными пьянками, массовым разворовыванием казенного имущества и махинациями с подневольной рабочей силой, авторитетом не пользовался. Вроде и был он по статусу выше рядовых конвоиров, и числился у Мёдова в помощниках, но все знали, что всемогущий сержант его не жалует. Но и не гнобит, как в первые месяцы службы. Поэтому народ, чуткий к веяниям в верхних эшелонах власти, открыто издеваться над молодым прекратил, но и дружбу с ним заводить не спешил. Черт его знает, что у Мёдова на уме, какие планы он строит в отношении Калашникова! Может, со временем приблизить к себе захочет, а может, ждет случая схарчить. Великий стратег был товарищ Мёдов, как-никак пережил уже трех начальников лагеря, и ходили слухи, что скоро будет выдвинут на большую командную должность.

Калашникова вся эта высокая политика мало интересовала. Жил он, зажмурил глаза, стараясь не замечать всей окружавшей его мерзости. Дни, подобно ребятам, призванным в армию, не считал, поскольку понимал: не срочную служит. Из НКВД обратного хода нет. Детские мечты о границе, схватках с коварными шпионами и прочая дребедень давно были забыты. На шпионов он здесь насмотрелся. Целый барак можно было ими набить. Ассортимент богатейший: германские, английские, французские, японские, итальянские. Был даже португальский (на хрен ему сдалась

Карелия?). Но больше всего имелось финских. Их бдительные органы вылавливали сотнями и споро распахивали по объектам ГУЛАГа.

О доме он не скучал. И не потому, что не любил мать или не грустил по родным местам, друзьям, соседям. Ощущение принадлежности не самому себе, а сержанту Мёдову, службе, необходимости которой он не понимал и в полезность которой для страны не верил, делало все воспоминания особенно мучительными. То, что он ежедневно видел в лагере, в чем вынужден был принимать участие, было одним бесконечным кошмаром. Но он в этом кошмаре жил. Кошмар был реальностью, вытеснившей из памяти всю прежнюю жизнь. Те нормы и правила, отношения и чувства, которыми он в ней руководствовался, были неприменимы здесь, в лагере. А значит, о Пряже, школе, МТС и уж тем более Юрке Родионове, которого он из-за трусости сдал, следовало забыть. Иначе можно было сойти с ума, наложить на себя руки. А жизнь он тут ценить научился. Именно право на нее прежде всего отличало его, лагерное начальство, конвоиров от заключенных, у которых эту жизнь можно было отнять в любой момент.

Был, конечно, в сердце уголок, куда он заглядывал пусть и не часто, но каждый раз с такой душевной мукой, что боль после этих воспоминаний держалась днями и неделями. Он уже боялся их и втайне надеялся, что время заставит их потускнеть, а потом и вовсе сотрет. Тем более, что уже несколько месяцев письма от Лиисы не приходили. Переписка оборвалась резко и, казалось бы, без всяких на то причин.

Николай особо не гадал. Разонравился, кого-то встретила, надоело ждать. Да мало ли что могло произойти! Он не герой-летчик, не полярник, не артист кино, чтобы девушка бесконечно по нему сохла. Ладно! Переживем! Но сколько бы Колька ни храбрился, в глубине души понимал: то, что с ним было, не повторится. Такое раз в жизни случается. Подарила ему судьба чудо и тут же назад забрала. А в том, что любовь Лиисы была чудом, Калашников ни минуты не сомневался, потому что мир менялся, когда он ее видел, радостнее, что ли, становился, ярче, красками доселе неведомыми расцветал. Гнал от себя Николай эти мысли, но не так легко было их прогнать...

Калашников зашел в комендатуру. Мёдова еще на месте не было, и он опять вышел на улицу. В ворота конвойные загоняли очередной этап. На этот раз женский. По такому случаю от казармы подвалила толпа гогочущей охраны. Для нее, одуревшей от безделья, водки и вседозволенности, прибытие женского этапа было лучшим развлечением.

— Гляди-ка, мужики! Товар сам к нам приплыл, — глумливо заблажил молодой мозгляк-конвойный.

— И в деревню идти не надо, — поддержал его приятель. — Бабы с доставкой на дом.

— Личный досмотр надоть провести. Може, чего запрещенное под юбками прячут, — откликнулся еще один любитель лагерного юмора.

Женщины стояли, понутив головы. Запыленные, с серыми от усталости лицами. Еще не получившие лагерную робу, одетые в домашнее, в то, в чем их арестовали, они были еще разными, хотя печать общей доли уже легла на них. Привыкший к подобным зрелищам, досыта наглядывшийся на человеческое горе, Калашников бездумно рассматривал новую порцию «спецконтингента». И вдруг ударило по глазам, отдалось шемящей острой болью в сердце: в третьей шеренге стояла Лииса! Его Лиза! В том самом старом коричневом платье, в котором ходила с ним в клуб. В какой-то немыслимой кофте с чужого плеча. В синей косынке на белокурых волосах, которые он так любил гладить.

Почувствовав его пристальный взгляд, Лииса подняла голову. Обвела глазами морды веселящейся вохры и, пораженная, застыла: в десяти метрах от нее стоял Николай.

В комендатуре, несмотря на поздний вечер, народу все еще было много. Свободные от дежурства охранники шумно пили чай, обсуждали новости и прежде всего прибытие женского этапа. Мёдов, просматривавший за столом ведомости, временами строго поглядывал на этот разошедшийся кагал, и тогда на короткое время вохра переходила на шепот, но, не в состоянии удержаться, опять начинала отпускать соленые шутки, от которых комната взрывалась жеребьим ржанием.

Калашников, пристроившись на табурете рядом с Мёдовым, подавал ему требовавшие подписи сержанта бумаги. Он приготовил для него уже следующую пачку, когда Мёдов решительно отодвинулся от стола, встал, с хрустом потянулся и со вкусом зевнул.

— Все на сегодня! — объявил сержант. — Пойдем, Калашников, кое-что покажу.

Серой тенью за ними на улицу скользнула Найда. Смешной пушистый щенок, с которым так любил возиться Мёдов, превратился за полгода в огромную овчарку со страшной зубастой пастью. Сержанта она не оставляла ни на минуту, да и он без нее жить не мог. Баловал огромными порциями мяса, которые без зазрения совести забирал из котла конвоиров, играл с ней часами и даже жилье ей устроил не в собачьем вольере, а в своей комнате.

Миновав плац, Мёдов направился к самому дальнему барaku, что стоял на отшибе за двумя рядами колючки. В нем, как слышал Калашников, разместили женский этап. Сержант шел не спеша, поглядывая по сторонам. Чем-то он напоминал помещика, прогуливающегося по своей усадьбе. Впрочем, так и было. В лагере он чувствовал себя хозяином. Николай, принаравливаясь к его шагу, семенил сбоку.

— На! Тяпни! — сержант протянул Калашникову флягу.

Хоть это и был, несомненно, дружеский жест, который стоило оценить, Николай все-таки решил отказаться. Спиртное он переносил плохо и даже бутылку пива считал загулом.

— Спасибо, товарищ сержант. Неохота, — промямлил Калашников.

Однако Мёдов фляжку не убрал, а так же настойчиво протягивал ее Николаю. Пришлось взять и отпить. Вонючий самогон ударил запахом сивухи в нос, обжег горло. Но Мёдов был удовлетворен.

— Ты ведь к нам, в эн-ка-вэ-дэ, по комсомольскому набору? — доброжелательно поинтересовался сержант.

— Ага! — отозвался Николай.

— Не «ага», а «так точно, товарищ сержант», — без обычной злобы отреагировал Мёдов. — Эх, тютя! Счастья своего не понимаешь. Вот возьми меня. Жили мы в слободе. Кругом суконщики и красильщики. Люди богатые. А мой папаша — плотник. Да не из лучших. Ходим в рванье, с воды на квас перебиваемся. Меня местные парни и замечать не хотели. Праздник какой — они в пиджаках, в хромовых сапогах, а у меня портки на заднице продраны. Подойдешь к ним, хорошо если просто пошлют, а могут и в рыло сунуть. А в прошлом году я на побывку туда приехал, с мамашей повидаться. Фуражечка, гимнастерка шевиотовая, сапожки хромовые... Как они меня в этой форме увидели, так шапки стали за десять шагов ломать. «Наше почтение, Семён Евсеевич! Как ваше здоровье, Семён Евсеевич?». Вот тут я им все и припомнил. Ребята в райотделе понятливые оказались. Теперь валят мои слободские дружки лес на Колыме. Понял теперь, что у нас за служба? Так что не дрейфы! Держись за Мёдова! Будешь и сыт, и пьян, и нос в табаке.

Они миновали пост. Караульный, увидев Мёдова, вытянулся, а когда тот отвернулся, понимающе подмигнул Калашникову. Перед тем как войти в барак, сержант еще пару раз приложился к фляге, но Кольке уже не предложил. А жаль. Знай он, что предстоит ему увидеть, при всем отвращении к алкоголю надрался бы в лоскуты, лишь бы не помнить, не знать, до какого скотства может дойти человек.

В бараке царила полутьма, разогнать которую единственной лампочке, висевшей

под потолком, сил не хватало. Измученные долгим маршем женщины спали. Кто-то стонал, кто-то во сне плакал.

— Подъем! Строиться! — заорал от дверей Мёдов. Найда, привычная к этим командам, зло зарычала, подгоняя женщин. Те неумело слезали с нар, оправляли юбки и платья и занимали места в шеренге. Лишь одна из узниц продолжала лежать.

— А тебе, курва, особое приглашение? — сержант ткнул ее лежанку сапогом.

Пожилая женщина в очках, по виду бывшая учительница, а может, и партийный работник — таких в лагере тоже хватало, — наклонилась к ней, поискала пульс и отстраненным тоном констатировала: — Она умерла.

— И х... с ней, — отреагировал сержант не без досады. Уж очень ему хотелось начать с показательной расправы. Но тут ему в голову пришла другая мысль, которая сулила развлечение не хуже.

Мёдов двинулся вдоль шеренги, останавливаясь напротив тех, что помоложе, и тыча каждую из них толстым пальцем в грудь.

— Ты, ты, ты, ты и ты, — отсчитал сержант и, надсаживаясь, гаркнул: — Раздеться!

Испуганные женщины замерли, не зная, что делать.

— Не стесняйтесь, дамочки. Я вам почти что доктор, — изгалялся Мёдов и, увидев, что женщины продолжают стоять без движения, снова заорал: — Раздевайся, стерва! Не слышала приказа? — И ловко, почти без размаха залепил оплеуху девушке, на которую указал последней.

— Забыла, как ноги раздвигать?! Я тебе напомним, — брызгая ей слюной в лицо, бесновался Мёдов.

Отмеченные сержантом женщины начали быстро раздеваться. Скинув с себя все вплоть до белья, они встали перед Мёдовым, пытаясь прикрыться руками. Но сержанту этого было мало. Ему хотелось не просто унижить этих женщин, а растоптать их.

— Руки по швам, — скомандовал он. Обнаженные женщины опустили руки и теперь стояли, ежась от холода, страха и гнетущего предчувствия.

Лицо Мёдова разгладилось, стало благодетным. Внимательно, со вкусом, рассматривая каждую заключенную, он получал прямо-таки физическое наслаждение от сознания своей власти над их телами и собственной полной безнаказанности. Он остановился напротив невысокой кудрявой толстушки, пощупал, насколько упруга у нее грудь, хмыкнул и неожиданно перевел взгляд на Лиису, стоявшую в стороне вместе с другими женщинами.

«Худышка, но ладная...» — отметил для себя Мёдов и скомандовал: — Эй ты! Иди сюда!

Скованный ужасом, униженный не меньше этих несчастных женщин, Калашников готов был расплакаться от стыда за себя, за свою трусость. Но решаться-то надо было. Он с трудом разлепил ссохшиеся губы и не сказал, а скорее прохрипел:

— А мне можно глянуть, Семён Евсеевич?

Удивленный Мёдов оглянулся. Он никак не ожидал такой прыти от Калашникова.

— Давай! Для того и звал. Выбирай! Угощаю!

На подгибающихся ногах Калашников подошел к Лиисе.

— Я бы ее взял.

Обладавший прямо-таки звериным чутьем Мёдов явно что-то почуял. Ох, не зря его малахольный помощник за эту девку ухватился. Что-то тут не так.

— Может, какую другую посмотришь, попышней? — Мёдов испытующе посмотрел на Калашникова.

— Нет! Мне эта нравится, — настаивал тот.

Так ничего и не надумав, хотя подозрения гадюками шевелились у него в голове, сержант махнул рукой.

— Да бери — не жалко! Веди в мастерскую. Там никого нет. Что делать-то с ней, знаешь?

Калашников лишь кивнул в ответ. Он схватил Лиису за руку и чуть ли не волоком вытащил ее за дверь. Мёдов покрутил головой. Не мог он себе объяснить эту взявшуюся ниоткуда инициативность Калашникова. «Разберемся», — сделал он себе отметку в памяти и повернулся к толстухе.

— Одевайся! Пойдешь со мной.

Калашников приоткрыл дверь в мастерскую. В ней действительно никого не было. В грязные окна еле проникал свет от качавшейся на столбе лампы. По углам силуэтами угадывались несколько старых станков. Вдоль стен стояли слесарные верстаки, а центр был завален разным железным хламом. Убедившись, что опасности нет, Николай жестом позвал Лиису. И как только дверь за ней закрылась, крепко обнял дрожащую, плачущую и такую родную свою Лизу.

— Коля! Как можно так с нами?! — только и услышал он сквозь непрекращающиеся рыдания. Что он мог сказать в ответ? Как утешить? Лишь крепче обнять, прижать к себе.

— Лиза, я что-нибудь придумаю, — прошептал ей Калашников.

Сам-то он понимал, что обещание это совершенно пустое. Ничего он не придумает, ничего сделать не сможет. Но обретя рядом родного человека, якорь, который привязывал ее к прежней нормальной жизни, где не били, не насиловали, не издевались, Лииса почувствовала себя уверенней, стала успокаиваться. Страх уходил, зато появлялись вопросы. Она смахнула ладошкой слезы с лица и встревоженно спросила:

— А почему ты здесь? Ты же на границе служишь...

Правильно матушка говорила: правда — как шило, из мешка непременно вылезет. Да еще в самый неподходящий момент. Не время сейчас для покаянных речей и откровенных разговоров, — решил Калашников и постарался перевести разговор на другую тему.

— Потом, потом. Как-нибудь расскажу. Ты-то как здесь оказалась? — Он крепче обнял ее.

У Лиисы опять глаза повлажнили. Чтобы сдержать слезы, она сказала так, будто сердилась на его непонятливость:

— Как все. Сначала отца забрали.

Хотя Николай повидал в лагере немало бывших секретарей райкомов, директоров заводов, председателей колхозов, причины ареста Лизиного отца были для него совершенно непонятны. Коммунист со стажем, лично знаком с Георгием Димитровым, в Финляндии в тюрьме сидел, еле бежал оттуда. Да и должность занимал невеликую — бригадир лесорубов. У них дома куска хлеба лишнего никогда не было: зарплату на книги тратили да на бесконечные государственные займы подписывались. Зато авторитетом он пользовался в районе колоссальным. Врать не умел и если был уверен в своей правоте, то и на партсобрании мог сказать такое, что потом весь район повторял.

— Как забрали? Он же был членом парткома, — засомневался Николай.

— Потому и взяли, — всхлипнула Лииса. — Его в Финляндии дважды сажали, потому что коммунист. И у вас за то же. Ночью пришли. Мы спали. Потом арестовали маму. А затем нас с сестрой.

У Калашникова словно холодная жаба на сердце уселась — так ему стало нехорошо. Этих-то из бараков он не знал. Черт их знает, что они у себя натворили! Органы без причин не арестовывают. Но отца Лиисы он знал, как знал и то, что чище, порядочнее, идейнее человека не было. И впервые за эти месяцы возникла мысль: может и эти, из «спецконтингента» не враги вовсе? И если все это ошибка, то больно масштабы ее колоссальны. А значит, это не местные власти дурят, а бери выше. И будто угадав мысли Николая, Лиза спросила:

— Как ты думаешь, Коля, Сталин об этом знает?

Сколько людей по России в те годы этот вопрос задавали. И не в одной душе зарождались сомнения: если не знает, значит не всесильный, а коли извещен, то почему допускает?

— Думаю, знает, — вздохнул Калашников. — Они все там об этом знают. Не могут не знать.

— Но зачем тогда? Зачем?

Калашников только пожал плечами. Не было у него ответа. И вместо того, чтобы пускаться в пустые и ненужные рассуждения, которые мало чем могли им помочь, он достал из кармана небольшой кулек и протянул его Лиисе.

— Здесь сахар. Возьми!

— Спасибо, — обрадовалась та. — Двое суток не кормили.

— Наверное, конвойные ваш паек загнали, — проявил профессиональную осведомленность Калашников. — Я тебе еще еду принесу. Никому не говори, что знаешь меня. Им человека уничтожить, что муху прихлопнуть.

Они просидели в мастерской еще часа два. Однако не так уж много премудростей лагерной жизни успел Калашников передать Лиисе. Больше молчали. Просто сидели, взявшись за руки, и молчали. А о чем особенно было говорить? Прошлые остались за лагерными воротами, а о будущем и думать было страшно. В свой барак Лииса вернулась на рассвете. Калашников проводил ее до дверей (передвигаться ночью по территории заключенным было запрещено). Охранник, пропуская Калашникова и Лиису на «женскую половину», как вохра окрестила эту часть лагеря, понимающе осклабился.

Нужно было благодарить случай за то, что этой ночью Лииса отсутствовала в бараке. Вохра, заявившаяся сразу после Мёдова, желала, как и он, «отдохнуть с женским полом». Конвойные развлекались несколько часов, оставив после себя истерзанные, изломанные тела женщин, смрад самогона и звериные запахи пота и крови. Картина, которую увидела утром Лииса, отпечаталась у нее в памяти на всю жизнь. На нарах, на грязном, затоптанном полу, как сломанные игрушки, лежали в разорванной одежде изнасилованные, избитые женщины. Кто-то был до сих пор в беспамятстве, кто-то стонал, придя в себя. На ногах оставалась только пожилая соседка Лиисы — Альбинская, которую, видно, не тронули из-за преклонного возраста. Она отпаивала водой бившихся в истерику, укрывала тряпьем раздетых, кого-то успокаивала. Лииса кинулась ей помогать.

Утренний развод на работы проходил как обычно. Лагерное начальство сверяло списки, о чем-то переругивалось, решая свои шкурные вопросы. Пока шел торг, более двух тысяч заключенных, стояли в строю, гадая, какие новые мучения им предстоят сегодня. Над огромной массой грязных, оборванных, истощенных людей с мертвыми неподвижными лицами висел еле слышный шелест голосов. У каждого за плечами была следственная тюрьма, из которой было вынесено важное умение — говорить, не шевеля губами. И теперь слова перепархивали из шеренги в шеренгу, переноса важную и не очень важную информацию.

Наконец все вопросы были решены. Конвоиры сформировали партии из тех, кто будет работать на заготовке леса, в карьере, на строительстве пристани, прокладке дорог. Наскучив этой рутинной, начальник лагеря некоторое время с интересом наблюдал за Мёдовской Найдой, которая, разыгравшись, делала вид, что сейчас укусит Калашникова. Но в конце концов ему надоело и это, и он ушел в комендатуру. Как только высокое начальство отбыло поливать свою любимую герань, Калашникова окликнул Мёдов.

— Пойдем! Надо документы для товарища старшего лейтенанта приготовить.

И они тоже отправились в комендатуру.

В канцелярии никого не было. Вечно здесь толкущаяся, что-то жрущая и гомонящая вохра разошлась по постам, что было весьма удачно, поскольку вопросу,

который Калашников хотел обсудить с сержантом, посторонние уши были ни к чему. Пока Николай раскладывал на столе папки с отчетами, Мёдов нацедил себе из титана большую кружку воды и с наслаждением выпил. Местный самогон по иссушающему воздействию вполне мог быть приравнен к пустынному самому.

Придвинув стул, Мёдов открыл первую сводку.

— Сколько на сегодня в санчасти числится?

— 47 человек, — отрапортовал Калашников.

— Много, — поморщился Мёдов. — Надо помлекаря менять. Больно охотно он освобождения выписывает. Гнать всех симулянтов.

Сержант достал из стола канцелярские счета и стал проверять продуктовую ведомость. Костяшки так и летали по проволочкам, демонстрируя способность сравнительно небольшой команды охранников съесть больше продуктов, чем две тысячи заключенных. Считал Мёдов виртуозно, позволяя себе даже отвлекаться на посторонние темы.

— Что вчера? Попробовал свою белобрысую? — тоном приятеля, принимавшего участие в совместной шалости, полюбопытствовал он.

— Попробовал, — густо покраснел Калашников, что было тут же замечено Мёдовым. Он отодвинул бумаги и удобнее расположился на стуле.

— Ну, как ты ее? Расскажи. Люблю такие истории.

— Да обычно. Ничего особенного, — попытался вывернуться Калашников.

Но Мёдов уже настроился на длинную сальную сагу и лишать себя этого удовольствия не желал. Он закурил и поощрительно махнул рукой.

— Давай в подробностях. Что ты, что она...

Конечно, Калашников мог что-то сочинить. Материала для этого было в изобилии. Во время вечерних разговоров в казарме эта тема была, безусловно, ведущей, далеко опережая по заинтересованности конвойных масс вопросы языкознания и даже сталинский план строительства лесозащитных полос. Но Николаю хотелось вывести Мёдова на другую тему. Лииса просила его узнать о судьбе отца. И посчитав момент благоприятным, Калашников решил.

— Сёмен Евсеевич, а у нас среди заключенных нет такого Мухинена? — как бы между прочим спросил он.

— А на фиг он тебе сдался? — раздосадовано спросил сержант.

— Это отец ее. Он лесоруб, член ВКП (б), — спешил выложить свои аргументы Калашников. — Может, это ошибка? — Он посмотрел на Мёдова с надеждой.

Сержант, который до этого сидел в расслабленной позе жуира, мгновенно подобрался, словно охотник, услышавший давно ожидаемый звук приближающейся добычи, встал из-за стола и подошел к Калашникову. Не ожидавший такой реакции, тот с удивлением посмотрел на Мёдова. И тут же получил в лицо удар такой силы, что в одно мгновение поменял табуретку на дальний угол канцелярии. Он и очухаться не успел, как разъяренный Мёдов уже навис над ним. А Найда приноравливалась вцепиться в горло.

— Ошибка? Ошибка, говоришь? — Мёдов и не подумал отозвать собаку, хотя видел, что его угрожающий тон приводит ее во все большее неистовство. — А может, ошибка, что тебя в наши ряды взяли? Может, тебе место не здесь, а в бараке, среди таких же врагов Советской власти?

Так Калашникова никогда не били. Удар был мастерский. Боль — настолько непереносимой, что его стошнило.

— Сёмен Евсеевич! Да это... — его разбитые губы тряслись, слова он выговаривал с трудом. — Я просто так... По глупости. Простите...

Мёдов наклонился над Калашниковым, будто хотел что-то рассмотреть на его залитом кровью лице.

— Чего у тебя там, Коль? — заботливо поинтересовался сержант, словно заметил на щеке царапину.

Калашников попробовал улыбнуться и сразу же получил сокрушительный удар сапогом в живот, вызвавший новый приступ рвоты.

— Они мне все по х... — рыдая от боли, прошептал Калашников. — Пусть хоть передохнут... Я ж вам...

Он действительно в эту минуту ненавидел и Лиису, и ее отца. Всех, из-за кого он вынужден был испытывать эту муку.

— Смотри, падла! — Мёдов разогнулся, повернулся спиной к залитому кровью и рвотой Калашникову, погладил, успокаивая, Найдю и прошествовал к столу. — Ошибка... — повторил он еще раз, как бы запоминая это слово. — Уберешь все здесь!

Калашников не видел Лиису несколько дней. Не то чтобы не было возможности — при его службе повод всегда можно было найти — скорее, не хотел. Стыдно было и своих мыслей, и разбитой физиономии. Да и страх перед Мёдовым сидел в печенке. Но постепенно он успокоился. Сержант не подавал виду, что помнит, как Николай опростоволосился, разговаривал с ним обычным тоном. То есть приказывал, орал, но рук не распускал. А чаще просто не замечал Калашникова.

Сочтя, что надзор ослаб, Николай решил попробовать найти Лиису. Оказалось, что сделать это не так просто. Погода была северная — хмурая, слезливая. Зарядив с утра, холодный, нудный дождь к вечеру разошелся в ливень, и заключенные после проверки сразу же разошлись по баракам, чтобы успеть за ночь хотя бы немного подсушить одежду.

Он торчал за женским бараклом уже больше часа, когда увидел бежавшую к дровяному сараю Лиису. Намокшее платье облепило тело. Она еще больше похудела, плечи ссутулились. И вся она была такая жалкая и несчастная, что у Николая защемило сердце. Он вышел из-за угла барака и схватил ее за рукав накинутаго на голову ватника. От неожиданности Лииса вскрикнула.

— Это я, — успокоил Калашников.

— Напугал.

Но Николаю было не до извинений. Он боялся, что их увидят вместе и донесут Мёдову. Стукачей у того в лагере было множество: и промеж вохры, и среди заключенных.

— Вот хлеб и сахар. — Калашников сунул Лиисе небольшой сверток. — Хлеб съешь сейчас, иначе в бараке отнимут, а сахар припрятать.

Увидев хлеб, Лииса не могла удержаться. Откусила прямо от буханки, проглотила, не разжевывая, откусила еще... И готова была действительно съесть этот восхитительно пахнувший хлеб целиком, но опомнилась, завернула его опять в тряпицу и спрятала под ватник.

— Слушай меня внимательно, — торопился все сказать Калашников. — Тут всем заправляют уголовники. Хлебная пайка маленькая. Люди мрут каждый день. Хочешь выжить — скажи, что умеешь шить. Все! Пойду, пока нас не заметили. — И быстрым шагом, почти бегом, направился в сторону плаца.

Рукавицы шить — дело нехитрое. А для Лиисы, которая с десяти лет обшивала себя сама, и вовсе забава. Она вполне могла бы, как и остальные женщины, работавшие в цехе, шить телогрейки. Но Карл Петрович, мастер из вольнонаемных, сказал, что «зелен еще виноград», пусть для начала хотя бы по рукавицам норму выполнит.

Швейный цех, в котором трудились три десятка женщин, размещался в обычном бараке. Двадцать длинных столов, стоявших в два ряда через проход, — вот, собственно, и все оборудование. Не богаче был и набор инструментов, которые каждое утро мастер выдавал заключенным, — ножницы да несколько толстых игл.

Столь же примитивен был технологический процесс, который Лиисе предстояло освоить. Сначала по лекалам надо было вырезать из толстой брезентовой ткани заготовки, а потом сшить их попарно. Ничего сложного. Беда была в том, что ножницы отродясь не точили, поэтому они не столько резали, сколько мяли ткань, а иголки были все как одна тупые.

Труд, как и все в лагере, был организован бездарно. Одна швейная машинка с ременным ножным приводом могла поднять производительность труда раза в четыре, механический нож-резак увеличил бы ее раз в пять. Но чем заморачиваться такой «ерундой», как выразился старший лейтенант Тельнов, проще было нагнать в мастерскую побольше баб. По этой части резервы у начальника ИТЛ были поистине неисчерпаемые.

За двенадцать часов работы Лииса, как ни старалась, норму не освоила. И ни одна из работавших с ней рядом женщин этого сделать не смогла. Это тоже была уловка лагерного начальства. Не выполнявший норму получал половину пайка. Излишки хлеба продавали или обменивали на самогон. Спину ломило, пальцы были исколоты, покрылись водяными мозолями. Тем не менее работа в мастерской считалась легкой. Ее мечтали получить многие. Все-таки сидят под крышей, не в лесу, под бревнами не корячатся, дождь их не мочит.

На следующий день Лииса сунула под ватник хлеб, который передал ей Калашников. Дождавшись, когда мастер вышел из цеха, она стала нарезать буханку на маленькие кусочки портновскими ножницами. Товарки не обращали на нее внимания, занятые шитьем. Лишь с соседнего ряда на нее время от времени посматривала девица лет тридцати. Когда-то она была, наверное, хороша собой. Но годы в лагере огрубили черты, сделали лицо хищным и угрюмым. Женщины предупреждали Лиису, чтобы она держалась от нее подальше: красавица была воровкой-рецидивисткой.

Лииса нарезала уже полбуханки, когда в ее остатки вцепилась незаметно подошедшая соседка.

— Отдай! — зло прошипела она.

Лииса перехватила ее руку.

— Ты что?! Это на всех.

Соседка продолжала тянуть хлеб к себе.

— Отдай, сука! Прирежу, шалава!

Только тут блатная заметила, что ей в живот уперлись острием ножницы, которыми Лииса резала хлеб.

— Лучше уйди. Ударю, — твердо сказала Лииса. Красавица отшатнулась. Зато Лиису окружили привлеченные перепалкой женщины.

— Берите! — показала на хлеб Лииса. — Вот! Каждой по куску и по кусочку сахара. Я на всех разделила.

Женщины мгновенно разобрали хлеб и сахар и быстро разбежались по своим местам. Лииса смела в ладонь оставшиеся на столешнице крошки и отправила их в рот. Ей хлеба не хватило.

Для Калашникова раздобыть буханку хлеба в лагере была не такая уж простая проблема. Купить ее было негде, а ежедневно таскать куски со стола — непременно обратили бы внимание. Кормили вохру что называется «от пуза», и человек, припрятавающий хлеб, выглядел бы странно. Николай уже один раз поймали за этим занятием — отговорился тем, что, дескать, для Найды хлеб взял, за что и получил нагоняй от Мёдова: «К чужой собаке не примазывайся!»

Понятно, неучтенный хлеб в лагере был, причем в избытке. Пайки заключенным резали безжалостно, не обращая внимания на то, что они и без того еле таскают ноги. Но этим богатством распоряжалось высокое начальство. По каким-то тайным каналам хлеб попадал и к блатным. У них через доверенного человека его можно было

выменять на чай, курево, водку или золото. Золото лагерные паханы брали охотнее всего. И украшения, и коронки.

Но золота у Калашникова все равно не было. И тогда он повадился таскать хлеб со склада. Придет вроде бы за какой-нибудь ерундой, и пока старшина ее в своих закромах разыскивает, он — шасть к полкам, буханку под шинель — и только его и видели.

Вот и на этот раз Николай попросил старшину выдать ему новые портянки. И только тот, на чем свет ругая безалаберную молодежь, на которой все буквально горит, направился в конец склада, Калашников метнулся к полкам с хлебом. Он уже пристроил за ремень буханку черного солдатского хлеба, когда над ухом у него раздался голос Мёдова.

— Проголодался? Али кралою свою белобрысую подкормить решил? — Рывком за плечо Мёдов развернул к себе сомлевшего от страха Калашникова. — Это понятно. Это ничего... Только мне-то что с того? Ты ведь казенный хлеб ворует. Подсудное дело. Сроком карается. Какой смысл мне тебя покрывать?

Николай не знал, что и отвечать. Он лишь затравленно смотрел на торжествующего сержанта. Наконец-то тому удалось поймать своего тихоню-помощничка с поличным.

— Короче, дело такое. — Для большей убедительности Мёдов сгреб лацканы шинели Калашникова в кулак. — Когда Мухинен хлеб передавать будешь, поинтересуйся, чем ее соседка Альбинская дышит. Вредная баба. До революции у эсеров на побегушках была. А мы Мухинен твоей еще хлеба дадим. А что? Пусть живет. Ну, и ты, понятно, тоже, — с угрозой закончил сержант.

Оттолкнув Калашникова, Мёдов свистнул вертевшейся поблизости Найде и направился прочь.

«Вот и подсел я на крючок, — закручинился Николай. — Он и раньше из меня веревки вил, а теперь и вовсе со свету сживет. Вся надежда на Лизу. Она поможет. Узнает что-нибудь про эту Альбинскую, будь она неладна, и отстанет Мёдов. И опять же пообещал ведь он Лизу не слишком притеснять. Все ей полегче будет». В общем, самому себе все объяснил и почувствовал себя обделавшимся, как после памятного разговора с пряжским энкавэдэшником о Юрке Родионове. Но что тут поделаешь? Назвался груздем, полезай в кузовок.

На всякий случай Калашников внимательно прочитал инструкцию о вербовке секретного сотрудника. Но решил, что у него все равно так не получится, и поэтому лучше попробовать честно поговорить с Лизой. Однако формальности нужно было соблюсти, и он приказал доставить ее после вечерней поверки в комендатуру.

Кабинет начальника оперативного отдела, который занял Калашников, был крайне мал. В нем с трудом помещались стол со стулом для следователя и привинченная к полу табуретка для зэка. К откровенным беседам эта аскетичная обстановка никак не располагала. Как и рассказы, которые ходили среди заключенных об этом кабинете. Здесь избивали особенно жестоко и изощренно. Мало кто из зэков выходил за эту дверь на своих ногах. Разве что регулярно посещавшие его стукачи. Да и тем часто доставалось, чтобы не засветились.

В комнату вошла Лииса, еще больше похудевшая за те дни, что он ее не видел. За ней топал сапожищами конвоир.

— Заключенная Мухинен по вашему приказанию доставлена, — доложил он.

— Иди! Я позову, — откликнулся Калашников, выпроваживая конвоира за дверь.

Обнять Лиису он постеснялся, будто боялся, что за ними будут подглядывать. Усадил девушку на табуретку. Достал из ящика стола хлеб и уже вскрытую банку мясных консервов.

— Ешь! — и пододвинул еду Лиисе. — Начальство разрешило.

— Начальство разрешает подкармливать стукачей, — заметила Лииса. Она уже

многое знала о лагерных порядках, что было в порядке вещей. Хотевшие выжить учились здесь экстерном.

— Ешь, говорю! — прикрикнул на нее Калашников, словно перед ним сидела маленькая девочка.

Впрочем, уговаривать ее не пришлось. Голодная Лииса накинулась на еду. Николай, чтобы не смущать ее, отвернулся к окну. Может, ему стоило помолчать, дать Лиисе хотя бы поесть, но нестерпимо тянуло быстрее закончить этот разговор, получить ее подпись на уже заготовленном соглашении о сотрудничестве с НКВД. И Калашников не выдержал.

— Лиза, а ты такую Альбинскую знаешь? — задал он новый вопрос, усаживаясь напротив Лиисы.

— Все-таки вербуешь? — Лииса отодвинула недоеденные консервы.

Не задавался разговор. Не выстраивался. Он собирался уламывать испуганную девочку, готовую на все, лишь бы вырваться из лагеря. А перед ним сидела взрослая девушка, которая за эти несколько недель увидела такое, чего иному и на всю жизнь хватит. И Калашников сбился с покровительственного тона, засуетился.

— Пойми! Я для тебя... — Он даже попробовал взять Лиису за руку, но она, заметив его движение, убрала ее под стол. — Что она тебе? — стал горячиться Калашников, поскольку Лииса сидела с равнодушным видом, никак на его уговоры не реагируя. — Чужая. Ты ее не знаешь совсем. Она опасный человек. Я дело ее читал.

— Для кого опасный? Для меня или для тебя? — Лииса наконец подняла на него глаза. Впрочем, это был даже не вопрос. А скорее, констатация того, что они находятся по разные стороны забора из колючей проволоки.

— Для всех, — попробовал прорвать его Калашников. Но тут же не к месту ляпнул. — Ею Мёдов интересуется.

— И что? — Голос Лиисы стал еще холоднее.

— Надо ему хоть какой-то кусок бросить, чтобы отстал, — отчаявшись объяснить, как он завяз, выкрикнул Калашников. — Лиза! Пойми! Надо как-то выжить! Тебе надо выжить.

Когда он сказал: «Тебе надо выжить», Лииса понимающе усмехнулась. Как ни горько было это сознавать, но парень оказался слабаком. И боялся он сейчас не столько за нее, сколько за себя.

— Коля! Так нельзя! Не такой ценой! Подло это, — пыталась она пробиться к нему через этот страх. — Что же это за жизнь будет? Коля!

— Мне-то что делать?! — с отчаянием бросил Калашников. Он уже понял: вербовка провалилась. От этого ему стало так обидно, что он даже не обратил внимания на то, как отстраненно Лииса попрощалась с ним. Кликнул конвоира и тяжело опустился на стул.

И в аду, особенно если он хорошо организован, есть тайные райские местечки: избранные за особые заслуги или отмеченные благосклонностью начальства работники лагеря могли расслабиться после тяжелой службы. Существовала за казармой рубленая из осиновых бревен небольшая банька, в которой по субботам совершал омовения в кругу ближайших сподвижников товарищ старший лейтенант госбезопасности Тельнов. Для публики попроще был закуток за кухней для хранения особо ценных продуктов. Там обосновался сержант Мёдов со своей новой страстью из заключенных. Обслуживал их сам старший повар.

— Картошечка у меня жареная с мясом готова. Может, откушаете, Семён Евсеевич? — настойчиво предлагал он, весь лучащийся от счастья лицезреть такого гостя. Спутницу сержанта из соображений высокого политета он как бы не замечал.

— Неси, — великодушно разрешил Мёдов.

Всего через минуту повар внес в кладовку огромную сковородку с плавающей в жире картошкой. Водрузил ее перед Мёдовым. Подал хлеб и сливочное масло.

— Ну?! — сержант вопросительно взглянул на повара.

— Что еще, Семён Евсеевич? — засуетился тот.

— Совсем у тебя мозги жиром заплыли, — с грустью констатировал сержант. — Не слышал, что сухая ложка рот дерет?

— Ох, извините, — засмутился повар. И на столе мгновенно появилась бутылка водки. Мёдов и его пассия, та, что пыталась отобрать у Лиисы хлеб, для разгона выпили по стакану и приступили к картошке. В этот сладостный и совершенно неподходящий для служебных дел момент в приоткрытой двери появилась голова Калашникова.

— Разрешите обратиться, товарищ сержант?

— Чего тебе? Пожрать спокойно не дадут, — недовольно буркнул Мёдов.

— Из Сегежи телефонограмма пришла. Просят еще эсков прислать, — отрапортовал Калашников.

Составление ответа назойливым сегежцам много времени не заняло.

— Пошли они на х...! — наметил им директиву движения сержант и, демонстрируя широту души, щедро предложил: — Выпить хочешь?

— Спасибо, Семен Евсеевич. Я бы чаю попил, — пролепетал Калашников.

— Чай пить вали в другое место, — оборвал его сержант и, подчеркивая, что он никогда не забывает о своих служебных обязанностях, спросил: — Ты со своей белокрысой говорил? Подписалась она на сотрудничество?

— Нет, Семён Евсеевич, — вынужден был повиниться Калашников. — Но я ее дожму.

— Ни хрена ты не умеешь, — с раздражением на нерадивых подчиненных заметил Мёдов. — Ладно, иди! И кликни мне кого-нибудь из охраны.

Пока Калашников выполнял поручение начальства, первую бутылку допили. Но тут же на столе появилась вторая, встреченная одобрительной улыбкой Мёдова. Окончательно размякший от хозяйской ласки повар готов был поразить воображение сержанта новыми гастрономическими изысками.

— Селедочка у меня есть. Я ее в спитом чае вымочил. Нежнейшая, — гомеровской сиреной пропел повар. Резолюция Мёдова была коротка и энергична:

— Давай!

Между селедкой и солеными рыжиками был принят охранник.

— Кузьмин! Найди мне Мухинен и доставь сюда. Аллюр три креста, — напутствовал гонца Мёдов. Тот обещал все исполнить в лучшем виде.

Однако поиски продлились несколько дольше, чем ожидалось. До половины третьей бутылки. Поэтому, когда Мухинен наконец привели, Мёдов был уже изрядно пьян, да и приустал чуток, поскольку перемежал обильные возлияния несколько однообразными интимными играми. Тем не менее держался он бодро, за столом восседал по-прежнему прямо. А вот подруга его товарный вид потеряла окончательно. Она спала на мешках с мукой, ее дешевое цветастое платье задралось, обнажив тощие ноги в черных синяках. Конвоира эта картина не смутила (видел и не такое). Он доложил о выполнении приказа и собирался уже ретироваться от греха подальше, но был остановлен начальственной дланью, указавшей на пьяную подругу, и приказом: «Забирай!» Плохо соображающую, но не желавшую покидать банкет даму удалось удалить лишь с помощью повара. Когда порядок был восстановлен, Мёдов устремил вопросительный взгляд на Лиису.

— Лииса Мухинен. Десять лет. 58-я статья, — доложила она.

Надо отдать должное сержанту: для возвращения в рабочее состояние ему потребовалось всего несколько секунд и стакан огуречного рассола.

— Садись, Мухинен! — предложил он. — Поговорить с тобой хотел. Ты ведь из Пряжи?

— Да, гражданин начальник.

— Значит, Калашникова еще до лагеря знала? — предположил Мёдов.

— Нет, гражданин начальник. Никогда не встречала, — отрезала Лииса.

— Ох, скрытная ты девка, Мухинен, — сержант шутливо погрозил ей пальцем. — По одним улицам ходили и не встречала?

— У нас большой поселок, — держалась своей линии Лииса.

— Странно у нас, Мухинен, получается, — Мёдов пододвинул поближе к Лиисе сковородку с остатками картошки. — Ты картошечки-то поклюй! Ты его не знаешь, он тебя не знает, а хлеб для тебя таскает, на работу, что полегче, определил. С чего такая забота?

А вот теперь Мёдов уже не шутил. Он набычился. Лицо налилось кровью.

— Не знаю, — продолжала стоять на своем Лииса.

— Заладила ворона говно долбить — не знаю, не знаю! — заорал Мёдов. Но сумел взять себя в руки. — А ты подумай! Дали тебе десятку. Срок немаленький. Его переплыть надо. А шансов у тебя, Мухинен, мало. Ты, небось, думаешь: я молодая, выдюжу... Ты — финской нации. То есть не просто враг народа, но еще и шпионка. Вас сколько сюда в тридцатые годы приехало? Не знаешь? А Мёдов тебе скажет: более двенадцати тыщ. И где они все теперь? Кто на погосте, а кто сидит. Ты ешь, ешь картошечку...

Мёдов опять был сама доброта. Он налил полстакана, выпил. Зажевав соленым грибом, внимательно посмотрел на Лиису.

— Что же получается? Конец Мухинен? Ну, почему же? — Мёдов попробовал дотянуться до Лиисы, но она сидела далеко от него, поэтому в целях экономии движений он опять взялся за бутылку. — Мёдов может Мухинен и по болезни сактировать, и в трудпоселенцы перевести. Только Мёдов к тебе по-хорошему — и ты к нему по-хорошему.

Должно быть, последняя фраза была для сержанта прелюдией к более активной части вербовки. Он поднялся из-за стола, держась за стену, — качало его изрядно, — дошел до Лиисы и всей многопудовой тушей навалился на нее, пытаясь содрать ватник.

— По обоюдному согласию... оно-то лучше, — приговаривал Мёдов, хотя «по обоюдному» как раз не получалась. Лииса неумело, но активно сопротивлялась, и пьяному сержанту справиться ней никак не удавалось. Но он, конечно, был намного сильней...

— Помоги... — попробовала позвать на помощь Лииса. Мёдов зажал ей рот грязной вонючей ладонью, а другой рукой полез под платье.

— Да хоть оборись, дура! — заржал Мёдов. — Так-то еще интереснее.

Часть IV. Далеко от войны

22 июня 1941 года

«Доношу, что все аппараты НКГБ КФССР 24 июня с.г. по состоянию на 21 час работали нормально. В 14 часов Выборгским ГО НКГБ сообщено о высадке десанта со стороны Финляндии близ станции Хийтола Куркиекского района. Произведенной проверкой на месте оперативной группой факт высадки десанта не подтвердился.

Нарком госбезопасности КФССР М. Баскаков».

Забравшееся уже в зенит солнце так нагрело казарму, что дышать было нечем. Взбодренные теплом мухи, тяжело жужжа, выписывали под потолком фигуры высшего пилотажа, а притомившись, принимались бродить по потной физиономии Мёдова. Сержант на их променад никак не реагировал. Укутавшись стеганым ватным одеялом, он крепко спал, выбрасывая в атмосферу кубометры самогонного перегара.

Эту идиллию грубо нарушил старший лейтенант Тельнов, который уже целый час разыскивал сержанта по всему лагерю. Накалился он изрядно, поэтому без всякой подготовки сорвал с Мёдова одеяло и заорал ему в ухо:

— Мёдов! Просыпайся!

Однако решительные действия начальника лагеря особого эффекта не возымели. Сержант отгородился от мира подушкой, из-под которой заплетающимся языком пробормотал:

— Пошел на х...!

За что и был тут же наказан ударом кулака по затылку. Мёдов разлепил глаза и пулей выскочил из койки.

— Товарищ старший лейтенант! Извините! — смущенно залепетал он.

Но Тельнову было не до извинений.

— Война, Мёдов! — тихо сказал он.

— Война? Как! С кем? — не мог сообразить со сна Мёдов.

— С Голландией, твою мать! — Лейтенант с укоризной посмотрел на опухшую морду ближайшего сподвижника. — Ты что, последние остатки мозгов пропил?! С немцами, конечно. Приказ пришел. Меня откомандировывают в Петрозаводск. Ты назначен начальником лагеря. Тебе присвоено звание младшего лейтенанта государственной безопасности, Калашникову твоему — сержанта. Дела сдавать некогда. В общем, бывай, Мёдов, может, еще и свидимся. Харю хоть умой, младший лейтенант...

И Тельнов, не подав Мёдову руки, вышел из казармы.

Это может показаться поразительным, но в ИТЛ известие о начале войны не вызвало ни паники, ни тревоги, ни тем более взрыва патриотизма. Лагерь был особой территорией, которая жила своей паразитической автономной жизнью, не слишком озабочиваясь делами страны. «Архипелаг ГУЛАГ». Точнее не скажешь. Со своим социальным устройством, своими законами, своей моралью. Его население не вело счет ни катастрофам, ни удачам, которые переживало государство и его граждане. К ним они имели весьма опосредованное отношение. Реальны были всего две проблемы. У заключенных — выжить, у охраны — постараться выжать из эзков как можно больше кубометров земли, леса, руды. Поэтому и нападение фашистской Германии на Советский Союз казалось чем-то абстрактным, далеким, к их работе и жизни отношения практически не имеющим.

Вот присвоение Мёдову звания младшего лейтенанта госбезопасности и назначение его начальником лагеря — это было событие, которое могло очень многое изменить в привычном ходе вещей. А такие планы в голове новоиспеченного начальника уже бродили. Ну, а пока он весело плескался под рукомойником, с усмешкой поглядывая на стоявшего рядом Калашникова. Тот то и дело скашивал глаза на свои малиновые петлицы, пустоту которых наконец заполнили два рубиновых кубика.

— В армии к тебе бы обращались «товарищ лейтенант». Понял, Коля, за кого держаться надо? — Мёдов вытер лицо и бросил полотенце Калашникову.

— Спасибо, Семён Евсеевич! Я за вас... — чуть не захлебнулся от восторга Коля. Поди-ка! Двадцать лет — и уже сержант госбезопасности. Это тебе не танком командовать. Увидев такие рубиновые кубики, и полковник в штаны надеть может.

— Ладно, ладно... — покровительственно заметил Мёдов на это шенячье ликование, которое ему тем не менее было приятно. — Давай без соплей. Дел у нас невпроворот, а врагов с каждым днем все больше. Но мы ни одной гниде потачки не дадим. Глядишь, скоро немцев принимать будем, — он подошел к Калашникову, поправил загнутый воротничок гимнастерки. — А Мухинен ты брось! На кой тебе эта финская шваль?

Но война все-таки шла. И даже не так далеко, как представлялось лагерной вохре. 24 июня к Германии присоединилась Финляндия. И линия фронта разом придвинулась к лагерю. Однако благостное настроение «наше дело — сторона», царившее в рядах вохры, было непоколебимо. Каждый конвойный твердо верил в то, что уж их, главных охранителей порядка в государстве, в окопы не пошлют.

Тем не менее в конце июля в лагерь прибыло высокое начальство: молодой

капитан госбезопасности в форме пограничника и пожилой батальонный комиссар. Мёдов, только взявший бразды правления в руки и еще до конца не разобравшийся в хитрой бухгалтерии живых и мертвых душ, которую вел с большой выгодой для себя бывший начальник Тельнов, здорово струхнул. Он уже начал каяться, валя все на Тельнова, когда капитан резко оборвал его и не без брезгливости в голосе объяснил, что его махинации с пайками для заключенных не интересуют. Они должны с комиссаром набрать добровольцев в штрафной батальон, который в ближайшие дни будет отправлен на фронт.

Услышав это, Мёдов сразу почувствовал себя увереннее. Тут ему ничто не грозило. Хотят воевать — пусть идут. Хотя, с другой стороны, терять дармовую рабочую силу тоже не хотелось. Поэтому решил продемонстрировать полную готовность выполнить задание командования, но свои интересы при этом соблюсти. В итоге спор затянулся на целый час.

— Товарищ капитан, да разве я против?! — ворковал Мёдов, прижимая руки к сердцу. — И не могу я быть против. У вас приказ на руках. Но не пойдут они воевать. Поверьте мне, старому чекисту!

Капитан, у которого на груди были два ордена Боевого Красного Знамени, поморщился, услышав о «старом чекисте» от лагерного вертухая. Увертки Мёдова ему уже порядочно надоели. Но он все еще пытался говорить спокойно.

— У вас в лагере три тысячи человек. И все, как один, враги?!

— Все, — сокрушенно развел руками Мёдов. — Иначе бы не сидели. Нельзя им оружие в руки давать.

Комиссар, который до этого в основном молчал, не выдержал и вмешался в спор.

— А вы знаете, товарищ Мёдов, что с начала войны по приказу товарища Сталина многие военачальники были возвращены из мест заключения? Их дела пересмотрены, и теперь они отлично воюют.

— Товарищу Сталину, конечно, виднее, — дал обратный ход Мёдов. — Он на то и Сталин. Но у нас здесь военачальников нету, а вот всяких троцкистов и иностранных шпионов хоть отбавляй. — Мёдов сделал вид, что задумался в поисках выхода. — Разве актив поддержит. Он у нас исключительно из социально близких. Из уголовников, то есть.

Капитан, уже порядком уставший от этого беспредметного разговора, невольно повысил голос.

— Слушай, голова садовая! Потери в частях катастрофические. Батальоны таковые только по названию, а штыков и на довоенную роту не наберется. Пополнение нужно, как воздух.

Дверь распахнулась, и в комнату вошла Найда. При виде незнакомых людей шерсть у нее на загривке поднялась, и она злобно зарычала.

— Да убери ты отсюда собаку! — в сердцах рявкнул капитан. — Устроил тут собачий питомник.

Мёдов ухватил собаку за ошейник и с трудом вытащил сопротивляющуюся Найду за дверь. За собаку он ужасно обиделся и вернулся за стол с намерением ни в чем не помогать этому липовому пограничнику.

— В общем, ситуация такая. Сейчас в лагере никого нет, — твердо сказал Мёдов, как бы подводя итог дискуссии. — Только хозяйственная команда и больные в санчасти. На утреннем разводе — пожалуйста, выкликайте. Но увидите: никто не пойдет, — и чтобы подсластить свой мрачный прогноз, предложил: — Может, баньку вам с дороги организовать?

— Давай уж, лейтенант, без бани обойдемся, — ответил, надевая фуражку, капитан.

Набор добровольцев Мёдов приказал держать в тайне. Сам он фронта боялся как огня и про себя решил, что приложит все усилия, чтобы туда не попасть. Но его

«спецконтингент» вполне мог предпочесть крохотный шанс уцелеть в мясорубке верной смерти на лесоповале или от голода.

Утренний развод непривычно затянулся. Явно кого-то ждали. Наконец из комендатуры появились Мёдов, капитан-пограничник и комиссар. К Мёдову подбежал с рукой у козырька Калашников, которому выпало дежурить по лагерю.

— Товарищ младший лейтенант госбезопасности, заключенные построены, — отрапортовал Калашников.

Мёдов откашлялся, как перед длинной речью, но сказал коротко.

— Смирно! К вам хочет обратиться батальонный комиссар товарищ Рунов.

Комиссар вышел вперед, оглядел строй заключенных и начал без всякой аффектации, как будто вел беседу в красном уголке.

— Я буду говорить коротко. Страна в смертельной опасности. Враг наступает на всех фронтах. Родина дает вам возможность встать в строй ее защитников. Из добровольцев будет сформирован штрафной батальон. Отличитесь в боях или получите ранение — будет рассматриваться вопрос о вашей полной амнистии, а затем продолжите службу в обычной части.

Теперь вперед вышел капитан-пограничник и зычно скомандовал:

— Добровольцы, шаг вперед!

Строй заключенных остался недвижим. Питанные, оболганные, обманутые не один раз политические не верили этой власти, не верили даже в то, что им дадут возможность умереть с оружием в руках свободными людьми. А уголовникам менять привольное житье в лагере на тяготы и опасности военной службы тем более было не с руки. Они и загомонили первыми.

— Пусть начальнички идут. Слабо им! — выкрикнул кто-то из задних рядов.

— Чтобы урка в армию записался?! — Стоявший в первой шеренге прибалтанный в кепке-восьмиклинке даже сплюнул на землю, демонстрируя свое отношение к такому предложению.

Мнение уголовников определилось. Но политические своего слова еще не сказали. И вот кто-то отчетливо произнес:

— Чем здесь сдохнуть, лучше в бою.

После томительной паузы, во время которой Мёдов победно посматривал на комиссара и капитана, из строя вышел первый, затем сделал шаг вперед второй заключенный. Вот уже добровольцев полтора десятка, сотня, несколько сотен. У Мёдова сделался растерянный вид, он не знал, куда девать глаза, зачем-то снял фуражку, снова надел ее, извлек из кармана грязный носовой платок и стал вытирать вдруг вспотевшую шею.

Капитан, а за ним комиссар с Мёдовым подошли к добровольцам.

— Какая статья? — обратился капитан к первому в строю.

— 58-я, — последовал краткий ответ.

Капитан перешел к следующему.

— Статья?

— 58-я, гражданин начальник.

— У тебя? — обратился капитан к стоявшему рядом заключенному в очках.

— 58-я, — был тот же ответ.

Лицо капитана потемнело от гнева. Он не говорил, а буквально выплевывал слова в лицо перетрусившему Мёдову.

— На уголовников у тебя надежда?! Устроил тут малину с брусничным вареньем. Вон охрана какие морды нажрала. Ни один из твоей команды ко мне не подошел, на фронт не попросился.

Мёдов уже собрался потихоньку исчезнуть от греха подальше, но, опередив его намерение, его подозвал к себе батальонный комиссар.

— Всем добровольцам выдать новые телогрейки и сапоги, — приказал он.

— Да где же я их столько возьму?! — возмутился начальник лагеря.

— В баньке для комсостава пошарь, — мстительно посоветовал пограничник.

Капитан с комиссаром численность лагеря почти уполовинили. Но это было еще полбеды. Настоящие неприятности только начинались. Резко упала выработка. Привыкшие отсиживаться по баракам уголовники на лесосеку шли неохотно. Вохра конфликтовать с ними боялась. Между тем из Управления шли все более грозные приказы с обещанием различных кар за невыполнение плана. К тому же сидевший в Петрозаводске дружок Мёдова сообщил, что из конвойных, поскольку они, дескать, и оружием владеют, и местность знают, собираются организовать отряд для противодействия диверсантам. А командиром его, — удружил бывший начальник Тельнов, — думают назначить Мёдова. От такой перспективы Семёну Евсеевичу стало совсем тошно. И сидел он в своей маленькой комнатке, обняв прильнувшую к нему Найду, приговаривая:

— Найдочка! Красавица! Умница! Я тебя ни на кого не поменяю. У вас, блохастых, все просто. Из щенка собака вырастет. Из котенка — кошка. А у людей?! Черт его знает, что из какого-нибудь сопливого Васьки получится! Может, верный ленинец, а может, Колчак. А ты — самый верный мой дружок. Мы с тобой на целом свете вдвоем. Ты и я.

Найда жмурила глаза от восторга и барабанила хвостом по полу.

Пока Мёдов проводил время то в горестных размышлениях, то в беспробудных запоях, всеми делами в лагере заправлял Калашников. Он научился приказывать, конвоиры, которые еще недавно и в упор не видели молодого кандидата на звание, начали его побаиваться, да и он почувствовал себя намного свободнее, выскользнув из-под жесткой опеки Мёдова.

И когда он увидел, что у склада Лииса с Альбинской разгружают телегу с дровами, он не таясь подошел к ним. Правда, встал так, чтобы Альбинская не слышала, о чем он говорит с Лиисой.

Лииса встретила его хмуро. Даже не улыбнулась в ответ. Он в последние дни избегал ее, и она, конечно, это заметила. Калашников решил не обращать на это внимания. У него была важная новость, которой он хотел поделиться с Лиисой. Поэтому так прямо и сказал:

— Финны наступают. Лагерь скоро эвакуируют.

Лииса помолчала, потом взглянула с надеждой на Николая.

— Бежать надо. Бежим!

Предложение было глупое, неосуществимое. Такое могла придумать только неразумная девчонка. Но обижать Лиису ему не хотелось. Поэтому он постарался объяснить помягче:

— Ну, ты подумай! Куда? До первого патруля, который меня как дезертира расстреляет.

— В Финляндию, — выпалила Лииса. Должно быть, эта мысль давно крутилась у нее в голове.

От такого неожиданного поворота Калашников чуть дара речи не лишился.

— Они же за немцев воюют, — возмутился он. — Враги! Я же комсостав НКВД. Я присягу давал!

Но Лиису его аргументы не впечатлили. У нее все было продумано.

— У меня друзья в Финляндии. Они спрячут, помогут. Коля! Надо уходить.

Пытаясь убедить Калашникова, донести до него свою правду, она взяла его за руки, он опять, как когда-то на озере, почувствовал прикосновение ее маленьких ладошек. Но это волшебное ощущение длилось меньше секунды. Рядом протопал конвоир. Поймав его удивленный взгляд, Николай оттолкнул Лиису, да так сильно, что она упала.

— Уж лучше свои, чем финны, — отрезал Калашников, даже не делая попытки помочь ей встать.

— Свои?! Эти свои хуже фашистов! — чуть не плача, закричала Лииса. — Опомнись! Это Мёдов тебе — свой?!

Как нередко бывает в Карелии, откуда-то набежавшая рыхлая, грязная туча закрыла солнце, и повеяло неожиданно таким холодом, будто не середина лета, а уже осень вступила в свои краткосрочные права, готовя леса и болота к приходу хозяйки Похьелы. И лагерь, это кошечье царство, вдруг вырос в этой серой мгле, набрал силу и мощь, стал над природой, словно логовище неодолимого вечного зла.

«Я-то с кем? — Калашников с ужасом смотрел на это капище смерти. — Неужели с этими грязными, корявыми людишками, которые готовы за миску баланды сносить любые унижения? Или с вохрой? Тупыми скотами, измывающимися над теми, кто умнее, трудолюбивее, удачливее их? Или я против всех, но с Лизой? Финской славной девочкой... Только где она? Что от нее осталось? Когда последний раз я видел ее смеющейся? Даже вспомнить не могу. Вот она сегодняшняя — скулы от недоедания кожей обтянуты, спина вечно согнута, волосы серые, мышинного цвета. Я с ней? Нет! Я ни с кем. Я сам по себе. И цель у меня одна — выжить!»

Май 1987 года

Все-таки называть 9 мая «праздником» кошунство. День Победы — это правильно. А праздник? Ну, какой это праздник, если что ни год историки раскапывают новые документы, и вылезает новая цифра потерь, еще страшнее, чем предыдущая. Сколько их уже было этих «точных», «окончательных»? 8 миллионов, объявленных Сталиным. 20 миллионов — Брежневым. 28 — Горбачевым. А на самом деле? Сколько умерло после войны от ран, от болезней, от холода, голода, непосильного труда? Кто их когда считал?!

И получается, что у этого дня два лица, две ипостаси. Одна фанфарно-торжественная, с парадным расчетом на Красной площади, колоннами мощных боевых машин, флагами, транспарантами, народными гуляньями, искренними обещаниями наконец решить все житейские проблемы тех, кто воевал. А вторая — тихая и с каждым годом все более незаметная. Потому что зарастают травой, ровняются с землей забытые солдатские могилы. Выцветают, тускнеют фотографии не вернувшихся с войны. Редко у кого в доме увидишь их на стене. Попрятанные в семейные альбомы, они затерялись среди лупоглазых младенцев, дальних родственников, случайных друзей.

И нельзя людей ни стыдить, ни ругать за это. Что поделаешь! Время проходит, затягиваются самые страшные раны. Легенда и миф, а подчас и откровенная похвальба, лживая и подлая, подменяют жестокую и по большей части весьма неприятную правду.

Но в 1987 году, когда в карельском городе N происходили эти события, еще крепка была пуповина, связывавшая живущих с теми, кто не вернулся. Их не разделяли несколько поколений, их помнили вживую, а не по рассказам давно перепутавших быть и кинематографические фантазии стариков. И в глухой карельской деревне, указывая на еще крепкую статную женщину, могли сказать: «Она была связной в партизанском отряде». А одетый в заношенную телогрейку дядя Сеня, который угощал вас ухой на озере Нижнее Куйто, оказывается, был резидентом советской разведки в Финляндии. Сосед дядя Боря, летом разгуливающий в смешной соломенной шляпе, брал Кенигсберг и был под ним тяжело ранен. Вечно торчащая на лавочке у подъезда все про всех знающая вредная бабка в 1941-м рыла окопы под Ленинградом и воевала в ополчении.

Тогда, в 1987-м, она была еще рядом, эта страшная война. И пока в Москве и Ленинграде и остальных городах-героях шли парады и торжественно возлагали цветы к могилам неизвестных солдат, в городе N тоже поминали погибших, поскольку бои

шли и здесь, и белых обелисков с красными звездами тут было немало. А многие отправились на кладбище, чтобы навестить родных, ведь в каждой семье были солдаты. Красили оградки, ставили свежие цветы и обязательно наливали почившему воину сто граммов, накрыв стакан сверху куском черного хлеба.

Собирались по квартирам, принарядившись, неумело вкривь и вкось прицепив к пиджакам и женским кофтам ордена и медали. Пели военные песни и почти ничего не говорили о войне. Потому что те, кто действительно прошли фронт, вспоминать ее не любили.

Калашникова мутило. Ощущение было такое, что он сидит в самолете, сорвавшемся в пике. Страх липкими холодными обручами сдавливал грудь, не давал в полную силу вздохнуть. Пожалуй, даже в 1953-м, когда после смерти Сталина у них в Управлении начала работать комиссия и некоторые из старых дружков не только лишились званий и орденов, но и загремели в тюрьму, ему не было так страшно.

Тогда выручил начальник. Перевел его в Магаданскую область. Работа примерно та же, но коллектив другой, новый. Никто там о его карельских делах не знал, лишних вопросов не задавал. Постепенно пыл многочисленных комиссий, копавшихся в старых делах, угас, а скорее всего, на них прикрикнули сверху, потому что велик был шанс нарыть такое, что мало бы не показалось!

Но бог миловал. Николай Павлович пересидел три года в Сусуманском районе уполномоченным на золотых приисках, а там и шумиха стихла. Старые, проверенные кадры вернули на место, и его не забыли: позвали в Москву. И покатила карьера дальше, как по маслу. А почему бы и нет? Свой, проверенный товарищ, в тяжелых условиях начала Великой Отечественной войны выполнял важные задания командования. Почет ему и уважение.

И все — все теперь насмарку! Всего одна случайная встреча. И что его понесло в райком?! Придя домой, Николай Павлович выпил валерьянки, полегал на диване, включил, чтобы отвлечься, телевизор. На экране, как всегда многословно и косноязычно, что-то втолковывал залу Горбачев.

— Демократы х..овы! Что б вам провалиться! — выругался Калашников и вырубил ящик. Тревога буквально съедала его.

— Рая! Мне из райкома не звонили? — крикнул он возившейся на кухне жене.

— Нет. Может, поешь? У меня все готово.

Но Калашников уже не слышал ее. Со словами «Надо идти. Надо...» он надел пиджак и стал искать по карманам нестати запропастившиеся очки.

— Ты куда? — всполошилась Раиса Петровна. — Только пришел и опять уходишь. А Синюковы? Они же придут. Забыл?

— Скоро буду! — бросил Николай Петрович и выскочил за дверь.

В приемной первого секретаря райкома партии по случаю праздника было пусто. Вместо привычной секретарши Тамары Юрьевны сидел дежурный и от нечего делать изучал очередную речь Горбачева. Калашников устроился у стены на диване. Пытался читать местную газету, но строчки прыгали и плыли. Он ни слова не мог понять. Снял очки, протер стекла, снова водрузил их на нос. Все равно текст сливался в одно серое пятно.

Пощелкивали электронные часы, отсчитывая минуты, впустую потраченные на очередные симулякры — «гласность» и «перестройку», этажом ниже звучали какие-то голоса, слышались чьи-то шаги, но по сути ничего не происходило, как и в стране в целом. С тихим шорохом край висевшего под потолком лозунга — тавтологический бред одного московского академика «Экономика должна быть экономной», видимо, в соответствии с провозглашенной директивой приклеенный с экономией клея, отцепился от стены и завился в трубочку. Получилось энергичнее: «Экономика должна быть», хотя смысла в призыве от этого не прибавилось. Дежурный отметил непорядок, но действий никаких не предпринял.

Успокаивающая сонная одурь уже начала накрывать Николая Павловича, когда в коридоре послышались шаги и в приемную вошел партийный работник новой генерации — как всегда энергичный Олег Рудольфович Коски, сопровождаемый каким-то старцем из отдела культуры, судя по его замшелому виду отправленным туда на вечное поселение еще во времена борьбы с формализмом в искусстве. Однако ровесник Мейерхольда некоторую живость все-таки сохранил и довольно бойко насканивал на Коски, требуя оосовременить праздничную программу. На что первый отвечал в почти автоматическом режиме, не слишком вдумываясь в то, что он говорит, и надеясь в основном на эффект начальственной интонации.

— Есть утвержденный сценарий. По нему и действуйте!

— Но ребята готовились, разучивали песни, — взывал защитник молодежи.

— Ты их слышал? — Коски явно пытался загнать райкомовца на зыбкую почву личной ответственности.

— Нет. Не успел, — сразу же отказался тот, почувствовав подвох.

— Вот и кончай со своей самодеятельностью, — блестяще провел бюрократический прием Коски и тут же переключился на Калашникова. — Николай Павлович! А вы-то что у нас в праздник делаете? Все-таки ваш день...

— Разговор у меня к вам, Олег Рудольфович, — непривычно чувствуя себя просителем, признался Калашников.

— Что, настолько срочный? — удивился Коски.

— Пожалуй, — уклончиво ответил Калашников.

— Так проходите! — Он радушно распахнул перед Николаем Павловичем дверь в свой кабинет.

Кабинет Коски являл типичный образчик партийного казенного стиля. Внушительно, светло, просторно, скучно. Работать в нем было неудобно, отдыхать — невозможно. Как и многое в партии, основная задача этого помещения сводилась к тому, чтобы казаться, а не быть. Крытый зеленым сукном стол был столь колоссальных размеров, что за иными папками, покоящимися на границе его ойкумены, впору было снаряжать многодневные экспедиции. С особой инквизиторской изощренностью был изготовлен диван. Дерматин, которым он был обит, отличался такой скользкостью, что мало кому удавалось удержаться на нем больше получаса. И уж совсем не украшали кабинет портреты Ленина и Горбачева. Собственно, все личное, относящееся непосредственно к Олегу Рудольфовичу Коски, хранилось под замком в сейфе. К нему он и направился, усадив предварительно за стол Николая Павловича. Извлек из него бутылку коньяка, две стопочки, вазочку с шоколадными конфетами и все это расставил перед Калашниковым.

— А давайте, Николай Павлович, за Победу... — не без лихости предложил Коски.

Не ожидавший такого пролога, Калашников засомневался.

— Неудобно как-то. В райкоме.

— Ничего. Горбачев нас не осудит, — успокоил Коски. — Ну, с праздником!

И тяпнули. По-мужски, резко, не закусывая.

— Слушаю вас внимательно, — Коски уже с другим выражением посмотрел на Калашникова, понимая, что с пустяками в такой день к первому секретарю на прием не просятся.

Начать Калашникову было трудно. Наконец, как ему показалось, он нашел верную фразу.

— Вы, наверное, обратили внимание, Олег Рудольфович, на даму в норвежской делегации.

— А что с ней?

Волнуясь, Калашников хотел встать, как для доклада, но, поняв неуместность такой позы, остался сидеть за столом.

— Я ее знаю. Она бывшая советская гражданка. Была арестована органами НКВД

в 1940 году. Каким-то образом бежала в 1941-м в Финляндию, потом, наверное, перебралась в Норвегию.

— Так. И что? — Информация, выданная Калашниковым с таким серьезным видом, на Коски не произвела ровно никакого впечатления.

— Она была в том исправительно-трудовом лагере, в котором я начинал службу в органах, — с трудом выговорил Калашников.

— Николай Павлович... Ну, была... Вас-то что беспокоит?! — опять не понял волнения собеседника Коски. И, как бы предлагая окончательно закрыть эту не заслуживающую внимания тему, вновь разлил коньяк. Однако Калашников свою рюмку отодвинул. И не сказал, а буквально прокаркал, с таким трудом это признание лезло из него.

— Многие заключенные из-за неразберихи в первые месяцы войны погибли...

Коски посмотрел на Калашникова с нескрываемым удивлением. Такой наивности от старого кагэбэшника он никак не ожидал.

— В первые месяцы вообще много народа полегло, — все тем же спокойным голосом заметил Коски. — Так что теперь? Ордена у наших маршалов отбирать?

И он вновь пододвинул Калашникову рюмку — давай, мол, поставим точку.

— Олег Рудольфович, тогда много чего случилось, — никак не мог успокоиться Калашников. Ему казалось, что Коски не может или, того хуже, не хочет его понять. — И лучше сейчас об этом не вспоминать. Война... Всяко бывало... И сами понимаете...

До Коски наконец дошло, что Калашников не в шутку напуган. Он поднял руку, прерывая словоизвержения собеседника.

— Бросьте! Кто ее слушать будет?! Она даже не иностранка, а перебежчица, — уверенно сказал он. — Успокойтесь! Вы — уважаемый человек, не дадим мы вас в обиду! Николай Павлович! Ну, в самом деле! Успокойтесь! Идите домой! Отмечайте!

То, как это было сказано, наконец привело Калашникова в чувство. Он поверил, что ему действительно ничто не грозит. Ему даже стало немного стыдно перед первым: разволновался, разнюнился, как мальчишка, у которого учительница рогатку в портфеле обнаружила. Он поднялся, с признательностью пожал руку Олегу Рудольфовичу и с облегченным сердцем направился домой. Ведь сегодня был его праздник.

Часть V. Исход

Июль 1941 года

«В ББК НКВД содержится 24880 чел. На вывоз всех их и был рассчитан план. Заключенные из отделений Белбалтлага НКВД, расположенных на восточном и северном берегах Онежского озера (Пяльма, Волозеро), всего в количестве 6110 чел., по этому плану вывозятся водой до пристани Подпорожье, а отсюда пешим порядком через Пудож и Каргополь на расстояние до 370-400 км следуют в Каргопольлаг. Все заключенные Волозерского и Онежского отделений посажены в суда. В 5 час. 30 мин. 5 июля 1941 г. 4 баржи отбуксированы пароходом на Пудож. В них следуют 6144 чел. Заключенные из 14-го Пудожского отделения в количестве 2681 чел. должны следовать к месту назначения пешком. К вечеру 5 июля вышли к месту назначения 1000 чел.

Нач. ББК и УББЛАГ НКВД СССР майор госбезопасности Сергеев.

Нач. мобинспекции ББК НКВД Языков».

Совещание удалось собрать только вечером. И все равно большую часть намеченных дел не успели к нему закончить. Мёдов орал, ругался, несколько раз хватался за пистолет — все бесполезно. Неразбериха была такая, что половина эков могла бы легко бежать, и охрана этого даже бы не заметила. Бардак был в каждом подразделении. Не сходились списки особо опасных заключенных, осужденных за

контрреволюционную деятельность, иноподданных и лиц определенных национальностей. Не досчитались двух цинков винтовочных патронов. Исчезли семь ящиков мясных консервов. Трое конвоиров не явились на вечернюю поверку. То ли запили, то ли дезертировали. Грузовики не пришли, и документы приказали вывозить на подводах, а их и без того не хватало.

К восьми вечера Мёдов окончательно убедился в том, что его окружают законченные идиоты и скрытые вредители. На собравшееся в комендатуре лагерное начальство — хозяйственников, старших конвойных команд — он смотрел с откровенной ненавистью, так они его достали за последние сутки.

В комнате царил разгром. На полу валялись служебные бумаги, папки с личными делами, на столе стоял разобранный ручной пулемет, развешанные по стенам плакаты кто-то начал сдирать, но бросил, и теперь они висели безобразными клочьями, оружейную пирамиду зачем-то сломали, потеряли ключ от несгораемого ящика и никак не могли найти. Ор при этом стоял, как на базаре. На собиравшегося зачитать приказ Мёдова никто не обращал внимания. Потребовалось несколько минут, чтобы лагерное воинство наконец успокоилось и замолчало.

— С обстановкой вы знакомы, — начал Мёдов. — Финны наступают. Каждый день выбрасывают парашютистов. Правда, эта информация неподтвержденная. Получен приказ из Управления об эвакуации лагеря. Заключение должны быть этапированы в Пудож. Ответственным за эвакуацию назначаю сержанта Калашникова. Калашников!

Калашников встал.

— Здесь!

— Что б ни одного отставшего! — Мёдов погрозил своему заместителю кулаком. — Отстал, не можешь идти — враг. А ты знаешь, Калашников, как с врагами положено поступать. Материальную часть вывезти в Медвежьегорск. Туда же под охраной отправить все документы. Хоть одну бумажку потеряете — под трибунал пойдете. Заключение, которые не могут идти, — на повозки. На кладбище все могилы сровнять.

Начало марша назначили на 6 утра. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Уже два часа построившиеся в колонну заключенные топтались на плацу. Документы и продукты погрузить не успели. Зато раньше времени запылили бараки, и из-за клубов черного вонючего дыма, который ветром прибивало к земле, дышать было нечем. Люди задыхались, кашляли, испуганные собаки бесновались. Вдобавок к этим бедам занялась одна из вышек. Огонь мог перекинуться на лес.

— Семён Евсеевич, давайте заключенных выведем за ворота, — предложил Мёдову Калашников.

Тот отмахнулся от него.

— Найду не видел?

— Бегаёт где-нибудь. Куда она денется? — попробовал успокоить начальника Николай. О трепетном отношении Мёдова к своей собаке знал весь лагерь.

— Я ее с вечера не видел.

— Да найдется она, Семён Евсеевич!

— Я ж точно помню: она со мной была. А потом приперся этот мудака начфин...

— Вы меня еще за добавкой послали... — подсказал Калашников.

— И что? Найда где?! Я тебя спрашиваю! — Мёдов явно был не в себе. Таким его Калашников еще не видел.

Конвоира, который уже в третий раз напоминал, что колонна готова к маршу, Мёдов послал по матери и велел собрать всю вохру, не занятую в оцеплении. Нашли шесть человек.

— Ребята, — обратился к ним Мёдов. — Помогите! Тому, кто найдет Найду, ставлю ящик водки.

— А что с этапом делать? — влез опять конвоир.

— Пусть хоть изжарятся! Пока Найду не найду, будут стоять, — зло рывкнул Мёдов.

Искали недолго. Должно быть, кто-то стукнул, потому что вся свободная вохра вдруг рванула к дальнему барaku. Минут через пять оттуда прибежал пожилой охранник. В руках у него был кусок собачьей шкуры.

— Вот, товарищ Мёдов! За третьим баракom нашли. Прикопана была. — И он стал совать Мёдову измазанный кровью и землей мех. Смертельно побледневший младший лейтенант трясущимися руками взял шкуру, прижал к груди. По лицу его текли слезы.

— Суки... Я ж вас всех... Каждого... В землю закопаю... Ни один... Ни один своей смертью не умрет! — Теперь он уже даже не кричал, а выл. — Кто?! Мразь! Выродки! Все! Конеч вам!...

Калашников сбежал к старшему повару за водкой. Налил Мёдову полную кружку и заставил его выпить. Потом усадил на лавочку около комендатуры. Но тот все равно никак не мог прийти в себя. Что-то мычал, обхватив голову руками, плакал, грозился всех перестрелять.

— Семён Евсеевич! Надо идти... — напомнил Калашников.

Даже не посмотрев в его сторону, Мёдов процедил сквозь зубы:

— Командуй!

Калашников махнул конвоирам.

— Шагом марш!

Голова колонны вышла за ворота...

Июль 1941-го выдался на севере Карелии жаркий и безветренный. Солнце пекло невыносимо. На узкой лесовозной дороге, по обеим сторонам которой сосны стояли стеной, горячий воздух был недвижим. Духота была такая, что кружилась голова. Узелки с имуществом — велико ли оно у ээка — оттягивали руки. Пот заливал глаза, соленой коркой застывал на лицах. Для оводов — раздолье. Они тучей висели над колонной, облепляли руки, шеи, кусали так, будто раскаленную проволоку в кожу втыкали. Озверевшие конвойные то и дело пускали в ход приклады, подгоняя ослабевших.

Российские стежки-дорожки! Кто только вас не торил! И крестьянин, несший на обмен в соседнее село мешок ржи, и жуликоватый офеня с коробом, набитым пуговицами и наперстками, а более всего кандалники. С тех дальних времен, когда Россия звалась Русью, человеческий товар был здесь основным предметом экспорта. И шли русские мужики и бабы на рынки Кафы и Бахчисарая, Астрахани и Казани, Дербента и Гянджи. А в Российской империи гнали их на Север и в Сибирь осваивать новые земли, возводить города и закладывать порты на Тихом океане, прокладывая железные дороги. И как же беспределен был цинизм новой власти, которая переименовала Владимирку — главный тракт, по которому и в советское время продолжали везти за Урал подневольную рабочую силу, в шоссе Энтузиастов.

Лииса шла рядом с Альбинской. Ей нравилась эта интеллигентная женщина, с поразительной стойкостью переносившая все испытания, хотя ей было уже сильно за шестьдесят. Дочь академика, в молодые годы она училась во Франции, занималась физикой, была знакома со многими замечательными учеными и твердо верила в то, что народ мечтает о свободе, равенстве и просвещении. К концу жизни она убедилась, что людям больше всего нужен хлеб, балаган в состоянии заменить все храмы искусства, а самая большая мечта — чтобы у богатого соседа сдохла корова.

Первый раз она была арестована в Париже в 1916 году за участие в демонстрации пацифистов. В Россию вернулась сразу же после февральской революции. Сначала была связана с левыми эсерами, но ей претили диктаторские замашки Спиридоновой, и она ушла к большевикам. Некоторое время работала с Луначарским, затем перешла в Исполком Коминтерна, где познакомилась с Троцким. Взглядов его Альбинская не

разделяла, считала барином и позером, но после 1927 года, когда того отправили в ссылку, заодно арестовали и Альбинскую.

Отсидела она пять лет, после чего ее определили на жительство в Олонец. Там она работала учительницей в городской школе, в политической деятельности не участвовала, но в 1937 году ее арестовали вновь. Дали десять лет за связь с эсерами, хотя на самом деле простить не могли работу с Троцким. С тех пор она сменила несколько лагерей, множество пересылок и тюрем и теперь со спокойствием человека, самостоятельно пришедшего к идее отрицания бога, ждала смерти, потому что понимала: в условиях войны ценность жизни заключенного снижается до нуля.

— Куда нас гонят? — спросила Лииса.

— В другой лагерь, — равнодушно ответила Альбинская.

— Может, там будет полечче?

— Кто знает, что там будет... — улыбнулась Альбинская. — Едва ли. Не думай об этом. На зоне, девочка, живут одним днем.

Тянувшийся много километров лес наконец закончился. Пошли осинники, березовые полянки, и дорога, пробившись через кусты ракиты, вырвалась на простор поля. Хотя и здесь было жарко, но дышалось легче. Люди пошли бодрее.

Сразу за опушкой открылся большой луг, на котором торчали еще не осевшие, недавно сложенные стога. Дальше, у дороги виднелась крестьянская усадьба: высокий карельский дом с потемневшей от старости тесовой крышей, несколько сараев, покосившийся хлев. Усадьба была окружена реденьким забором из разнокалиберных жердей и кривого штакетника. За ним паслась криворогая коза и стояли двое — ветхая старуха и маленькая девочка, прижимавшая к груди самодельную тряпичную куклу. Со страхом они смотрели на проходивших мимо изнуренных людей, окруженных конвоирами с собаками.

— Эй, бабуля! Водицы нет? — Мёдов остановился у забора, снял фуражку, вытер ладонью вспотевший лоб.

Старуха прошла в дом, вынесла железную кружку с водой и молча подала ее Мёдову. Пока он пил, на него с завистью смотрели сотни пар глаз. Напившись, Мёдов повесил кружку на жердь и, не поблагодарив, пошел дальше. Старуха даже не посмотрела ему вслед, а только перекрестила эков и низко им поклонилась.

Луг сменился торфяными разработками, а потом началась болотина, где, видно, начали проводить мелиоративные работы, но из-за войны бросили. Не до того уже было. Канавы, которых успели выкопать немало, были заполнены водой. Истрадавшиеся от жажды люди не отрывали глаз от такой близкой воды. Мёдов, будто не замечая этого, шагал обочь строя. Конвоиры на ходу наполняли фляги, собаки лакали воду из луж.

Неожиданно в тихом неподвижном воздухе возник тонкий звенящий звук. Он был так далеко, что на него никто не обратил внимания. Но вот звук стал громче, сильнее — работал мощный мотор. Из-за видневшегося впереди леса, до которого идти было еще не менее двух километров, навстречу колонне выскочил небольшой серебристый самолет с массивными шасси под крыльями. Тут уж почти все задрали головы, стремясь разглядеть стремительную машину.

— Наш, — тоном знатока заметил конвоир, давая приятелю прикурить.

— Чей же еще? — ответил тот, глубоко затягиваясь.

В кабине Fokker D пилот выровнял самолет и нажал на гашетку. От ревушей мотором машины протянулись линии трассеров. Пули почти беззвучно входили в землю и с жадным чавканьем вонзались в тела людей.

Только когда истребитель промчался над головами, все увидели черные свастики у него на крыльях. Проредив пулеметами колонну, самолет ушел за лес. Но вскоре звук мотора стал опять нарастать. Fokker шел на новый заход. Кто-то догадался наконец

отдать команду: «Воздух! Всем укрыться!» Конвоиры попрыгали в канавы, а зэки легли там, где стояли, на дороге.

Выйдя в конец колонны, пилот опять нажал на гашетку и в упоении давил на нее, пока не кончились боеприпасы. Покачав в насмешку крыльями, истребитель ушел на запад.

Закрыв голову руками, конвоир старался так вжаться в землю, чтобы и сантиметр тела не высывался из канавы. Брошенная им винтовка валялась на обочине. Подтянув ее к себе за ремень, пожилой зэк с сабельным шрамом через весь лоб дослал патрон в ствол и с колена дал несколько выстрелов вдогонку уходящему самолету. Истребитель скрылся за лесом. Наступила тишина. Даже раненые боялись стонать. Конвоир поднял голову над канавой. Опасность, похоже, миновала. Он встал, отряхнул грязь с шаровар, от души вздохнул, довольный, что остался жив, и только тут заметил, что его винтовка у зэка.

— Ты что! Эта... Брось! — испуганно забормотал конвоир.

Зэк протянул ему винтовку.

— Во! Правильно! Отдай! Зачем она тебе? — сладким голосом чуть не запел конвоир, перехватывая винтовку. Но как только она оказалась у него в руках, голос его изменился.

— Ах ты, сука! — конвоир передернул затвор и выстрелил заключенному в грудь. — Гад! Что удумал.

Истекающий кровью зэк сначала опустился на колени, а потом повалился на бок. Конвойный спихнул сапогом тело в канаву, в которой сам недавно прятался, добавив тем самым к счету финского пилота еще одного убитого красного.

— Мертвых — в болото! Раненых — на телеги! — слышался голос Мёдова из головы колонны. — Продолжаем движение.

Заключенные заняли свои места в строю.

Привал объявили уже ближе к ночи. Его устроили прямо на дороге, расходиться с которой заключенным было запрещено. Разнесли воду в ведрах, которую набрали здесь же, на болоте, раздали по четверти буханки хлеба. Со всех сторон выставили охрану. Свободные от наряда конвоиры кормили собак, собравшись по два-три человека, варили похлебку из мясных консервов. У канавы, на дне которой осталось немного мутной воды, пристроилась Лииса. Калашникову ни за что не найти ее в этой темноте, если бы не светлые волосы финки. Предварительно оглядевшись, не торчит ли поблизости бдительный вохровец, Николай подошел к Лиисе. Во время марша он несколько раз проходил мимо нее и видел, что с каждым часом идти ей все труднее.

— Как ты? — коротко спросил он.

— Не дойти мне. Ослабела, — призналась Лииса.

Калашников помолчал. То, что он задумал, было опасно. Могли доложить Мёдову. Но выхода не было.

— Идем! Попробую тебя на повозку пристроить, — он помог ей подняться, но на всякий случай рядом не пошел, а ушел вперед. Лииса, прихрамывая, поплелась за Николаем.

После налета финского истребителя на каждую телегу пришлось уложить по пять раненых. Пристраивали их чуть ли не боком. На сельской дороге их здорово растрясло, мучили боль и жажда. С болью санитар-ефрейтор ничего поделать не мог — лекарств у него не было, зато воды из болота было сколько угодно. С ведром и кружкой санитар обходил телегу за телегой.

— Да не давить ты! — санитар отодвинул кружку от растрескавшихся губ раненого. — Уж чего-чего, а воды хватает. Канава полнехонька.

— Тобулин! — позвал подошедший Калашников. — Разместишь на телеге еще одну больную.

— А куда я ее воткну? — сразу перешел на крик Тобулин, которому стоны раненых уже всю душу измотали. — Себе на шею посажу? Посмотри, что делается!

Калашников равнодушно оглядел переполненные телеги.

— Сними кого-нибудь, — посоветовал он.

— Кого?! Этого?! — Тобулин показал на лежавшего в беспомощности человека. — Или этого?! — он ткнул рукой в эка с забинтованной головой.

— Да мне все равно. Любого, — устало ответил Калашников. — Вот этого сними, а ее посади. — Он кивнул в сторону приковылявшей Лиисы.

— Это самоуправство, — тихо сказал ефрейтор.

— Выполняй приказ! — рявкнул Калашников недавно приобретенным командирским голосом.

Тобулин снял с телеги эка с забинтованной головой и осторожно положил его на землю. Затем пристроил на освободившееся место Лиису. Еще раз напоил раненых, закинул винтовку за спину и пошел искать Мёдова.

Мёдов отошел от колонны метров на пятнадцать и устроился на брошенном кем-то без надобности обрубке бревна. Он курил и время от времени прикладывался к фляжке с водкой. Появление Тобулина радости у него не вызвало. Он сделал вид, что не замечает его, однако санитар не ухаживал.

— Ну, что тебе? — не выдержал Мёдов.

— Товарищ младший лейтенант, у нас долго этот бардак будет продолжаться? Кто в санитарном обозе главный: я или Калашников?

— Тобулин! Какого черта тебе надо? Что ты со всякой хреню ко мне лезешь? — с нескрываемым чувством отвращения спросил Мёдов.

— Я требую разобраться! — сразу же принялся орать санитар. — Почему Калашников распоряжается в моем хозяйстве? Снял больного с телеги. Посадил, понимаешь, какую-то свою девку.

— Ну, приткни его куда-нибудь... — сказал, чтобы отвязаться Мёдов.

— Куда?! Что я с ним завтра делать буду? — обиделся Тобулин, которому уже порядком надоело, что его проблемы все считают самыми незначительными.

— Иди ты, Христа ради! Завтра разберемся, — отослал его лейтенант.

Разобиженный невниманием начальства Тобулин хотел уже уйти, когда у Мёдова возникла догадка.

— Тобулин! Постой! — остановил он санитаря. — Калашников приказал снять больного, а бабу на санитарную повозку пристроил? Так?

— Так точно! — подтвердил Тобулин, надеясь, что теперь-то наглому сержанту достанется.

— Ну, иди, иди! Разберусь, — успокоил его Мёдов и почему-то зло усмехнулся.

Июльские ночи в Карелии короткие. Не успеешь смежить глаза, а уже светает. Пробуждаются птицы, подсушив крылышки на солнце, поднимаются в воздух насекомые, муравьи разбирают устроенные на ночь завалы у входов в свои крепости-коммуналки. Но день еще в полную силу не вступил, и эти предутренние минуты для сна самые дорогие, самые сладкие. Даже конвоиры на постах дремлют. Первый день марша умотал вусмерть и их. Но вот подул легкий ветерок с запада. Он принес приглушенные звуки надвигающейся грозы. Спавший, завернувшись в брезентовую плащ-палатку, Мёдов зашевелился, приподнял голову, прислушиваясь. «Дождь — это хорошо! Хоть дышать будет чем». И тут же вскочил, словно подброшенный пружиной, — небо до самого горизонта было безоблачным.

— Какая к черту гроза! Это финны! Калашников! Зараза! Просыпайся! — Мёдов грубо тряс спавшего рядом Калашникова.

— Что? Что случилось? — не мог ничего понять Николай.

— Зачтокал, дятел сраный! Не слышишь? Финны наступают. Поднимай людей! Срочно выступаем, — орал смертельно напуганный Мёдов.

Заключенные быстро построились в колонну. Конвоиры заняли свои места. Невыспавшиеся люди нервно зевали, переминались с ноги на ногу, в который раз перевязывали котомки. Артиллерийская канонада явственно приближалась. Мёдов уже готов был дать знак началу движения, когда к нему подбежал Калашников.

— Там... эта... один не может идти, — путаясь, попробовал он доложить.

— Ты чего, Калашников? С печки упал? Со всякой дрянью ко мне лезешь! — взревел взбешенный Мёдов. — Разбирайся! Посади на повозку.

— Все телеги ранеными забиты. Места нет, — Калашников опустил голову.

Пусть не к месту и не ко времени, но это была минута торжества, не насладиться которой Мёдов не мог. С издевательской улыбкой человека, знающего всю подноготную, он подтащил Калашникова за ремень поближе.

— За отказ выполнить приказ... Не знаешь, что с саботажниками делать?! Иди, иди! Сам! — и подтолкнул Николая к телегам.

Колонна двинулась. Одна за другой отъезжали телеги с ранеными. У обочины дороги неподвижно лежал зэк с забинтованной головой, которого Калашников вчера приказал снять с телеги. Лицо его заострилось, губы обметала корка, и только лихорадочно блестящие глаза говорили о том, что он еще жив.

Сидевший рядом с ним на корточках Калашников не знал, что делать. Только сейчас до него дошло, что он обрек человека на смерть. Но ведь и Лиза бы погибла, не устрой он ее на телегу! Он попробовал помочь ему подняться, но зэк без сил валился на спину, как только Николай его отпускал.

— Да вставай, вставай ты, зараза! Расстреляют же тебя как симулянта, — с ненавистью прошипел Калашников.

— Не могу, начальник. Конец это. Отмучился я. Оставь ты меня. Сам сдохну, — твердил зэк. Он в горячечном беспамятстве даже не заметил, что это по приказу Калашникова его выкинули из санитарного обоза.

— Калашников! Что там у тебя?! — от головы колонны бежал Мёдов, рукой придерживая хлопающую по жирной ляжке кобурку пистолета.

— А чтоб тебя! — Калашников отскочил от умирающего, сдернул с плеча винтовку и выстрелил в зэка. Руки у него дрожали, и пуля пробила не сердце, а легкие. Зэк хрипел, его тело содрогалось от боли.

— Стрелять не умеешь, — сухо заметил подбежавший Мёдов. — Что мучаешь человека?! Добей!

Николай прицелился и выстрелил в голову. Зэк затих.

Отъехала последняя телега с ранеными. В ней, приподнявшись на локте, лежала Лииса. С ужасом она смотрела на стоявшего над трупом Калашникова.

За два дня удалось пройти не больше четырнадцати километров. Да и те дались с величайшим трудом. Как ни зверствовала охрана, быстрее идти заключенные не могли. Нужны были хотя бы несколько часов отдыха, а еще лучше целый день. Это понимали и Мёдов, и конвоиры. Но артиллерийские орудия финнов гремели все ближе.

Дневку решили устроить на высоком берегу Выгозера, на месте бывшего колхозного покоса. Заключенные, два дня скученно двигавшиеся в колонне, расплзлись по лугу. По периметру выстроилась охрана. Мёдов, Калашников, старшие конвоиры устроились на бревнах, которые были приготовлены для ремонта мостика, да так и брошены из-за войны. Сидели, курили, думали, как быть. Настроение у всех было паршивое. Предоставленные сами себе, лишенные поддержки организации, которая долгие годы казалась им всемогущей, они ощущали себя забытыми и, что было еще страшнее, ненужными.

— Медленно, очень медленно идем, — начал Мёдов. Предложений у него никаких не было, но как старший первое слово должен был сказать, конечно, он.

— Больных много. Сколько их ни понукай, быстрее они не пойдут, — отозвался конвоир в звании старшины. — А что на фронте? В деревне что говорят?

— Ни хрена они не знают. У председателя колхоза даже телефонной связи с районом нет. Твердят, что финн давит. Вроде какие-то части мимо них отступали. А может, передислокация. — Мёдов в сердцах сплюнул на землю. — Где тут правда, где вранье? Черт их разберет.

— Не должны наши финнов к каналу пропустить, — без всякой уверенности сказал старшина.

— Не должны. Мало ли чего не должны, — передразнил старшину молодой сержант. — Нас сколько лет учили, что Красная Армия не должна отступать. И где теперь Красная Армия, и где немцы? — Он картинно развел руками. Многие закивали, соглашаясь. Пораженческие настроения уже готовы были перейти в откровенную панику. Мёдов испуганно завертел головой, оценивая соратников. Соратники, все как один, были готовы к драпу.

— Ну-ну! Разговорчики, — попробовал прикрикнуть Мёдов. Но получилось это у него жалко и неубедительно.

— Не «ну-ну», а хреново, — подвел итог старшина, который, похоже, уже захватил лидерство. Все так и смотрели ему в рот. Ему оставалось лишь добить Мёдова, что он и сделал. — Ты же понимаешь, младший лейтенант, что если финны на нас выйдут, то тебя первого в распыл пустят за петлички твои малиновые.

Однако Мёдов сдаваться не собирался.

— Но-но! Ты особо не пузырся. У нас финнов среди эков полно. Они живо своим о твоих заслугах поведают.

Это была чистая правда. Все они в этой команде были одним миром мазаны. Кровь была на руках у каждого. Старшина, еще секунду назад глядевший орлом, опустил глаза.

— Не уйти нам от финнов.

Конвойные переглянулись, впервые почувствовав, что объединяют их не одинаковая форма, а сотни забитых, расстрелянных людей.

Несколько минут молча курили, прикидывая варианты, которые их ожидают. Хорошего в них не было ничего. Дезертирство в этой ситуации казалось чуть ли не лучшим выходом. Но выручил старшина.

— А если... — Он встал и показал направление рукой. — В полукилометре от того мыса стоит баржа. Грузим на нее раненых и всех доходяг и ускоренным маршем идем к Медвежьегорску.

— А баржу бечевой потянем? Как бурлаки? — Мёдову хотелось хоть как-то усть старшину. Но у того действительно сложился план.

— Зачем? В соседней деревне есть мотобот. Мне местный старичок сказал. Прицепим баржу к нему и за милую душу отбуксируем в Пудож.

Идея была неплохая. Вполне реальная. И Мёдов тут же присвоил ее.

— А что! Дело! Калашников, бери двух бойцов и дуй в эту деревню. Напиши им расписку, что, дескать, реквизируется для нужд Красной Армии. К утру обернется? — поинтересовался он у старшины, как бы оставляя за ним участие в руководстве этой операцией.

— Должен, — поддержал старшина. — Тут по воде всего километров пять. Да в деревне ни одной хорошей лодки нет. Придется кругалю давать. А это все десять. Но к утру, думаю, поспеет.

— Хорошо, — Мёдов опять вернул себе руководство. — Тогда начинаем грузить эков на баржу. Старшина и ты (кивнул он сержанту) соберете по деревне все, что

плавают. Хоть тазы, хоть корыта. Нам надо на баржу перевезти почти пятьдесят человек.

Взбодренная надеждой спастись вохра засуетилась.

Решение Мёдова Калашникову не понравилось. Попахивало от него гнильцой, как и от всех предложений младшего лейтенанта. Вечно за ними скрывалась какая-нибудь подлость. Был бы Калашников честен с собой до конца, так только вздохнул бы с облегчением, что судьба их с Лиисой разводит. Ему было тяжело говорить с ней, даже видеть ее. В их отношениях стало много лжи. Она-то думала, что перед ней все тот же Колька Калашников, который ловил каждое ее слово, радовался каждой улыбке, а рядом с ней теперь был сержант НКВД Калашников, которому Лииса только мешала. Да что там мешала! Вредила! И в то же время он чувствовал: откажется от Лизы — и конец Кольке. Тому самому Кольке, с которым дружили Юрка Родионов, другие пряжинские ребята. Да и мать едва ли порадует такой перемене в нем.

Чувствовал Колька, что живет на разрыв. Хочет выжить — надо быть с Мёдовым, угождать, подражать ему. Хочет остаться человеком, не замараться лагерной грязью, сохранить любовь Лизы — надо быть с ней.

И как часто бывает с нерешительными людьми, он выбрал третий вариант. Будет лучше, если Лииса останется с этапом. Вдруг удастся где-нибудь по дороге спрятать ее на хуторе или в деревне. Шанс такой был. Переключку не вели уже второй день, умерших от ран и болезней закапывали без каких-либо пометок в документах. И Лизу удастся спасти, и сам как-нибудь вывернется.

Поэтому, прежде чем отправиться за мотоботом, Калашников забежал к Тобулину. Ему он верил. В нем, в отличие от остальной вохры, хоть что-то человеческое сохранилось.

Ефрейтор был занят. Он рвал нательные рубашки на бинты и перевязывал раненых. Никаких других лечебных средств у него не было.

— Тобулин! — окликнул ефрейтора Калашников. — На минутку!

Тот не спеша подошел. Обиду он сержанту не простил.

— Сейчас больных начнут на баржу грузить, Мухинен здесь оставь.

— С чего это? — Тобулин с подозрением посмотрел на Калашникова. —

Прикажут всех, значит, всех.

— Брось, не обижайся. Я тебе банку тушенки дам.

— Три, — быстро сообразил Тобулин.

— Нет у меня трех, — признался Калашников. — Только две.

— Ладно, давай две, — смиростивился Тобулин. — Я ее сеном завалю. Не найдут.

И Тобулин ушел к лошадям.

Калашников нашел телегу, в которой лежала Лииса. Выглядела она плохо. Ее сильно лихорадило. Николай дал ей напиток и рассказал о своем плане.

— Коля! Мне лучше со всеми, на барже, — прошептала Лииса.

— Пока я рядом, хоть помочь могу, защитить, — попробовал ее уговорить Николай.

— Защитить? — слабо улыбнулась Лииса. — От кого? От Мёдова?

— Хоть и от Мёдова! — отрезал Калашников.

— Где же ты был, когда он меня... — Лииса, не договорив, смолкла.

— Что он? — допытывался Калашников.

— Ничего... — Лииса отвернулась.

Калашников еще какое-то время постоял рядом, прикрыл ее худенькие плечи ватником и побежал к уже ожидавшим его бойцам.

Погрузка раненых на баржу растянулась на всю ночь. Сначала их надо было снести по крутому откосу на берег, а потом переправить на старую посудину,

стоявшую в трехстах метрах от причала. Ближе из-за мелководья она подойти не могла, сколько ни пытались сдвинуть ее шестами.

Найти удалось всего три лодки-дощаника, причем две немилосердно текли, да и на борт больше трех человек взять было нельзя. Но поскольку сила была традиционно дармовая — и носили, и гребли зэки, — к рассвету почти все неходячие были на барже. На всякий случай — вохре Мёдов не верил — он решил все проверить сам.

Телеги действительно были пустые. Только в одной лежала припорошенная сеном Лииса. На Мёдова она не обратила внимания: была в беспамятстве.

— Это что? — с подначкой спросил Мёдов. — Для забавы себе, Тобулин, оставил? Или чтобы квалификацию не терять?

Знавший бешеный нрав Мёдова Тобулин чуть не обмочился со страха.

— Это товарищ Калашников велел ее оставить.

— Велел, говоришь? Вот как! Тащи ее на баржу!

На берегу оставались лишь двое больных. Предыдущую партию уже погрузили в лодки, и старшина собирался перегнать их к барже.

— На барже есть еще место? — поинтересовался подошедший Мёдов.

— Куда там! Укладываем на палубе, — посетовал старшина.

— Всех гони в трюм, — приказал Мёдов. — Хоть утрамбовывай. Пойдут по каналу — они с палубы на берег попрыгают. Лови их там.

Старшина молча козырнул и оттолкнул дощаник от берега. Довольный тем, что погрузка заканчивается, Мёдов уселся на валун покурить. Но не успел сделать и пары затяжек, как из-за кустов выбежал запыхавшийся Калашников.

— Ну? Где мотобот? — уже чувствуя, что ждет его очередная неприятность, спросил Мёдов.

— Нет мотобота, — выпалил Калашников. — Перегнали вчера в Надвоицы.

— Приехали! — Мёдов от расстройства даже изменился в лице. — Мы же полдня их назад перевозить будем. А что потом? Как идти с ними?

— Не знаю, товарищ младший лейтенант. — Это была та редкая минута, когда Калашников был рад, что старший над ним Мёдов.

Мёдов хотел закурить, но папиросу удалось зажечь лишь с четвертой попытки. Руки у него так дрожали, что спички ломались одна за другой.

— Не уйти нам с ними, — с отчаянием сказал он Калашникову. — Сколько их здесь еще осталось?

— Вон двое лежат. Да еще одни носилки сверху тащат, — подсказал Калашников.

Подплыл старшина. Он было сунулся к двум оставшимся больным, но Мёдов остановил его.

— Забирай бойцов! Готовьтесь к маршу. Этих мы с Калашниковым отвезем.

Старшина, не сказав ни слова, ушел. Мёдов с Калашниковым погрузили зэков в лодку. Заключение в сопровождении конвоира притащили последние носилки и поставили их на песок. На носилках лежала Лииса.

— Что застыл?! Бери ее за ноги! — гаркнул Мёдов. Николай понял, что тот его опять переиграл.

Двух больных пристроили в носу дощаника. Погрузка отняла у них последние силы, и теперь они говорили, еле ворочая языками.

— Повезло нам. Поплывем, словно баре.

— Точно, — согласился второй. — А эти пусть пешедралом топают.

Шлепая по воде сапогами, подошли Мёдов с Калашниковым. Опустили Лиису на дно дощаника.

— Вроде все, — выдохнул Мёдов. — Я на корму. А ты — на весла.

Палуба баржи была пуста. Старшина выполнил приказ Мёдова. Откинув ведущий

в трюм люк, Мёдов и Калашников передали стоявшим внизу больных. Оставалась еще Лииса.

— А ну, потеснись! — крикнул в трюм Мёдов. — Принимай еще одного пассажира. Кажись, последний.

Держа ослабевшую Лиису под мышки, Калашников опустил почти невесомое тело в трюм. На долю секунды их глаза встретились, и над головой девушки захлопнулась тяжелая крышка люка.

— Тащи доски! Что стоишь! Вон там, у борта, лежат. — Лейтенант от нетерпения даже притопнул ногой.

— Зачем? — прохрипел Калашников, не двигаясь.

— Ты не слышишь меня, зараза?! Пристрелю! — Мёдов потащил пистолет из кобуры. — Быстро!

Ничего не понимая, Калашников принес несколько горбылей, которые валялись за рубкой.

— Отойди! — последовала новая команда. Николай ушел на корму, к привязанной там лодке. Мёдов же буквально в четыре удара забил люк досками крест-накрест.

— Товарищ младший лейтенант! Как же мы баржу потащим? — еще на что-то надеясь, спросил он.

Мёдов посмотрел на него как на идиота.

— В лодку! Быстро! — бросил он.

Калашников послушно спустился в лодку, отвязал ее и, разобрав весла, приготовился грести. Что там делал Мёдов, он не видел. А тот не терял ни секунды. Снял крышку с вентиляционной трубы трюма, достал из сумки две гранаты, связал их обрывком провода и, выдернув чеку, бросил в трубу. В три прыжка он был на корме и спрыгнул в лодку.

— Гребите! Мать твою!

Калашников успел сделать всего пару гребков, когда раздался взрыв, а за ним страшные крики раздираемых осколками людей. Борта баржи разошлись, и она стала погружаться. По мере ее ухода под воду голоса умирающих в трюме слышались все слабее. Уже через несколько минут над поверхностью торчала только верхушка мачты.

Калашников греб к берегу. Ни одной мысли у него в голове не было. Только боль выворачивала внутренности, застилала глаза слезами. Он не видел ни озера, ни развалившегося на корме Мёдова, не слышал чаек, которые слетались на место взрыва, чтобы чем-нибудь поживиться. А потом боль ушла. Словно и ее выжгло этими гранатами. Оборвала гибель Лиисы последнюю ниточку, связывавшую его с Пряжей, матерью, школьными друзьями. Перерождение завершилось. Другой человек сидел сейчас перед Мёдовым. И крупинки не осталось от прежнего лопухого Кольки, рохли и своего парня, которым можно было помыкать как бессловесной тварью. И этот другой человек, время от времени поднимая глаза на Мёдова, видел уже не всесильного начальника, а трусливого, хитрого мужичка, который Калашникову будет только мешать, который даже опасен, потому что связан с ним кровью. Большой кровью. И случись что, все повесит на Калашникова.

Довольный, что все так удачно сошло, Мёдов благодушествовал на корме.

— Коля! Не переживай! — уговаривал он. — Ты же — чекист. А она — финка. Вraga! Нельзя ее было в живых оставлять. Она бы тебе всю жизнь исковеркала.

Калашников молчал. Весла в его руках мерно поднимались и опускались.

Лодка мягко воткнулась в песок. Мёдов первый выбрался из нее, взял трос, привязанный к кольцу в носу лодки, и потопал к кустам, чтобы закрепить его там. Закончив завязывать узел, он распрямился и в ту же секунду получил удар ножом в живот. Выпучив глаза, беззвучно разодрав от боли рот, Мёдов осел на землю.

Калашников, прижав его коленом к земле, с детским любопытством смотрел, как утекает жизнь из глаз Мёдова.

— Вот и кончился товарищ Мёдов! — Николай вытащил нож, тщательно вытер его о гимнастерку своего бывшего начальника и убрал за голенище сапога. Затащил труп в кусты, а затем, не оборачиваясь к озеру, к месту гибели Лиисы и ее товарищей, начал подниматься по тропинке.

Там, где затонула баржа с заключенными, еще плавали доски и тела людей. Вот шевельнулся большой кусок шпангоута. За конец его, держась из последних сил, ухватилась живая Лииса. Она видела, как Калашников поднимается по берегу. Но на помощь не позвала. Рядом еще кто-то забарахтался, вяло колотя по воде руками. Лииса с трудом приподняла голову. За другой конец шпангоута пыталась уцепиться немеющими пальцами Альбинская. В трюме они вдвоем стояли за толстым брусом, подпиравшим палубу, наверное, он их и спас. Но как выбралась из тонущей баржи, Лииса не помнила. Как и других, ее оглушило. Осталось в памяти, что кто-то выпихивает ее в брешь, через которую уже хлестала вода. Наверное, это была Альбинская.

— Держитесь! Я помогу! — Лиисе казалось, что она кричит. На самом деле голос ее был не громче шепота. Но Альбинская все поняла.

— Нет! Нет сил. Спасайся, девочка. — Она еще попробовала улыбнуться на прощание Лиисе, но тут пальцы Альбинской разжались, и она ушла под воду. Лииса осталась одна.

Колонна была готова к новому переходу. Заняли свои места конвоиры с собаками. Заключенные испуганно перешептывались. Старшина, стоя в стороне, ждал. А после того как ухнул взрыв, незаметно для всех мелко перекрестился. Через несколько минут на тропинке показался Калашников. Он оглядел этап и коротко спросил:

— Готовы?

— Так точно! — моргая от напряжения, доложил старшина. — А где товарищ Мёдов? Мы его ждать не будем?

— Не будем, — глухо ответил Калашников. — Погиб, пытаюсь спасти заключенных. Этапом теперь командую я, — и так посмотрел на старшину, что у того руки невольно вытянулись по швам. — Шагом марш!

Колонна сделала первый шаг...

Май 1987 года

В холле гостиницы было пусто. За стойкой дремал администратор. Несколько раз приходили и уходили постояльцы, брали и сдавали ключи. Из ресторана доносилась тихая музыка. Поскольку настоящее веселье еще не начиналось, музыканты играли вполсилы. Николай Павлович расположился в кресле за колонной, откуда, не привлекая внимания, мог видеть всех, входящих в гостиницу.

Ждал он, наверное, более часа. Пепельница переполнилась окурками, в горле саднило от табака. Он несколько раз порывался уйти, но каждый раз опять усаживался в кресло, хотя сам до конца не мог понять, зачем ему эта встреча. По Лизе он не скучал. Уже много лет не вспоминал о ней. Поверх тех лет наслоились другие, более важные события. Навредить она ему никак не могла. С Коски он был полностью согласен. Время от времени он встречал своих бывших сослуживцев. И все были здоровы, довольны жизнью. Эдакие старички-боровички — опора жэковского актива. Никто пальцем на них не показывал, ходили с высоко поднятой головой и других еще учили жить, ставя в пример себя. И сегодняшнее прямо-таки неприличное волнение — про себя-то он знал, что это был откровенный страх, — Николай Павлович относил за счет расшатавшихся нервов. Но все же он хотел увидеть ее. Может, для того чтобы

оправдаться. Может, убедиться в том, что все это были юношеские бредни и заморачиваться ими больше не стоит. А может — он гнал от себя эту мысль — ему надо было увидеть человека, которого он убил.

Взглянув еще раз в сторону входной двери, Калашников вышел в туалет. Умылся над раковиной, посмотрел на себя в зеркало. Зачем-то снял пятиэтажные орденские колодки и спрятал их в карман. Без привычного иконостаса он смотрелся заурядным пожилым человеком.

В холле никого не было. Даже администратор куда-то исчез. Начиналась гроза. Небо полыхнуло зарницами. Ветер мягко ударил в витрину отеля, и ливанул дождь. Дверь захлопала. В гостиницу вбежали застигнутые дождем люди, отряхивались, сворачивали зонты. Появились и норвежцы. Судя по тому, что плащи и куртки на них были лишь слегка сбрызнуты каплями, их подвезли к самому подъезду. Последней шла Лииса. Она о чем-то беседовала со своим спутником. Но, увидев вышедшего из-за колонны Калашникова, извинилась и подошла к нему.

— Меня ждешь? — спросила она, не здороваясь.

Калашникову это не понравилось, поэтому он только кивнул.

— Все-таки вымокла. — Лииса попробовала сложить зонтик.

— Так согреться надо! Может, по чуть-чуть? — обрадовался появившемуся предлогу Николай Павлович. — Здесь ресторан есть. Не бог весть что, но случаев отравления пока не было.

Лииса скинула плащ на руки подлетевшего швейцара.

Гостиничный ресторан не относился к числу самых популярных в городе точек общепита. В гостинице, как правило, отмечали юбилеи, премии и уходы на пенсию — мероприятия скучные, сухие. А с началом горбачевской антиалкогольной кампании ресторан окончательно захирел, и в нем питались только командировочные.

Даже в этот праздничный вечер заняты были всего несколько столиков, да в конце зала гуляла большая компания, пришедшая «со своим». Перед Лиисой и Калашниковым стояли две чашки кофе и нагло торчала бутылка коньяка, которую Николай Павлович предусмотрительно захватил из дома. Официант попытался было сделать Калашникову замечание, но предъявленная индульгенция в виде десятки мгновенно погасила его справедливый гнев.

Они с Лиисой, не чокаясь, выпили по рюмке и теперь задавали друг другу ничего не значащие вопросы о послевоенной жизни, не слишком интересуясь содержанием ответов.

— Ну, война закончилась, я в органах остался. Перевели в Москву. Дали полковника. — Калашников затянулся сигаретой, хотя ему ужасно хотелось хватить стакан коньяка, чтобы снять смущение, которое он испытывал перед этой женщиной.

— А дети? — без всякого интереса, только потому что так полагается, спросила Лииса.

— Дочка. Надя. Университет с отличием. Сейчас во Внешторге работает. А я в отставку вышел. Решил в родные места податься. Поближе к охоте, рыбалке... — Калашников решил, что время настало, и наполнил рюмки. Лииса отпила немного. Он хватил полную.

— То есть все у тебя хорошо, — сухо констатировала она.

Николай Павлович сделал вид, что не услышал этой фразы.

— Дааа! Время летит... На следующей неделе внуки приезжают. Хочу их на дачу... Они и леса настоящего не видели. В Москве живут, — как бы увлеченный повествованием об успехах семьи, Калашников снова плеснул себе в рюмку и тут же выпил.

К столику в надежде на новые инвестиции подошел официант.

— Горячее заказывать будете? Есть треска в кляре... Биточки могу предложить...

Однако его великодушное предложение отзыва не нашло. Лииса отрицательно качнула головой. В отместку забрав кофейные чашки, официант удалился.

— А у меня детей нет. Не могло быть. — Лииса достала из сумочки пачку сигарет и закурила. — Озеро было очень холодным.

«Ну вот, начинается!» — увидев в словах Лиисы знак к настоящему разговору, подсобрался Калашников. Он нарочито медленно затушил сигарету, выпил еще рюмку коньяка, а затем, перегнувшись через стол, выпалил ей в лицо.

— Укусить хочешь? Да не знал я!

Прием, который отлично срабатывал на допросах, здесь эффекта не возымел. Лииса продолжала, будто не слышала его:

— Отлежалась на берегу... Две недели в избушке охотников пряталась. Хорошо, там запас сухарей, соли и чая был. Пришла в себя. А потом нашлись хорошие люди, помогли добраться до друзей отца. А те переправили к партизанам в Норвегию. Научилась стрелять, на рации работать. Дважды ранили... — Все это она произнесла, глядя мимо него. Потом надолго замолчала и вдруг, глядя в упор, в глаза, спросила: — А ты-то, Коля, хоть одного фашиста убил?

Николай Павлович замялся. Этого вопроса он никак не ожидал. И глаз не мог отвести...

— Понятно... — Лииса тяжело вздохнула. — По лагерям оборону держал.

За столом в конце зала, видно, достигли нужного градуса. Кто-то громко крикнул: «За Победу!» Шумно отодвигая стулья, все принялись чокаться, разливая водку на скатерть. Лииса даже не повернула голову в их сторону.

— Вся твоя жизнь на лжи и на чужом горе построена. За ветерана себя выдаешь. А тебе даже внукам показать нечего. Артиллеристы у своих пушек фотографировались, танкисты — у танков. А ты? У колючей проволоки? У вышки с вихровцем?

Николай Павлович хотел возразить, сказать, что не ей его судить, но Лииса, словно прочитав его мысли, остановила жестом.

— Помолчи! Я же тебя не сужу. Ты действительно мало что решал. Я другого понять не могу... Зачем? Зачем эти расстрелы, лагеря? Зачем убили отца, мать, сестру?.. Миллионы других людей? Они не были врагами... Страна от их смерти только проиграла... Где-то читала, что это всего лишь была борьба за власть. А люди? Они что, были расходным материалом? Нірвіці...

Калашникову наконец удалось справиться с собой. Он даже попытался примирительно улыбнуться.

— Ладно тебе... Ну, были перегибы. Их давно осудили.

— Осудили? — вскинулась Лииса. — Кого? Десяток исполнителей? И все! Поспешили забыть. Может, тебе нужен суд над ними?! Ну, уж только не тебе! Кем бы ты был без лагерей?

Она уже почти кричала. На них стали оборачиваться от соседних столов. Николай Павлович быстро наполнил ее рюмку, пододвинул.

— Брось! Пустой спор... Так сложилось. Это уже история.

— Ничего ты, Коля, так и не понял. — Лииса отодвинула рюмку. — Это у тебя есть история. И весьма благополучная. А у тех, что в общих могилах гниют, никакой истории нет. Прервали вы их историю.

К счастью, загулявшая компания поднялась из-за стола и пустилась в пляс. Музыканты заиграли громче. Лиисе пришлось замолчать. Но как только музыка кончилась, Калашников решил, что пора сменить тему разговора, иначе добром эта встреча не кончится. Скандал ему не был нужен.

— По родным местам не скучаешь? — заботливо поинтересовался он.

— По каким? Этим? Где я была Лииса Мухинен, 58-я, 10 лет? Нет! — без всякой злости ответила она.

— А вот я Родину люблю. — Коньяк, выпитый без закуски, все-таки сработал. — У нас такие люди! Замечательные!

Николай Павлович попробовал взять Лиису за руку, но она, поморщившись, отдернула ее. Калашников сделал вид, что не заметил. Ему хотелось смикшировать эту неприятную ситуацию, закончить ее чем-то добрым.

— Лиза! Ну что делить теперь? Жизнь-то прожита. Может, наши дети... — Тут он осекся, вспомнив, что детей у Лиисы нет, в том числе из-за него. Но быстро нашелся и продолжил. — Молодежь... У них по-другому все будет. Я же Родину защищал... — Обжегшись о зажатую в руке сигарету, он швырнул ее на пол.

— От кого защищал? — Лииса оценивающе посмотрела на Калашникова. — От таких, как я?! Ты же все понимал. Только страх сильнее тебя был. Ведь в тебе ничего человеческого не осталось. Ты давно уже не человек. Нелюдь, как в России говорят. Вурдалак. Твои должности, звания, награды... Все это за то, что ты мучил и убивал.

Лииса допила рюмку, поднялась из-за стола и подошла к Калашникову. Он попытался встать, но она надавила ему на плечо, удерживая на стуле. Провела ладонью по лицу тем жестом, каким закрывают глаза покойнику.

— Жалкий ты какой-то, Коля...

Калашников сидел не шелохнувшись, крепко зажмурил глаза. Когда он открыл их, Лиисы уже не было. На скатерти рядом с ним лежал маленький зеленовато-голубой камушек. Тот самый, что Калашников, уходя на службу, подарил в 1940-м году Лиисе Мухинен.

В этот момент сидевшая рядом компания от полноты чувств грянула «Этот День Победы!» Пели пьяно, невпопад, но с огромным энтузиазмом. Николай Павлович подошел к ним и с удовольствием включился в хор. Отыграв песню, оркестр перешел на танцевальную музыку. Калашников со сбившимся набекрень галстуком и вылезшей из брюк рубашкой отжаривал вместе со всеми, да не где-то на периферии, а в самом центре. Знай, дескать, наших! И вот уже его не стало видно в толпе неистово пляшущих людей.

Над озером низко висят осенние облака. Вода спокойна и неподвижна. Раздался громкий всплеск. Это взлетели утки. Поднятая ими волна добежала до берега и погасла. Сквозь посветлевшую пленку воды стали опять видны лежащие на песке голубые камушки.

Александр Орлов

Моя Смоленщина

* * *

Александру Трифоновичу Твардовскому

Я без вести не пропадал под Ржевом,
Не замерзал в Мончаловских лесах,
Не побывал на правом и на левом,
Омытых кровью волжских берегах.

И не курил в окопах самокрутки,
Не пил из фляги перед боем спирт,
Не отпускал мне Вася Тёркин шутки,
Но смерти мне знаком холодный флирт.

И жизнь моя не сказка, не халява.
Кто скажет мне, что я себя берёг?
Нас всех с годами встретит переправа,
Я для неё давно не новичок.

И вмиг, когда начнётся перевозка
И лестницей вдруг станут облака,
Меня поманит из-за солнца тёзка,
Признавший в моём сердце земляка.

Беспалый

Раскинулась за домом нежно радуга,
И мы расселись важно на крыльце,
И дверь была закрыта туго-натуго,
Ушла хозяйка, позабыла о жилище.

От «козьей ножки», полной самосада,
Газетная распространялась вонь.
Болтал вязьмич смешно, замысловато
О том, как не использовал он бронь,

О том, как посреди крестов и свастик
Дымящихся Зееловских высот
Кончины ожидал десятиклассник
В тот самый важный сорок пятый год.

И говорил, что Божий он избранник,
Что баловень он, как ты ни крути, —
Что починил на днях сапог и краник,
А я смотрел на две его культи.

* * *

Жизнь от лунного света бледна,
И её не объять, не измерить,
Точно русских просторов княжна,
Ну а я — её крепкая челядь.

И она показала мне вновь
Расставаньем отточенный ноготь,
Мне её в этот раз не растрогать:
Всё не так, сколько ни многословь,
И слова мои — стынувший дёготь.

Знаю я, что закончился вар,
И от старой прикрытой дегтярни
В звёздный сумрак берёзовый пар
Вновь уходит, как в армию парни.

И от шпал, от колёс и сапог
Запах тянется бережной смазки,
И глядит без всевышней подсказки
Поседевший дегтарь, словно Бог,
На солдатские сумки и каски.

* * *

Мне не лежалось на лежанке —
Тревожил треск горевших дров,
И тьме, как старой прихожанке,
Я рассказать был сны готов.

Но я молчал, хоть и не робок,
Вбирая телом жар печной,
И мне почудилось, подтопок
Тепло беседует с избой.

И пахло лесом, дымом, полем,
Рожденьем, жизнью, нищетой,
Коротким счастьем, долгим горем,
Второй и Первой мировой.

На языке горчила жжёнка,
Ручьем катился пот по лбу,
И видел я в себе ребёнка,
Чьи сны уносятся в трубу.

* * *

Не жил я в эпоху насильных коммун,
В курганах не взрыл артефакта,
Но слышал, как сладко поёт гамаюн
В чащобе Смоленского тракта.

И в пенье дремотном, красив и блажен,
Явился мне край вечной смоли,
Где люди не терпят лукавых измен
И лечат в молитвах мозоли,

Где с детства мой дед выходил на покос,
Отца ждал у графского сада,
И первой щетиной в отряде оброс,
Кровь немцев смывая с приклада.

Откуда ушёл, ничего не забыв,
Ушёл навсегда поневоле,
Скрывая на сердце болящий нарыв
С подсушенным привкусом соли.

Валерий Пискунов

Эльбрусский эдельвейс

Повесть

На склонах Кавказских гор эдельвейс не произрастает.

Определитель В.Кессельринга

1

Вещий сон обычно приходит в мишуре подложных видений и символов, затемняющих ясный смысл послания: сон в руку.

Ночью нахлынуло хлопотливое сновидение, в котором шумливые горные ели детским каламбуром ели друг дружку, а сам Юра ежился на юру и наблюдал, как толпа сквозистых призраков-альпинистов суетится в скальном кулуаре и шепчет готическим шрифтом: «Geist ist eine Fall geraten!» Призрак угодил в западню! Возможно ли? Сами призраки не знали, который из них обречен; Юра, далекий от немецкого языка, усилием воли поддерживал несчастных, не давая им провалиться сквозь гранитный уступ. И вот тут-то, в самый разгул вкрадчивого кошмара, Юру *потянуло* из сна, как тянет звук сквозь узкую щель манка. Юра вскинулся над подушкой и всем зашедшимся сердцем прислушался: на двадцать пятом году жизни его впервые позвало, как душу вовне, толкнуло в неведомое.

Он опустил ноги на пол, в ступнях заныло от страха провалиться сквозь. На цыпочках, на умозрительных пуантах, чтобы не потревожить ненадежную гравитацию, он подобрался к окну. Черные мамонты гор уходили в глубины Вселенной, а сверхточные алмазы звезд сверкали в кронах деревьев. Как встревоженный зверь, высматривал Юра то место, куда поманило его неведомое нечто. Однако чего не избежать, того не избежала даже общая теория относительности — одиночества. Простое, чистое от примесей чувство на языке откровения говорило о том, что все эти сыпучие галактики и зыбучие черные дыры не так уж и далеки — на расстоянии всего лишь одной смерти.

...А на другой день пришло письмо из Марбурга. Из конверта изящной текстуры извлек письмо. Полупечатным, ортопедическим почерком Штефания писала по-русски: «Добрый день, Юрий. Спасибо за твоих письма, они мне очень радуют.

Сию в кафе, пью турецкий чай в золотых маленьких стакан. Наший друг здесь, в турецком кафе снимает фильм, и через тридцать минут я буду играть турецкая бардама...» Явилось ее лицо славянской красавицы, щедрая синева глаз, темнорусые томные кудри, на розовых щеках ямочки под мальчиговую улыбку... И заныло солнечное сплетение от невозможности схватить ее и прижать.

«Вот эти тридцать минут прошли... Я как бардама должна было разговаривать с четырям турками! По сценарию мы во всяком случай не понимаем друг друга и я говорила по-русски — до того, что один из них угадывает и говорит мне по-немецки. Вот такие случаи.

Юрий, я влюбилась в свою большую любовь..» А вот это лишнее, это не нужно, невозможно! Запнувшееся сердце вдруг нашлось, но не там, где билось от роду, и кинулось простучивать возникшую преграду. «Штефи, ну не так же сразу! — взмолился Юра. — По сценарию нужен подход, переход по шаткому мостку через горный поток невозможного!»

Он стоял перед окном и бессмысленно смотрел теперь уже на полуденное небо, оно выгибалось сероватой синевой над зеленой щетиной Бештау, над его терпеливыми склонами, принимавшими боль и стоны многих поручиков, уязвленных неразделенной любовью. «Ах, бардама! Кто же обнимает твой турке-стан?» Он смигнул накупив слез и продолжал читать: «... в свою большую любовь. Мы хотим ехать тебе в конце юлии... Альберт — мой любовь — будет играть концерты на пианино...» Альберт! Вот оно что. Альберт на пианино — это слишком! Из клавиш и фантомной музыки Юра представил лицо, фигуру избранника: цепкие пальцы налетают на клавиши, царапают, скользят, и... пианист повисает на кромке грифа, болтая в воздухе пластиковыми ножками.

«Да еще я сдаю свой экзамен, писала работу о русской поэзии, которую ты смеялся и называл онополой. Я искала синоним, эквиваленту языком немецким, не нашла, это очень хорошее слово!» Оскорбленный своей ревностью, Юра окрысился и на перверсивную поэзию Цветаевой и на Штефанию, представил ее спортивно плотную фигуру, добавил маскулиновой грубости и превратил в толстоногого усадившего крепыша.

Однако был еще один экзамен, названный «Shale» (да что уж! Назови «Schalen», сдирай кожу, поддевай и тяни, тяни нервы!): перформация живых статуй и черных тумб на лужайке в парке сверхкультурной марбургской шуле. Живые статуи держат на вытянутых руках дырявые плошки, в которых исподволь гуляет таинственный свет. Шесть скульптур — угадай, которая из них Альберт? Вспомнились призраки-альпинисты давешнего сна: как они узнали, что один из них в западне? Каким чутьем Штефи отличила одну из этих полуоживленных статуй, поставленных на черные постаменты? Юра вздрагивал от ревности, немыслимой самой по себе, но и безумной только потому, что никому не хотел отдавать Штефанию.

У эпистолы была примечательная концовка, в ней Штефи уведомляла, что Альберт, сверх намерения донимать клавишными концертами, еще «будет ходить в горы Кавказа к памяти своего Grossvater» (надо полагать, под марш «Альпийских стрелков!»), и, уже от имени Альберта, просила: «Und wähle uns am “schwierigsten” Marschweg zum Berg Tscheget. Zum höchsten Elbrusgipfel».

Альпинист бывалый, Юра не сразу вспомнил, где этот чертов Чегет, по соображениям Альберта (или его воинственного деда) — самая высокая вершина Приэльбрусья, а когда вспомнил — ухмыльнулся: на Чегет ходят подвесные люльки, подсобные как для альпийских стрелков, так и для инвалидов!

2

Прошлым летом Юра познакомился со Штефанией на московском минифесте — ярмарке мимолетных, скоропостижных фильмов. Бродил из зала в зал, от экрана к экрану и сопереживал не столько событиям внутри киноленты, сколько режиссеру, его почти физическому усилию впихнуть событие в узкую щель мимолетности. Минута жизни не есть результат сложения ее мгновений, и многие режиссеры не столько впихивали, сколько выпихивали событие за двери сюжета в надежде, что герой сам как-нибудь выживет. Ведомый практическим интересом, Юра задавал себе вопрос: существует ли минимальное объективное время, с которым способно совпасть внутреннее время минимальной драмы? Понятие «внутреннее время» усиливалось и размывалось удвоением его смысла, поскольку внутреннее время мгновенной кинодрамы сопоставлялось и внутреннему времени героя и объективному, но относительному времени киноленты.

Что значил весь этот минифест? Был ли это массовый забег кинокамер с целью рекордно урезать время жизни? Или это был индивидуальный отстрел с проверкой на изворотливость? Или это была очередная лабораторная попытка измерить способность человека удерживать раскаленную болванку «мгновения» без разрушительных последствий? Две-три минуты скороспелого кино, кинемы, подвижные фотографии, вырезанные из повседневной жизни захоластного китайца, англичанина или черногорца, демонстрировали вроде бы универсальность переживаний мультичеловека.

Юра не всегда понимал происходящее, злился на себя, на чрезмерную вычурность сцен, тяготеющих к самой пошлой и бессодержательной условности. Так раздражаясь и злясь, он вдруг подумал, что такой же раздраженной злостью был раскален добела Иван Бунин в «Окаянных днях». Академик русской словесности метался по Одессе, захваченной красной властью, ужасался жестокости, молил Бога о приходе белых и негодовал на творческую интеллигенцию, которая новыми формами украшала большевистский минифест. Так эстетически терзаясь и мечась, академик наткнулся на красноармейца с гармошкой. Меланхолично пиликаая, тот пел:

— Ночь темна, как две минутки...

Движимый ненавистью, академик подступил к красноармейцу с вопросом: «Ответь мне, рожа, почему же, почему она темна как две минутки?!» Мерзавец пожал плечами и ничего не ответил. «Вот таково их новое искусство!» — воскликнул академик...

Раскрыть черную папку и показать академику черный квадрат с двухминутным сценарием ночного расстрела?

Иван Алексеевич, на ваших глазах зарождалась релятивистская картина мира, в которой два сознания находятся друг по отношению к другу в такой же неопределенности, в какой находятся две частицы, летящие со скоростью света. Некий остроумный философ довел эту метафизическую неопределенность до математической точности: сознание *другого* — абсолютно *другое* сознание. А братья Люмьер лишь изобрели аппарат, в луче которого космически разнесенные судьбы уютно соединяются в мирке бесконечно падающего лифта (сценарий озорного А.Эйнштейна).

... Вот еще один, прочти пустой зал. Из черно-белой дымки возникают колючие немецкие титры, потом три старика, занятые беседой на плоской парковой скамейке. Пространство и действие фильма в полной тишине. Старикам за восемьдесят. Сидят тесно. Слева (назовем его Левый) — худой, длиннотулый, в полосатой тенниске, лицо выражено морщинами и орлиным носом, волосы седые, волнистые. Справа (назовем Правый) — лысый, полный, лицо заликовано двумя подбородками, он в пуловере и опирается на костыль, зажатый в коленях. Оба глядят на среднего, он худощав, пониже

обоих, лицо точеное, стрижка под серый бобрик, одет в старый армейский френч с петлицами альпийского стрелка (назовем его Френч). Несмотря на разнообразие физиономий, все они из клуба геронтов — холеные, невыразительные, как и сама немая беседа. Левый и Правый глядят на среднего, две-три беззвучные фразы, Френч мимическим жестом тонких губ кажет улыбку. Левый обнимает его за шею и кулаком на длинной лучевой бьет, бьет, бьет в лицо, как будто взбивает подушку. Френч пытается выскользнуть, но Правый ручкой костыля подпирает ему подбородок. Рычаги работают, Френч вертит головой, а ладони его рук покойно лежат на коленях.

Юра внутренне, сердечно напряжен и считает секунды, которые пульсируют в кадре, как кровь в избиваемом, и не сразу слышит, что зал хохочет всеми креслами — но что смешного? Садистская беспощадность ударов? Лицо Френча в петле захвата? Старческая нечувствительность к боли? Услужливое пособие костыля, подоткнувшего подбородок Френча? Не сценка была смешной, а нечто, эту сценку освещавшее и уводившее причину конфликта во мрак прошлого. И в то же время, в те самые «две минутки», на глазах зрителей работал механизм искусственной памяти, подобно врубной машине извлекавшей из породы плоти куски идеально подобранной мести. В этой анимации и реанимации искусственной памяти не было ничего человеческого или чего-либо отсылающего к человеческой природе, как не было ничего противоестественного в этом слаженном академическом избиении. Вот разве лицо избиваемого... Но и оно в своей родовой неповторимости гляделось, как то самое общее место, что предназначено для комичного киношного битья.

Юра стоял в гулком фойе, принаравливал оконный свет к свету, вынесенному из кинозала: особенная, привнесенная кинолучом тоска тянула вернуться и досмотреть вчуже недопрожитую драму. С таким же чувством тоски, растерянности, да еще ненужности стоишь подле гроба, чей полноправный владелец уже развернул на себя освещение, лежит самозавершенный и ни за что не расскажет о том, как далеко залетели светозарные картинки...

У бара толпилась говорливая стайка, переливы русской речи мешались со стрелчатыми обертонами немецкой. Поздравляли крепенькую, небольшого роста шатенку, одетую в грубый свитер и вольные брюки. Она вертела головой, всплескивая хвостиком на затылке, славянского типа тяжеловатое лицо и ямочки на щеках улыбочивой юницы. Знакомец сообщил Юре, что зовут ее Штефи и что поздравляют ее с каким-то дипломом.

Разместились за двумя сдвинутыми столами, стали передавать из рук в руки кофейные чашки, и Юра увидел ее напружиненную кисть и пальцы как будто с добавленной фалангой. В окошечках ногтей трепетала та же улыбка, что выпархивала из ямочек на щеках. Длинные пальцы делались особенно музыкальными, когда она на станочке заворачивала табачок в пергамент и подносила сигарету к целующим губам. Из привздернутых курносых ноздрей дымок вылетал тонкими струйками. На щеках веселилась россыпь веснушек цвета табака. Голос — мягкое, поставленное контральто, под куполом которого дребезжали и смеялись русские балабоны. Юра вглядывался в юницу, как в мелькающий минифильм, скоропостижно высматривая изюминку ее очарования. И вдруг увидел ее глаза: если бы можно было выдумать радужки цвета болотной ряски, отраженной в голубой глубине заводи!..

Ее имен было несколько, они гуляли в застолье, и каждому она отдавала себя с природной артистичностью. На «Штефи!» она вскидывала голову и смотрела на зовущего как будто с подножки поезда. «Ште-фа-ни!» — выпевал другой, откинувшись на спинку стула; она ритмично качала головой и постукивала пальцем по спинке сигареты, помогала ей скинуть паричок пепла. «Штефанино!» — развивал кто-то мелодию трезвучия; она смеялась, выгибала певческую шею, под напряженной тканью которой подрагивал кадычок.

Юра с завистью смотрел на тех, кто умел обернуть ее внимание на себя; ее

дерущиеся старички не к месту мелькали перед глазами, намекая на нечто, сидящее в ней глубже фестивальной победы...

Завороженный золотистым славянским перетоком в ее лице, он мелодично позвал: «Ште-фа-ни-я!» Она оглянулась и, не то подражая, не то передразнивая, пропела: «Ньяаа, Ньяаа!» Он отметил точно взятое ля в коде и на своем родном, вдруг очерстневшем, языке поздравил ее с победой. Она качнулась всем корпусом и кокетливо поблагодарила. Ее упругое немецкое контральто проседало мягкой неумелостью русской речи, и Юра напрягался, деревенел, борясь с акустической неемкостью своей души и безудержно скачущим влюбленным сердцем.

«Ни-но!» — прогудел голосом отъезжающего кто-то из ее немецких друзей. Вот так, вот так, Юра заторопился, оттолкнул от себя стул, не успел познакомиться, как уже прощаться. А что же делать с этим сердцем, с этим коньком-горбунком, что вскинул голову и расправил крылья? Что же делать этому чувству, рожденному для восходящих потоков любви? «Как же мне быть? Как же быть-то?» — Юра торопился и уже беззастенчиво проталкивался, приближался к ней, уже касался ее плеча то на выходе, то на улице, толпился вокруг нее с каким-то звериным намерением переплести свою грудную клетку с ее или хотя бы зацапать пальцами ее длиннопалую крылатую пясть.

Наконец рой ее имен стих. Юра слушал, как шелестит ее плащ, подражая шелесту тополей. Густые прохладные сумерки медленно гасили зарево над прудами. Он шлепнул ладонью по деревянной спинке лавочки: мол, сядем.

— Ля-воч-ка,— догадливо пропела Штефи.

...Уже минут десять Юра восторженно рецензировал ее фильм, ее стариков, возникавших на полотне серого неба, на темной глади пруда, говорил, подбирая простые, понятные слова; ему казалось, что перевод на русский не искажает смысла, и все равно смущался, ежился, не знал, как подступиться к ней, как проскользнуть сквозь сложные складки ее бытия и прикоснуться к душе. Она была повернута к нему всей внешней оболочкой, она мерцала в сумерках то голосом, то улыбкой, то лоскутом папиросной бумаги, которую приласкала языком, запалила и, поколебавшись, предложила ему. Это был первый поцелуй, губы припали к прохладной влаге, ангел ее дыхания скользнул в самое сердце терпким густком табачного дыма. К берегу пруда выбежал спаниель, трепеща и слагаясь из черно-белых пятен, оскалился на воду и стал звучно лакать.

О чем она говорила? Юра все старался приподнять, удержать ее спотыкливую русскую речь; ненароком подтягивал ее к себе, она кокетничала детскими ошибками, ямочками на щеках, но так тонко, ни к чему не обязывая, что Юра терял не только нить разговора, но и способность понимать... И тогда она сжалась, загасила его попытку сблизиться и направилась к метро. Пересекая луч фонарного столба, обернулась, накинула косыночку теремком и улыбнулась — девица-красавица из самой детской его сказки.

3

И стали приходить от нее письма, оформленные рукотворными виньетками, со строчками, заплывающими поперек листа. Вся плещущая и переплескивающая графика должна была показать Юре муки, которые претерпевала Штефания, борясь с неподвластной стихией русского языка.

Она жила в деревеньке Бохум, что холмами скрыта от Дортмунда (читай Ротозеево). В деревеньке «много разных запахов — ловендела, цикор и других цветов, так яркие и прекрасные (не знаю разниц между Blumen und Farben)». Как это? Как не знать разницы между цветком и запахом? Юра удивлялся тому, что у немчуры цвет тянет за собой запах и никогда наоборот. Значит, «Farben chemisch» опылял окопы Первой

мировой не запахом миндаля и фиалки, а букетами цветов! Юра стыдился своих невольных мыслей, отсылал себя в исторические сноски, где зерна фактов перетираются в угрызениях совести: кто прошлое помянет, тому глаз вон.

На пути из Бохума в Дортмунд у Штефании было время играть на флейте, рисовать и писать ему: «Ah Jugi, не могу ставить русский мягкий твоим имя! Ты пишешь Штефания, но такой Штефи нет в Бохуме!»

Чего еще не было в Бохуме? Она рисует, читает Вольфганга Леонарда «послереволюционную время немножко для образования»... Юра вчитывался в ее скачущие строчки и отсылал себя на периферию ее тотального культурного оживления: чего еще недостает этому свободному времени между Марбургом и деревенькой Бохум?

Тянулась московская осень, Юра скользил в нефтяной грязи, дышал трупным духом метро. Увертливый, но боязливый призрак шмыгал по скверам на перепончатых кленовых лапках и прятался за пивные ларьки. И как с невидимого фронта от нее письмо, писанное треугольником: «Ноябрь уже, листья почти все пали, воздух туманится...» И в скобках: «В будущем письме я буду употреблять "грамматическую помощь", а сегодня у меня охоты совсем нет, так поздно — извини». Он извинялся, потому что не ожидал от нее такого сочного, многозначного слова «охота».

Она готовилась к завтра, как к непредсказуемому будущему. И вот ее отчет: «В Бохуме русские писатели прочитали части своих сочинений...» Она волновалась и передавала имена писателей в собственной транскрипции: Селена Шмарц, Хорь Колин, Штейн Базилевс и Фима Дрыгов. — «Все они были тоталь микрофон, и была которая не сходила ни со сцены и пауза для наш предцедатель (наш доцент) была нет и мы только немножко поняли». На какую грамматическую помощь опиралась она, кувыряясь в этих путаных строчках?

Письмо с виньеткой из эдельвейсов пришло без «грамматической помощи». Не подозревая об адъективной слабости русской души, Штефи бездумно сорила приласкательными «мой задушечка», «милый дружок», «мой сердце». И его сердце трепетало так же бездумно, но кололи остья подозренья: «К чему такая странная, избыточная ласковость?» И вдруг читает: «Я сейчас работаю о Софья Парнок (или может быть Порнок? Не знаю), она большой друг русской поэтессы... Ich kann nicht Ц von 3 unterscheiden». Не может отличить русскую Ц от немецкой Z? Отличит ли она кус цеце от проникающего яда цеке?!

Бывают моменты, когда человек превращается в чудовище переживаний, душа клубится грозovým облаком, ее пронизывают нервические молнии (как отсылка к чему-то высшему, обязанному предупредить распад), но она переживает не себя и не за себя, своими чувствами авансируя не поддающуюся разумению судьбу. Юра не понимал, кому вторит Штефи: половоемкой поэтессе X: «Грудь женская! Души застывшей вздох, — Суть женская! Волна...» или отвечающей взаимностью поэтессе Z: «Под взлетом верхней, девичьей губы Уже намеченная нега нижней». Юра вчуже переживал любовь не с той ноги или, как шутил набокий товарищ по цеху влюбленных поэтесс, половую леворукость. Бессмысленность очевидна, но атавистическая душа не может удержаться от нахлынувшего безумия, в котором пережитое вчуже чувство одаривает сумасшедшего двойной порцией адреналина...

И Юра вдруг уверился, что предчувствовал в Штефи эту половую симметрию, сексуальный сдвиг. Он представил ее сильную мальчуковую фигуру, вспомнил мимику и жесты нейтрального кокетства, придававшего ее славянской красоте неотразимо-заманчивую двусмысленность. Чувство неловкости перед ее мужеложной страстью странным образом сплелось с чувством неловкости от того, что она дитя исторически фашистской Германии. В Москве он все время помнил об этом и боялся словом, жестом, интонацией как-нибудь невзначай уязвить ее прошлым, он старался так двигаться, так улыбаться, так вести ее вдоль московского света, вдоль домов и деревьев,

чтобы ни свет, ни дома, ни деревья не облучили, не оскорбили Штефанию памятью о диком вторжении ее предков. Бог с ним, с его незнанием немецкого и с ее полудетским русским! Юра не понимал, почему он испытывал перед ней неловкость за поражение ее страны, как теперь испытывал неловкость перед ее, как ему казалось, половой инверсией. Но что он мог изменить? По силам ли ему? Да и вправе ли он отнимать у гусеницы сладостный плод однополой любви?

4

И вот уже дома, в виду кавказских предгорий и гор, он получает ее рукотворную «закрытку» (прощай, Штефи!), в которой она сообщает о своем (ему кажется — мужественном) замужестве... Юра подобрал разорванный конверт, осмотрел под штемпелем бундесмарку и подумал, что надо предупредить Таню.

С детских лет, когда он впервые увидел Таню, горы и небо, их обнимавшее, он звал ее только Таней или внучатой мамой — будучи внучатым племянником ее брата дяди Вани. Юра никак особенно не связывал дядю Ваню с Отечественной войной, а его смерть — с Кавказскими горами. В Таниной комнате висит фотография: трое идут друг за другом по узкой горной тропе над рекою, первым дядя Ваня в ушанке, шинели и валенках, в руках — длинное ружье с примкнутым трехгранным штыком. Чтобы подчеркнуть героическое неравенство сил, Таня поместила рядом трофейное фото немецких минометчиков: по колено в снегу, в альпийских кепариках, немцы радуются солнцу, снегу, безотказной машине миномета, и тот, что заправляет в ствол хвостатый снаряд, элегантно держит сигарету в уголке улыбающегося рта... Грубая техника русской фотографии резко отличается от изящной техники немецкого фотокора. Будучи подростком, Юра болезненно переживал это эстетическое неравенство как очевидный проигрыш «ваньки».

Теперь же, под угрозой приезда замужней Штефании, все как-то извратно и наизнанку сошлось. Упрямо веря в то, что, владея техникой Пруста и Цветаевой, Штефи прикрывала замужеством свою извращенную природу, Юра утихомирил свою вину перед «всеми немцами», но как поведет себя Таня, предугадать не мог. Разумеется, он знал характер своей внучатой мамы, отлившийся в ее светлой, приветливой душе, но пугало ее упрямое, пролазливое любопытство...

— Юрашка! — дверь как бы сама собой приоткрылась, и Таня заглянула. — Тебе письмо... А, ты уже знаешь!

Она тряхнула седыми кудряшками и стала затворять дверь, но Юра замахал открыткой:

— Ахтунг! Ахтунг! Предупреждаю, предстоит нашествие немецких захватчиков!

— Что такое? — она сощурилась и вошла, пришаркивая войлочными тапочками. — Туристы?

— Не-ет, — самодески пропел Юра. — Немецкая пара едет покорять самую высокую вершину Кавказа.

— Им негде остановиться? — Таня оглядела комнату и опустила руки в кармашки халата. — Мы можем потесниться. Думаю, места хватит, если они не будут ставить здесь палатки и разводить костры.

Юра не представлял, как можно потесниться в двухкомнатной квартире, построенной во времена освоения Кавказских минеральных вод. Впрочем, он надеялся, что визит будет недолгим. Напряженное чувство любви надломилось, и он не желал, чтобы перверсивная чета опошлила трепетный эгоизм его душевного разочарования.

— Таня, — с преувеличенной укоризной самому себе сказал Юра, — эта немецкая пара хочет воссоединиться с памятью деда, горного стрелка, чей прах закован ледниками Чегета.

— Ахти, Господи! — всей исторической памятью оторопела Таня и, подумав, к

чему-то добавила: — Покажешь им наши карстовые пещеры. Ты не поверишь, в них раскопали скелеты маленьких людей, вот таких, не выше стола. А ведь когда-то жили, мучились, страдали...

И все-таки его потряхивало, как будто предстояло переступить некий рубеж. Оставшиеся до приезда дни он оглядывал Джемуши и окрестности, настраивая зрение под взыскательный, но трезвый взгляд Штефании. Горы — друзья детства, каждую он знал не только по цветам года, но и по характеру склонов, троп, отвесов. Гора Железная подступает под самое окно, деревья на ней похожи на детские кудряшки. За нею — ребристая Развалка, хранящая в своих недрах вечную мерзлоту. Если смотреть в кухонное окно, виден овраг речки Джемухи и за нею, тремя нарастающими волнами, vyplывают Машук и Бештау.

В предгорьях показывают то, что исчезает в горах, и ему хотелось по-другому развернуть холмы, подтянуть стволы буков, бредущих по склону оврага, дать жизнь старым, веселым источникам, ныне залитым бетоном... «Фигня, — вспоминал он. — В конце концов, им нужен Кавказ, а его вершины сами себя покажут...»

— Юрашка, — встревала Таня, — надо бы подкупить постельного белья!

Да; и почистить, высветлить желтые кирпичи старинной почтовой конторы, слышавшей и нудные шутки Пушкина, и язвительный тенорок Лермонтова, и вкрадчивый баритон картежника Толстого...

— Юрашка, твоих друзей не смутит наша неказистая кухня?

Смутит, но не кухня, а Таня: во время чаепития станет рассказывать, с пионерской непосредственностью, как фашисты входили в Джемуши. Ее рассказ будет неизбежен, как и рассказ в рассказе. Нет, встречу надо подать в такой исторической перспективе, которая превзойдет нынешнюю казенную ретроспективу войны.

«Хальт!» — вспомнил Юра своего двухметрового друга. Местный парковый фотограф в отреставрированном «Мерседесе» времен победного Рейха, цвет кофе с молоком. За этот «Мерседес» друг и получил кличку «Хальт». Юра представил, как ранним утром он подкатывает к станции «Бештау» на бесшумных разноцветных колесах, верх откинут, на кончике длинного капота сексуальный трепет имперского флага. В лесном прогале появляется миниатюрный локомотив и, приближаясь, превращается в идущую по душе громадину. Остановка поезда три минуты, всего лишь три минуты! Юра смигнул видение и стал вызывать Хальта. Мобильник долго сверлил молчание, и вдруг заполосный голос: «Юрка? Ты?» Хальт хрипел, как будто его душили: «Чувак! Казаки окружают, они идут лавой!»

— Какая лава? — раздраженно перебил Юра. — Их тут два с половиной мундира...

— Налетели втроем на одного, кричат, что мой «Мерс» пропагандирует фашизм, и порезали шашками колеса!

Юра выразил ему многослойное сожаление и рассказал о приезде немецкой четы. Хальт вошел в его положение и предложил: «Хочешь, я попрошу Ишхана, он доставит их на тройке с бубенцами?»

На тройке унылых и злобных пони!?

5

Утро встречи было тихим и ясным. Уютное здание вокзала «Бештау» островерхой над часами башенкой принимало первую полосу восхода. Башенка была похожа на теремок и светилась изнутри янтарной лампадкой. Юра с детства любил эту маленькую станцию, затаившуюся под самым боком горы. Поезда из всей России сбегались сюда и замирали на две-три минуты. В старых густых пихтах попискивали синицы. К северу от восхода, там, где Бештау изгибал и теснил зарю, уже воспарили и светились вершины Эльбруса. Восторг восхода, утренняя дрожь и напряжение ожидания слились так, что Юра не знал, куда себя деть. Темная матерая ель была неподвижна, но в глубине ее

души тихо шумела память о высокогорных ветрах, как в раковине шумит память о море.

На платформу выбежал лопоухий пес, цок-цок, душа нараспашку, веселыми глазами смотрит прямо в глаза, готовый при первом намеке играть и лаять, взгляделся, погрузнел и, тенью в тень, бесшумно юркнул в кусты.

На вокзальных часах минутная мышца дрогнула. По-будничному забренчали медью воробы, колокольный репродуктор кашлянул и объявил: поезд «Москва — Гора Кольцо» прибывает на второй путь, нумерация с хвоста поезда. Юра заметался по платформе, соображая, где их принимать: поезд длинный, дебаркадер короткий. Из зала ожидания вдруг повалили встречающие. Знакомый с тележкой: «Привет! Ты своих? А я, блин, курортников!» Юра успокоился, их вагон, в Москве почти хвостовой, причалит к дебаркадеру.

Штефи вышла первой. Те же вольные брюки, обтянутый пуловер, на спине длинный черный рюкзак. Она кивнула, улыбнулась, и Юра понял, что ей не до него. В руке у нее была кинокамера, и она стала снимать того, кто выходил за нею.

Кого же мы снимаем? На платформу вышагнули две тонкие трости, потом высокий, худой, весь в черном. Прежде чем сделать шаг, он примеривался, как будто платформа качалась. Поправил на спине рюкзак, шагнул раз, два, утвердился явно на протезах и пошел строевым, пружинистым шагом. Штефи пятилась, снимала: бледное, длинное лицо, дымка темных выющихся волос, конский хвостик на затылке... Юра взял у нее рюкзак, она мимоходом представила: «Альберт!» и продолжала снимать: тонкие брови, изогнутые над черной оправой очков, розовые уши и маленькие розовые губы. Альберт шагал прочно, трости-костыли почти не касались платформы. Киносъемка закончилась, Штефания обернулась — и как она улыбалась всем лицом счастливой невесты, кивком головы откидывая прядки волос и, одновременно, презентуя любимого мужа!

Два дерева росли возле Таниной квартиры: старинные каштан и липа, они касались друг друга июльской листвой, но никогда не переплетались, каждое самоуглубленно уходило в свой ствол, отстраняясь от эпох и календарей. Юра любил их с детства и, проходя между ними, всегда испытывал мимолетное стеснение в груди — в сердце, в памяти, стеснение сиюминутного прохождения...

Таня встретила их на ступеньках, улыбаясь всеми своими и железными, она громыхнула пустым ведром и сказала: «Юрашка, они понимают по-русски? Объясни им, что отключили холодную воду...»

Раздраженный дурацкой приметой, Юрашка дернул у нее ведро и побежал на нижнюю улицу. Чугунная тушка носатой колонки никак не отозвалась на его нетерпение. «Это чудовищно! — бормотал Юра. — Взорванную немцами водокачку до сих пор не могут починить!» Он беспомощно огляделся, улица была пустынна и бездушна. И вдруг — недотепе везенье — появилась громоздкая на узкой улице поливалка, широкий радужный веер воды раздвигал кусты и гнал по асфальту пену. Юра замахал ведром, водолей приостановился, веер опал, и Юра наполнил ведро студеной, бьющей через края, водой.

Чай пили на кухне. Квадратный столик удерживал четыре фигуры разной степени вежливости и приязни. Юре казалось, что Таня смотрит на немцев, как на всплывший осадок ее памяти, а на Альберта — как на жертву, которой русская мина оторвала ноги по самые колени. Сам Альберт выглядел женственно: тонкие, перманентно выющиеся волосы, забранные в пушистый хвостик, тонкое, матовое лицо, маленькие детские губы и за очками — зоркие серые глаза. После третьей рюмки вермута (местный, старый полынок) Штефи стала демонстрировать мужа на скользком русском, пользуясь тем, что он ни слова не понимает. Теряясь в своей немоте, Альберт розовел: румянец

защел на щеках, на лбу, на длинном подбородке, заалели маленькие уши под дужками очков...

И Таня не выдержала. В темных радужках загорелись искорки. Память погнала воспоминания, как сердцебиение кровь. Штефи вся собралась, напряглась, чтобы должным образом переводить Альберту, как из-под ломкого профиля Развалки ранним летним утром потянулась камуфляжная колонна завоевателей. Жуковатый ход техники вдоль колхозных полей поднимал густую пыль сухой осени и смешивал с сизым дымом выхлопов. Издали детали не разобрать, но ведь было уже время кино, и догадливые джемушане с ночи заняли места в штольне под Железной — на матрацах, мешках, одеялах, кое-кто с подушками. «Мы с мамой прибежали последними и устраиваемся у выхода, у железной решетки с воткнутыми для маскировки ветками». Зрители в ожидании жмутся к стенам штольни, к теплым трубам, по которым течет источник имени Лермонтова. «В нашем каменном мешке сыро. Отовсюду *слышатся* покашливание, вздохи. А они идут и идут, до самой ночи. Я пробираюсь в глубь штольни и в ее конце обнаруживаю вертикальную шахту, которая, как телескоп, собирает лучи редких звезд». Таня гипнотически смотрит на Альберта, мол, доходит до него? Альберт встряхивает пушистым хвостиком и смотрит на жену, он называет ее Нино. Подражая мужу, Нино встряхивает своим тяжелым на затылке хвостом и налегает на перевод.

«Бой начинается в десять утра, — уверенно говорит Таня. — Мы слышим стрельбу и глухие взрывы. — Но это не тот бой, который может решиться так или иначе». Нино переспрашивает, и Таня повторяет: «Так или иначе!» — «О!» — говорит Нино, вкладывая сложную интонацию вопроса, недопонимания и услужливого восклицания. Таня разъясняет: «Исход боя предreshен. Мы, сидя в штольне, уже знаем. В Джемушах нашими оставлен только маленький отряд...» Юра прислушивается к тому, как Нино фразу за фразой переправляет в мозг Альберта. Против гитлеровской армады, движущейся к предгорьям Эльбруса, на рубеже Джемушей был оставлен заградотряд из пяти молоденьких бойцов. Двое спилили старый тополь и повалили его поперек дороги, трое залегли на крыше санатория. «Это метрах в трехстах от штольни, — пояснила Таня. — Если взглянуть из штольни, видно дуло, торчащее из-за трубы». Необходима ремарка, Таня не обошла бы ее вниманием своей памяти: видя все это, она читала Оскара Уайльда. И: «Неожиданно уже ставший привычным треск пулемета обрывается, и молодой солдат (наш!) бросается бегом по крыше. Тяжело грохает по жести его торопливый бег, и вдруг строчит всего одна короткая очередь, и парень падает, остается лежать на крыше, раскинув руки...» Штефи раскидывает руки, Альберт понимающе поднимает тонкие брови над тонкой оправой очков. Юра пожимает плечами и помогает понять Тане их неуклюжие вопросы. Таня прилегает к спинке стула, улыбается самой себе и продолжает: «Когда через час, собрав подстилки и одеяла, спускаемся осторожно к домам, мы видим, как в курортных ваннах, под колонкой в нашем дворе голые мужчины обливают друг друга водой... Они смеются и покрывают от удовольствия, и ни один из них не похож на того, кто убил солдата на крыше... Эти голые солдаты начинают играть и петь...» Штефи вдруг поднимает руку и, профессионально резонируя, спрашивает: «Што поют?» — «И тогда я впервые услышала, как ваши в две губные гармошки играли...» Таня пропела: «Из-за острова на стрежень...» Штефи, бренькая на губах, перевела мелодию Альберту, тот подхватил и забрунжал вторя, но Таня не дала себя перебить.

— А с первого сентября нас погнали в гимназию! Понимаете?

Немцы не понимали. Штефи потянулась было крутить сигарету, Юра покачал головой, она сжалась и прислушалась.

— У нас появился бургомистр, он ввел гимназию (понимаете?) и закон Божий! А потом латынь, а через неделю восстановили колхозы и нас кинули на уборку свеклы!

Таня звонко рассмеялась и показала рукой в сторону предгорных полей.

— Что есть свеклы? — озаботилась Штефи.

— Роте-Рюбе, — поспешил на выручку Юра.

Немцы радостно закивали, но Таня настойчиво возвращала их в историческое поле.

— Вспоминаю, — глядя на немцев с беспощадной улыбкой, — у нас сразу объявился аристократ самых голубых кровей — бывший учитель истории, у него из нагрудного кармана свисала красно-сине-белая лента и он жестоко наказывал тех, кто кривлялся на уроке закона Божьего... А мы, пионеры, кто падал в обморок, кто прыгал в окошко! И самое замечательное, по улицам ходил казачий патруль! Они были в форме и с нагайками!

Юра видел, что Нино утомлена своей двойной жизнью: вслушиваться и переводить. Альберт, напрягаясь слухом и недопонимая, кивал и кивал. Юра хотел было отвлечь Таню, но локомотив ее памяти уже набрал свой ход: махина истории двигалась по узким улочкам Джемушей, а запыленные лица горных стрелков с нетерпением ловили лунный абрис Эльбруса.

Юра и сам мог бы рассказать, почему в виду Кавказского хребта сердца дивизии «Эдельвейс» так учащенно бились и стремились вперед. Нетерпение этих стегноцефалов, толкающих тяжелое тело войны к подножию Эльбруса, объяснялось тем, что потеря сентября и октября грозила сильнейшими и долгими бурями на перевалах и вершинах... На скалах эльбрусской гряды Юра находил их победные надписи с указанием года, дня, часа и даже минуты, а где-нибудь над обрывом, на полуметровом полке, обнаруживал каменные грудки, хоронившие под собой жетон, часы и комок истлевших бумаг и фотографий.

Это была война вершин, война на высотах, где человеку отказывают не только сознание, не только память и зрение, но и чувство самосохранения...

— Таня, — Юра вмешался, — дивизия «Эдельвейс» была в Нальчике уже в конце августа!..

— Йа, Налчик! — воскликнул Альберт, просыпаясь.

— И шла, шла выше, к Тырнаузу...

Альберт закивал, закивал, но не смог произнести явно знакомое имя горного городка.

— Тырнауз, — повторил Юра, демонстрируя легкость произношения. — Дивизия «Эдельвейс» рвалась к шахтам Тырнауза, к небесно-серому вольфраму, к отстающему от него, но тугоплавкому молибдену... Вы только представьте, температура плавления вольфрама (Таня, вольфрам — это таранящий волк!) соперничает в цифрах с высотой вершины Донгуз-Орун-Баши!

— Йа! — воскликнул Альберт и четко, без запинки повторил: — Berg Dongus-Orun-Baschi!

Пользуясь возникшей в застолье паузой, Альберт с помощью одной трости вышел из кухни («Юрашка, — тревожно спросила Таня, — мы их чем-то обидели?» — «Их обидишь!» — ответил Юрашка, улыбаясь расслабленно отдыхающей Штефи) и тем же шагом вернулся.

Штефи смотрела на него нежным, понимающим взглядом. Альберт подвесил костыль на спинку стула и стал разворачивать на столе свиток географической карты. Он провел ладонью над ландшафтом, как гипнотизер над лицом перципиента, и на географическом лице обозначились вершины, перевалы и длинный хребет геосинклинали — от Alpdruke-Альп до Гималай-Гималаев. По хребту пролегла красная атакующая линия, черными стрелами закрепляя за собой захваченные цели. Нино, вторя Альберту, водила пальцем по изгибам Альп и объясняла, что дед Альберта, grosfater Курти, был альпийским скалолазом и, прежде чем взойти на Эверест, совершил восхождение на Эльбрус в связке со своим русским другом...

Юре ничего не стоило представить, как шел Курти шаг в шаг с русским

товарищем, как их роднила тропа над разломом не шире 20 метров; они шли к «Приюту 11». Именно в этом месте вынужден был повернуть назад отряд, пытавшийся уже в 1942 выбить фашистских егерей со стороны восточной вершины Эльбруса... Эта тропа свела их смертельно, когда Курти, искусно лавируя на горных лыжах, поливал из шмайсера, а его противник двигался на снегоступах, связанных из прутьев ожины. Соперничество за вершинный перевал завершилось тем, что Курти надел снегоступы, а его русский недруг — трофейные лыжи...

— Господи, — прошептала Таня, — у них карты подробнее и точнее наших.

— Наши карты плохие? — спохватилась Нино.

— Что ты, милочка! Очень, очень хорошие, — всплеснула руками Таня, ее лицо покрыла густая паутина памяти.

Развернув карту, Альберт стал читать выдержки из фронтовых писем.

Курти рвался сменить флаги на вершинах Эльбруса, а его обязали сопровождать минометчиков, обучать их хождению на лыжах и, главное, прежде чем стрелять — оглядеть снежные склоны, нет ли где готовой к сходу лавины. «Эти идиоты с сигаретами в зубах доведут нас до беды, — писал Курти. — Они громят склоны по первому испугу, и в ответ на нас обрушиваются то камни, то сель, то снежные лавины».

В сентябре-октябре Курти маневрировал то на склонах Азау, то подле Чегета, рассерженный тем, что у него из-под носа население Тырнауза выносило на себе из рудника драгоценный вольфрамо-молибденовый концентрат. «Я видел, как дети тащили мешочки, карабкаясь по ледяным склонам перевала Бечо», — писал Курти, и его внук жестом отрететированной памяти воспроизводил этот гибельный ход под напором ветров.

«Русские навязали нам странную войну. — Мы воюем на таких высотах (in den höchsten Höhen), куда не долетают самолеты. В ясную погоду мы видим изделия лилипутов: они мошками плывут по ущелью, увертываясь не столько друг от друга, сколько от восходящих или низвергающих потоков воздуха... О, эти космические потоки! Я всегда подозревал третье измерение в inferнальном коварстве! Мы не ощущаем его, пока оно таится в приземном движении, но сделай несколько шагов вверх — и ты перестанешь принадлежать себе, ты разорвал двухмерность и, как говорят русские, вышел на Ружу...»

— Што есть Ружа? — спросила раскрасневшаяся Штефи. — Это такой гора перед вершиной, на который русские выходили раньше, чем Курти?

Юра зачарованно смотрел на ее пылающее лицо, душой напрягаясь и сочувствуя. Он не успел ответить, вмешалась Таня:

— Выйти наружу, это как выйти до ветру.

Пауза перевода, и Альберт: «А, ветер! Курти много пишет об ущелье ветров!»

Альберт перелистнул странички, и Штефи покорно принялась за перевод: «Мы призраки, — сокрушался Курти, — нас сносит ветром, мы буквально держимся за облака, облака — наше спасение. Третьи сутки мы сидим в кулуаре и ждем прихода облаков, как, может быть, души ждут прихода назначенного им тела — под их прикрытием мы преодолеваем опасные склоны, которые простреливают русские снайперы».

Альберт поднял свое женственное лицо и посмотрел на Таню, на Юру и, не снижая сочувственного пафоса, стал зачитывать последнее письмо: «Было тихо и так светло, так прозрачно, как бывает только на лютых склонах Эльбруса. Я осматривал местность в оптический прицел. Вот ущелье с ледяною ниткой Баксана, вот молибденовая стена Чегета, вот сверкающий склон Азау, а вот из-за каменного тура мне машет противогазовой маской Лаптев, мой русский альпинист-напарник. Противогазами они спасаются от обморожения. Мне грустно. Лаптев первый разглядел меня в прицел своей винтовки».

Штефи замолчала, и Юра откинулся на спинку стула: поддерживать и выправлять

ее спотыкливый перевод было делом трудным и нудным. Такое же расслабление было и на лице у Тани. Альберт наконец сел. Минуту-другую между супругами трудился ангел молчания.

— Война призраков, — сказала Таня. — Господи, как было бы хорошо, если бы кровавые конфликты разрешались где-нибудь в седьмом измерении...

— Ты не хочешь понять! — перебил Юра.

— Ну конечно, я пережила и я не понимаю!

— Это в самом деле была война призраков, — настаивал Юра.

— Скольких призраков я похоронила? — съязвила Таня.

Бесенок схватил Юру за горло, он шуточно погрозил барбаросским внукам и вышел. Сквозь ясное небо ему померещилась ночь, кошачий выгиб Бештау принимал западную россыпь звезд, и там, где сопрягалось неземное с потусторонним, не было места даже Джемушам...

Юра вернулся на кухню.

— Вот, — сказал он, разворачивая над немецкой картой лист черно-белой русской «верстовки». — Так воевали наши высокогорники.

Русская карта выглядела тучной по сравнению с орлиным масштабом Третьего рейха. Русская карта была выполнена так, как будто ее съемку делал сумасшедший сапсан, потерявший представление о правом-левом, о голове и хвосте: извивы хребтов, разломы ледников, займища рек... весь Кавказский хребет был опрокинут с севера на юг.

— Это на тот случай, если карта попадет в руки противника, — пояснил Юра.

— Ты шутишь! — воскликнула Таня и — немцам: — Он шутит. Сам выдумал этот перевертыш. А как они находили друг друга?

— Ты спрашиваешь, как они убивали друг друга? Курти все объяснил. Это была война призраков. В иные дни они проходили друг сквозь друга, как проходит облако сквозь туман...

— Чушь, — отмахнулась Таня.

6

А вечером был концерт. Альберта усадили за старенькое пианино, подложив под сиденье том энциклопедии. Нино стала возле, прижимая к груди обнаженную флейту. Альберт придвинул стул, убрал костыль на спинку стула, открыл крышку пианино; механические ступни легли на медные педали. Пясти пробежали по клавишам. Альберт прислушался к расстроенному перелладу, кивнул, опять прошелся по клавишам, приноравливаясь к неладному перегуду струн, и искоса глянул на жену. Ногой в толстой сандалиии Нино отсчитала: раз, два, три. Из-под пальцев мужа побежали мягкотелые, но быстрые пассажи, а за ними, играя мускулами дыхания, пустилась флейта. Это был истинно семейный дуэт. Юра, стоя спиной к раскрытому окну, не мог не дышать воздухом этой музыкальной кумирни, пульсом пособлял ритму, сопереживал сыгранной, по-семейному подлаженной гармонии. Флейта, варьируя, шла вверх, подчиняясь ритму сандалиии; Альберт, поджимая губу, отдувая губу, перекидывал напряжение с одной половины лица на другую и густо оформлял это духовное восхождение всеми фибрами старенького пианино.

Таня сидела сбоку, кивала, сопереживая, казалось, не столько музыке, сколько пианисту; гримасничала, вторя его гримасам, напрягалась подобно болельщику, умозрительно посылающему мяч под непослушную ногу форварда.

Юра же, не меньше напряженный, особенно остро чувствовал, что пианист без ног, протезное онемение поднималось в нем, оглушая внутренний слух; а потом он обратил внимание на широкие рабочие ладони, на цепкие пальцы, которые пригоршнями хватали все больше и больше клавиш и перебрасывали друг другу;

флейта же все отставала, звучала все глуше и незаметно стихла. Пианист рывком, точно рыбак, выхватил и потянул из последнего вала сеть раздувшейся гармонии, и музыка отхлынула — на камешках прибрежных клавиш шевелились посиневшие вялые пальцы.

— Ах, как хорошо, — сказала Таня, освобожденно откинувшись на спинку стула, сияя безгрешными глазами.

Штефания свернула флейту, села в кресло и сказала: «Теперь играет Альберт».

Юра посмотрел за окно. Золотая струя заката поливала правый бок Бештау, над овражным руслом Джемухи, из-под древесных крон, поднимался прозрачный мрак.

Альберт поерзал на подставном сиденье, приноровил протезы к малопослушным педалям и стал раскачивать обвисшие руки. Сызбоку глядя на его полумеханические приготовления, Юра вспомнил, как приноравливал онемевшие пальцы к острому краю скалы, с которой свисал, тогда все было лишним — рюкзак, мокрая веревка, две трети тела и застрявший в трещине альпеншток.

Когда Альберт взял первые аккорды, закат был уже почти абстрактный, вытянулся одноцветной нитью вдоль горизонта. В пространстве, ставшем вдруг забористо квадратным, каждый разместился в своем углу: в одном углу кайфовала Таня, подергивала в такт плечами и светилась самозабвенным удивлением; в другом замерла Штефи, поджала под себя ноги и настороженно обнажила казистое ухо; в третьем Альберт свинговал Баха, суставчатые пальцы, точно чертенята, измывались над балетной чередой клавиш; в четвертом неполном углу то коробился, то восхищался Юра. Ему нравилось, как немец, не разрушая гармонию, протягивал Баха через джаз, но его коробила пластилиновая влюбленность Нино, смесь неженской отрешенности и материнского умиления. А тут еще Таня хмельно ухмылялась и по-цыгански трясла плечами! Нет, в сумме ему не нравилась эта квадратура Баха. Он отвернулся к окну и увидел, что закат ушел, в нейтринных потоках Вселенной возникали и мрежили полупрозрачные горы. И в тишину наступающей ночи вплыла тишина у него за спиной.

Юра оглянулся. Альберт, улыбаясь длинным вогнутым лицом, дождался, когда замрет урчание раздраженной струны, и вдруг бесшумно нырнул не то под самые клавиши, не то в придонный сумрак предчувствия — и зазвучала странная музыка, подающая знаки узнаваемости лишь в самых тонких переливах, но в них же творящая мгновенное, ускользающее из-под памяти, сумасшествие; музыка лилась долго, очень долго, выбирая из двухмерного нотного времени все, что можно выбрать из мгновения, идущего контрапунктом, и лишь мельком, секундой соприкасаясь с натяжением противозвучающей ему гармонии — Бах не Бах, но со всеми плеядами Баха, с его фресками, светящимся куполом, поющими хорами, органным гулом летящих консолей... Тихо, а потом бесшумно, словно погружаясь в придонный ил, последний аккорд истаял вместе с пальцами пианиста...

— Ах, гут, гут, — вздохнула Таня и робко спросила: — Вас ист дас?

От невозможности все объяснить Альберт покраснел и оглянулся на жену. И тогда Нино глубоким голосом, словно вторя отзвучавшей музыке, сказала, что Альберт исполнил редкий «ракоход», сочиненный женой Баха в недрах гармонии ее плодovitого мужа.

— Гори, гори, моя звезда! — вдруг полным голосом спела Таня, зевнула в ладошку и пожелала всем спокойной ночи.

Альберт при помощи костыля и спинки стула поднялся и, постукивая каблуками, пошел. Жена — следом, ядрено передергивая ягодицами. Юра остался мыть посуду. Воображение тянулось за супругами. Юра представлял, как Альберт укладывается спать: сильная жена поддерживает подмышки, а молодой супруг, перебирая искусственными конечностями, укладывается сложно и долго, как ложающийся жеребенок.

Юра не мог не думать о странном выборе Штефи, воображение налегало на думанье и вызывало муку. Юра погасил свет и таращился в окно. Звезда горела и мерцала в собственной голубой дымке. Белый кисейный туман пасынком Джемухи поднимался к подножию Бештау. Ангел русской тоски распростер серые крылья над долиной межгорья, куда перелилась ночь, растворив звуки, жесты и предметы.

Несуразность супружеского сопряжения представлялась Юре то противоестественной, то комической, то любвеобильной. Нервность переросла в настороженность. Когда в темноте ловишь появление звука, слух постепенно перерождается в острое зрение, а зрение — в прозревающую слепоту. И вот он уловил шебуршащие звуки в коридоре, их сопровождал свет, мелькающий под дверью. Свет двигался то в туалет, то в ванную. Юра приоткрыл дверь: вдоль коридора мелькнула приземистая фигура Штефи в тюрбане и в чем мать родила, за нею Альберт шлепал по полу на ягодицах и руках... Сердце так сдвоило, что Юра задохнулся, спазма сдавила горло до боли. Он громыхнул какой-то кастрюлей и в порыве переглотив, вдохнуть прижался лбом к оконному стеклу.

Внизу, под козырьком уличного фонаря, суетились мотыльки. Искорка жизни в непомерном небытии спасается разнообразием форм — одна комичнее другой. И Юра вспомнил соседку-ваннщицу, обзывающую своего однорукого мужа уродом (с ударением на «у»). Урод не урод, а родовое, стволовое существо, ветвящееся искажением...

— Юрашка! — она идеально передразнила интонацию Тани. — Я буду курить. Можно?

На ней была рубашонка до колен. Лицо, руки, ноги, двигаясь в полутьме, оставляли за собой мерцающий след. Волосы были еще влажные, на кончиках мерцали капли. Он потянулся к ней, как будто его шатнуло. «Lass!» — сказала нежно, но повелительно и чиркнула зажигалкой. Запунцовел с переливами огонек, она протянула Юре сигарету, он жадно поцеловал влажный кончик и поперхнулся дымом. «Расскажи», — попросил он, передохнув.

И она трудоемко, запинаясь где о русский язык, где о корни описуемого кошмара, стала рассказывать о том, что Альберт — жертва противозачаточных средств, которые принимала его мать-протестантка, подпав под гипноз пропаганды и рекламы контрацептивов «Антифаш Индустрии». Немецкое правительство хочет скрыть генерацию уродов, а Штефания хочет снять о них фильм, чтобы содрать с правительства компенсаторную сумму.

Юра растерялся. Его влюбленной мысли некуда было приткнуться. И ему представлялось почему-то, как Штефи рождает одного за другим детей, укороченных по колени, и объясняет им, что они убедительное доказательство генетической преступности...

— Штефи, это же на всю жизнь!

В свете догорающей сигареты на ее лице рельефно явилась улыбка умиления. Была ли в этом умилении обреченность жены или будущей матери, Юра понять уже не мог и, движимый непониманием, подумал: «В конце концов, у него это врожденное, то есть природное уродство. Куда неестественней умиляться искусственной красотой».

7

Утром они втроем стояли на краю оврага. Штефи потребовала дать им с мужем тренировку, и Юра решил не щадить их. Молодожены были полны сил и свежей радости. Оба надели кроссовки и подвязали волосы хвостиком. Альберт щеголял только одной тростью, свободной рукой указывал на птиц, которых по-детски узнавал: на бегущую у самых ног трясогузку, на звонкую пеночку, на стилиагу дятла, ковыряющего ствол.

Речка Джемуха забрала под русло больше, чем могла наполнить водой. В

прохладной пустоте оврага речка тихо шумела и прятала отражения под высокими буками. Альберт, самый нетерпеливый, пробовал тростью начало тропы, идущей и переводящей на другой берег. Штефи медлила, в лице у нее был вопрос, задать который она смущалась, и розовела, как юница. По-спортивному перемогла себя и спросила: «Милочка Таня не любит немецких?»

Юра оторвал взгляд от беспокойных протезов Альберта и с глубоким удивлением понял, что Нино тоже инвалид и нуждается в нравственной помощи.

— У Тани характер не исторического, а литературного склада, — сказал Юра отвлеченным тоном. — Она, например, не любит Чехова.

Нино уже спускалась вслед за мужем, но оглянулась и с нажимом переспросила: «Чехов?»

— Да, она говорит, что после войны жить хочется, а после Чехова нет.

— О! — многозначно отозвалась она и окликнула мужа: — Альберт, Чехов!

Альберт притормозил на прошлогодней листве, кивнул: «Ja, Tschev!» И со знанием сути уточнил: «In Schlucht».

Скат шлюхта был влажный и рыхлый, Альберт упирался всей своей деревянной треногой, но все же скользил. Нино следила за ним, готовая подставить плечо или подхватить. Из-под ног и листвы прыскали длиннолягие лягушки. Через Джемуху лежали два мокрых бревна. Нино, играя окатыми бедрами, перешла первой. Альберт стоял на берегу и вертел тростью. Юра протянул было руку, но тот, артистически улыбаясь, пошел вброд, аки по суху, замочив брюки, но не замочив ног.

Подъем давался труднее: она вела его, приобняв за талию, он опирался на ее плечо. Преодолев склон, вошли в ореховую рощу. Альберт, изогнув тонкие брови, взглядом срисовывал абрис Бештау. Орешник постепенно подменила бучина, и кроны поредели. Солнце полилось свободно, одаривая каждую травинку капелькой изумруда. Низовой повсеместный переблеск подобрался и осветил сень елового заповедника. Юра остановился — Альберт заметно дышал, грудь вбирала воздух под полноценное тело и, перебрав, опадала. Юра обвел рукой ельник: «В юности я стоял здесь на тяге... Что такое тяга? Чехов тоже ходил на тягу и убивал вальдшнепов. Тяга — многозначное слово, оно наливается смыслом в зависимости от контекста». Нино запуталась в переводе и беспомощно уставилась в текущее сквозь еловую крону небо.

— *Nat anser Bummel das Ziel?* — спросил Альберт.

Ближайшая цель была видна. Нино разглядывала усеченную вершину несчастного горного обрыва, раздробленного под каменный карьер.

— Гора Медовая, — сказал Юра.

— Медофая? — на свой лад переспросила Нино и Альберту: — *Honigberg*.

Дорога в карьер шла под уклон и за годы бездействия подзаросла. Солнце было уже высоко и опускало тени, как будто стягивало кожуру с древес, и было видно, как по ущербным склонам горы течет медленное медовое сияние и расплывается в сыпком подножье... «Цвет камня, — объяснял Юра, — обманул строителей-подрывников, он медового цвета только в материнском теле, а подорванный — теряет не только цвет, но и вкус».

Склон карьера порос кустами кизила и низкорослым дубом. Чета, маршируя, вдруг остановилась. Ах, как понравилась Юре ее слаженная, обоюдная чуткость! Шайка бучины сплотилась, уперлась, раскорячилась, заматерела и держала на себе многотонную, некогда взрывом выброшенную глыбу. Нино даже застонала от того, что не взяла с собой кинокамеру: глыба нависает и давит уже много лет, а бучина держит, упирается, пускает врозь тоненькие, в два-три листка, отростки.

Лес редел, вдали поднимался сероватый холм, на нем — зеленая церковь и кладбище. Там покоились все Танины призраки. Юра простер было руку в ту сторону, но немцы шли вперед и уже входили в тополиную аллею, ведущую прямо в голосистое эхо озера.

Джемуха наливала озеро, а подпитывали минеральные родники. По берегам росли плакучие ивы, совсем не плакучий раkitник, кусты орешника и бузины. Пахло прибрежной тиной и осокой. Над переблесками зеленой воды звенели голоса, мелькали головы и руки купальщиков.

Альберт пружинисто подковылял к тополи, прислонился спиной и, работая лопатками, раздвигая колени, съехал на траву. Нино, где стояла, там и села, крестом подобрала ноги и сказала: «Уф, жарко!»

Поскольку купаться они вроде бы не собирались, Юра залег в тени куста бузины и оглядывал берега, с детства знакомые. Рядом в прибрежной рогозе стоял невысокий лысый рыбак, он недовольно оглянулся, но когда услышал немецкую речь, глаза его подобрели, он уставился на поплавок и весь обратился в слух.

Альберт отдыхал от протезов, и Юра ежился, представляя, как натерты его культи. Штефи скручивала сигарету. Юра любовался супругами, они были утомлены, но счастливы. Альберт не мигая смотрел на озеро и казался хмельным. Штефи, жмурясь, утопила окуроч в траве и сказала: «Юрашка, я импровизировал тебе стихи. Там». Она кивнула в сторону Медовой, сощурила веки (рыбак в рогозе обернулся, глаза полыхали от любопытства) и, шлепая ладонью по колену, —

Himmel
Seid seufzt
Юрашка-букашка
Горячий каменный мед
Wald wirkt
In windugen angst
Тихо схватывая на синем
следы

Штефи разгорячилась и от внутреннего волнения даже побледнела. Альберт отложил трость и заплотировал. Юра благодарно кивнул и улыбнулся рыбаку.

Озеро переливалось, сверкало, вращалось диском, источая звуки, свет, запахи и даже мелкие сценки. Кто-то ритмично тревожит гитару, и монотонная трень стелется над водой. Ключуло перышко поплавок, и леса резанула воздух. На противоположный берег из прогала лесной дороги выехал старый «Мерседес», и Юра мысленно приветствовал Хальта: «Залатал-таки!» Но не успел Хальт отрулить машину в тень, как из кустарника, змеясь комужлем, вынырнула пара конных казаков. Берег взвинулся криками:

— Хальт, удирай!
— Газуй!
— Руби фашиста!

Хальт вертелся в открытой машине и фотографировал, а патруль гарцевал подле, вставал на дыбы, угрожая крутыми мослами разгоряченных коней.

Наблюдая эту заозерную мультипликацию, Альберт отложил трость и руками перекинул ногу на ногу. Штефи пружинисто поднялась и спросила:

— Юрашка, ты плавать?

Она подобрала хвостик на затылке под заколку, и в одно мгновение все, что было на ней, оказалось на траве. Рыбак крякнул и резанул лесой по воде. У Юры перехватило дыхание и до предела обострилось зрение. Одновременно ему показалось, что он глохнет — внезапная тишина прошла по дуге и охватила берега озера. Штефи свела лопатки, развела, длинная змея позвоночника изогнулась, вильнула, кончик ее хвоста пронзил тонкими морщинками одну ягодицу, потом другую.

Мимо солнца прошла легкая тень — облачко сорвалось с вершины Бештау. Прибежал ветерок и растерялся в прибрежном камыше. Сверкающий водный диск замер, стихли отдаленные голоса. Нино, поводя плечами и бедрами, в один разбег

налегла на озеро и поплыла. С ее заплывом вода стала вязкой и вязким стал воздух. Рыбак с трудом выдернул блесну, лицо его было налито нечеловеческим, придонным любопытством. Нино захватила руками половину озера, колыхнула другую и русалочьим движением ушла под воду.

На супротивном берегу засуетились казаки и заплясали кони. Юра видел, как митинговал Хальт, как непоседливый патруль выстроил коней и пошел наметом по притихшему берегу. Хальт, припав к рулю, ковылял следом.

Нино вынырнула, от ее лица скользнула светлая дорожка. Альберт что-то крикнул ей и сбросил ногу с ноги.

Нино вышла на берег одновременно с подходом казачьего патруля. Первый, тучный, со штучными усами, поднял коня на дыбы и ухнул копытами оземь: «Эт-то што за блядское купанье?!» Нино, стоя к нему боком, быстро одевалась. Альберт, пытаясь подняться, опирался спиной о дерево, втыкал трость между ног. Юра пошел было против коней, но его опередил рыбак — оскользаясь босыми ногами, выскочил из рогоза, безбоязненно подсунулся под морду коня и ухватил узду.

— Не трожь!

— Дед, ты што? — возмутился старшой, шлепая ногой по голенищу. — Шалава расхлябенилась по самую жопу, а тут дети!

— А ты не трожь! Они не наши!

— Да мне до избы, наши, не наши! — крикнул младший и завертел над головой петлей нагайки.

Рыбак ухватил и его коня и доверительно зашептал: «Это не наши, понимаете? Это немцы!»

— А берег наш? А горы наши? Да, ети переети!

Кони сопели, шелестели, под копытами ухала земля. Тихо и валко подкатил «Мерседес», Хальт распахнул дверцы. Юра подхватил Альберта и, переставляя его, свои, потом опять его ноги, посадил на заднее сиденье. Красная от возбуждения Штефи запрыгнула на переднее, и Хальт ходко повел машину по прибрежным ухабам.

— Хааальт! — орал старшой, конь под ним вертелся, не зная, как отцепиться от рыбака.

— Хальт! — заверещал малец, выскакивая на берег, роняя брызги и трупы.

Альберт ковырнул тростью воздух и что-то спросил. Нино перевела:

— Почему они нас останавливают?

— А! — Хальт играл рулем и глазами. — После глубокого знакомства с немцами у нас появилось жаргонное словечко «хальт», что значит привет, стой, давай побазарим по душам.

— Это Штефи, — представил Юра.

«Ну, чувиха! Ну, оторва! — забормотал Хальт. — Я успел ее сфотать». — «Не болтай», — бормотнул Юра и кивнул:

— Это Альберт.

Хальт закинул руку через плечо:

— Геннадий.

Альберт церемонно руку пожал. Немцы были растеряны, возбуждение искало объяснений, но переводческий аппаратик Нино от пережитого все никак не мог наладить ход понимания.

Машина свернула с лесной дороги на шоссе. Мягкие старые колеса пошли шептаться с асфальтовой чешуей. Длинный, рукастый, Хальт поудобнее расположил колени и рекомендовал свою колымагу.

— Тридцать седьмого недоброй памяти года. Сам вытачивал детали, подгонял. А лак? а никель? Из кожи лез вон, чтобы этой кожей покрыть сиденья!

Он бросил руль и с дурашливой экзальтацией крикнул:

— Вот этими руками восстанавливал величие Третьего рейха!

Нино сушила на ветру волосы. Альберт поправил очки на переносице и попросил у жены перевода. Нино расширила глаза и надула щеки: «Ф-фу!»

— Что она сказала? — забеспокоился Хальт.

— Они хотят знать, настоящий ли это «Мерседес». — Юра успокаивающе подмигнул Альберту, тот подмигнул ему.

— Ниночка! — воскликнул обиженный Хальт. — Да на этом «Мерсе» генерал, командовавший операцией «Эдельвейс», проехал все Баксанское ущелье и готов был перевалить через перевал Бечо!

— Баксан... Бетшо... — в тон ему неожиданно повторил Альберт. Развернувшись всем телом, Хальт глянул на Альберта, как на говорящую птицу, потом на Нино — она рассмеялась.

— Тааак, — пропел Хальт, — мне не верят. Юрка, переведи: со времени обрушения берлинской стены... Переводишь?

— Нино, когда поломали стену в Берлине...

— Да, я уже понимала, — серьезно закивала она.

— Я еще ничего не сказала, а она уже все понимала! — Хальт нажал было на газ, но в длинном моторе машины что-то забулькало. Хальт сбавил обороты и упрямо повторил: — Когда обрушили стену, мой «Мерс» приобрел невиданную популярность. Каждый курортник желал сняться за его рулем. Юра, не дай соврать!

Штефи как бы ни для кого сказала: «Сколько у тебя имен — Юра, Юрашка, Юрка!», потом подобралась для перевода и спросила: «Что есть дать соврать?» Юра махнул рукой: «Проехали».

— Я на нем многих возил! — Хальт пошлепал ладонями по широкому рулю. — Князь Гурджиани, магнат Залукоаже...

— Залукаже! — воскликнул Альберт, как будто услышал имя старого знакомого. Хальт уже без удивления посмотрел на него через зеркалку.

— Он уже был здесь?

— Дед был, — быстро ответил Юра, почему-то радуясь тому, что их реплики не достигают переводческого слуха Нино.

— Понимаю, — хмыкнул Хальт и — немецкой паре: — Генетическая память!

Нино перевела, Альберт улыбнулся, приподняв тонкие женские брови. Немцы окидывали взглядом склоны гор, лес, вышедшие к дороге дома, бронзовую женщину над вечным огнем.

— Вы не поверите! — вдруг воскликнул Хальт. — Моя машина впервые везет своих соплеменников! Это надо отметить.

Гараж «Мерседеса», он же студия и мастерская Хальта, уходил длинным подвалом в подножие горы Железной. По стенам пунктиром горели холодные лампы. В объятиях каждой лампы висела картина, писанная маслом; цветная невнятица изображала, казалось, горы, склоны, ущелья, распадки, предгорный лес, горные реки и полузамерзшие водопады... Но картины были написаны в жанре угадки: на склоне Эльбруса проступала грудная клетка, пересыпанная горками стреляных гильз; в речной излучке — череп, подпертый берцовыми костями; в леднике — тазобедренная раковина, с торчащими из нее кистями рук... Хальт наблюдал, как немцы идут вдоль полотен, и протирал носовым платком зеркало старого платяного шкафа, потом ставил на круглый стол рюмки, тарелки, вазу с кисточками мелкого винограда. Его длинная тень ломалась, двоилась и даже своевольничала — могла шагнуть в зеркало шкафа и пропасть.

Молодожены кивали друг другу, переговаривались, а Юра все не решался объяснить им, из каких горных расщелин, с каких ледников собирал длинный Хальт эти нечеловеческие сюжеты.

— Нина, ты представляешь, — Хальт распрямился и нырнул головой в тень над

столом,— тысячи тонн снега обрушиваются, захватывают человека, вертят, крутят, переламывают прессуют и превращают вот в такой снежок?!

— О да, — ритуально отозвалась Штефания и спросила: — Что есть снежок?

— Снежок, — Хальт разливал вино по рюмкам, — это посылка, знак внимания, сигнал приветствия. Это скоростная частица, которая ударяет в ядро модели и воспроизводит ее на фундаментальном уровне, но уже в другой форме.

Юра помнил эти искореженные трупы, упакованные в ледяные мешки так, как будто Бог войны подготовил их отправку — не то до востребования, не то в вечность...

— Никто не забыт, ничто не забыто, — возвестил Хальт, поднимая рюмку. — Мы с Юркой ползали по горным тропам войны и собирали все, что можно было собрать. Наши, ваши — мы не делали разницы.

Чета подошла к столу, Альберт знакомым движением подвесил костыль и привалился к столешнице. Он и она глядели на Хальта настороженными, ожидающими глазами. И лицедей угадал:

— Вы мне не верите?!

Он пошарил в каком-то ящике у себя за спиной и стал высыпать на стол значки «Эдельвейс», жетоны, пуговицы, оптический прицел, кожаную планшетку с истлевшей картой и черной стрелой через легендарный перевал.

— Ну? — Хальт переводил взгляд с четы на Юру, он был захвачен театральной экзальтацией.

Альберт перебирал, щупал всю эту армейскую рухлядь, а Юра вдруг узнавал гранату со сгнившей рубашкой и вспоминал ущелье, где она была найдена, винтовочный боек и каменную груды, схоронившую горного стрелка, портсигар-зажигалку и папирусный прах неотправленных писем... Трагически сияли глаза Штефании, до кончиков бровей был нахмурен Альберт. Юра хотел было прервать Хальтово представление, но было поздно — Хальт летел на крыльях вдохновения.

— А теперь, чего ради стол и рюмашки, — Хальт блистал голубыми очами, не уступая очам Штефании, — теперь главный трофей!

Он поднял над головой фляжку и потряс ею — чтобы услышали мелодичный звон ее содержимого.

— Юрка, не дай сбрехать, мы вынули эту фляжку из рук заледенелого «эдельвейса»...

— Не ври, — сказал Юра, не глядя на Штефи.

— Но почему? Что такого? — измывался Хальт, отвинчивая крышку. — Это чистый шнапс, выдержанный в ледниках Азау! Я хочу сказать, какой выдержкой обладал герр Хольт, если сохранил спирт до самого последнего мгновения и даже после!

Нино с полным доверием перевела его речь на ухо Альберту — тот изогнул брови дугой над очками и смотрел, как Хальт, придерживая левой рукой правую, разливает по рюмкам «альпийский шнапс».

— Чуешь дух? — глаза у Хальта горели, как у алхимика, обоняющего запах философского камня.

— Дух?

— Ja, Geiste! — Альберт подтвердил понимание и стал шутливо ловить ладонями мистическую плоть.

— Здесь дух — это... проникновенный запах, — попытался пояснить Юра.

— А, парфюм! — догадалась Штефи.

— Какой парфюм? — возмутился Хальт. — Да я этот парфюм доставал из тридцатиметровой расщелины вместе с его владельцем. Хотите, познакомлю?

Хальт осторожно поставил фляжку на стол, обернулся и отлистнул зеркальную дверцу платяного шкафа: в полутемной домине, залитой плексигласом под фактуру тонкого льда, в полный рост стояла фигура альпийского стрелка.

8

На другой день Штефания начала снимать фильм о восхождении Альберта на Эльбрус. Часы кинокамеры показывали около девяти утра, когда Альберт, груженный двумя рюкзаками (второй на груди), работая двумя тонкими костылями, взбирался в междугородний автобус, и каждый его шаг фиксировала кинокамера. Потом из окна снимала «Мерседес», Хальта в альпийской панамке и Таню в ситцевом платье. Чета посылала Тане сердечное прощание, и Альберт вслед за женой повторял: «Я тебя целю».

Вывозя чету в Приэльбрусье, Юра отрешился от всех предстоящих трудностей и вдыхал из памяти запах ледников, бурливых рек, упрямо строящих русло среди окатистых берегов, представлял мнимовечные, но всегда неожиданные гранитные склоны и живущие своей жизнью горные тропы, некогда путавшие и сбивавшие цепкий шаг Альбертова деда.

Юра сидел рядом с четой через проход и видел, как озаботились и стали рабочими их лица, мимика, жесты. Альберт фотогенично поворачивал профиль под кинокамеру, а Нино, бледная, серьезная, снимала его на фоне туземного леса, зеленых холмов, приземистого Машука, плоских берегов неказистого Подкумка... Когда автобус вышел на равнину, Юра указал чете на два белых облака над горизонтом, но чета не угадала в них вершины Эльбруса.

Альберт держал на коленях дедовскую карту и следил за маршрутом, а предгорье резвилось, мелькало названиями и карту обманывало. Вместе с предгорьем резвился и Юра:

— Это гора Джуца первая, там — Джуца вторая, между ними речка Джуца и тоже первая, потому что вон там течет Джуца вторая...

Альберт вертел карту, не находил названного, растерянно смотрел в окно, а потом в объектив кинокамеры. Пошли мелькать речки Золка и Малка, Золка-малая, Золка-большая, Малка-невидимка, Золка-юго-западная, Золка-юго-восточная. Альберт совсем потерялся в вывертах предгорной топонимики. Юра посмеивался, отворачивался, когда Нино наводила на него объектив.

Чета увлеклась ландшафтом с чувством и знанием, что здесь шли и все это видели солдаты ударной дивизии «Эдельвейс». Зеленые холмы отбегали, приближались, незаметно залегали каменистым пастбищем, на котором пятнистые неподвижные коровы подражали крутобоким валунам.

Юра прикрыл глаза и отлистывал в памяти преображения Нино, как она из романтической, воздушной, вдохновенной, потом сильной, обнаженной, превращается в озабоченную, настырную жену-домохозяйку. Кинокамера в ее руках — микроволновка, в которой она рассчитывает испечь многослойный пирог семейного благополучия.

Автобус обнаружил селение и автовокзал «Баксан». Альберт, распознав наконец объект, приник к окну, как космонавт к иллюминатору. Бетонное здание, ларьки с водой, «живым пивом» и пирожками. Толпа лыжников, готовая заместить вышедших в Баксане, поднимала кружки с пивом во здравие лыжни.

Нино поманила Альберта, он вышел под надзором кинокамеры и своими тросточками привлек внимание лыжников. Нино тут же организовала встречу, и Юра в который раз убедился в ее способности перевоплощаться! Лыжники балагурили с прелестной немкой, она же улыбалась всем и, тет-а-тет, каждому, но не теряла четкого ритма сценария, снимала Альберта на фоне «Баксана», в толпе у пивного ларька, а потом — когда лыжники внесли его в автобус на руках.

Горцы объясняют строптивость горных рек тем, что река, выбравшись из ущелья, не знает, куда потечет и под каким именем будет прозябать на равнине. Автобус, поиграв солнцем, незаметно въехал в ущелье, и водитель, тащивший машину

по равнине, превратился в пилота легкомоторного самолета. На полном ходу он налетал на желтые выступы скал, ловко отворачивал и потом долго искал выход из губительной дуги. Ущелье солнечно поднималось в самую глубину неба, а потом до синевы сжимало его. Когда автобус нависал над обрывом, внизу был виден пенистый ручей речки, обложенный разноцветными валунами. По странному наитию встречные машины появлялись из-за поворота только тогда, когда автобус мог прижаться к уступчивому боку горы. Кое-где на дорогу выползали влажные каменные языки, они пахли высокогорными ледниками. На Юру нахлынула волна восторга: разлом неба, оранжевый склон, глубокий каменный мир внизу, где Баксан играл молибденово-зеленой водой, — все сходилась запахами, ароматами, сбежавшими со склонов Эльбруса! Он вбирал все это полной грудью, расширял дыхальца памяти. Лыжники запели что-то высокогорное, величавое, заглушая мусульманские тремолации, льющиеся из автобусного радио.

На гребне бескорыстного восторга Юра наклонился к Штефи и сказал: «По этой дороге шли ваши танки». Она спохватилась и стала усердно снимать, кивая Альберту на кустистые склоны, на хребты, обросшие сосной, на полуденное небо, в котором сверкали снежинки, сметенные с ближайших ледников.

Соревнование лыжников с горскими напевами выиграл водитель: включил радио на полную громкость. Спортсмены притихли. В окна медленно вползла тень и вслед за нею — тяжелый земляной запах недалежных обвалов и оползней. За очередным поворотом, на хребтах ущелья клубился туман, а внизу над Баксаном висели плотные, волокнистые облака. Лица немецкой четы были уже утомленные, Альберт держал на коленях дедову карту и по ее извивам пытался сличать подступавший к окнам ландшафт.

— Былым! — указал Юра на селение, мимо которого автобус шел без остановки.

Нино завозила с кинокамерой и подтолкнула Альберта, тот растерянно пожал плечами.

— Что есть Билым? — спросила Штефи, провожая застеленное облаками село.

— Было и былым поросло, — сказал Юра. — Ваши танки дальше не пошли.

И тогда она навела своего кино-Полифема на ближайшие домики и выскочивших под самые колеса молчаливых лобастых собак. Глядя на морщинки ее прищура, удивлялся тому, что, проникая в очередное измерение, человек зажимает один глаз. Альберт выглянул из-за Штефи и, тыча в карту, с детской улыбкой сказал (узнал!): «Пункт Тир-ни-лауз!» Юра обомлел: Альберт не только обнаружил на своей карте следующее селение, Тырнауз, но и назвал его старым горским именем Тырналауз! Юра показал ему большой палец, и Альберт изобразил танец костылей, целующих друг друга на взлете.

Отворачивая, отворачивая от мокрой каменной стены, автобус так же боком переехал мост через Баксан и причалил к платформе «Тугнаус».

Небо над городком было ясным, но туман и облака поменялись ролями: облака налегали на склоны гор, а туман заползал в ущелье. Воздух в Долине ветров был насыщен влагой и пах потревоженным кремнеземом. Рудный городок выглядел приземистым и просторным. Альберт пружинисто шагал по тротуару к центральной площади, Нино одноглазо следовала за ним.

Лыжники окружили Юру и расспрашивали: кто они такие? Куда? И: как он будет восходить? Юра сказал Штефи, что стоянка двадцать минут, но ей было не до него, она самозабвенно снимала.

Альберт шел в каких-то особенных кроссовках, они проседали и потом пружинисто приподнимали его. Покачиваясь между тросточек, он шел так, как будто уже знал, куда, как будто уже был здесь. Например, ему знаком газетный киоск и киоскер, высунувшийся из окошка и кивнувший. Нино пошла полукругом, снимая неожиданное приветствие. Альберт промаршировал каштановую аллею, осмотрел переломленный

оползнем ствол, развернулся и застыл перед камерой: за его спиной пятиэтажки на склоне накрыл, сдвинул и вылизал тяжелый, как бетон, селевой поток.

— Позавчера, — сказал оказавшийся рядом киоскер.

Альберт кивнул и постучал костылем по серому, влажному и, казалось, еще не отдышавшемуся валуну. Ближайший дом принял сатанинскую пронырливость селевой туши: она вползала ночью (сообщил киоскер) в окна, двери, через балконы, хватала все, чем богат человек, тащила через коридоры, лестничные пролеты и выталкивала наружу.

Сель перемолотил, перемешал мебель с телевизорами, посудой, коврами, обувью; выволок из подъезда чью-то богатую библиотеку, перелистал, разорвал и запрессовал в ненасытную жижу. Киоскер что-то объяснял, тыча в корешки книг, Альберт кивал, и оба не затруднялись взаимопониманием. Нино маневрировала возле, поворачивала кинооко так, чтобы тело селя подступило ближе, чтобы было видно, даже чувствуемо, как сель, засыхая, еще дышит и его дыхание угадывается в трепете листьев полупогребенной липы, в блеске и цвете сервиза, размоленного так живописно, что видны были узоры и цветы хрусталия...

Обходя ноздреватые камни, заглядывая в окна, Альберт видел, как горная лава титанически совокуплялась с кроватями, матрацами, платяными шкафами и холодильниками. Верхом кинематографического вождения были переломленные зеркала — в объективе Штефиной киноверсии они теряли невинность, перерезая светонесущие вены отражений. Среди бедлама и беды безногий урод выглядел стройным и уместным порождением стихии. И как бы само собой обнаружилось (Нино подвела объектив под самый объект), что у киоскера типичное горское лицо и типичное балкарское имя Макар; голос горловой идет струнным натяжением сквозь горное эхо; щелястый канючий нос, темные на нижних веках глаза, змеистая улыбка на тонких губах цвета вольфрамовой нити накала. Альберт, почти не помогая себе костылями, развернулся на своих кроссовках-присосках и лицом к лицу встал перед Макаром. Соединила ли их ползучим планом кинокамера Штефи или, резонируя альпийской синклинали, арий без слов понял ария? — Штефи взяла крупным планом улыбку одного, улыбку другого и потом одну улыбку на двоих... Автобус зычно напомнил о себе, эхо ушло вниз и гулко отозвалось в ущелье Баксана.

Юра откинулся на спинку сиденья и понял, что устал от построения простых фраз, идущих титрами в завязанном фильме Нино. Юра чувствовал себя неуместным на фоне знакомых склонов в той мере, в какой колченогий урод казал себя сыном этих гор. Альберт был красив чуть ли не здешней природной красотой, ему не нужна была подсветка, солнце само находило его и красило; он выглядел неутомимым, но не как альпинист, отравленный адреналином, а как горец, восходящий по вольной тропе.

Юра несколько раз глубоко вздохнул, порываясь к покою, но ангел противоречия был назойлив и суетлив и все время метил куда-то вбок, то направлял автобус к самому краю придорожной пропасти, то прижимал к отвесной подгорной стене. Как циркач по вертикальной штанге, ангел скользил по гравитационной вертикали, превращая ее в трепетную былинку Кессельринга (эдельвейс). Легкость уклонения гравитационной вертикали от ее божественной определяющей совсем не походила на легкость Штефиной флейты, всеми фибрами преобразующей спринтерское дыхание, и не подражала легкости Альбертовой улыбки, сосредоточенной в кончике его костыля. Это был прерывистый ряд живых житейских летаний во сне: подхватили качели, и на обратном падении ловишь миг распада и совмещения... Сновидение движется под развернутым наблюдением кинокамеры, иной раз можешь увидеть самого себя: сорвался со скалы и повис на страховке, корчишься, ловишь бездну ручками-ножками, по миллиметру выбирая пустоту, а рядом напарник — как прилепился к скале, так и ползет по ней, не смущаясь ни отрицательным наклоном, ни твоей беспомощностью...

Юра вздрогнул и выскользнул из сновидения. Автобус шел по рабочему серпантину. По склонам тянулись языки земной породы, сброшенные знаменитым рудником. Здесь дивизия «Эдельвейс» впервые ощутила, что такое лютый ветер.

Юра бормотал, и Нино переводила мужу, округляла глаза, рисовала руками восходящие и нисходящие потоки воздуха.

В ноябре-декабре ветер, бушующий по вертикали, без каких-либо предвестий меняет направление, ломает суточный ритм, скорость его возрастает настолько, что электрическим огнем сверкает и трещит металлическое снаряжение...

Юра объяснил немцам:

— В январе ветер набирал неземную скорость, он сводил альпийских стрелков с ума, превращал их в насекомых, не ведающих отрицательного наклона, и стрелки ныряли в расщелины, скатывались гравием в нетающий вечный снег.

Альберт по-детски вытянул шею и попросил жену повторить перевод.

— Да, — повторил Юра, — вестибулярный аппарат насекомых. У них граница между тяготением и невесомостью исчезает, и легкость тела сравнивается с легкостью мысли.

Юра прикидывал время по солнцу, представлял, как Баксан срывает с ледниковых верховий куски базальта, катит вниз, дробит, шлифует и, подобно солнечным часам, цедит оцифрованное крошево сквозь горлышко каньона.

Чтобы отвлечь внимание от невидимых потоков воздуха, Юра сказал:

— А вон там обсерватория «Нейтринка»!

Нино подсунулась кинокамерой к окну и пыталась разглядеть обсерваторию в пятнах, которые, не меняя пейзажа, совершали скрытую от глаз и оптики перестановку. И Юра объяснял, перетягивал немцев за границу языкового разумения в те области Вселенной, где царствуют ледники, где вихри смыслов, оторвавшись от аналогий и уподоблений, мнутя через перевалы пространственно-временных несообразностей и где оптика человеческого объектива видит то, что сама не способна отобразить, — там астрономы, замурованные в подземной обсерватории, отлавливают частицы нарождающихся миров.

— Ловят сперматозоидов в лоне Вселенной, — уточнил Юра.

Весь последующий путь проходил в поле нейтральных образов и знаков. Нино притомленно молчала. Альберт не терял ориентира по дедовской карте и провожал взглядом каждую пастушескую тропу. Юра полусонно смотрел, как расширяется и теряет цвет небо по мере того как раздвигаются створы ущелья. Туман отстал, но запах оползня усиливался — земляная сыпучая влага пересиливала запах трущегося в реке кремня.

Автобус перекатил на правый берег Баксана, и водитель приглушил радио. Надо было выходить. Нино с кинокамерой, за ней Альберт на двух тростях. Юра взвалил на себя все рюкзаки. Лыжники поднимались, удивленно улыбались, шутили: «Ну, Шпаро!», «Какой Шпаро! Бэтмен, все при себе — и лыжи, и палки!»

Дорога в сторону Терскола была расчищена, и автобус ушел, роняя сизый дым на придорожный кустарник. Дорогу в сторону Чегета никто не чистил. Оползень рванул с ближайших склонов и опрокинул вниз сотни тонн лавы, в недрах которой полегла целая сосновая роща.

— Там Чегет, — сказал Юра, указал на развал и переспросил: — Идем на Чегет?

Чета закивала, повторяя имя горы. Туда, к Чегету, где витает неприкаянный дух Альбертова деда, который в одном из последних писем жаловался, что горные стрелки усеяли склоны Эльбруса значками дивизии «Эдельвейс»: «Уверен, цветок, который здесь не рос от века, наконец приживется».

9

Солнце еще не подсушило склизкую, тучную лаву, но уже припекало плечи, камни, кусты ожины и дикой малины. Под ногами скользила вулканическая крошка. По сценарию на Альберте должен быть рюкзак, но тропа была трудной, и Юра тащил на себе все. Альберт брал каждый шаг, усложняя его тычками костылей, над ним витала Штефи, отводила камеру на завалы оползня, на куст малины, успевала сорвать с него ягоду и другой угостить мужа.

Лицо Альберта налилось напряжением, сквозь очки круглился взгляд упрямого ребенка. Юра через Штефи сказал ему, что надо пройти кустарник и там, если повезет, будет легче.

Штефи отозвалась и кивнула, кивнул Альберт, их лица были сопряжены интуицией трудового взаимопонимания. Юра тоже кивнул и пошел вверх. Он жил вверх, не чувствуя ни собственной силы, ни потребности помочь или передохнуть.

Лучи горного солнца, заостренные морозцем, покалывали. Касаясь лица, лучик раскалывался, оставляя нетающий след ледниковой стыни. Телесное мерцание зноя и снежинок возбуждало, а легкая глухота опьяняла, и Юра видел, как весело нервничала Штефи, блуждая глазом кинокамеры поверх мужа, поверх кустарника, поверх зубцов ближнего перевала. Она пропустила Альберта вперед и откликнулась на всякий веселый оклик Юры. Между ними, балансируя палочками и цепляясь кроссовками за подвижный грунт, колыхался Альберт, углом изгибая колени так, как если бы он поднимался по ступеням навстречу бегущему эскалатору. Работу этих ног Штефания давала крупным планом; камера зафиксировала бесперебойную работу рук, скрипичную голень обнажившегося протеза и белый валун, вдруг поползший поперек их восхождения.

Когда они вышли на поперечную тропу, солнце с горной непосредственностью повернуло тени на восток. Альберт стоял, всем корпусом наклонившись вперед, костыли были в ступоре, руки, их сжимавшие, дрожали. За ним кропотливо наблюдал супружеский глаз, и Юра удивлялся тому, как эту человеческую половину вышколили и приучили к терпению две отполированные деревяшки. Альберт подковылял к валуну, отложил трости и, пружиня руками, сел.

Долина была покрыта туманной дымкой. Беркут парил над сизыми клубами, ощупывая крыльями восходящие потоки. Тихо зудела кинокамера. Альберт театрально обмахивался стеблем хохлатки. Штефи, подражая добродушному стервятнику, длинным планом снимала улыбку на длинном лице мужа, обходила его и погружала оптическое око в кроны елей, нависших над тропой, давала мужа со спины, на фоне туманного ущелья, а потом возводила око к вершинам гор.

И вдруг в тишине шумящих елей явился ритмичный шорох. Альберт насторожил музыкальное ухо: шорох приближался то со стороны Чегета, то замирал, теряясь в шорохе елей, то возникал со стороны Орунбаши.

— Юрашка, что это? — забеспокоилась Штефи.

Шорох проседающего снега? Угрожающее шипение селя? Шебуршанье таинственной реки, что по сезону меняет свое русло?

— Овцы, — успокоил Юра.

— Schafe, — продублировала Штефи.

Альберт покивал, но потом спохватился и с сомнением покачал головой. Шорох приближался явно со стороны Чегета, сбивался и налаживал ритм. И вот на тропу солдатской сплоткой вышла дюжина разгоряченных, натруженных туристов. Обычная группа предгорных верхолазов, руководимая отяжелевшим и скучающим инструктором.

Нога в ногу, стараясь не сбиться с группового дыхания, дюжина спускалась по тропе прямо в жерло кинокамеры. Штефи отступила с тропы и снимала их по одному — и каждый поднимал руку в мимоходном приветствии и проходил, захваченный самым беспощадным вирусом — ритмом. В синих костюмах, кто с лыжной палкой, кто с посошком, где мужчина, где женщина, одноликие в ладном марше в сторону ближайшей походной цели.

Штефания, присев на колено, усиливала перспективу, когда зоркий глаз кинокамеры захватил и запомнил редкое зрелище: гигантский полог снега сорвался с одного из эльбруских хребтов и медленно, туманясь, рухнул подобно сценическому занавесу, завершив пьесу, из которой вышла группа запоздавших статистов. Последний, как всегда маленький, приостановился возле Альберта, оценил костыли и спросил:

— На Чегет?

— Тшегет, — блаженно ответил Альберт.

— Подъемник не работает, — предупредил маленький и длинным шагом нагнал своих.

Юра, подражая Альберту, поднял дугой брови и спросил его жену: «Он сможет идти?» И не знаящая жалости режиссерша сказала: «Он будет идти».

Поперечная тропа с фальшивой легкостью ныряла в старый низкорослый ельник и здесь, как по волшебству, теряла сноровку: поперек тропы ползли, дыбились, гнулись ветвистые, узловатые корни. То, что в памяти Юры представлялось удобной восходящей лестницей, под колченогим Альбертом превращалось в путы, капканы и западни: культы в сочленениях выдавались назад, костыли бестолково тыкались и путались в корнях. У Юры сердце индевело, и он мысленно просил Штефанию остановиться, дать мужу передых, но она упорно шла за инвалидом, фиксируя каждый шаг, соотнося его с голубым небом — и невозможно было отвести взгляд от горной синички, сквозящей в хвое подобно капле заката!

Альберт сорвался с корня и завалился поперек тропы. «Упс!» — сказала Штефи и досняла падение во всех деталях. Альберт дышал лицом, грудью, перебирал костыли, нашарил ближайшую ветку, уцепился и рывком (силу которого Юра оценил) подтянулся и встал. Юра, дыша его задыханьем, указал на небо: «Во время войны наши летчики сбрасывали нашим бойцам автомобильные камеры, наполненные спиртом».

— О, это правда? — кинематографично изумилась Штефи.

— Можно поискать, — отозвался Юра.

В глазах Альберта, за стеклами очков, произошел быстрый кульбит эмоций: он взялся за костыли, как за лыжные палочки, но что-то в механизме ног разладилось — культяшки проворачивались в протезах, и колени, как у лошадки, идущей в гору, выгибались назад. Он немного потрудился на кинокамеру и беспомощно осел.

Юра сложил рюкзаки. Штефи, не теряя темпа и дыхания, протянула Юре сдвоенные костыли, они подняли Альберта и двинулись вверх. Шагов через двести они ссаживали Альберта и Юра возвращался за рюкзаками.

Под елями уже сгустился сумрак. Штефи, трудясь, смахивала кивком пряди с лица и неуклонно шла вверх. Альберт обнимал их за шеи и изображал пьяного скалолаза — пел томные, ладные, как русские частушки, куплеты. На третьем или четвертом переходе они вынесли Альберта на изумрудный альпийский лужок.

Штефи вдруг приостановилась.

— Уф, Юрий, — сказала она и прижала ладони к лону. — Я берэмена.

Она утомленно рассмеялась. Юра увидел ее остолбеневшее лицо, покрасневшие, накаленные кутки глаз — и сразу (как раньше-то не заметил?) понял, что она глубоко беременна и что родит мужу двойню, две пары недостающих семье ног.

Альберт сидел на лугу, раскинув полуживые ноги, и озирался. Это была та самая

точка, с которой, судя по карте, дед Альберта мог видеть и грудь Азау, и сверкающую стену Орунбаши, и гребень перевала Бечо, и, наконец, смертельно недоступный, дымящийся Эльбрус.

Камера бессердечно оглядывала покоренные вершины, синие тени на снежных склонах, альпийскую поляну и, на ее краю, красную, полуголую от старости, сосну.

Потом, со знанием цели камера выбрала прозрачный контейнер, который Альберт достал из рюкзака и поставил на траву. В контейнере серело проросшее корневище невзрачного семейства Эдельвейс.

Возникла проблема воды. Юра потряс пустой фляжкой и сказал, что наполнит ее из таинственной реки, которая недавно поменяла русло.

Он пересек лужайку и пошел вдоль старой, покрытой травой морены. Речка не только сменила русло, она выложила новые берега краеугольными камнями, завернула заводь и рассыпала по дну разноцветную гальку. Юра окунул фляжку в поток и замер: сквозь склеру заводи он увидел, как по дну разгуливает горный воробышек — оляпка, плотный, в белой жилетке, он поводит коротким хвостом и выклевывал из-под гальки Бог знает откуда занесенную живность.

На обратном пути тень двигалась быстрее нетерпения. Слетевшие с Эльбруса снежинки сверкали в предвечернем воздухе. Юра вышел на поляну и увидел чету — они сидели теснее, чем их тени. Вытянув усталые ноги, они ритмично покачивались; на травинках, зажатых в ладонях, подыгрывали друг другу и тирольским йодлем распевали балладу об эдельвейсе, который сбросил со скалы молодца, попытавшегося сорвать цветок для своей возлюбленной:

Потянулся за цветком,
Получил под зад пинком.
Эдельвейс сорвал Anschluss!
Der Schluss.

Игорь Бяльский

Историографическое

Юлию Киму

Давид

Славу, любовь, страну — всё мне Всевышний дал:
и на войну вразумил, и от врагов сберёг.
Я пастухом ходил и государем стал —
вот, при живом царе помазал меня пророк.

Всё что хотел, сбылось, слава Всевышнему.
Всех победил, всех, переиграл всех.
Господи, удалось! Всё от тебя приму,
кару тоже приму за превеликий грех.

Господи, на пути грешников я стоял.
Господи, виноват! Всех перетанцевал.
Михаль, Йонатан, Шауль... А был ещё Голиат...
Всех наповал сразил. Все у небесных врат.

Всё от моей пращи — музыка и псалмы,
и в остальных псалмах — тоже мои псалмы.
Урия и Пальмах, Ким и Гребенщиков...
Все на века веков, всё на века веков.

Я у империй тьмы отвоевал холмы.
Все, что вокруг, холмы — это мои холмы.
Это моя страна, это родная кровь.
Это моя война, это моя любовь.

Вся — от большой реки и до большой реки —
всем врагам вопреки и векам вопреки.

Игорь Бяльский — поэт, переводчик. Родился в 1949 году в Черновцах. Жил на Украине, в России и Узбекистане. Автор нескольких поэтических сборников. Один из основателей ташкентского КСП «Апрель» (1975). Главный редактор «Иерусалимского журнала» (1999). Живет в Израиле с 1990 года.

Урия

Я первым был. И первым был в бою,
куда пошлёт очередной давид.
И Господу я славу не пою,
Господь велик, но я-то не левит.

Сияй, моя давидова звезда,
вне праздников и юбилейных дат!
Давид не проиграет никогда.
Труба зовёт, и, значит, я солдат.

Не праведник, обычный боевик.
Господь простит, потом, когда убьют.
Труба зовёт, ну а Господь велик,
я в новом списке обрету уют.

Жену возьмут в отдельный кабинет,
родне отсыпят несколько монет.
Всевышний есть — а заповедей нет.
Да и скрижалей настоящих нет.

Бат-Шева

Господи, я их любила обоих-двух —
даже не знала, чей он, мой первый сын.
Ты мне послал любовь и вселил дух.
Воля твоя, твоя, и твои весы.

Господи Боже, захочешь судить — суди.
Мне ли теперь бояться — вот он, второй мой.
Всё теперь для него, и молоко в груди.
Вот он живой сын, вот он — герой мой.

Кем бы потом ни стал, воином ли, царём,
знаю, ни с кем не станет меня делить.
В дом приведёт пускай жён хоть целый гарем —
мать у него одна, только одна мать.

Ну а тем паче я — стану ли вспоминать,
Урия ли, Давид, хетт или тот блондин...
Знаю, кого любить, нежить и пеленать.
Сын у меня один, сын у меня один.

Постскриптум

Все воевали-пели — и царь Давид,
все воевать посылали и умирать.
Царства их простояли по сорок лет,
или по семьдесят, это уж как считать.

Кто я, читать морали и причитать?
Кто, защищать сыновей и подруг вождей?
Ты говоришь «злодей!», а попробуй встать
сам супротив майданов и площадей.

Против хамитов, хеттов, меньшевизны,
да и самих левитов — поди смири.
Скажешь: «друзья, соратники, братаны»,
а приглядишься — те ещё упыри.

И самопальных тоже пруди прудом —
космополитов, татов, самаритян...
Что ни империя — радуга и дурдом,
Что ни история, каждый герой — смутьян.

Каждый упал, отжался — и по прямой...
Сколько героев павших, и все — правы.
Урия, кстати, в списке — тридцать седьмой:
Книга Шмуэля, 2, из 23-й главы.

Перечитай, а захочешь спасать — давай! —
брутов от замполитов, скворушек от котов,
скатов от кашалотов... Не уставай.
Многая эполета! Пребудь готов!

Валерий Бохов

Железный чукча

Рассказ

Удивляйтесь, когда есть чему удивляться

В первые годы войны наш партизанский отряд действовал в Дедовичском районе. Базировались мы в лесу недалеко от деревни Глотовки. Основой отряда были красноармейцы пограничной заставы и укрепрайона, оказавшиеся в тылу врага. Фронт ушел далеко на восток.

В тот год я перешел в последний класс и проводил летние каникулы у бабушки на Псковщине. Там меня и застала война. Бабушку убило при бомбежке. Фронт проутюжил землю, оставив за собой огонь, смерть и раны, боль и горечь, и покатил дальше и дальше.

Я слышал о партизанах, действовавших в лесах. О них много было разговоров. Пошел к ним. Три дня плутал в лесу, пока не вынесло меня на большую поляну, где стояли шалаши, горели костры и дразняще пахло борщом. Это была партизанская база.

В составе безоружной команды рыл землянки, оборонительные окопы, пилил деревья, обрубал со стволов сучья... В этой команде были те, кого еще не приняли в отряд. Как правило, никто из этой группы не имел документов, и все они проверялись. Тогда и у самих партизан — бывших военнослужащих — не было даже красноармейских книжек, были лишь корешки расписок военкоматов о принятии на хранение паспортов. А у деревенских жителей документов сроду не было...

Довольно быстро я был все же принят в отряд. Соседи, жившие рядом с разбомбленным домом бабушки, подтвердили мои слова. Подтвердили, что я из Ленинграда, школьник, отдыхал у родни, участвовал в общих полевых работах, работал на конюшне...

И вот, я был поставлен помощником повара. Дрова, вода, посуда... Дрова, вода, посуда...

Долгое время я просился в бой. На стрельбах я показывал отличные результаты, и спустя некоторое время мне разрешили принимать участие в боевых действиях.

Бохов Валерий Амурханович родился в 1941 году в Москве. В 1966 г. окончил Московский инженерно-экономический институт им.С.Орджоникидзе, работал в различных НИИ. С 1993 по 2013 год — в системе ФНС России. Автор рассказов для детей, детективов и др. Печатался в журналах «Урал», «ПРОСТОкваша» и др. Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Однажды в составе группы разведчиков я обнаружил семерых фрицев, тренировавшихся в меткости необычно — стоя на спинах лошадей. Решили атаковать их. Всех семерых немцев застрелили, двух из них убил я.

Благодаря нам в отряде появились лошади.

Тогда же я завладел, кроме большого количества патронов, оружием убитых — двумя снайперскими винтовками. Винтовки «Mauser Gemehr 98» образца 1935 года. Прицельная дальность — 2000 м. Калибр — 7,92 мм. После того успешного боя я стал проситься в снайперы.

В отряде уже был один снайпер — чукча Макар Оюн. На глаза он не показывался. Но все в отряде знали о нем, знали, что он природный снайпер, снайпер от бога. Попадает в любую цель. Попадает в цель из любого положения: лежа, сидя, стоя. Метко стреляет, держа винтовку у живота.

Знали, что не возвращается он на базу, пока не «снимет» очередного вражеского офицера, а то и нескольких. У Макара было прозвище в отряде — «Железный чукча». Железный — потому что он мог ждать сколь угодно долго появления нужной цели; дождь ли, снег ли, солнце — ему было все равно. Мог обходиться без пищи столько, сколько требовали обстоятельства. Порезы, раны его нисколько не беспокоили. А мускулы у него, как говорили, были стальными.

Я мечтал стать напарником Макара. Мечтал, что одну из добытых мною винтовок с разрешения командира передам Железному чукче. Меня тянуло к легендарному Макару. К Макару Оюну у меня был неподдельный интерес. Дело в том, что школьником я занимался в кружке при историческом факультете Ленинградского университета, увлекся историей завоевания Сибири. Согласитесь, ведь интересно же знать, как это Московское государство вдруг стало проникать за Урал. За Урал, где среди тайги и просторных степей жили неизвестные народы. Конечно, это «вдруг» растянулось во времени. Много было споров между историками о роли Ермака и Строгановых в освоении сибирских земель. Много текстов в историческом кружке было прочитано о походах отрядов якутского казачьего головы Афанасия Шестакова и капитана Тобольского драгунского полка Дмитрия Павлуцкого. Оба погибли во время походов на чукчей.

В кружке я заинтересовался войнами между народами Севера. А побеждали в тех сражениях чаще всего чукчи. Сломить их было невозможно.

На фоне успешных войн в XVI — XVII веках, против шведов, немцев, турок, персов, поляков, французов, Московское государство уступало на протяжении 150 лет малочисленному «первобытному» народу — чукчам.

И это при наличии пороховых ружей и сабель — против луков и копий.

Горько, но вот такие печальные страницы есть в нашей истории.

Даже непокорные кавказские абреки и финские налетчики после продолжительной борьбы сдались в конце концов на милость победителей, но не чукчи. Чукчи мне казались одновременно викингами, самураями и маори. Только более яростными.

Чукчей называли «прирожденными убийцами», «диверсантами Заполярья», «малочисленными и свирепыми», «непокорными и неистребимыми воинами», «воинственным народом»... Чукчи были настоящим ужасом для живших в зоне их досягаемости коряков, эскимосов, айнов, якутов, ительменов, эвенков, канадцев, юкагиров, казаков и русских...

Да и как победить народ, для которого война — это честь и доблесть, а умереть в бою или в мирной жизни — радость? Испугать чукчей было нечем. Ведь они считали, что имеют в запасе пять жизней. Поэтому легко умирали, легко убивали чужаков, а оказавшись в безвыходном положении, не задумываясь убивали своих стариков, детей и себя... Это одинаково применимо к мужчинам и женщинам, которые с 5—6 лет имели ножи и прекрасно ими владели. Да и как иначе, если не всегда была горячая пища и приходилось довольствоваться куском сырой оленины или рыбы...

Если чукчам у пленных надо было что-то выпытать, они не церемонились. Могли поджарить врага на вертеле. Могли опустить пленного под воду. Могли зажать ему рот и нос. Пока не заговорит.

Известно, что отряд из 50 коряков ни за что не нападал на группу из 20 чукчей.

Очень они были выносливыми. Целый день без усталости мог чукча преследовать дикого оленя. А едой при случае, в особых обстоятельствах, мог служить лишь олений помет. Питием же была влага ягоды шикша. Холод, голод, прочие лишения, схватки с хищниками — были привычным состоянием чукчи. А суровые условия, как известно, порождают суровых людей.

В повседневной жизни чукчи считали, что выжить в тундре им помогают свежее мясо и рыба, приправленные теплой кровью. Охотясь, они были способны победить белого медведя, моржа-сивуча, загарпунить кита...

Глазомер у чукчей, обоняние, как и у других северных народов, были отменными. Считалось нормой попадать стрелой в тонкий прутик.

Копье, лук и стрелы, аркан, праща, палица, гарпун, алебарда — всем этим владели чукчи безукоризненно. Существует еще ряд придумок и приспособлений воинов полярного круга. Назову хотя бы «бола» — множество «косичек» с грузилами или крючками на конце. В мирной жизни ими подбивали птиц. Кидали в стаю, и одна или несколько птиц «спеленутыми» падали перед охотником. Использование бола в бою приносило «спеленутых» по ногам врагов.

После множества малорезультативных походов казаков на Чукотку из основанного Семеном Дежневым Анадырского острога, после множества боев, разорения стойбищ, после попыток обмана и подкупа вождов и шаманов чукчей Сенат ужаснулся множественным потерям среди служилых людей. Это случилось при Екатерине I.

В начале XVIII века казак Пётр Попов с командой из двух тысяч лучников был послан на Чукотку для приведения чукчей в подданство «уговором и ласкою». Не случилось у казака успеха. Позже был отправлен в поход А.Шестаков с 800 казаками и множеством ламутов и тунгусов. Все они были разбиты.

В конце XVIII века ревизией подполковника Фридриха Пленискера установлена была нерентабельность проведенных с чукчами войн. Комендант Анадырска секунд-майор И.С.Шмелёв выпустил от имени Иркутского генерал-губернатора Вульфа инструкцию, в которой закреплялись правила отношений с чукчами: «Идти на уступки» и «Приводить их в ясное подданство более лаской, нежели силой». Число столкновений уменьшилось. В 1764 году Сенат издал указ о ликвидации некоторых острогов и прекращении войны с чукчами. Екатерина, уже Вторая, подписала этот указ через два года.

Сынов тундры не удалось победить военным путем. Только водка и щедрые подношения сделали их терпимыми к пришлецам, коими они справедливо считали казаков и русских солдат.

Чукчи только на бумаге считались российскими подданными и платили оброк «по своему разумению». То есть ничего из пушнины, китового уса, моржового клыка, мехов, оленины они не сдавали государству Российскому.

В 1885 году инспекцией капитана А.А.Ресина установлено, что в сущности крайний Северо-Восток не знает над собой никакой власти и управляется сам собой.

Я помнил даты проникновения в Сибирь и фамилии военачальников, все вехи проникновения за Урал представителей Российской Империи... А вот о быте чукчей, их жизни, воспитании воинов не знал, и это очень интересовало меня. Слышал, что воспитание молодых чукотских воинов не уступало спартанскому, было суровее воспитания янычар и мамлюков, и было не мягче и не гуманнее индейских традиций.

Чукчи торговали с Японией, Америкой, Канадой, пересекая водные пространства на суденышках, построенных из кожи и дерева. Японцы восхищались ловкостью и

мужеством чукчей, их умением ловить на лету стрелы и дротики, уклоняться от них. Чукчи же ценили металлические доспехи самураев.

Если в Китае, мы знаем, были изобретены порох, колесо, компас, то чукчи придумали козырьки из китового уса для защиты от беспощадного северного солнца; очки от сверкающего снега и солнца — прорези в дубленой оленьей коже; памперсы из оленьего меха и мха... Чукчи изобрели сухие доки для изготовления байдар... При помощи полых костей чукчи на морозе пили из металлических кружек, не прикасаясь к ним губами...

В рукопашных схватках чукчи использовали уникальный тактический прием. В момент, когда полярным воинам становилось тяжело и казалось, что вот-вот их одолеют, из задних рядов вылетали (в буквальном смысле) воины, они пронеслись над головами врагов, и теперь уже противнику становилось туго — сражаться на две стороны. Долго бились над разгадкой этого феномена исследователи жизни чукчей. Тайну разгадал один из североведов — Э.Гунченко. Оказывается, воинами использовалось для прыжков пружинящее березовое древко копья. Готовилось это чудо-копье так: березка выращивалась до двух метров высотой, при этом ствол ее по мере роста закручивался. Далее применялась особая технология сушки древесины — изобретение чукчей...

Приморские чукчи, которые выходили в море добывать кита, моржей, нерпу, встретив на воде неприятеля, могли, не считаясь с погодой, голышом бесстрашно нырнуть в ледяную воду, подплыть под водой к вражеской байдаре и распороть ее ножом...

Военная экипировка чукчей была тоже особой. Основой снаряжения был панцирь из костяных пластин или из толстой моржовой кожи. Ее нарезали полосами, полосы сшивались. Спину воина прикрывал деревянный щит, обтянутый шерстью. Щит имел «крылья», которыми чукча мог запахнуться, и тогда лицо и грудь его были защищены от стрел. Каждый воин имел при себе лук. Луки изготавливались из березы и лиственницы. Были и составные луки, из дерева и кости, проклеенные рыбьим клеем. Наконечники стрел изготавливались из клыков моржей, костей рыб, кремнистой породы. Часто наконечники смазывались ядом. Яд готовился из корней лютика. Даже небольшое ранение обрекало человека на медленную и мучительную смерть.

Легкие олени или собачьи упряжки чукчей, на которых они мгновенно переносились в места, где их не ждали, при желании превращались в настоящую крепость. Из упряжек образовывали круг, ставили одну на другую, стягивали ремнями. Закрепляли сверху сооружения толстые моржовые шкуры. А если еще облить водой подступы к этому укреплению, расставить капканы и ловушки, то крепость невозможно было взять долгое время.

В поход чукчи выдвигались под грохот барабанов, обтянутых человеческой кожей. Если, конечно, не требовалось подкрадываться в полнейшей тишине. А уж это чукчи, безусловно, умели. Окружить тихо ярангу, выдернуть стойки, накинув на них арканы, проткнуть всех, кто находился внутри... В это время другие воины, поделив животных, угоняли стада оленей. Налеты производились неожиданно и мгновенно.

Набеги, засады, молниеносные наскоки — вот тактика воинственных чукчей.

Самые кровопролитные войны северян велись не из-за земли, которой было сколько угодно. Ценностью и причиной раздора были олени — и транспорт, и мясо, и одежда, и обменный фонд, приносящий ножи, топоры, ружья, сахар, чай... Случались и походы за женщинами. Так, из Канады и Америки чукчи привозили негритянок, которые становились наложницами.

Самомнение и достоинство у чукчей были высочайшими. Себя они называли «луораветланы» — настоящие люди. Все остальные — так, второй сорт...

Отметим, что появились предки чукчей в тундре на рубеже IV—III веков до нашей эры.

Культура и психология чукчей были нацелены на постоянную войну за выживание. Жестокость и доблесть — неотъемлемое качество мужчины-чукчи; побеждать и обирать соседние народы — вот их суть. И с веками воинское мастерство чукчей постоянно оттачивалось.

* * *

И вот как-то позвали меня в землянку командира партизанского отряда.

Я вошел. Керосиновая лампа, стоявшая на столе, не горела. Два маленьких оконца, закрываемые обычно пластами дерна, скудно освещали помещение. Я заметил, что кроме меня в землянке был лишь один человек. Бросилось в глаза, что плечи его были неправдоподобной ширины. Свет падал на смуглое широкоскулое лицо, глубоко сидящие узкие глаза и орлиный нос...

— Так ты и есть Мошкин Лёша? — голос был приятный, бархатный...

— Да. — Я уже догадался, что говорю с Макаром Оюном.

— И ты хочешь снайперским делом заняться?

— Да.

— А я Макар Оюн.

— А как ваше отчество, Макар?

— Я Макар Глебович. Но зови меня, как и все, — Макаром.

— Хорошо. Макар, мы добыли в бою два карабина «Mauser Gemehr 98». Не возьмете один себе?

— Я слышал про тот бой. Нет, Алексей. Не возьму. У меня отличная винтовка Мосина. Пятизарядка. Я привык к ней. Надежная и точная. Она не уступает немцу ни в чем. Ну если только в оптике.

— А вы поменяйте оптический прицел.

— Я подумаю. Вообще-то я стараюсь поражать цели за километр, за полтора. Их я отлично вижу. У меня даже бинокля нет, не нужен. Ну да хорошо, теперь по делу. Давай-ка так поступим. Я согласен взять тебя вторым номером, если ты готов выполнять все условия подготовки. А условия подготовки — это тяжелые испытания, это физические нагрузки, это лишения и боль... Буду учить тебя всему, чему меня учили еще в стойбище. Кроме, конечно, тех упражнений, которые не диктуются целесообразностью.

— Я давно мечтаю об этом, Макар. Готов к тяжелым нагрузкам. А как те упражнения, что не целесообразно выполнять, повлияют на набор приемов и навыков снайпера? Не сократят их?

— Ну, ты слышал что-нибудь о том, как чукчей учат реагировать на малейший шорох?

— Нет, не знаю.

— Юные воины с 5 лет не спят. Вернее, спят в полглаза. Спят, опираясь на полог яранги. При этом внимательно слушают. Ведь в любой момент кто-нибудь из взрослых может ожечь тебя или раскаленным металлическим прутом, или горячей головешкой. Мы этот метод применять не будем. Незачем. Это для тебя лишнее. Нет смысла применять такой прием в наших условиях.

После окончания «курса молодого бойца» ребенок отправляется на выполнение задания. За ним обычно крадется его отец. Чукче нельзя расслабляться. Надо быть собранным. Надо быть начеку. Потому что в любой момент отец может послать в тебя стрелу. Слава богу, не отравленную. Если молодой воин погибает, то никто о нем не жалеет — «кому нужен такой неуклюжий неумеха?» Если парень вылечивается — «ну и слава богу!» А если парень среагирует: сможет уклониться от стрелы или поймать ее на лету, тогда — «это воин». Такие испытания нам с тобой тоже не подходят. Очень уж жестоки. Зачем мне тебя убивать? Правда ведь?

Умение бороться и побеждать вырабатывается тем, что чукчи соревнуются на моржовой шкуре, смазанной жиром. Неустойчивая основа, да? Кроме того, вокруг борцовского «настила» в землю вкапываются колья заостренными концами вверх. Тебя победят — тебе будет больно падать. Ты победишь — боли не почувствуешь. Поэтому борются чукчи всегда как в последний раз. Изо всех сил. Напрягая все мышцы, до малого мизинца. Не щадя себя. Самоотверженно. Нам с тобой, Лёша, такие соревнования не нужны. У нас все проще. С противником мы разделены расстоянием. Порой значительным. Потом, тактика наша такая: выстрел или несколько выстрелов и отход. Рукопашные бои крайне редки.

— Да, согласен, — меня даже пот прошиб. — Такие испытания для меня — это слишком. Макар, а шаманов вы видели?

— Я, парень, в стойбище рос до 12 лет. До того, как родители мои погибли на охоте. После чего меня и братьев в детский дом определили. Окончил школу. Потом поехал в Питер, поступать в Горный институт. Тогда шел призыв моего года рождения. Военком посоветовал мне отправляться в армию, отложив пока учебу.

Такая моя нехитрая история. А шаманов я целый род знал — Перефилимоновых. Особенно хорошо знал Зою Перефилимонову. Любого на ноги могла поставить, врач — от бога. Она только врачеванием и занималась. Камлания там, предсказания, ниспослание прибытка олешек или мольба о прекращении дождя — все это не ее.

Алексей! Мы с тобой жить будем отдельно от отряда. Не нужно, чтобы кто-то видел, когда мы уходим, когда приходим... Тренироваться будем... Повара, хлебопеки знают, что у нас режим особый. Или сухие пайки будем получать или приходиться не в урочный час, а исходя из обстоятельств. У дальних постов, на склоне оврага наша палатка-шалаш поставлена. В ней спать будешь. Я снаружи обитаю, когда на дереве, когда на земле. Вот зима наступит, тогда и я в палатке спать буду, наверное. Не замерзнем — палатку снежными кирпичами обложим... Благодать! Сейчас мы отправимся туда. Командиру только напишу, что к зиме нам лыжи понадобятся. И нам с тобой, да и всему отряду. Не достанет — сами сделаем. Материала в лесу — полно. Про маскхалаты белые напишу. Пора думать о зиме.

С Макаром мы вышли из землянки и направились в сторону брусничного болотца.

— А вот и наш овраг. Бывал здесь, Лёша?

— Нет, Макар. Я как-то раньше не замечал этот овражек.

— Палатку видишь?

— Если бы не сказали, я бы ее не заметил.

— Да, спрятана хорошо. Ветви переплел над нею. Ветви с лишайником. А вот собачью конуру при всем желании не увидишь. — Макар свистнул, а потом позвал: — Хаски, Хаски.

И тотчас к нему из зарослей молоденьких елей молча бросилась большая собака.

— Вот, Хаски, познакомься. Это Мошкин Лёша, или просто Лёша, Алексей. Он будет с нами жить.

Собака внимательно обнюхала меня. Обошла. И села сзади.

— Она уже взрослая. Не лает — голоса у нее нет. Думаю, что из-за простуды. Обучена всему. «Сидеть», «лежать», «ко мне», «можно», «апорт», «возьми», «к палатке» — все понимает и выполняет. «К палатке» — это все равно что «домой». Эту команду отдаю, когда Хаски увлекается и хочет бежать со мной. А мне на задании она не нужна. Вдруг белку увидит, помчится. Или среагирует, когда вдруг стрелять по нам будут. Как она грохот выстрелов переносит? Не знаю. Пришла ко мне сама. Я не стал ее прогонять, не смог — уж больно она на сибирскую хаски похожа. Живет здесь. Ты, Лёша, ее не корми. Это мое дело. У псыны должен быть один хозяин.

— Хорошо. Макар, а погладить Хаски можно?

— Подойдет к тебе сегодня или завтра, ткнется мордой — так она здороваается, — тогда погладь. Теперь по поводу завтрашнего дня. Времени у нас мало на подготовку. Поэтому занятия будут интенсивными. Винтовку твою надо

перебинтовать, сделать ее незаметной для посторонних. Бинты, покрашенные в зелено-синие цвета, я тебе дам. Теперь запомни: снайперов часто выдает блеск линз оптики. Особенно на солнце. Чтобы защитить прицел, его тоже перебинтуешь, но сначала наденешь резинку — это гофрированная трубка от противогаза. Ее я тоже тебе дам. С собой, Лёша, возьми только один патрон. Пока учишься, учись дорожить выстрелом. Для снайпера упражнения так же нужны и важны, как для музыканта ежедневные гаммы. Но стрельбы будем устраивать в дальнейшем, а пока учимся дорожить патроном.

— Макар! А если нас окружают, а у нас мало патронов?

— Окружить не должны. Но на этот случай у меня есть два парабеллума. Цели наши, Алексей, мы будем всегда выискивать вдали от базы, километрах в пятнадцати-двадцати отсюда. Не меньше. Можно и в сорока километрах. Это чтобы не навести фрицев на отряд. Наша задача — произвести несколько опустошительных выстрелов и... раствориться в пространстве.

— Разве несколько выстрелов могут быть опустошительными, Макар?

— Ну, раз урон врагу наносишь, значит, сеешь опустошение в его рядах. А выстрел в бензобак машины с последующим взрывом разве не опустошение? Продолжу. Так как мы будем действовать на большом расстоянии от лагеря, то для преодоления его будем передвигаться бегом. Бегом, и только бегом. А для выработки выносливости будем тренироваться. Маскировочный халат тебе сошьем; добыть материал вот только надо. Мы с тобой должны сливаться с природой. Должны незаметными быть. Какая у тебя обувь? — Макар взглянул мне на ноги. — Кировский завод?

— Не понял, Макар. У меня вот — сапоги.

— Я и говорю — Кировский завод, кирзачи. Не жмут?

— Нет, все нормально.

— Портянки умело наматываешь?

— Вполне. Научился.

— Давай-ка теперь взглянем, Лёша, на карту. Ты читаешь карту?

— В школе учили. Умею читать. С картой и компасом были на местности. Ориентировались. Вообще географические карты очень люблю разглядывать.

— Хорошо! Вот смотри. Я думаю, завтра мы с тобой «пощупаем» вот это шоссе. По нему немцы все время идут на восток. Здесь же протекает река. В стороне от шоссе, в лесу река делает петлю. Здесь среди сосен высокий берег, откос. Откос песчаный. Песок. Это нам и нужно.

— Песок? А зачем нам, Макар, песок?

— По песку тяжело бегать. В ученье надо, чтобы бегать было тяжело. Чем тяжелее, тем на твердой почве легче. Как лань будешь носиться, когда одолеешь эти упражнения.

Рано утром, когда птицы стали только-только просыпаться, а трава была еще влажной от росы, я услышал:

— Алексей, подъем! Ополоснись! Завтракать будем на месте.

Когда я расстегнул полог палатки, то первое, что я почувствовал, — собачью морду, которая улыбалась и дружески смотрела на меня. Не надо было тянуться к Хаски, чтобы ее погладить. Она сама хотела этого.

Ополоснувшись холодной родниковой водой, я окончательно проснулся. Взял винтовку, застегнул палатку.

— Готов, Лёша? А ну-ка подпрыгни несколько раз. Так. Перекатись через спину. Хорошо, ничего не гремит, не стучит. Это очень хорошо. Готов к походу. Побежали.

Дальше был бег по лесу. Для меня это был тяжелый изнурительный бег. Передо мной все время маячила квадратная фигура Макара. Одет он был в бесформенный балахон неопределенного цвета. На ногах короткие сапожки. Бежал он в раскачку, легко и, я только теперь понял это слово, пластично. Все у него было ладно — движения, фигура...

— Хаски! Домой, живность! К палатке! Охранять дом!

Обиженная собака поплелась обратно. А ведь только что она весело бежала. Бежала, перепрыгивая с одного солнечного пятна на другое. Бежала с Макаром и с этим новым, с Лёшей. И было так хорошо на тропе прохладного лиственного леса!

— Не отставать, Алексей!

И я старался не отставать. Очень старался. А Макар, казалось, совсем не спешил. Так мне казалось. Для того чтобы держаться в трех-четырех метрах от него, надо было прилагать много усилий.

— Знаешь, когда бежишь в лесу, надо чувствовать себя охотником. Бежишь, но все видишь и все слышишь. Ноги чуть сгибай. Перекатывай ступню с пятки на носок. Не торопись. Но и не медли. Не шаркай подошвой. Просматривай тропу на два-три шага вперед. Помни, что могут быть растяжки. Корни, камни не задевай. Да, Лёш! Захочешь чихнуть, кашлянуть,— сбивай это желание корочкой хлеба. Очень помогает. Я забыл тебе дать хлебца. Вот, возьми. — Макар откуда-то достал небольшой рюкзак, который раньше я и не замечал.

Этот короткий ликбез Макар провел на ходу, чуть сбавив темп бега.

Лиственный лес сменился хвойным.

— Не шуметь!

Под сапогами Макара сушняк не хрустел. Даже малая хворостинка не вызывала ни малейшего шума.

Прошло два часа, которые здорово меня вымотали. Остановились у небольшого ручейка. Хрустальная водица звенела на камнях и притягивала к себе. Макар выглядел абсолютно свежим. Как будто он и не участвовал в беге.

— Привал! Лёша! Потерпи! Не пей сразу! Я сейчас чай сделаю. Попьем, легкий перекус устроим. Походи тут. Можешь и полежать, конечно. Помни, в дальних походах, особенно в жару, пить лучше подсоленную воду. Тогда жажда не мучает. Но сейчас чай попьем, очень бодрит.

Я упал на траву, как подкошенный. Надо мной высоко шумела крона березки, забредшей в этот хвойный лес.

Макар быстро соорудил кострище из камней, которые были рассыпаны на дне ручейка. Из рюкзака достал чайник. Набрал воды и повесил чайник на толстый прут, который закрепил в наклонном положении, используя булыжники.

Как ни тяжело мне было вставать, я оторвался от земли и принес охапку валежника. Выложил охапку у кострища. Макар отобрал несколько сучьев. Под ними разложил сухой мох, которого было много на нашей поляне. Поджег. Огонек весело затрещал сухим мхом, а затем перебежал на сучья, и вот загорелся ровным пламенем.

На пенек, застеленный вафельным полотенцем, Макар поставил два немецких пластиковых стакана, выложил пачку плиточного черного чая, развернул потрепанную матерчатую салфетку, в которой была кучка кускового сахара. Достал коробок с солью. Выложил четыре крутых яйца и полбуханки черного хлеба. Подкатил к пеньку бревно.

— Это чтобы сидеть было на чем. Вот наш перекус, — удовлетворенно проговорил Макар. — Пока хватит. На всякий случай у меня и банка тушенки взята. Но ее лучше оставим на потом.

Подняв полу балахона, Макар достал из кожаных ножен нож и положил его на пенек.

— Вот бы еще лучку или чесночку добавить, — высказался я.

— А вот этого нам никак нельзя. Лук, чеснок — это то, что может нас выдать. Все наши передвижения должны быть скрытные. Привыкай к этому. Запах этих овощей легко улавливается на расстоянии. Зачем это нам? Курение также может нас выдать. Ты ведь не куришь?

— Нет.

— Ну, и ладно. Ножа если у тебя нет, то сделаем. Мой вот выковал деревенский кузнец.

— Это дядя Ерофеев? — спросил я. Я знал кузнеца хорошо. Он был давним знакомым моей бабушки и жил недалеко от нас.

— Он самый. Делает лезвия из стали. Подшипниковой или рессорной, смотря какую достанет. Я попросил его выковать якутский нож. Лезвие его затачивается с одной стороны. Чуть выгнутой. С другой стороны идет дол. А вот рукоять я сам сделал из березы. И ножны сам сшил. Из ранца немецкого солдата. Сшил так, чтобы нож туго входил, очень туго. Знаешь, зачем это?

— Зачем? Чтобы туго входил и, значит, чтобы туго и выходил?

— Точно! Вот как его ни крути, а нож сидит в ножнах и не выскакивает.

Макар продемонстрировал, как крепко и надежно нож держится в ножнах.

— Носят нож впереди. На бедре. Так, чтобы всегда был под рукой. Нож на ремешке или на веревке привязан к поясу.

Макар снял закипевший чайник. Разлил кипяток по стаканчикам.

— Прошу к столу. Отламывай себе чай от плитки, заваривай. Лёша! Сахар — по вкусу. Его мы много добыли после налета на колонну фрицев. При неспешной ходьбе, Лёша, или при осторожном подкрадывании к цели старайся освоить шаг тундрового охотника. Это шаг тихий. Идешь крадучись. Ходи, чуть согнув колени. Сам тоже слегка пригнись. Не с пятки на носок перекатывай ступню, а ставь ее надо с носка на пятку. И не всю ступню сразу ставить, а лишь внешнюю сторону ее. Соответственно переносишь тяжесть тела. Если ощущаешь под ногой сук, валежник, листву, то, чтобы не хрустнуло, не зашуршало, надо поворошить, чуть сдвинуть это нагромождение.

Приятно было, попивая чаек, чувствовать, как бодрость вливается в тебя с каждым глотком.

Над нами качались высоченные сосны. Несколько березок и осинки трепетали, казалось, перед этими исполинами. Лесные птицы весело щебетали, рассказывая друг другу о предстоящих хлопотах.

— Сейчас мы отправимся, Лёша. Пора! Вот только спичек у нас больше нет. Это была последняя. И в отряде плохо со спичками. Обращал внимание, что днем там костер горит все время, а по ночам тлеет длинное бревно? А нам с тобой надо будет взять огонь с собой. И в обед чтобы был, и на вечер...

— А как же это сделать, Макар?

— А вот смотри. Видишь где-нибудь тут поблизости гриб на дереве?

— Вот, вижу чагу, — я показал Макару.

— Да, это чага. Это нарост на дереве, утолщение его. Чага имеет структуру дерева. И очень плотную древесину. Из чаги хорошо вырезать рукоять ножа, например. Но нам нужен другой гриб на дереве, трутовик. Вот, смотри.

Макар встал. Подошел к березе, из ствола которой выпирал гриб. Сбил его ударом кулака. Вернулся к костру, который уже угасал. Показал находку мне.

— Смотри, какой он замшевый, — Макар погладил поверхность гриба. — Вот ножом мы в нем сделаем небольшое углубление. В него положим пару угольков, — Макар, схватив угольки пальцами, уложил их в ямку. — Видишь, сразу появился дымок? Значит, угольки тлеют. Значит, легко их можно раздуть до искр и устроить... мировой пожар, — Макар рассмеялся. — Но нам надо этот источник пламени нести с собой. Как это сделать? Мы обкладываем трутовик мхом. Мох влажный, и его влага не даст разгореться огню. Затем заворачиваем весь гриб в папоротник. И это уже безопасно. Все вместе помещаем в карман рюкзака.

Прошло еще два часа. И вот мы добрались до намеченной цели — излучины реки. Один берег низкий с разнотравьем и обилием цветов — ромашек, васильков, колокольчиков, незабудок, полевых розовых гвоздичек... Другой берег — высоченный песчаный откос, на котором пламенели в лучах летнего солнца стройные сосны.

— Ты, Лёша, побегай по песчаному откосу вверх-вниз. Не щади себя. Я

понаблюдаю за тобой. Винт — с собой, или в руке, или за спиной держи. Бег без команды не прекращать!

Надо ли говорить, что пот ручьем лил с меня. Прошло около часа, и вот я услышал заветное:

— Отставить бег! Отдыхать! Восстановить дыхание!

Я лежал на мягкой шелковистой траве, росшей на самом верху откоса под могучими соснами. Успокаивал свое дыхание. Любовался окружающей природой. Внизу прямо подо мною Макар, не снимая брюк, стоял по колено в воде, замерев с копьем в руке. На песчаном берегу рядом с рюкзаком лежала винтовка, валялся снятый балахон, стояли сапоги Макара. Там же я увидел несколько сухих веток, разложенных для костра. И возле вещей Макара я увидел знакомый комок, завернутый в папоротник.

Макар долго стоял, замерев, перед тем как метнуть копьё. Вот последовал резкий бросок оружия, и через мгновение на его конце я увидел трепещущую рыбину. Солнце сверкало на ее боках.

— Похоже, у нас будет знатный обед. Эта острога, — Макар потряс копьем, — уже принесла двух щучек, двух лещей и подлещика.

Макар снял с острия добычу, положил ее в болтавшийся на поясе матерчатый мешок. Нижний край мешка был темен от воды, в мешке по бойкому шевелению мокрой ткани угадывался немалый улов.

Макар вышел на берег. Мешок с добычей он спустил в воду, прижав край его двумя большими камнями.

— В этих краях голодными не останемся, — сказал Макар и пояснил: — Скоро грибы пойдут, орехи. Здесь, знаю, зайцы водятся. Надо будет рогатку сделать и силки... Так что не будем всухомятку есть. В отряде к хлебопекам лишь будем обращаться.

Затем Макар побрел вдоль берега. Острогу он держал в руках. Подошел к ивовым кустам. Какое-то время, нагнувшись, возился возле кустов, ковыряя своим оружием.

— Это глина. Ею обмажу рыбины. И запеку.

Я понял, что мне пора набрать сухостоя и спуститься к реке. Через некоторое время костер был разведен. Чайник наполнен водой и вскипячен. Из рыббин, обмазанных глиной, были изготовлены некие подобия мумий. В углях костра эти мумии томились минут тридцать. Потом мы обедали. Раскалывая запеченную глиняную оболочку, можно было обнаружить приставшую к ней чешую. Мякоть рыбы легко отделялась от костей и внутренностей.

— Макар, спасибо. Никогда я не пробовал ничего подобного.

— Живая еда всегда приятна. Ты отдохни минут тридцать, Алексей. После такого обильного обеда тяжело упражняться. В программе у нас прыжки с камнями, привязанными к ногам. И опять вверх-вниз по склону. Вот тебе две веревки и две авоськи. В авоськи положи булыжники. Возле кустов их много. Отдохни. Потом стреножь себя и занимайся. Не щади себя! Сейчас полдень. Часов в пять примерно мы опять побежим. До шоссе. Там ты произведешь свой контрольный выстрел. Я — три-четыре. Это наши учебные стрельбы. При условии, что там будет колонна гитлеровцев.

После отдыха, стреноженный, я выполнял прыжки с утяжелениями. Меня никто не подгонял, я сам доводил себя до изнеможения. Прыжки со связанными ногами вы пробовали когда-нибудь? Да еще с тяжеленными камнями? Да к тому же вверх-вниз по песчаному откосу? Ноги мои, обутые в сапоги, были избиты. Синяки на ногах я увидел позже, когда Макар разрешил отдохнуть, снять сапоги и размотать портянки. К побитым ногам Макар посоветовал приложить листья подорожника.

За то время, что я занимался прыжками, мой наставник соорудил лук.

— Здесь место тихое. Никем не посещаемое. Никаких следов пребывания людей я не обнаружил. Оставим лук в кустах. Будем сюда прибегать — тренироваться в меткости. Стрельба из лука очень полезна для глазомера.... А еще мы с тобой будем учиться маскироваться. Поднимать тяжести тоже будем. Это чтобы быть сильными...

Будем бросать топор в цель, метать нож. Бросать аркан тоже будем. Это любимое мое упражнение. Напоминает детство, стойбище, братьев...

— А братья твои, Макар, где сейчас?

— Да кто где. По-разному. Нам с тобой еще многое предстоит освоить. Скажем, банку консервов можно открыть, взрезая лезвием ножа. А можно вскрыть банку, имея только булыжник. Потрешь булыжником — и тонкая жесть сотрется.

В четыре часа дня, о чем меня известил Макар, я закончил упражнения.

— На сегодня прервемся. Ты и так выложился хорошо. Спать будешь как убитый. Ноги сильно болят?

— Болят.

— Через силу, через боль, нам надо двигать. Сейчас кросс, хочется тебе бежать или нет. Пересиль себя. Нам предстоит еще сегодня устроить обстрел колонны. Посмотрим, какой ты в деле. В снайперском деле. Это нам покажет один твой выстрел.

Мы бежали часа полтора. Наконец-то выбежали на опушку леса.

— Переходим на шаг, Лёша. На осторожный шаг. Восстанавливай дыхание. Осматривайся. Впереди — стрельба.

В лесу заметно посветлело. Ореховые кусты, как часовые, окружали лес.

— Видишь трассу, шоссе? — Макар раздвинул ветви орешника, и я увидел ровное поле. В конце его шло шоссе. На шоссе — скопление вражеской силы и техники. — Как тебе без бинокля, Алексей, хорошо видно?

— Нормально. Я на зрение не жалуюсь.

— Отлично! Нас им трудно увидеть, позади нас лес. Знай, что за спиной снайпера всегда должен быть бугор, вал, лес, чтобы наши очертания не выделялись на фоне неба или на каком-либо еще контрастном фоне.

— Усвоил.

Мы расположились за бугорком. Приятно было вытянуть уставшие ноги. Но надо быть собранным.

— Прицелься. Нет, не стреляй! Пока наладь дыхание, успокой его, осмотри в прицел маршевую колонну. Выбери себе цель. Скажешь мне где — в начале колонны или в конце. Я буду щелкать с другого конца, чтобы не выцеливать одного и того же. Помни, наша цель — офицеры.

Я прильнул к окуляру. Дыхание не давало мне покоя — дышал я все еще громко, как паровоз. В окуляр я увидел, что впереди пешей колонны ехали на тяжеловозах пятеро офицеров. Пехоту нагоняли танки. В каждом танке торчал из люка фриц, думаю, что тоже офицер. Впереди танковой колонны ехали мотоциклисты с колясками.

— Макар! Я беру офицера, сидящего на битюге в начале колонны.

— Идет! Только не спеши! Дыхание сейчас — самое главное! Не спеши! Я — следом за тобой.

В том бою первый мой выстрел был неудачным. Мне удалось лишь сбить фуражку с гитлеровца...

Но потом было много удачных выстрелов, много боев. Много вносили мы смятения во вражеские ряды. Вместе с Макаром Оюном мы воевали на Псковщине. Потом в составе нашей наступающей Армии пошли на запад. Макар многому меня научил. Мне повезло, что моим наставником был он — Железный чукча. Много хитростей я освоил благодаря ему. Много я узнал о жизни и быте чукчей.

Трудны были дороги войны. У Макара его война оборвалась в окрестностях Берлина.

Александр Готов

Оловянный солдатик

Отец

Составы не идут на Ост.
Два дня назад разрушен мост,
в воде каркас на гнутых шпалах:
в пучину батюшки-Днепра
его свалили «мессера»,
бомба с высот предельно малых.
Взят Минск. Весь день над головой
немецкой карусели вой.
Забрали всех, кто был постарше,
на усиление полков.
Детей, больных и стариков
из города увозят баржи.
Идут к мосту средь полной тьмы,
народа — с носа до кормы,
маневры с помощью компаса.
Вот-вот обломками моста,
как бритвой, посечёт борта,
и в дно вопьётся сталь каркаса.
Ночь — глаз коли, огни — не сметь.
Увидит немец с неба — смерть,
вода черна, подстать мазуту.
Молился штурман на компас,
вздохнули только через час,
идя по южному маршруту.
Кто проверял свои мешки,
Кто спал. Светлела рябь реки.
Пропел в деревне первый петел.
С короткой чёлкой, невысок,
Глядел мальчишка на лесок.
Так мой отец то утро встретил.

Готов Александр Геннадиевич родился в Москве в 1963 году. Окончил филологический факультет МГПИ им.В.И. Ленина. С 1986 года преподаёт в школе литературу и русский язык. Автор трех поэтических сборников, в том числе «Человек в своей мастерской» (М., 2010). Заслуженный учитель РФ, лауреат литературных премий. Живёт в Москве.

Стойкий оловянный солдатик

У оловянного солдатика
другие вес, походка, статика.
Вот все на «первый и второй».
Он портит строй.

Препятствий взвод штурмует полосу;
сержант, который час без голоса,
хрипит: «Бери её, вперёд!»
Он не берёт.

Он по команде лечь пытается,
но ничего не получается:
мешает, что нога одна.
И вдруг — война.

И в суматохе действия рьяного
вписали в списки оловянного:
мол, руки есть, а что нога?
Пусть бьёт врага.

С рассветом двинулись колоннами,
а дальше — к фронту, эшелонами;
и там на всех — один удел:
взвод поредел.

А тем, кто выжил, — тем солдатикам
дорога прямо к медсанбатикам.
Без рук, без ног, как наш герой —
один, второй.

И где-то там, кряхтя и бедствуя,
канонам новым соответствуя,
стал наш солдатик среди мужчин
неотличим.

Елена Нестерина

Вайнахтсман и киндеры

Рассказ

День догорал. Еще немного — и мороз схватит его в плен, превратит в ночь, будет держать, бить и колотить, а потом нехотя переделает в утро, покрасит на свое усмотрение небо, ненадолго включит солнышко. А потом снова выключит, снова расстелет тьму по полям и лесам. И так всю долгую зиму — холодно, голодно, страшно...

В актовом зале колхозного клуба было натоплено. Совсем немного — ровно настолько, чтобы можно было там находиться. Оккупационный режим германской армии умел разумно экономить. В окна клуба еще заглядывал прощальный солнечный свет, но уже горели четыре керосиновые лампы. Темнота потихоньку выползала из углов, шевелились тени...

Наталья Петровна, над которой висело две лампы сразу, хлопнула в ладоши и ударила каблуком в пол. Это означало, что все должны посмотреть на нее и приготовиться. Она была строгая и нарядная: в узкой юбке и новом жакете, на рукаве которого красовалась нашивка со свастикой и надписью «*Treu Tapfer Gehorsam*»¹.

Третий час подряд шла подготовка к рождественскому празднику.

Дети в который раз принялись говорить наконец-то заученные слова, братья за руки, прыгать и танцевать под музыку, которую играл солдат на большой губной гармошке.

Уйти из клуба было невозможно: солдат зажимал в коленях автомат, а возле двери неподвижно застыл еще солдат. И тоже с автоматом. В день праздника дети должны будут исполнить эту программу перед германскими офицерами — и показать в лучшем виде!

...Немецкая армия захватила село весной. Колхоз только начал подготовку к севу, трактор пахал предпоследнее поле, но произошел прорыв фронта — и село оказалось в оккупации. Сейчас нельзя было даже вспоминать тех, кого с приходом германской армии сразу убили: председателя колхоза Агнию Леонидовну, которую повесили на площади — за то, что она отказалась быть сотрудником и называть колхозных

Елена Нестерина окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Член Союза писателей Москвы. Проза и драматургия печатались в журналах «Урал», «Современная драматургия», «Знамя». Автор книг «Женщина-трансформер», «Разноцветные педали», «Первое слово дороже второго», «Красные дьяволята — гетаке» и др. Живет в Москве и Киеве.

¹ «*Treu Tapfer Gehorsam*» — в переводе с немецкого языка «Верный, храбрый, послушный». Знак различия «вспомогательных войск», которые германская армия набирала из местного населения оккупированных территорий.

активистов, коммунистов и писать списки их семей. Нельзя было помнить ее детей, которых расстреляли, когда они выбежали к ней из толпы, сожженных живыми в сарае односельчан, которых поймали по пути к партизанам.

Можно было только читать листовки с новыми правилами жизни, выполнять эти правила и много работать.

Село затаилось. Выполняло, работало. Осенью урожай отправился в Великую Германию, а школу, в которую пришли дети первого сентября, первого же сентября и закрыли. Оставшихся в селе двух учительниц расстреляли. Они не хотели носить повязки послушных помощников и учить по новым правилам.

А вместо них — уже ближе к зиме — в школе появилась Наталья Петровна. У нее было несколько новеньких книг, красивые тетради, карандаши. Наталья Петровна сама где-то училась и теперь приехала, чтобы начать воспитывать детей правильно.

Наталья Петровна до войны была в селе совсем неприметной личностью. Работала в колхозе учетчицей — учитывала и заносила в большую книгу кто, что, сколько и когда наработал. Больше ничем знаменита не была — в спортивных соревнованиях не участвовала, в клубе на концертах не появлялась и даже кино смотрела редко. Шмыгала из конторы домой — только ее и видели. Но час Натальи Петровны настал — и теперь она учила детей любить Великую Германию.

Дети ее не слушались, и тогда в классе стали дежурить солдаты. Вот тогда, наконец, наступил долгожданный порядок — автомата боялись все.

...— Бестолковые! — нахмурившись, крикнула Наталья Петровна. — Просто бараны! Что ж вы не можете понять простые вещи, которые тысячу лет знает Европа! Вас ведут к свету, к прогрессу — а вам бы только на сеновале спать... Старайтесь! Будете хорошо себя вести, святой Николаус в Рождественскую ночь исполнит ваши желания. Поняли?

Дети загудели: «Поняли!»

А Колюшка не понял. Он не знал, кто такой святой Николаус. У бабушки за печкой была икона, темная, как подкопченная, но блестящая, будто намазанная маслом. Там был нарисован святой по имени Николай Угодник — старенький бородатый дедушка. Ему бабушка шепотом молилась, и он должен был исполнять ее желания. Бабушка просила-просила его, ругалась, когда Угодник ничего не исполнял, а потом умоляла ее простить, кланялась и билась в пол лбом. При этом плакала и тыкала в себя собранными в щепоточку пальцами — крестилась. Николаус — Николай, может, это он же? Но желания под Новый год исполняет Дед Мороз — это Колюшка хорошо запомнил. Он и подарки дарил — из мешка вытаскивал! Колюшка весь год ждал Деда Мороза и праздника под елкой, и теперь этот праздник уже скоро, совсем скоро, но называется Рождество. Кто-то рождается, значит. Видимо, новый, 1943-й, год рождается, вот что!

Пока Колюшка размышлял, подошла его очередь говорить слова. Стоявшая рядом девочка толкнула его в бок, и Колюшка сделал шаг вперед. Он только успел выкрикнуть:

— Как детей...

Как детей отвлекли шум и топот. С ворвавшимся студеным воздухом в клуб всплыла елка — которую на вытянутых руках нес сторож дедушка Гаврила.

— Вот она, елочка, соколики мои! — стаскивая с головы шапку, сообщил дедушка. — Куда ее, милка?

— Какая я тебе милка? — сморщилась Наталья Петровна, торопливо подбежала к сцене и ткнула пальцем: — Сюда!

Дети переглянулись. Обычно елку ставили в середине зала, чтобы вокруг нее можно было водить хоровод. А эту, маленькую, значит, на сцену. Как же хоровод? Но никто об этом не спросил. Все теперь боялись Наталью Петровну и слушались.

Дедушка Гаврила положил елку на сцену и, разбрасывая ледышки со своего тулупа, ушел.

Наталья Петровна снова построила детей и запретила смотреть, как дед вернулся с ящиком столярных инструментов и принялся строгать и стучать, сооружая треногу для елки.

Снова началась репетиция. Колюшка ждал своей очереди выступать, смотрел и слушал внимательно, чтобы не опоздать. Дети танцевали под губную гармошку. Она сопела, вздыхала и пищала — и казалось, что это за стеной мыши играют свою мышиную свадьбу. И вроде бы уже и мыш-гармонист устал, и гармошечка вот-вот порвется, а свадьба все никак не закончится...

— Как детей чекист советский елки в Рождество лишил! — вовремя заметив, как махнула рукой Наталья Петровна, вывалился из мышинной свадьбы Колюшка и заорал во все горло.

Из-за спин детей тут же выскочил тринадцатилетний Иван, Иван был одет в драную кожанку и вышедший из употребления картуз. Рыча и целясь из деревянного маузера, он заставил всех встать на колени.

— Дрожите! Дрожите, я сказала, как следует! — кричала Наталья Петровна. Потому что многие не дрожали.

Кого-то из самых бестолковых ей пришлось схватить за ухо и поставить на колени, кого-то хлопнуть по затылку, чтоб дрожал. Ну какой раз повторяют, а как пыльным мешком стукнутые! Что за глупые дети...

Нарывавшись, чекист Иван захохотал злодейским голосом: «Ха! Ха! Ха!»

Солдат с губной гармошкой набрал воздуха и начал вдвухать в гармошку парадный немецкий марш.

Пум-пум-пум-пум-пум! — промаршировал от двери солдат с автоматом. — Та-да-да-да-да-да! — покрасневшись и от напряжения выкатив глаза, закричал он, старательно убивая чекиста Ивана из автомата. Иван с грохотом упал на пол, картинно раскинул руки-ноги и замер.

— Лицо, лицо не сделал! — закричала Наталья Петровна. — Быстро!

Иван устало оскалился, не открывая глаз.

Замолчала гармошка, солдат с автоматом тоже замер. В мягких валенках протопал от вставшей ровно и распустившей в стороны примороженные лапы елки дедушка Гаврила.

— Готово, мила!

Наталья Петровна свела брови и оглядела столпившихся детей.

— Чьи слова? Кто сейчас говорит? Что вы как сонные мухи? — как взмах кнута просвистел в воздухе голос Натальи Петровны.

Окрик как будто и правда подстегнул девочку Машу, она поспешно выскочила на середину и торопливо затараторила:

— И как им солдат немецкий чудо-елку возвратил!

Солдат немецкий повесил на плечо автомат и пригласительным жестом указал на сцену. Вот она, елка, радуйтесь, счастливые дети!

Снова заиграла музыка, выскочила в центр первая пара танцующих, но тут снова притопал дед Гаврила:

— А вот они, игрушки! Вот богатство-то наше! — радостно прогудел он.

В руках у него была большая коробка с елочными игрушками. Все ее знали, эту драгоценную фанерную коробку. Несколько лет назад ее купили в городе учительницы и привезли в школу — и все жители села пришли смотреть на ту первую елку, которую установили тогда в самом большом, но все равно тесном классе и украсили этими игрушками. На следующий год елку поставили уже в клубе — высокую, пышную. Когда на нее повесили игрушки, их оказалось очень мало. Но учительницы вытащили ножницы, клей — и оказалось, что игрушки можно сделать самим! Так появились

гирлянды из разноцветных бумажных колечек, флажки на длинной нитке. А сколько нарезали снежинок! Все ребята научились. Даже конфеты на елку вешали — и после праздника их разрешали сорвать и съесть! Так что все дети, и малыши, и школьники, знали: праздновать Новый год — это счастье!

И теперь вот они, новогодние игрушки! Забыв страх перед Натальей Петровной и солдатами, дети столпились вокруг деда Гаврилы. Все знали, что лежит там, внутри большой коробки с Кремлем на крышке и узорами из серпантина и хлопушек по бокам: стеклянные шары, расписанные красными звездами, целлулоидный дирижабль, синички, ловко скрученные из тонкой бумаги и набитые ватой, посыпанные переливчатой стружкой грибочки, яблоки, груши, шишки — большие и маленькие, два метра серебристой канители с острыми махринками...

Колюшка тоже заторопился скорее заглянуть в коробку, увидеть, как из нее вытащат его любимую игрушку — пограничника с собакой. Пограничник крепился на жестяной прищепке — и всегда на одной из верхних веток, чтобы всем было видно и чтобы собаку не хватали за нос, потому что после первого новогоднего праздника черный нос этот успел обтрепаться и из него вылез клочок ваты. А рядом с пограничником обязательно покачивался пышный румяный лыжник в белой куртке и шароварах. Его красные лыжи блестели как лакированные.

Заторопился Колюшка — и толкнул Наталью Петровну, которая с торжественно-почтительным лицом прикрепляла к ветке елки большую стеклянную игрушку — серебряный крест с эмалевым портретом в середине.

— Ай! — не ожидая, что на нее кто-то налетит, вскрикнула Наталья Петровна. И только хотела отругать Колюшку, как увидела, что Иван, самый высокий из ребят, с другой стороны елки забрался на табуретку и прилаживает к вершине темно-алую стеклянную звезду, которую успел вытащить из коробки.

— А-а-а! — закричала Наталья Петровна. — Что ты делаешь?!

Она бросилась к Ивану и вцепилась в его кожаную тужурку. Кожа затрещала, оторвался клоч, ножка у табуретки подкосилась, хрясь — и мебели в клубе стало меньше. Иван взмахнул руками и упал на сцену. Уже не картинно, а по-настоящему, с грохотом. На обломки табуретки рухнула и Наталья Петровна. Тут же вскочила, оглядываясь на солдат. А те открыли рты и стояли смотрели.

Потому что посмотреть было что: на елке висели портрет Гитлера и красная советская звезда.

— Снять! Снять немедленно! — хрипло зашипела Наталья Петровна, вскакивая с пола и указывая на елку.

Девочки наперегонки бросились к елке, исполнительная Дунечка сдернула с ветки хрупкий стеклянный крест с портретом и протянула его Наталье Петровне.

— Ах ты... — Наталья Петровна выхватила у нее драгоценное украшение, одной рукой прижала его к себе, а другой отвесила Дуне оплеуху.

Дуня заплакала, а Наталья Петровна подскочила к елке и попыталась дотянуться до верхушки. Елка была хоть и не такая большая, но достать до звезды ей не удалось. А табуретки другой не было. Вон стоят, конечно, широкие лавки вдоль стен — но ни одну из них на сцену не занесешь...

Не расставаясь с серебристым крестом, который она спрятала под жакет и со всей осторожностью прижимала к себе, Наталья Петровна смешно прыгала вокруг елки.

— Гаврила, сними! — кричала она.

Но старичок разводил руками: тоже, мол, не дотянусь.

— Герр солдат, битте, битте! — взмолилась Наталья Петровна, преданно глядя на солдат и показывая в сторону елки.

Солдат с губной гармошкой взобрался на сцену, обошел елку вокруг, посмотрел на второго. Который оказался более решительным: он выдрал елку из треноги и бросил на пол. Стеклянная звезда звонко цокнула и разбилась. Наталья Петровна

подбежала к ней и принялась яростно топтать осколки. Толстое стекло хрустело. Дивной красной звезды больше не было.

Дети стояли и молчали. Колюшка готов был заплакать, он слышал, как кто-то тоже всхлипывает рядом с ним.

И тут Наталья Петровна с болью в голосе закричала:

— Вы знаете, что это все такое? Звезды эти пятиконечные, серпы, молоты? Это знаки кровавого террора, превратившего нашу страну в рабов Сатаны! Да, Сатаны! И только Великая Германия несет нам свет европейской культуры...

Она уже переместилась к фанерной коробке, подтащила ее к печке и принялась швырять туда завернутые в шуршащую магазинную бумагу игрушки. Бумага тоже была с красными звездами, снежинками и радостной надписью «С Новым годом!». Вот показался бок большого шара с вдавленной внутрь таинственно мерцавшей звездочкой. Раз! — и шар в печке, где уже угасшие угли деловито разгорелись, уничтожая бумагу, тонкое стекло и вату.

А Колюшка любил звезды. У него даже в груди щемило, когда он смотрел на ту, большую, празднично сияющую темно-алыми гранями на вершине елки. Ему казалось, что эта далекая звезда освещает путь и зовет — куда-то далеко-далеко, в счастье. Там все неизвестное, но очень интересное, героическое. Цвета этой звезды была кровь, которой Колюшка успел увидеть за свою восьмилетнюю жизнь уже много. Кровь раненых и убитых, кровь тех, кто дрался сейчас где-то далеко на фронте — за то, чтобы обязательно выгнать из их села и из страны «Великую германскую армию» с ее злыми помощниками. Такими, как Наталья Петровна, как те сельчане, с которыми не здоровалась его бабушка и на кого жаловалась своему Угоднику и просила наслать на них наказание... И еще такие звезды горят над Кремлем — в прекрасной Москве, где никто из Колюшкиных знакомых не был. Так хотелось посмотреть Москву, и не за уши когда поднимают «Москву покажу», а на самом деле — чтобы на поезде туда ехать. Как отец обещал. Но теперь и он на фронте, и мама на фронте, а звезды, значит, это плохо? Сатана — враг Николая Угодника, героические и прекрасные звезды и игрушки — знаки Сатаны? И их надо в печку?

Вот улетели в огонь старые тяжелые бусы из дутого стекла. Их принесла в школу бабушка Акимовна, с царских времен украшения, сказала. Тоже, выходит, плохие. Сатана и при царе, значит, был... Может, если бы знала, Наталья Петровна царские бусы бы пожала, но теперь они горели, звонко лопааясь, вместе с символами угнетения детей и взрослых.

В руках Натальи Петровны оказались последние две игрушки. Она размахнулась, чтобы забросить в огонь пограничника с собакой — и Колюшка не выдержал, схватился за пограничника, сжал его и закричал:

— Нельзя его жечь! Это не кровавые знаки! Не дам!

Так он и висел, вцепившись в руку Натальи Петровны. Слезы летели в разные стороны, но Колюшка не разжимал пальцы. Наталья Петровна толкала его, трясла рукой, но Колюшка не отцеплялся. С истошным воплем Наталья Петровна схватила фанерную коробку из-под игрушек и принялась бить ею мальчишку по голове. Но недолго — Иван вырвал ее из руки Натальи Петровны, отбросил в сторону, коробка с треском развалилась.

И никто не успел опомниться, как он выдернул из-за отворота жакета Натальи Петровны любовно спрятанный туда большой стеклянный крест с портретом поздравляющего детишек Адольфа Гитлера и кинул его в печку.

— Вот вам за наши игрушки! И постановка ваша — вранье! Как это елочки лишил?... — успел крикнуть Иван. Солдаты скрутили ему руки, бросили на пол. И тот, что без гармошки, наступил ему сапогом на спину.

Другой солдат оторвал Колюшку от доброй германской помощницы. Смятый

пограничник остался у мальчишки. Но Наталья Петровна этого не заметила. Кося глазами в сторону немцев, она торжественно отчеканила:

— Вы все помните, что жители оккупированной территории подчиняются особому положению о наказаниях. Совершение преступления против Германской империи путем оскорбления символов государственной власти в лице портрета великого фюрера карается смертной казнью через повешение.

Она вскинула вверх правую руку с раскрытой ладонью, прищелкнула каблуком и крикнула пару отрывистых слов по-немецки. Солдаты, которые держали мальчишек, хоть ничего из ее речи, кроме слова «фюрера», не поняли, взбодрились и браво повторили приветствие вслед за ней. И так и стояли, суровые и мужественные, не выпуская, впрочем, маленьких врагов.

Наталья Петровна той же приветствовавшей рукой показала им в сторону выхода. Солдаты утащили Ивана и Колюшку вон из клуба.

Дверь захлопнулась.

А Колюшка с Иваном оказались в дровяном сарае. Сквозь щели было видно небо — совсем темное небо почти угасшего бесснежного дня. В самую большую щель под косой крышей оно просматривалось особенно хорошо.

За дверью, которая снаружи запиралась только на щеколду, встал солдат.

Большой и маленький мальчишки уселись на поленницу. Колюшка всхлипывал, Иван молчал. Он знал, чем закончится обещанное Натальей Петровной. Их отведут в комендатуру. И... Неужели повесят?

— Они нас правда повесят? — спросил наконец Колюшка. — Повесят за шею?

Поверить в это было невозможно. Вот сейчас они живы — и скоро перестанут. Как это случилось с теми, кто не хотел подчиняться новым порядкам.

— Но как же это — повесить до смерти из-за игрушек? — схватив Ивана за рукав, продолжал спрашивать Колюшка. Другой рукой он сжимал пограничника.

Иван хотел сказать, что не только из-за игрушек. Но вместо этого посадил Колюшку себе на колени, запахнул на нем свою драную тужурку и прижал к себе. Они не были друзьями — почти взрослый Иван и Колюшка, который только поступил в первый класс к Наталье Петровне. Но умереть должны будут вместе. И никто их не помилует, даже маленького Колюшку не пожалеет — ведь солдаты видели, что произошло, а Наталья Петровна постарается выслужиться и представить их злодеями, с которыми она долго боролась за символы Германской империи и победила в неравном бою.

— Убегать мы должны, Коля. — прошептал тут Иван.

— К партизанам? — ахнул Колюшка.

Иван зажал ему рот и замотал головой. Да и Колюшка знал, что в их лесу нет никаких партизан. Не раз и не два всю лесную округу прочесывали каратели, так что, если какие партизаны и были (а к ним успели уйти многие из села), то где-то очень далеко.

— К партизанам потом, — снова зашептал Иван. — Сначала к леснику в избушку. Не дадимся.

— Точно!

Иван был не самый ловкий и сильный среди мальчишек. Но он хорошо знал село и его окрестности, помнил, что от клуба, который стоял на краю, до леса недалеко. И дороги с этой стороны клуба нет, никто там не ходит и не ездит. Может, и не заметят. Убегать надо скорее — сейчас Наталья Петровна закончит мучить своей постановкой и отправится в комендатуру выслуживаться — так что и их наверняка потащат следом за ней. Иван снял с колен Колюшку и на ощупь стал подниматься по кладке поленницы. Колюшка понял его: если вылезти в дыру под крышей, можно оказаться на улице. Только это не просто — дрова лежали криво, их мало осталось. Если развалятся — грохоту будет! И все тогда...

— Иди сюда! — поманил Колюшку Иван.

Подхватил его под мышки, втянул к себе. Несколько поленьев все-таки соскользнули вниз, звонко ударились друг об друга. Мальчишки замерли. Но никто к ним не ворвался. Часовому, должно быть, это не показалось подозрительным.

— На. — В руку Колюшки ткнулся твердый коробок. — Спички. Я их всегда с собой ношу. Что-нибудь фашистам поджечь... Будешь отвечать за тепло. Как до избушки добежим, ты печку растопишь. Справишься?

— Ага!

— А ты помнишь, как туда идти?

Колюшка кивнул.

— Не заблудишься, если что?

— А что? — испугался Колюшка.

— Если разделимся по дороге, что!

— А-а! — выдохнул Колюшка. Ему стало спокойнее — значит, Иван уверен, что они доберутся. И все будет хорошо, будет тепло, и жить они будут. А то — «повесят, повесят!»

— Прыгай в сугроб. Я за тобой.

Колюшка прыгнул. Снег обжег его ледяные руки, и лицо от него загорелось. Но Колюшка не успел от этого пострадать — потому что услышал грохот за стеной сарая. Такой, что немец тут же закричал что-то. Дрова раскатились! Значит, Иван теперь не выберется наружу.

— Ваня! — прижавшись к расщелине в досках стены, позвал Колюшка. — Ваня! Дрова снова загрохотали, раздалась автоматная очередь.

— Колька, беги! — донесся до Колюшки среди грохота голос Ивана.

Испуганный Колюшка отдернулся от досок и, послушавшись Ивана, побежал, увязая в снегу.

Он старательно бежал к темнеющему вдалеке лесу.

Еле-еле до него доносился взвизгивающий голос Натальи Петровны, крики уже двух немцев, новый грохот дров, еще чьи-то голоса.

Ноги бежали, бежали, Колюшке стало даже жарко. Мальчишка несколько раз оглядывался, но никто его не догонял. К тому же клуб и серый сарай сливались в одну общую полосу — сгущались сумерки.

Ивану уже не спастись, понял Колюшка — и остановился. Зачем ему теперь одному бежать?

А что делать? Сдаваться, чтобы и его схватили? Возвращаться?..

Но может, Иван еще его догонит? Значит, надо добежать до первых деревьев и подождать его там?..

Колюшка снова побежал. Он ободрал об снег кулаки, но не разжимал пальцев — чтобы не потерять ни пограничника, ни коробок спичек. Разбитый дуб, от него налево, пересечь орешник, овраг, обойти бурелом по правому краю, на холм — и там лесникова избушка. Колюшка бывал там несколько раз с ребятами — пока лесник тоже не ушел на фронт. Но не один ведь бывал, и не ночью, не зимой — найдет ли теперь?

Найдет! Растопит печку и будет ждать Ивана. И партизан будет ждать — не может быть, чтобы их не было! Колюшке очень-очень хотелось так думать.

И он бежал.

Он не видел, как искал его солдат, который несколько раз обошел вокруг сарая, увязая в снегу; как заметил следы — и показал их Наталье Петровне. Больше не стреляли — и Колюшка надеялся, что Иван вырвется, спасется, придумает что-то. Он же взрослый!

В лесу он оказался, когда стемнело. Долго переводил дыхание, слушал, ждал. Все было тихо. Нужно куда-то идти. Колюшке очень захотелось домой. Там осталась

бабушка. Она давно ждет его, наверное, даже просит своего Николая Угодника исполнить ее желание: чтобы Колюшка вернулся жив-невредим. Или туда, домой, уже пришли его искать? И теперь вместо него будут вешать бабушку?

Колюшка нашел свои следы и зашагал по ним обратно. Но ведь за попытку выйти за пределы села — казнь! И те, кто пытался, до сих пор висят повешенными на площади.

К партизанам! Но прежде все равно сначала в лесникову избушку!

Только так.

Колюшка снова направился к лесу — сначала по своим следам, а потом по глубокому снегу. Надо найти дуб.

Руки заоченели, пальцы сами собой разжимались. Колюшка поцеловал пограничную собаку в нос и забросил игрушку за пазуху. Туда же отправил спички. Обхватил живот руками и зашагал. Слезы сначала текли по щекам, потом застыли. Лицо жгло. Болело в голове, в горле хрипело.

И казалось, что впереди в сучковатой лесной темноте горит алая звезда, таинственно переливаются ее грани. Быть такого не могло — откуда звезда среди леса, но Колюшка шел, шел, и в голове его стучало: «Не сдавайся, Колюшка, не сдавайся!»

— Не сдамся! — прошептал Колюшка, как герой кинофильма, и гордо поднял голову.

Сразу ударился о ствол дерева, которое не заметил, фыркнул, пообещал себе быть внимательнее. Вспомнил про бабушку — и попросил: «Угодник Николай, помоги моей бабушке! Пусть никто ее не обижает, пусть обойдут ее дом немцы и Наталья Петровна! Помоги, Николай, помоги, ладно? Спрячь ее за печкой, сделай невидимкой. Пожалуйста!»

Он шел. А потом устал. Так, что прислонился к толстому стволу дерева — уже не разобрать ему было, дубу или не дубу. Наверное, уже наступила ночь, и пора было спать. И есть. Про еду Колюшка не подумал. И как он ее раздобудет в заброшенной избушке лесника, тоже...

А на прошлый Новый год Дед Мороз вытащил ему из мешка с подарками шоколадку. Колюшка даже не знал, что это шоколадка — плитка в бумажном фантике и шуршащей фольге. До этого он ел конфеты из шоколада. Там была начинка — орех и сахар. А это шоколадка... Они съели ее дома с бабушкой и мамой, которая после Нового года сразу уехала на фронт. Обертка до сих пор лежала закладкой в книжке, а фольгу бабушка аккуратно расправила и закрывала ею горлышко банки с вареньем. Шоколадочка...

А ведь на Рождественском празднике после концерта наверняка тоже что-нибудь подарили бы! Зря они забузили. Пропал Иван... Но перед глазами поплыли елочные игрушки, летящие в печку, великий фюрер, которого Иван отправил туда же... Святой Николаус, елки в Рождество лишил, концерт для офицеров... Нет, бузили не зря! За Новый год Колюшка готов был драться с фашистами! Он выйдет на партизан, станет мстителем, надо только дождаться утра.

Поспать немножко — а там и утро.

Глаза у Колюшки сами собой закрывались, закрывались... Но он вспомнил, как рассказывали про заснувших зимой на улице. Они уже никогда не просыпались, мороз не щадил ни взрослых, ни маленьких.

А подняться-то сил и не было.

Надо костер развести!

Как хорошо, что Колюшка об этом вспомнил. Наломать хвороста, а как разгорится, как вокруг станет виднее — можно посерьезнее валежника поискать.

Но ветки ломались плохо, сухостоя было не найти. Колюшка не сдавался, не сдавался, продолжая ломать ветки. Наломал совсем крошечных, но сухоньких, сложил шалашиком на снегу. Чиркнул спичкой. Огонь лизнул ветки, потух. Колюшка

снова «принялся не сдаваться», подносил спичку все аккуратнее, огонек начинал гореть, но гас. Колюшка помнил, что все спички расходовать нельзя...

А мороз сковывал лес. И в поле, и на сельской улице от него не было спасения, особенно если ты без шапки, в рубаше и подпоясанной бабушкиной кофте. Только если оказаться в теплом доме — вот тогда спасешься, выживешь. Эх, пожить бы хоть еще денек, прежде чем поймают и повесят, погреться...

И снова Колюшке стало страшно и обидно за то, что его кто-то может повесить. Он сложил несколько спичек вместе, чиркнул ими — и подсунил под веточки коробок. Так точно загорится! У него получилось, вспыхнул коробок, загорелся шалашик. Колюшка протянул к нему руки, не отрываясь, стал смотреть на огонь — ему казалось, что если согреются глаза, наглядятся на тепло, то согреется и он сам.

А когда оторвал взгляд от костерка, то увидел, как к нему из лесной чащи вышел Дед Мороз. Большой, белый-белый, вот он протягивает ему руку в варежке через костер. А ну растает сейчас от огня?

— Дед Мороз! — крикнул Колюшка. И не услышал своего голоса. Замерз, наверное, голос.

И Колюшка еще переживал, что Деда Мороза не увидит! А он вот он — на елку, значит, к ребятам идет! Все как полагается.

— Дедушка Мороз! — повторил Колюшка шепотом. Хотел добавить, как он рад, шагнул к нему. Вот только ноги почему-то не послушались, и Колюшка упал. Прямо в свой костер.

И стало тут темно-темно — ни огня, ни Дедушки Мороза.

... А удалось ведь глаза согреть! Потому что открылись они вдруг легко. И всему телу легко было, как будто всегда так жилось и раньше, и не было никакого мороза в темном лесу. А Дед Мороз?

А Дед Мороз баюкал Колюшку. И был теплый-теплый. Рядом стоял, опираясь на палки, лыжник — белый-белый, пышный, не из бумаги и ваты, а живой дядя.

— Проснулся, маленький? — спросил он.

Колюшка зашевелился. Дед Мороз крепко прижимал его к себе, спрятав под тулупчик.

— Ты к нам, Дед Мороз? — прошептал Колюшка и постарался повернуться так, чтобы увидеть лицо Деда Мороза.

— К вам, — улыбнулся тот.

— Мы разведка, — сказал лыжник. — Красная армия наступает. Погоним ваших немцев.

— Это не наши немцы! — возмутился Колюшка. — Гоните, гоните их скорее! Там Ваня...

— Выгоним, — пообещал Дед Мороз-разведчик.

Снял из-под белого капюшона шапку-ушанку, надел ее на Колюшку, велел сесть к себе на закорки и на быстрых лыжах помчал в глубину леса. Сдал Колюшку нашим солдатам — и только его и видели. Разведка не ждет.

А село тем же утром заняла Красная армия. Погнали немцев, помчалась за ними Наталья Петровна. Добежала или нет, хорошо и послушно помогала им или провинилась и получила заслуженную пулю — Колюшка не узнал. Ивана она казнить не успела. «Может, — сказала Коле бабушка, — за это ей угодники после смерти грехи спишут».

А в канун Нового года был в клубе праздник. Смастерили на елку новые игрушки. На самую верхушку прикрепили звезду из бумаги — гордую, красную. И на самой почетной ветке сидел спасенный Колюшкой пограничник с собакой.

Был тут и лыжник-разведчик — живой и здоровый. Да не один, а с товарищами-бойцами.

И Дедушка Мороз раздавал детям подарки из солдатского вещмешка.

Мария Игнатьева

Неутолённые размеры

* * *

Какие б подвиги и рожи
у нынешних богатырей
ни изменяли образ божий —
хоть хулахупы из ноздрей,

узоры плясок полонецких
нанизаны на голоса.
Глаза глядят по-человечьи
в разверзшиеся небеса.

И мать порывисто и сильно
в последний день — гряди-гряди! —
прижмёт зарёванного сына
к татуированной груди.

* * *

Что жизнь — жестока и темна
И в семьдесят, и в девятнадцать,
Сжимает честные слова
В тисках заёмных интонаций.

Душа — исторгнутая вещь
Из материнской полусферы —
В отместку вкладывает речь
В неутолённые размеры.

Лишь моря шум и птичий писк,
Одни, живого места вроде.
А так весь день — несчастный диск
Чужих заезженных мелодий.

Игнатьева Мария Юльевна — поэт, эссеист. Родилась в Москве, окончила факультет журналистики и аспирантуру филфака МГУ. Автор книг стихов «Побег» (1997), «На кириллице» (2004), «Памятник Колумбу» (2010). 25 лет прожила в Барселоне, сейчас живет в Москве. Преподает литературу в ВШЭ и ПСТГУ. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

* * *

Грохот дискотеки —
вымеренный шум,
тяжелеют веки
и мутится ум.

Беспробудный танец,
холостая дрожь.
Больше не пытаюсь
уловить чертёж

Я куда как рада,
зверь-молотобой,
в час полураспада
встретиться с тобой.

действий — привидений
пляшущих годов:
к половодью тени
человек готов.

Дух в ночную пору
увлечён мечтой
отыскать опору
в собственном ничто.

Бди-побди, сегодня,
вслушиваясь в ночь
личной преисподней,
вылитой точь-в-точь.

* * *

В голый лес ниоткуда,
без примет позапрошлых,
ты вошла, Кунигунда, —
платье в белый горошек,
язвы в сердце Кандида.
Удручённый свиданьем,
он глотает обиду —
так венец мироздания
пьёт весну поражения
из трофейного кубка —
до головокруженья.
Ты вернулась, голубка!

Полезай же в автобус
спохватившимся груздем
под владимирский образ
и завязанный узел
незакатной победы.
Ты приехала первой,
иноземная бездарь
с возвышающей верой
в заповедную доблесть —
примирение вдовье.
Озираясь на отблеск
в небесах Подмосковья.

Vilaller¹

Пока хожу себе сам-друг
по майскому леску,
я насчитала восемь штук
кукушкиных «ку-ку».

Когда наступит, Боже мой,
прощальная весна,
пусть не найдёт меня в родной
блевотине без дна

её причудливой любви
тоскливая капель,
и мыслей чёрно-голубых
самолюбивый хмель.

Кукует время, день течёт,
перетекая в ночь.
Две тысячи последний год
ещё, ещё отсрочь!

И всё же пусть переживут
меня мои враги.
За то, что я молчала тут,
Ты там мне помоги,

где ни болезней, ни врагов,
и прошлое, как дым,
исчезнет в поле облаков
под куполом Твоим.

¹ Vilaller — местечко на севере Каталонии, где находится румынский монастырь святой Параскевы.

Евгений Войскунский

Боголюбов

Главы из романа

Глеб Боголюбов был вундеркиндом. Родился он в 1915 году в Петрограде в семье гимназического преподавателя латыни. Отца Глеб помнил смутно: ему было три года, когда умер отец. Память — странная вещь, запоминается подчас не лицо человека, а какая-нибудь пустяшная подробность. Глебу запомнился запах. Будто он сидит на чьих-то жестких коленях, чьи-то руки держат его — и остро пахнет табаком. Еще запомнился топот ног и грубые голоса, разбудившие однажды ночью. В тусклом ночном свете он увидел нескольких матросов с винтовками за плечами — и, испуганный, закричал, заплакал, а Надя, старшая сестра, тоже испуганная, гладила его по голове, приговаривая: «Тише... не ори...» Нет, никого матросы не увели, — отец лежал больной... очень больной... утром он умер...

От мамы Глеб впоследствии узнал: отец умер от страшной болезни «испанки».

Очень хотелось есть. Они, Глеб и Надя, день-деньской сидели голодные, ожидая прихода мамы. А она, Елена Францевна, работала на двух службах, чтобы паек получать, не дать детям помереть с голоду: в отделе народного просвещения кого-то учила грамоте, а в каком-то комиссариате служила стенографисткой. Новая власть, самой собой, в грамотных людях нуждалась.

Ждали маминого прихода. За стеной ссорились, ругались соседи. Глеб, забравшись на подоконник, глядел в окно на пустой скучный двор, на глухую краснокирпичную стену. На ней, над одноэтажной пристройкой, можно было прочесть надпись, сделанную белыми неровными буквами: «Эх вы ди». Что означало это незаконченное восклицание? (Впоследствии Глеб, вспоминая надпись на брандмауэре, придумывал варианты: эх вы, дилетанты... дикари... диплодоки... Склонялся к тому, что человек хотел написать «эх вы, дураки», но букву «у» не довел до конца, что-то его испугало, сдунуло с пристройки.)

Читать Глеб научился в четыре года. Читал много, от детских книг рано устремился на серебряных коньках в распахнувшиеся миры Жюль Верна, Майн Рида, Александра Дюма — благо от папы-латиниста осталась, уцелела немалая библиотека. Кстати: и в отцовы профессиональные книги утыкал нос любознательный подросток —

Войскунский Евгений Львович — прозаик, автор более двух десятков книг. Родился в Баку в 1922 году. В Великую Отечественную войну воевал на Балтийском флоте. Участник обороны полуострова Ханко и Ленинграда. Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны 2-й степени, «Знак Почёта», медалями «За боевые заслуги» и другими. Публикации в «Дружбе народов»: «Баллада о Финском заливе. Документальная повесть» (№ 3, 2005); «Балтийский Геркулес» (№ 5, 2015); «Дело Кузнецова» (№ 8, 2017).

в учебник латинского языка, в сочинение Гая Юлия Цезаря «*Commentarii de bello Gallico*», в поэму Публия Вергилия Марона «*Aeneis*» (то есть в знаменитую «Энеиду»). Занятный был юнец — ощущал в себе необъятные силы, удивительную память, мог прочесть наизусть поэмы особо любимого Лермонтова. Да и сам в школьные годы сочинял стихи, затеял было роман о гражданской войне, но забросил — увлекся научным марксизмом, написал целый трактат о проблемах диалектики.

Трактат всем, кому он его читал, нравился. «Здорово сочинил! — хвалили одноклассники. — Демьян Бедный — и тот не написал бы лучше». Вдруг трактат затребовал учитель обществоведения Грибков, человек заслуженный, участник штурма Кронштадта. Кто-то из одноклассников Глеба сообщил ему о трактате, и Грибков пожелал ознакомиться. И вышло из этого ознакомления первое столкновение Глеба с эпохой.

— Не за свое дело берешься, Боголюбов, — объявил ему Грибков, морщась и ероша рыжеватую шевелюру. — Ты всё напутал. Отрицание отрицания — труднейший вопрос диалектики! А ты понаписал примеры, в которых не разбираешься. Нэп как отрицание военного коммунизма — ну, допустим, но разве можно такое вынужденное необходимое явление — военный коммунизм — описывать как беду и несчастье России. А нэп — как спасение. Это же, Боголюбов, гнилой либерализм!

Ссылки Глеба на Энгельса (дескать, развитие есть непрерывный процесс отрицания, движение от низшего к высшему) почему-то раздражали Грибкова.

— Не лезь в философию, не твоего ума дело! — требовал он. — Материя первична, сознание вторично, вот и все, что ты должен знать. Понятно?

Глебу было понятно. В глубине сознания, правда, трепыхалась мыслишка, что не так-то просто... не совсем так... Однако, на круглые пятерки окончив школу, Глеб поступил на физический факультет университета и, стало быть, начал именно материю изучать — ее устройство. Да ведь был он не простым студентом — субъектом для сдачи вереницы экзаменов. В футбол играл — это ладно, кто в юности не гонял мяч. В шахматных турнирах участвовал — тоже понятное увлечение. А вот что побуждало Глеба Боголюбова проникать мыслью в тайную суть явлений? Бог весть. Уж так был устроен его беспокойный мозг.

Дипломная работа Глеба по одному из сложных вопросов теоретической физики была замечена и послужила основанием для приглашения выпускника на работу в престижный Физико-технический институт.

Жизнь складывалась удачно. Мир материалов, это точно. Но как же интересны опыты по изменению свойств материи — ну вот хотя бы свойств кристаллов под воздействием электричества. А по вечерам — Лукреций Кар! Этот древний римлянин прожил недолгую и несчастливую жизнь, обезумел, покончил с собой, — но какую великую поэму создал: «*De rerum natura*» («О природе вещей»). Вслед за Демокритом объявил, что всё состоит из атомов; утверждал: ничто не возникает из ничего, ничто не обращается в ничто. А Вселенная беспредельна! Глеб увлекся Лукрецием, писал трактат о нем — да как бы не диссертацию.

Но не только Лукрецием были заняты вечера. Аля вдруг вошла — нет, ворвалась в жизнь Глеба на вечеринке, устроенной Надей, старшей сестрой. Надя, окончившая мединститут, работала в детской поликлинике, сдружилась там с коллегой, тоже молодым педиатром, Алисой Изволовой. С первого взгляда эта Алиса, Аля, хорошенькая брюнетка, понравилась Глебу. Оживленная, бойкая, как киноактриса Франческа Гааль из фильма «Маленькая мама», только что появившегося в прокате, она так весело смеялась его шуткам. Молодые стали встречаться. Ездили в Детское Село, целовались в аллеях Павловска. Их вздымали вверх и бросали вниз «американские горки» в саду Госнардома. Новоявленный кумир, оперный тенор Печковский пел им арию Вертера: «О не буди меня, дыхание весны»... Ну что вы, маэстро! Он, Глеб, не соня, чтобы проспать свое счастье. Кончается весна, прекрасный месяц май предвещает

счастливое лето: пятого июня, в день рождения Али, они поженятся, и десятого уедут в свадебное путешествие — в город Таганрог, там, у теплого моря, живут родители Али, там молодожены проведут свой отпуск.

И вот он наступил, счастливейший день 5 июня. В нанятом такси ехали в загс. Невеста в голубой кофточке и синей плиссированной юбке улыбалась обворожительно. Глеб, сидя рядом, плел рифмованную чепуху:

Чтоб вступить в законный брак-с,
Едем мы в районный загс...

Надя, сидевшая рядом с шофером, повернула курносый нос к жениху:

— Ведешь себя как мальчишка!

У дверей загса их ожидали десятка полтора друзей, сослуживцев. Цветов было столько, что заведующая попросила вынести их из небольшой комнаты заведения: «А то дышать будет нечем». Затем она высоким слогом поздравила Алю и Глеба и предложила расписаться на официальной бумаге.

И было свадебное пиршество в квартире Боголюбовых на Шестой линии угол Среднего проспекта. Елена Францевна, хоть и тряслись у нее руки от чертова паркинсонизма, наготовила разной вкуснятины. Ей, конечно, и Надя помогла, и соседи по коммуналке. Шумно, весело справили свадьбу.

В одной из двух боголюбовских комнат, среди полок с книгами покойного папы-латиниста, начали молодожены семейную жизнь. Целых пять дней и ночей были они неразлучны и счастливы.

Десятого июня, согласно взятым билетам, они собирались уехать в Таганрог. Но в ночь на десятое за Глебом пришли.

— Это ошибка! — Стоя в трусах, с взлохмаченной песочно-желтой копной волос, кричал он, выпучив глаза на затянутых ремнями ночных «гостей». — Ошибка, ошибка! Я ни в чем не виноват!

— Одевайтесь, гражданин, — отвечали те. — Следствие разберется.

Ничего невозможно было понять. Это происходит с ним, Глебом Боголюбовым? Это *его* везут куда-то в зарешеченном вагоне — куда везут? Аля! Милая, ты, кутаясь в простыню, смотрела глазами, полными ужаса, как меня уводили — от тебя, от нашего счастья — почему, почему, почему?!

Но ведь ничто не возникает из ничего. Должно же быть какое-то объяснение творящейся бессмыслицы. Не за то ведь его арестовали, что неправильно истолковал в трактате отрицание отрицания... Не за «гнилой либерализм»...

Привезли в Москву — прямо на Лубянку. И следовательно, человек малоопределенной, не злодейской наружности, наносит ошеломительный удар — обвинение в заговоре против советской власти, в терроризме, в создании контрреволюционной организации. Три самых тяжелых пункта 58-й статьи — ни больше ни меньше...

— Что это? — кричит потрясенный Глеб. — Вы с ума сошли!!!

Неторопливо раскручивается следствие, и вот Глеб узнает, откуда взялось чудовищное обвинение.

Колька Никандров, школьный друг по кличке Ник-Ник, виноват!

В Кольку чуть ли не все девчонки в классе были влюблены: яркий, спортивный, математическая голова. Глеб, по правде, даже завидовал Ник-Ник, умевшему крутить «солнце» на турнике. Ну да, дружили крепко. По окончании школы Ник-Ник уехал в Москву: его отец, видный геолог, получил крупное назначение в нефтяном наркомате. Николай пошел по стопам отца — окончил Горный институт, и открылись перед молодым геологом дали неоглядные, спящие под дикими травами кладовые минеральных залежей.

Но наступило Первое мая. На праздничную демонстрацию Николай и его юная жена Ольга отправились в разных колоннах: он со своими сослуживцами, а Оля, студентка консерватории, со своими однокурсниками. При вступлении на Красную площадь колонны из разных районов столицы смыкаются, их разделяют только цепочки красноармейцев. Вдруг Николай увидел, что в соседней колонне, шедшей впритык к Мавзолею, идет Ольга, красotka Олечка — идет в обнимку с каким-то дылдым. Николай осерчал, заорал жене, но Ольга не слышала: гремели оркестры. И тогда он, не долго думая, рванулся в соседнюю колонну — к Мавзолею! — чтобы проучить жену. И был схвачен красноармейцами.

Вздорная выходка необузданного ревнивца имела тяжелейшие последствия. На Лубянке стали шить «дело о попытке террористического акта», даром что у Николая, конечно, не было ни револьвера, ни бомбы. Ничего у него не было, но если кинулся к Мавзолею, значит террорист. (На Мавзолее стоял сам товарищ Сталин.) Из списка близких друзей Ник-Ника выдернули Глеба Боголюбова и еще одного, незнакомого ему москвича. Трое — это уже организация! А за раскрытие «организации» следователи НКВД получали денежное поощрение. Вот и старались поистине с дьявольским усердием. Шел печально знаменитый тридцать седьмой год...

Следствие длилось десять месяцев. Дикая теснота камер в Бутырьках, в Лефортове. Два десятка допросов, избиения, очная ставка с неузнаваемо заторможенным Ник-Ником. По натуре своей физически крепкий, Глеб защищался изо всех сил. Он же был горячим сторонником власти, верил в нее — но власть орала ему в лицо: «Враг народа!»

Власть, видимо, стремилась устроить большой открытый процесс. Но не вышло: фигуранты, что ли, были мелковаты. Однако несуществующая вина все равно требовала наказания — всем троим дали по десять лет.

Начались этапы, и оказался Глеб на Соловках. Шла весна 1938-го. После суда над «правотроцкистским блоком» Бухарина, Рыкова и других по всем лагерям ГУЛАГа прокатилась ужасная волна бессудных расстрелов. Приехала и в Соловецкий лагерь некая комиссия — выдернула из-за толстых монастырских стен около сотни эзков, главным образом «политических», и без всякого нового суда расстреляла.

Глебу несказанно повезло: избежал внезапной казни. Однако он «доходил». Истощение едва не валило с ног. Неимоверных усилий стоило удержать в руках лопату, бить ломом каменистый грунт, чтобы вывернуть из него валун. Держался, можно сказать, силой духа. «Ничто не обращается в ничто», — некогда заявил умный Лукреций Кар. Так вот, он, Глеб Боголюбов, не хотел обратиться в ничто — промелькнуть немощной тенью, бесследно исчезнуть. Нет! Всей мощью разума заставить работать клетки тела... каждый атом...

Летом 39-го большую партию соловецких узников отправили на пароходе в Арктику — к устью Енисея. В тесноте трюма, лежа на мятой соломе, Глеб впервые услышал: Норильск! Он, конечно, знал, что есть такой город в заполярной тундре, что там открыто богатое рудное месторождение. Норильск — ну что ж, может, там кормежка будет лучше, чем на погибельных Соловках.

Норильск — как отрицание Соловков, которые — отрицание самой жизни. Отрицание отрицания. Всюду она, диалектика...

Соловецкий этап выгрузили в Дудинке и по железной дороге отправили в Норильск. Мрачнее этого города — единственной в ту пору улицы в долине среди угрюмых желто-серых гор, скопища барачных, обнесенных колючей проволокой, — мрачнее мог быть только Дантов ад. Так представилось Глебу, когда он в колонне эзков шагнул в зону.

В этом безжизненном краю разворачивалось гигантское строительство — уже дымил малый металлургический завод, готовилась площадка для большого у подножья горы Барьерной. Сюда гнали многотысячные этапы «врагов народа» и «социально близких» уголовников. Тут на «общих» земляных работах вкалывала и «бригада

инженеров», в составе которой и Глеб Боголюбов долбил киркой мерзлоту, обливаясь потом на холодном ветру.

Осень шла страшная. Черные тучи надолго накрыли площадку Metallurgstroya, проливали ледяные дожди. Тысячи эков копали котлованы. На тачках по дощатым трапам вывозили вынутый грунт. Ноги разъезжались в мокрой глине. Казалось, не будет конца этой невыносимой жизни. И надвигалась зима, полярная ночь опускала занавес над трагическим театром великой стройки.

«Quos ego!» — «Я вас!» — бормотал Глеб, обращаясь, подобно Нептуну у Вергилия, к разбушевавшимся ветрам.

Быстро строился тут, на краю непригодной для жизни земли, горно-металлургический комбинат и вокруг него — фантастический город. Не только в землекопах нуждался возводимый комбинат: требовались инженеры, способные наладить и вести производственный процесс. Что ж, в «бригаде инженеров» таковые были. Их стали снимать с «общих» работ и направлять в заводские цеха. И «вредители» и «шпиёны» наладили производство: исправно плавил руду, выдавая ценнейшие цветные металлы стране, от которой были безвинно, жестоко отторгнуты.

Долгие годы Глеб Боголюбов заведовал одной из лабораторий на Большом металлургическом заводе, вёл, говоря по-современному, мониторинг процесса — теплоконтроль, газовый анализ, наблюдал за воздухопроводами в плавильном цехе. Плавилась в печах руда, в конвертерах выжигалось железо, и тонкой струей лился никель.

Уже шла война, резко возросла потребность в никеле, столь необходимом для выделки танковой брони.

Как и многие другие норильские узники, Глеб подал заявление — просьбу отправить на фронт. Всем было отказано.

Как могло произойти немыслимое — немцы осадили Ленинград? Душу переполняла тревога: как там мама и сестра? Об Але он, Глеб, знал только, что сразу после его ареста она уехала и «как в воду канула» — так написала в письме сестра. Глеб понимал, что Аля спасалась от ареста. Наверное, она в своем Таганроге, — а ведь Таганрог захвачен немцами...

От тревожных мыслей голова кружилась. Но — литье никеля требовало постоянного контроля. Что бы ни происходило там, на фронтах, за тыщи верст от Норильска, здесь будет плавиться руда и литься никель.

Жизнь устроена странно, не всегда понятна ее диалектика, но — нельзя же допустить, чтобы война стала отрицанием жизни.

Летом 1946-го, на год раньше окончания срока, Глеб вышел на свободу. Так это называлось. Разумеется, он хотел, жаждал вернуться в Ленинград. Однако энкавэдистское начальство оповестило, что в ряде «режимных» городов ему, хоть и освободившемуся, жить запрещено, — в том числе и в Ленинграде. В паспорте у него хитрые знаки, по которым не пропишут. Что же было делать? Глеб остался в Норильске: тут у него работа, идет какая-никакая зарплата, а вот еще одно благодеяние — комнату дали в коммуналке. Шутка ли, *своя* комната вместо смрадного барака.

А в 1949-м прокатилась волна повторных арестов: освободившимся «политическим» снова шили «дело» и отправляли в лагеря или ссылку. В Норильске с «бывшими» и вообще не церемонились — отобрали паспорта и выдали свидетельства о ссылке. Уж и то хорошо, что не лишили работы, не выгнали из квартиры. Ты свободен условно: если удалишься от Норильска более чем на 12 километров, то тебе без всякого суда влепят двадцать лет каторги. Вот такая, как говорили бывшие эки, «ссылка без отрыва от производства».

Никто, однако, не мог ему запретить углубляться мыслью в тайную суть явлений. Так был устроен его мозг. В норильской городской библиотеке Глеб, неутомимый книголюб, с особым интересом прочитывал журнальные и иные публикации

относительно внутриядерной энергии. Уже американцы сбросили первые атомные бомбы, превратившие Хиросиму и Нагасаки в море огня. Это чудовищное оружие обозначило наступление новой эпохи: как и предсказали крупнейшие ученые века, бомбардировка нейтронами тяжелых ядер урана высвобождает гигантскую энергию. Но ведь если замедлить атомную реакцию, то эту мощь можно превратить из взрывной в производственную, промышленную. Вот и замедлитель нашли — тяжелую воду.

Очень заинтересовала физика Глеба Боголюбова тяжелая вода, содержащая в себе не простой атом водорода, а в два раза более тяжелый — дейтерий. Бесправный ссыльный, казалось, навсегда погребенный в снега Крайнего Севера, он именно в этих снегах подметил необычное явление. Весной на озерах близ Норильска снег, нагреваемый солнцем, не таял, а испарялся. Наверное, молекулы воды, содержащие легкий водород, испаряются быстрее, чем тяжеловодородные. Значит, в остающемся снеге концентрируется тяжелая вода. В заполярных озерах — повышенное содержание дейтерия. Такой вывод сделал Глеб. Значит, электролиз, высвобождающий тяжелую воду из воды обыкновенной, здесь потребует меньшей затраты электроэнергии, чем в южных широтах.

О своем открытии Глеб рассказал главному инженеру заводов, и тот велел ему написать докладную записку. И вот результат: в Норильск приехали инженеры-атомщики из «хозяйства» Курчатова. Не без любопытства смотрели они на ссыльного «врага народа», который хорошим языком изложил свою идею.

Анализы озерной воды подтвердили повышенное содержание дейтерия. В Норильске начали строить завод по производству тяжелой воды. Но, не достроив, заморозили — где-то в верхах сочли чрезмерным количество электроэнергии, необходимой для электролиза. Да и другой замедлитель был найден — графит.

А годы шли. Дымили и дымили трубы норильских заводов, засты переливающиеся в некоей космической игре сполохи северного сияния. Казалось, этим дымом навсегда заволочло годы, оставшиеся для дальнейшей жизни.

Но жизнь, как давно замечено, изобилует неожиданностями. Однажды в декабре 1951-го Глеб пришел в библиотеку поменять книги. День был очень холодный, под минус сорок. Ну, полярная ночь, продутая яростным ветром, — известное дело.

— У вас нос отморожен, — посмотрела на него Наталья Шестакова, библиотекаряша. — Потрите. Ужасный мороз сегодня.

— Разве это мороз? — Глеб принялся растирать нос. — Вот в пятнадцатом веке в Европе жутко похолодало. Папа римский Иннокентий даже издал указ — это называлось буллой — о наказаниях за порчу погоды. И, представьте, стали обвинять и сжигать на кострах тысячи людей.

— Всё-то вы знаете, — улыбнулась Наталья.

Глебу нравилась ее улыбка с ямочками на круглых щеках. Нравилась эта молодая «вольняшка», появившаяся в библиотеке минувшим летом. Глеб знал, что она приехала в Норильск с мужем, офицером внутренних войск, но прожила с ним, горьким пьяницей, недолго. Своей привлекательной внешностью Наталья Шестакова, можно сказать, излучала голубоглазую мольбу о сочувствии, но — по характеру была истой сибирячкой. Решительно ушла, хлопнув дверью, от непросыхающего муженька, добилась развода. Устроилась на работу в библиотеку (соответствующий техникум в Иркутске окончила), поселилась в гостинице. Собиралась уехать в свой Иркутск, но застряла в Норильске. А потому и застряла, что «задышала неровно» к Глебу Боголюбову.

Должна была она, двадцатичетырехлетняя комсомолка, чураться ссыльных — а ее тянуло к интеллигентным людям.

— Милая Наташа, — сказал Глеб в тот декабрьский день, растерев замерзший нос, — хочу признаться, что люблю вас. Но понимаю свое положение. И если вы скажете «нет», я приму это как должное...

Наталья поднялась из-за стола, заваленного книгами. Ее обтягивал темно-синий свитер со стилизованными коричневыми оленями.

— Я скажу вам «да», — ответила она.

Начальство отговаривало от безрассудной связи, но упрямая сибирячка не отступилась. Ее из комсомола исключили, из гостиницы выпроводили — не сдалась, не отеклась.

В узком кругу друзей — ссыльных инженеров, поэтов, мыслителей — сыграли свадьбу.

— Слушайте, люди! — воскликнул Глеб. — Вот в этой комнате поселилось голубоглазое счастье.

— Горько! — грянул ответ.

С «материка» доходили сюда, в царство холода и цветных металлов, странные слухи. Раскручивалось какое-то «ленинградское дело» — опять, как до войны, сажали в тюрьмы и даже расстреливали непонятно за что. А Глеб Боголюбов жил счастливой жизнью со своей Наташей. Разве сей факт не есть отрицание долгой полосы жизни несчастливой, пропащей? Всюду, всюду она — *диалектика*. Странное единство противоположностей.

А вот и поворотное событие произошло в государственной жизни — умер Сталин. И вскоре началась эпоха, прозванная «поздним реабилитансом». Пересмотр «дела» Глеба, спустя восемнадцать лет лагерей и ссылки, выявил «отсутствие состава преступления» (жаль, что не дожил до такого финала бедолага Ник-Ник, взбалмошный ревнивец, скончавшийся где-то у лагерной помойки).

Глеб наконец-то свободен. Списался с Надей, сестрой, пережившей блокаду (а мама, Елена Францевна, весной сорок второго умерла от дистрофии), и летом 1955-го уехал из Норильска. Со своей Наташей и полуторагодовалым сыном приплыли на пароходе по Енисею в Красноярск, а оттуда прилетели они в Ленинград.

Поселились в старой боголюбовской квартире на Шестой линии — одну из двух комнат Надя, так и не вышедшая замуж, отдала молодоженам. Из окна Глеб увидел старый двор, потемневший до черноты брандмауэр и еле различимую на нем надпись «Эх вы ди».

— Эх вы, диссиденты, — пробормотал он, улыбаясь.

— Что ты сказал, Глеб? — не поняла Наталья.

Это слово тогда было еще малоизвестно. Глеб, человек начитанный, знал, что в Польше называли диссидентами не-католиков. Впоследствии оно, это слово, приобрело у нас весьма расширительный смысл.

Я знал, что Глеб Михайлович пытался вернуться в физтех, в котором работал до ареста, и не с пустыми руками туда заявился, а с рекомендацией видного физика-теоретика, помнившего об открытии тяжелой воды в Заполярье. Но — не вышло. Бывший ссыльный получил отказ — «за отсутствием в данный момент вакансий».

Глеб, рассказывая нам об этом, улыбался своей улыбочкой, в которой чудилось нечто неизбежно детское — как бы удивление странностям жизни.

— Они были очень вежливы, — сказал он. — Даже поблагодарили за то, что я пришел к ним в физтех после всего пережитого. Но я бы предпочел, чтобы просто честно сказали: «Non possumus». То есть «не можем». Вы, наверное, знаете, что так ответил папа Климент Седьмой на требование Генриха Восьмого признать его развод с первой женой.

— Что же этот Генрих сразу к папе? — ворчу я. — Мог бы вначале в загс сходить.

— Вы знаете всё, да, Глеб Михайлович?

— Нет, — отвечает он. — Я совершенно не знаю текстильную промышленность. И плохо ориентируюсь в орнитологии.

Однажды Глеб спросил меня, сколько маршалов было у Наполеона. Я назвал

пятерых, общеизвестных. Он добавил еще троих, в том числе Бернадота, который, будучи усыновленным престарелым шведским королем, сам сделался королем Швеции и Норвегии Карлом XIV, а когда он, состарившись, умер, на его теле обнаружили татуировку «Mort aux tyrans» (то есть «Смерть тиранам») — след революционного увлечения ранней молодости.

Я был поражен, когда Глеб как-то раз сказал, на каких улицах в Париже жили мушкетеры: Атос — на улице Феру, Портос — на улице Старой Голубятни, д'Артаньян — на улице Могильщиков. Некоторое облегчение я испытал от того, что он забыл улицу Арамиса.

Так вот, в храм науки Глеба не пустили. И пошел он в школу преподавать физику. Написал небольшую повесть о Лукреции Каре, озаглавив ее названием второй главы любимой поэмы: «Истинное счастье в мудрости». Живой язык повести понравился в ленинградском издательстве, и ее приняли, предложив автору изменить название («Счастье не в мудрости, — сказал ему главный редактор, — а в строительстве коммунизма».) Книга вышла под названием «Всё состоит из атомов». Затем последовали еще книги — о Жолио-Кюри, Эйнштейне, Нильсе Боре. Редкостное умение ясно и занимательно излагать сложнейшие физические явления сделало Глеба Боголюбова писателем научно-популярного жанра. «Я широко известен в узких кругах», — посмеивался он. Но «круги» были не такие уж узкие. Его книгами зачитывались подростки — для них, собственно, Глеб и писал.

— Надо, — говорил он, — всячески содействовать просвещению. Неглупый итальянец Макиавелли верно подметил, что результатом господства тирании является развращенное общество. Что может противостоять стихии развращения? Именно просвещение. Культура. Ее надо как непременно прививку вносить в организм, начиная с детства.

— А неглупый немец Адорно, — сказал я, — утверждал, что в подкорке у людей доминируют войны и ненависть.

— Подкорка! — воскликнул Глеб. — В ней дремлет вся многотысячелетняя история гомо сапиенса — от первобытного кроманьонца до Аллы Пугачевой. В подкорку лучше не заглядывать. Заглянешь — увидишь насилие. Оно в природе человека. Мы не можем перестать быть приматами, отправляющимися на охоту, чтобы добыть пропитание. Адорно прав. Но История подсказывает и другое. В природе человека разумного — по соседству с ненавистью — живет и противоположное движение. Жалость, сочувствие, доброта. Отвращение к насилию. Адорно не прав.

— Прав Ганди, — сказал я.

— Задолго до Ганди, тоже в Индии, в средневековой, был правитель, некто Ашока. Он завоевал всю Индию, на севере уперся в Гималаи, на юге — в джунгли. Навоевался досыта, похвалялся, сколько он убил в том или ином сражении. И вдруг Ашоку будто подменили. Он объявил: всё, ребята, с насилием покончено. Навсегда!

— А задолго до вашего Ашоки был Иисус Христос.

— Разумеется. Христианская проповедь любви необычайно важна для очеловечивания человека. И все же за две тысячи лет она не смогла искоренить из душ человечества ненависть, покончить с насилием. Наш двадцатый век — чемпион по этой части.

— Да уж, — сказал я. — Век у нас выдающийся.

Сергей Захаров

Рассказы

День без Шурика

«Международная». Следующая остановка — «Стадион».

Троллейбус мотало, как вагонетку на «американских горках», но вряд ли это кого-то смущало. Юлька мерно посапывала, да и сам я то и дело нырял в сон, разрываемый хрипом динамика и ляганием дверей на остановках. Сутки истекали. Мы устали и выпили слишком много, но праздник миновал без происшествий — я, честно признаться, и не верил, что будет так.

...Утром я слышал, как ворочается Юлька, выпутываясь из простыней, но глаза держал закрытыми и дышал глубоко и ровно. Я не испытывал желания разговаривать. Был двадцать восьмой день мая¹, когда-то я любил и ждал его больше всех прочих в году, а теперь почти ненавидел — на то были причины. Я лежал, притворяясь спящим, и старался не думать о Шурике.

Шурик — мой младший брат — и я служили в одном пограничном отряде. Принимали присягу на одном плацу, ели в одной и той же столовке, тренировались и сдавали «огневую» на одном стрельбище... Точно так же он кормил магазин патронами, следя, чтобы через три обычных шел один с трассирующей; его, как и меня, глушило разрывами воздуха от автоматов соседей, а стреляя очередями, он проговаривал «двадцать два» — и отпускал скобу.

Должно быть, он тоже любил запах пороха, металлический ход затвора и трассы пуль в ночном небе. Не исключено даже, что стрельба из автомата вызывала у него схожие с моими ассоциации: как будто маленький, невероятно свирепый пастух щелкает длиннущим бичом, производя несообразный с размером своим шум. Думаю, Шурик испытывал те же чувства — мы с ним не успели поговорить об этом. В нашей семье вообще не принято было чересчур откровенничать.

...Юлька, ткнув меня ощутимо кулачком в бок — снова я разговаривал или дрался во сне, — выбралась из постели и побрела, голая, солнечной дорожкой к окну.

Мне нравилось наблюдать за ней укрادкой: наедине с собой она не язвила и не скандалила, устраивая ад в отдельно взятой квартире, — и нежность, подрастращенная в бытовых катаклизмах, возвращалась и жалась робко у входной двери, не решаясь

Захаров Сергей Валерьевич родился в 1976 г. Закончил Гомельский государственный университет. Работал преподавателем английского языка, переводчиком, переводчиком-синхронистом, сотрудником газеты, грузчиком, охранником, фермером, экспедитором, консультантом и т.д. Печатался в «Новом Журнале», «Неве», «Новой Юности». Живет в Гомеле. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ День пограничника.

позвонить: она вовсе не уверена была в теплом приеме. И правильно: на войне — как на войне, и нежности там — не место. Мы слишком часто ругались с Юлькой в последнее время, воевали азартно и на совесть: с битьем посуды, с проклятиями в адрес всех и всяческих родственников до седьмого колена с той и другой стороны, с ее многократно-окончательными уходами к маме... Стоит ли удивляться, что я не был настроен слишком оптимистично и держался настороже?

Тем более — сегодня. В позапрошлом и прошлом году он трудно давался мне — День пограничника. Я напивался и вытворял черт-те что. Не нужны мне сегодня ни нежность, ни боевые действия. Только бы пережить его, миновать смутную вежу, взойти и на другую перевалить сторону — а там будет проще.

... Юлкин силуэт в майских лучах был отчетлив и соблазнителен. Привстав на цыпочки, она потянулась и, постанывая, зевнула — хороша жизнь в двадцать четыре года! Помнится, впервые увидав ее в «Черном Лисе» — высоченную, с меня ростом, алебастрово-бледную и карминно-волосую — я отказывался верить, что такие девушки существуют в реальной жизни, а не только на глянце таблоидов — существуют и могут даже встречаться с обычными парнями, как я.

Но выяснилось, что могут, — и это «могут» тянулось уже чуть ли не три года. Трудно сыскать в целом свете более разных людей — я не мог взять в толк, почему мы до сих пор вместе. Я, по большому счету, не знал даже, красива она или нет, но здесь-то все просто: с первой нашей встречи я утратил отстраненность восприятия; Юлька, высадив мимоходом дверь, впорхнула и приблизилась вплотную — а как можно оценивать достоинства, скажем, Статуи Свободы с расстояния в один метр?

Кое-что я все-таки замечал. На прикроватной тумбочке устроен был фирменный изумрудный шар с Хьюгобоссовской водой — мне в подарок. Чтобы купить его, Юлька откусила от своей зарплаты целую четверть, а ведь заикнись я по поводу чрезмерных трат — и первая стычка была бы у меня в кармане.

Пограничный город давно проснулся и всю шумел праздником. Парад завершился, где-то в районе Площади били тарелки и выпевали трубы духового оркестра. Сейчас возложат цветы, скажут нужные речи, отпустят в небо треск автоматных залпов — и начнутся гуляния: с конкурсами и показательными парней из ММГ¹, с местными и столичными певцами-певичками, с пивом, водкой и шашлыками, с демонстрацией военной техники времен Второй мировой и хулиганством подвыпивших экс-погранцов — когда-то я очень любил этот день.

Раньше я был бы уже на Площади и толкался среди разряженных горожан, чтобы пойти потом с армейскими друзьями в кабак, расслабиться и отвести душу в мужских разговорах, а теперь — никуда не торопясь, лежал с закрытыми глазами и старался не думать о Шурике. О том, что сегодня нужно быть у него. Как будто ему не все равно, придут к нему сегодня, завтра — или не придут вообще. Это меньше всего его заботит. Вряд ли его вообще сейчас что-то заботит. Да и глупость все это. Память жива не в показушных ритуалах, а в сердцах, — так, раздражаясь, думал я, но знал, что пойду. Только бы не начудить — как было это уже дважды. Он тяжело давался мне — этот день.

* * *

«Стадион». Следующая остановка — «Котовского».

...Выскочила кукушка из вишневых часов, сообщая два пополудни, а сразу вслед за тем ударил дверной звонок. Приехал отец. Отношения наши всегда складывались непросто. Шурик был его любимчиком, отец неумело пытался это скрывать, но шила в мешке не утаишь — и я обижался и ревновал, не признаваясь в этом даже себе.

¹ ММГ — мото-маневренная группа.

В последние два года отец сильно переменялся — нет, заведенная в нем от рождения и пожизненно пружина неустанного действия ничуть не ослабла, все так же он «двигал дела» и «решал вопросы», но сделался ощутимо мягче. Он заезжал к нам два-три раза на неделе и оставался по часу и более, ведя светские беседы, которых на дух не переносил ранее. А я не мог избавиться от мысли, что каким-то, до конца не понятным мне самому обманом занял место Шурика — и ясности в наши с отцом отношения это не добавляло. Я любил его, знал, что и он меня любит, но будь сейчас Шурик с нами — все бы шло по-другому, и оба мы замечательно это понимали.

Отец глотал хищно-быстро, отпуская пунцовеющей Юльке кулинарные комплименты, а мне вспомнился разговор в этой же, осенних тонов, комнате — разговор почти пятилетней давности.

— Я хочу, чтобы Шурик сходил в армию, — сказал тогда отец. — Это пойдет ему только на пользу. Каждый нормальный мужик должен отслужить.

— Зачем ему терять кучу времени, если в институте есть военная кафедра? — возразил я, но отец не стал слушать. В то время он вообще не склонен был считаться с чужим мнением.

— Я не хочу, чтобы он повторял твои ошибки. Жаль, что ты попал туда уже после института. Армия сделала из тебя человека. Сейчас мирное время, сын. Шурик должен пойти и отслужить.

Я мог бы не согласиться — но не стал этого делать. Я мог бы напомнить, что меня даже подстрелить умудрились в это самое «мирное время» — но промолчал. Случай мой был все же исключением. Я сам допустил оплошность при задержании. И так или иначе, я по-прежнему был жив и вполне здоров, хотя ранение и попортило мне в свое время немало нервов и крови.

...Рожденный семью годами позже, Шурик рос стопроцентным ребенком компьютерной эры, способным сутки напролет путешествовать в виртуальных мирах — с той же яростной увлеченностью, с какой я в его годы занимался спортом. Он не читал моих книг, слушал иную музыку и смотрел другие фильмы. И внешне мы мало походили на братьев: в отличие от коренастого, темноволосого и угрюмого меня, младший был улыбчив, белобрыс и subtilen — но при всем при этом характер имел упрямый и жесткий, и я не сомневался, что «невзгоды и тяготы воинской службы» он перенесет без проблем. В конце концов — почему бы и нет? Я же служил — и даже остался на контракт. Почему бы не сходить «потоптать фланги»¹ и Шурику?

Одним словом, я, соглашаясь, промолчал, Шурик ушел в тот самый отряд, а теперь к нему нужно было ездить на Рандовское кладбище — и некого здесь винить. Так бывает. Да и не жаловался я никогда, сомнительное это занятие — искать виноватых. Звезды в небе легли для младшего неудачно — вот и весь разговор.

...Отец пробыл с полчаса и стал прощаться. О Шурике не было сказано ни слова. В окно я видел, как он идет, горбясь, к машине. За последнее время отец сильно сдал.

* * *

«Котовского». Следующая остановка — «Вторая школа».

Термометр перед уходом пугал тридцатью четырьмя. Юлька по-страусиному вышагивала длиннейшими ногами, возбуждая в сильной половине вполне здоровый интерес. Платье, для контраста, она выбрала дивно короткое, и здесь я целиком был на ее стороне: если есть что показать — надо показывать, а у Юльки — определенно было.

¹ «Топтать фланги» (погр. жарг.) — совершать обход границы, в более широком понимании — служить в погранвойсках.

...Праздник, праздник, праздник! Три курсанта Академии в новенькой, только со склада, форме прошагали навстречу, излапав Юльку жадными глазами. Свадебный кортеж, воя надрывно гудками, промчался, теряя разноцветные шары, в сторону Кургана славы. Волоча упившуюся бл*дь, проследовал милицейский патруль — нагловато-веселые, кровь с молоком, упыри. На Площади, слышали мы, начался концерт. Мельтешили-маячили всюду береты, фуражки, «комки»¹ и «парадки» ПВ — как любил я когда-то этот день! Когда-то — но сейчас, сжимая влажную Юлькину ладошку, мечтал об одном: поскорее вернуться домой, лечь и заснуть — чтобы проснуться в нешумном и рядовом завтра.

...Из-за такси мы едва не поругались — предложение мое взять «мотор» Юлька отвергла категорически.

— Не буржуи, сойдет и троллейбус! — заявила она, взблеснув опасно зеленым, и спорить я не стал.

Я не хотел спорить и старался не думать о Шурике. Старался не думать — а чуть позже, исходя телесной влагой в разбухшем от народа, пропитанном запахом пота-пива-дешевых духов троллейбусном нутре, слушал чуть картавый, тянущий гласные говорок:

— ...Как же, замечательно помню! Вы, надо сказать, стали настоящим мужем! Зря все же в гуманитарии пошли — я видел в вас ученого-математика. Но — свобода выбора прежде всего. Надеюсь, вам не приходится теперь жалеть...

Конечно, с моим «везением» — я просто обязан был напороться на кого-то из знакомых! Фельдман, школьный учитель математики... Помню, как представлялся он нашему классу: «Зовут меня как Маршака, — только наоборот». Яков Самуилович Фельдман, «Маршак наоборот». Подвижной, вечно хохмящий еврей. Уже тогда ему было под шестьдесят, а сейчас — все семьдесят. Но держится бодро — вот только совсем седой. Меня узнал сходу — значит, память его цепка, а ум по-прежнему ясен. Мне всегда нравился Фельдман, учителем он был талантливым и справедливым — но сейчас я предпочел бы с ним не встречаться.

— ...А младшенький ваш, Шурик, — вообще был феномен! Фе-но-мен! Отказываюсь понимать, зачем ему понадобилась эта армия! С такими способностями надо обращаться крайне бережно! Их нужно лелеять и развивать. Как, кстати, у него сейчас дела? Где изволит постигать науку?

Черт! Конечно же, ему понадобилось вспомнить Шурика! Фельдман давно на пенсии — понятно, что он не в курсе. Я не знал, что говорить — вот она, Юлькина экономия! Тоже мне — Джон Кейнс² в юбке! Динамик, на счастье, озвучил нужную остановку — так ничего и не ответив, оставляя старика в растерянности и недоумении, я потянул Юльку к выходу.

* * *

«Вторая школа». Следующая остановка — «Луговая».

...Необъятность Рандовского кладбища впечатляла. Снова я сомневался, что в немыслимых его лабиринтах удастся отыскать нужную нам ограду — но Юлька, хладнокровно-уверенная, как и подобает прирожденному менеджеру по сбыту, быстро вела меня мимо бесчисленных памятников — двухсотлетних и новых, появившихся только-только; железных крестов и солдатских пирамидок; аляповато-роскошных шедевров «бандитского уголка» и совсем уж древних, обомшелых каменных глыб — к заутку, определенному нам под последний приют горисполкомом.

В две минуты она доставила меня к небесной ограде, внутри которой — три черно-мраморных плиты (бабки, деда и Шурика), две скамьи, столик да фонарь с

¹ «Комок» (погр. жарг.) — камуфлированная военная форма.

² Джон Кейнс — американский ученый-экономист.

бордовыми стеклами. В нем, фонаре, дверца открывается, и свеча, помещенная внутрь, в самую ветреную из погод гореть будет неугасимо-ровно — зрелище успокоительное и красивое.

Там были уже люди: два парня с голоногими подружками — одну из них жестоко рвало в малиновых кустах за оградой. Парни, вполне уже взрослые, — одноклассники Шурика, я помнил их совсем еще сопливыми пацанами — жали мне с достоинством руку и представляли спутниц (та, которой только что было плохо, самым невероятным образом смущалась, уводя в сторону малахитовые, как у Юльки, глаза). Не чокаясь, мы помянули Шурика — и всякая неловкость, если она и была, исчезла.

Несколько конфет на блюдечке брата, стопка, наполненная водкой... Дух его должен быть доволен и умиротворен — но глупость все это, ерунда и чушь! Никогда я не верил в загробную жизнь. Нет его — духа Шурика, а конфеты, цветы, водка — все пойдет кормящимся от местных щедрот бомжам. Вот и вся истина. Вот и вся правда. Никто не виноват, что звезды в небе легли неудачно и брат мой не вернулся в мирное время из армии. «Мирное время»... Как будто есть оно, «мирное время»! Естественное состояние всякой материи — война, а «мирное время» — еще одна химера, призрак, миф, среди бесчисленного множества которых мы существуем. Кому-то везет больше, кому-то меньше. Кому-то совсем не везет — вот и все. И виноватых искать — ни к чему. Нет их — попросту нет!

Но Шурик так хорошо и наивно улыбался с могильной плиты — и злость моя поутихла. Нужно контролировать себя — чтобы не пришлось потом замерзнуть в атмосфере ледяного презрения, каким, среди прочего, любит возвращать долги Юлька.

Сейчас, выйдя за ограду, она закуривала. Высоченная, с длиннющими ногами и шеей, в коротком до неприличия этом платье — как никогда походила она на австралийскую чудо-птицу. Страусиху. Нет, самку страуса — так будет правильнее. Но «самкой» этой я дорожил безмерно — и надеялся, что сегодня обойдется без скандала.

* * *

«Луговая». Следующая остановка «Кинотеатр "Октябрь"». Конечная.

...Юлька все же затащила меня на Площадь — ей непременно нужно было увидеть салют. Мы потолкались перед сценой, послушали столичных полужвезд, разевающих невпопад под «фанеру» рты, а после сидели в «Трюме», молдавское потягивая вино и дожидаясь одиннадцати, — и дождались, и посмотрели этот самый салют, а теперь клевали носами в троллейбусе, возвращаясь домой, и день, вопреки опасениям, имел все шансы на мирный исход.

Лязгали двери, хрипел динамик, я выныривал из зеленовато-муторной полуяви и снова уходил в нее с головой, когда обнаружил, что болезненно-напряженно вслушиваюсь в звучащий надо мной голос — отлично поставленный, с нотками легкой иронии, баритон — и как раз он, а точнее слова, им произносимые, не дают мне уснуть.

— ...А что МНЕ там делать — в этом дурдоме? Каждому свое, — слышал я. — У кого-то нет мозгов, не получил он их от рождения — таким там самое место. Вы же видели сегодня... А что в День десантника творится? На улице показаться страшно! Пусть идут и защищают чужое интеллектуальное достояние — если нет своего. Я там в любом случае не оказался бы — я ценю свое время. Понятное дело, откосил — как всякий нормальный человек. Пусть сначала обеспечат нормальные условия — а потом гребут всех подряд! В любом случае умному человеку в армии не место — это аксиома!

Все верно, все так; будучи военным, я сам честил эту «гребаную армию» на все корки и лады, потому что наблюдал творящийся там беспредел изнутри, и точно так же костерили ее мои товарищи по Отряду — тому самому Отряду, куда ушел служить и Шурик, чтобы через год и пять месяцев переехать на Рандовское кладбище... Все было верно и правильно, и говорил он совсем негромко, для своих, но

Я УСЛЫШАЛ — и стоял уже, разглядывая его в упор, а недавние мои надежды погибали, как тевтонцы на Чудском льду.

Парень — моих примерно лет, красногубый, холеный и очень здоровый — был не один. Приятель его, худощавый и смуглолицый, в светлом костюме, держал за локоть девушку в длинном, до пят, серебристом платье; еще одна, в точно таком же, но розовом, принадлежала, видимо, моему оппоненту. Вообще вся компания гляделась на редкость чужеродно в этом «сарая». Они явно возвращались из ресторана, утонченные и нездешние, как особы королевской крови, сошедшие по необходимости в народ: движение только открыли, и такси, из-за наплыва желающих, поймать было невозможно.

И опять же, думать так было неправильно, несправедливо, нехорошо — но меня трясло уже от воссиявшей вмиг ненависти, от тупой и упрямой боли, иглой сломанной сидевшей во мне с самого утра, и еще три года... Мне было не до справедливости, и осипшим враз голосом, клацая непослушной челюстью, я спрашивал у обладателя пухлых губ:

— Сколько ты заплатил за военный билет, сука? Сколько стоит — отмазать такую жирную тварь, как ты? — А дальше понеслось все по кочкам вскачь. Бил я и били меня, визжали девицы, кричал кто-то испуганно и сурово: «Да вызовите же милицию кто-нибудь!» А я жалел лишь, что пьян, слаб и вряд ли справлюсь с двумя — но семь лет спорта не прошли-таки даром: красногубый зажимал уже ладонями разбитую переносицу, взлаивая женским голосом (лицо его, перемазанное сочащейся сквозь пальцы кровью, было жалким и страшным); смуглый приятель заваливался на одну из девиц, а другая, в серебристом платье, норовила запустить в глаза мне фиолетовые когти; сзади колотили по спине и хватали за локти — когда троллейбус наконец встал и меня просто выдавили, вытолкнули, вышвырнули наружу, матеря на чем свет стоит тревожными голосами. Юлька, позабытая напрочь в азарте битвы, выскочила следом.

* * *

«Конечная».

Вот так — чего и следовало ожидать. Я попытался было обнять ее, но Юлька, дернув плечом, сказала:

— Уйди, скотина несчастная! Подонок! Знать тебя больше не желаю! — и зацокала гневно вперед. Два раза беззвучно полыхнуло, крупные капли застучали по листьям каштанов. Пройдя метров с полсотни, Юлька обернулась и голосом, дрожащим и искренним, продолжала: — Все, хватит с меня! Я черт знает сколько терпела твои выходки! Надоело! Жить и трястись от страха — что еще он там выкинет! Ты никогда не станешь нормальным, взрослым человеком! Все, хватит! Я ухожу!

Мне нечего было возразить. В молчании мы попали домой. Юлька заперлась в ванной и включила воду, а я пошел в нашу с ней комнату. Не знаю, что тому причиной: цвет ее волос или солидарность с Пушкиным, но по Юлькиной инициативе каждый предмет интерьера, вплоть до мелочей, выдержан был в осенних тонах. Из хрустальной вазы я потянул пластиковую дубовую ветвь со съемными, лимонного колера, листьями и уселся, спиной к стене, на ковер.

Все нормально. Этот чертов день уже закончился. Впереди целое воскресенье, а в понедельник я пойду в университет и буду читать свои лекции по лексикологии — жизнь привычной побегит колеей... В конце концов, я даже победил в драке. Опыт не пропешь — как говаривали в армейскую мою бытность. Надо бы, кстати, выпить. Выпить и ложиться спать. Никто не виноват. На гражданке с ним тоже могло случиться что угодно. Удивительно только, что умер он от того же, от чего в свое время едва не загнулся я сам. От пули калибра 7.62, выпущенной из ТТ производства страны Китай, начальная скорость — 415 м/с. Поневоле станешь фаталистом. Как Печорин. Или еще кто-то там — какая разница? Неблагодарное это занятие — таскать полдня тело по

сумасшедшей жары, да еще и водку пить при этом! Но — хорошо ли, плохо ли — он закончился, День пограничника. Мне было очень не по себе.

Когда Юлька вошла — вымытая, укрупненная в полотенце Юлька, — я сидел все там же, сдергивая мертвые эти листья и бросая их на ковер. Двадцать три я уже оборвал, оставалось девять. Трудно представить более разных людей — но мы до сих пор были вместе.

— Осень, — сказал я. — Нас, Юлька, трое в квартире. Поселилась здесь темная сволочь, мутная какая-то дрянь — и нет от нее жизни. Утром ничего, и днем нормально, а вечером — плохи дела. Вцепится, вгрызется намертво — и не отпускает. Сволочь! Так, бывает, достанет — хоть волком вой!

Юлька, присев на корточки, легко коснулась заплывающего глаза.

— Ерунда! — пахло от нее свежестью и хвоей. — Все пройдет. Надо только приложить лед. Я принесу. И когда ты только поумнееешь? А там, если что, замажем тональным кремом — и ничегошеньки не будет видно! А классно ты здоровому врезал! Ты у меня еще ого-го! Все пройдет. Мы привыкнем. Обязательно привыкнем. Все когда-нибудь проходит — пройдет и это.

— Да, — сказал я. — Конечно пройдет. Обязательно пройдет. Ко всему можно привыкнуть.

Дождь выстукивал грозную жестяную дробь. Воскресенье уже началось.

Засынай...

Уже несколько месяцев это мое — обомшелый, с обломанными сучьями ствол сосны в метре от забранного решеткой окна, дыхание путаное четырех соседей, крики подъемные санитарок, ежеутренний шмон, запах пригорающей вечно пшенки и жалкие в нечеловечности своей лица больных. Их, лиц, больше сотни, и на всю сотню, не считая меня, — лишь один мыслящий адекватно человек.

Здесь — хорошо. Пока я не уверюсь, что здоров окончательно, город мне заказан. Да и как смогу я существовать там? Город упругой встает стеной, выдавливает меня, как ненужный прыщ из полумиллионного тела, кричит под ночными окнами в тысячу яростных голосов — здесь же не в пример спокойнее. Здесь я возвращаюсь к бесконечно счастливому, животному почти состоянию, когда не нужно принимать никаких решений — все давно уже решено и предусмотрено инструкциями.

Я на хорошем счету — ручаюсь, им приятно даже, что в пациентах у них ходит человек с университетским образованием. Именно — ходит. Я не отказываюсь сходить в прачечную, столовую, на склад; Клавдия Ивановна, старшая сестра, охотно берет меня в аптеку за лекарствами — в прогулках этих все же больше приятности, чем в топтании бессмысленном на пяточке окруженного четырехметровыми стенами двора.

Прогулки во дворе мне ни к чему — когда сумасшедших выгоняют на улицу и Сенин, единственный, с кем здесь можно говорить, заглядывает в палату — ну что, бродяга, пойдем подышим? — я машу отрицательно рукой: до самого обеда отделение будет пустовать, и никто не помешает мне окунуться с головой в оригинальную литературу. Под рукой устроен будет Уэбстера лиловый куб, я увлекусь настолько, что позабуду совершенно, где нахожусь, — до той самой предобеденной поры, когда зашаркает по лестнице безумная вереница и медсестра, стоя в дверях, пропускать будет по одному в отделение и вести громко счет.

Приезжает она по субботам, когда, приняв положенное мне лекарство, я начинаю неудержимо засыпать, откладывая в сторону книгу и скриплю какое-то время пружинами, устраивая тело по возможности удобнее, — как раз тогда возрастает

в коридоре тяжелый топот, и телом обильная санитарка Алеся кричит детски писклявым своим голоском:

— Англичанин! Где англичанин? Подымайся! Невеста к тебе приехала, англичанин!

Алеся, как и большинство санитарок, в близлежащей живет деревеньке, в силу своих двадцати лет мечтает исключительно о замужестве, и неудивительно, что весь мир для нее наполнен невестами и женихами.

Я иду за Алесей кафельным коридором, наблюдая механически, как студнем трясутся под нечистой тканью халата огромные ее ягодицы, — иду и ловлю себя на мысли, что все это уже было, только вместо этой вот, из медучилища, девочки, ждала меня жена, Лена. И жара была точно такая же, все и вся сжигающая жара, силу набравшая еще в мае, и точно так же, когда защелкнется замок и нас оставят в комнатухе для свиданий и уйдут, — точно так же будем мы сперва вести разведку глазами, настороженно и единого не говоря слова, — и лишь убедившись, что все, вроде, в порядке, набросимся уже друг на друга.

Точно так же, как было это с женой, я потяну девочку из медучилища на колени и буду чувствовать ее всю — жаркую, глупенькую и снова влюбленную — все темное, злое минует, и я могу улыбаться, я могу быть хорошим, если «ДОЛЖЕН», мое упокоено... А сейчас — такое как раз время, и круги на воде от брошенного с силой и яростью камня слабее становятся и незаметней — я выздоравливаю. Точно так же, как было это с женой, она сыграет краткую игру в целомудренность.

— Ты что, Дим, с ума сошел? Здесь? Но как — здесь? Слушай, это ведь невозможно — здесь!

— Бывали ведь и куда менее приспособленные для этого места... Ты что — забыла?

— Нет, я не могу — здесь! Слышишь, ходит кто-то за дверью, дышит совсем рядом... Подождем, может, Дим? Чуть-чуть, самую малость, ведь осталось всего ничего, тебя скоро выпишут, отпустят тебя вот-вот — ну давай подождем, Дим!

Но будет уже сама задыхаться и таять, тянуть прерывисто и жарко воздух — никаких подождем! Это другие, на воле, пусть ждут, если им так хочется, а здесь, по эту сторону, ждать я нисколько не намерен. Я не знаю еще, когда выйду, и мне нужно — здесь и сейчас! И выяснится непременно, что нужно и ей, и закончится все обоюдно и быстро — обидно быстро, до смешного быстро, непростительно быстро — но как же, черт побери, хорошо!

* * *

Не волнуйся, засыпай...

Да, так это было тогда — миновал предельный ноябрь, и еще два месяца, прежде чем стал я замечать и слушать. Что нового могла она сообщить мне? Все это было тысячу раз знакомо: мертвые матери и пьющие безысходно отцы, мужа-садисты и в рабстве покорном содержимые жены... Тысячу, повторяю, раз все было знакомо, но одно, всего лишь одно обстоятельство в корне меняло все — она уже не была мне ЧУЖОЙ.

Сам не знаю, когда и как случилось это — но заржавевшие от временного бездействия шестерни стронулись тяжело с места и завертелись, скрежеща и набирая обороты из глубины пыльной, из-за выщербленного угла, поехало огненное «ДОЛЖЕН», и я знал уже, откуда придет болезнь.

Был, помнится, абсурдный зимой дождь, вода была, и капли, искрясь, чертили по черной коже дорожки... Она, придя, отворачивала лицо от света, отворачивала от меня — кого пыталась она обмануть? И позже, когда, прижавшись ко мне дрожащим, горячечным своим телом, она изливала себя в сбивчивых, запутанных и бесконечных жалобах, никакая, даже самая малая жалость не подняла во мне голову.

Не было ее, жалости, — но было «ДОЛЖЕН», больнее и ближе, колокольчик тревожный звонил всюду, указывая на опасность, но я знал уже — опоздал.

Оказывается, у нее были планы: уже тогда, в феврале, она твердо положила развестись с будущим владельцем ломбарда и уйти ко мне. Нет, она уже не была мне чужой, более того — я настолько утратил чувство реальности, что какое-то, пусть и недолгое время верил даже, что совместная наша жизнь вполне состоится.

Дело оставалось лишь за окончательным, серьезным, плодотворным разговором с мужем, где правильно будут расставлены точки, где муж поставлен будет перед непреложным фактом и отпустит выстрадавшую положенное юную жену в другие, лучшие, может быть, руки. Так это выглядело в соответствии с ее планами, и хорошо помню, как в каждую из встреч она торопила, а я — «ДОЛЖЕН» жгло уже нестерпимо — оттягивал, как мог: слишком хорошо знал я себя, чтобы надеяться на какой-то, кроме плохого, исход. Но она умела быть настойчивой, будущая медсестра, она исправно приносила ссадины и синяки и молчала красноречиво по поводу их происхождения, она даже трусость во мне подозревала...

Послушай, я не пойму, чего мы ждем, почему ты бесконечно откладываешь несчастный этот разговор? Я могу сказать и сама, но ты же, в конце концов, мужчина! Мне кажется, ты просто боишься с ним поговорить — или так только кажется? И сама не знала, насколько близка была к истине: я отчаянно, до дрожи в коленях боялся — боялся себя, боялся жестокости и насилия, какие ненавижу с детской еще, светлой поры и от которых мне — никуда не уйти.

До середины марта я все же дотянул, а после, в один из дней, понял сразу и вдруг: нужно заканчивать, прекращать эту пытку — и прекращать немедленно. Договорено было с ней, и я помню, как трясла меня в тот день лихорадка ожидания — так бывало когда-то перед труднейшим экзаменом, да это, собственно, и был для меня экзамен, и несмотря на то, что заранее предопределен был результат, я надеялся все же на иной, счастливый исход — надеялся, конечно же, зря.

Помню, я впервые тогда пожалел, что у меня даже нет костюма, а приличное пальто, какое я намеревался купить уже года два, так и осталось некупленным — в последнее время я совершенно утратил интерес к одежде. И потому идти надо будет в порывшемся от времени, изрядно поистертом кожаном пальто отца — он в свое время почти не надевал его, я же, войдя в возраст, примерил как-то и стал носить бессменно — настолько пришлось оно мне по вкусу.

Но тогда — тогда впервые мне сделалось стыдно: мне хотелось зачем-то произвести на ее мужа солидное впечатление — как будто могло это иметь какое-то значение. По пути — жила она совсем рядом, в пяти минутах ходьбы — я купил у лотошницы авоську с апельсинами, опять-таки неизвестно зачем, нашел без труда нужный мне дом и, поднявшись на третий этаж, утопил черную кнопку.

* * *

Не волнуйся, засыпай...

Все это было и, как ни печально сознавать, будет еще не раз: нас выведут, шелкнет за ней прощально замок, я пойду сквозь звериное скопище, сумасшедшие нехотя будут расступаться — несчастные, Богом обиженные существа с одними на всех глазами — глазами покорными, трусливыми, жадными: точно такие бывают у ожидающих подачки собак.

Алексеевна, старшая смены, положит сигаретные пачки «на тумбочку»: в одной из кладовых есть специальный ящик, где хранятся привозимые родственниками сигареты и выдаются пациентам в соответствии с правилами — не более пачки в сутки. Ездят к немногим, едва ли к десятой части, да и понятно — кому они, такие, нужны?

Алексеевна — танковой мощности, выхолненная, гладкая — поведет меня в сестринскую, сунет в пакет с продуктами бирку, определит его в холодильник; я угощу

ее плиткой шоколада «Гладиатор» и в который раз уже изумлюсь: пятьдесят лет женщине, а все еще не разучилась краснеть, как девочка.

— Дима, а что это у тебя в карманах? — она покажет в улыбке молодые зубы, пальцем указывая на раздутые до предела карманы пижамы.

— Чай, Алексеевна.

— Чифиришь? — улыбнется снова она, и я улыбнусь в ответ.

— Зачем чифирию? Чай люблю, Алексеевна.

Она вздохнет.

— Еще вот подлечим тебя, в полную норму приведем, и домой! А нам дальше с убогими этими маяться. Эти уж точно до самой смерти здесь останутся. А ты смотри, Димочка, постарайся как-нибудь — только не попадай сюда больше. Ты молодой еще парень, образованный — нечего тебе здесь делать! Хорошо?

Разумеется, хорошо, замечательно даже, Алексеевна, — мне и самому хочется верить. Я выйду в исхоженный тысячи раз из конца в конец коридор — они будут стоять там с покорными, жадными, собачьими своими глазами — как ненавижу я эти глаза! Вытолкнутый из массы, ко мне засemenит Сулим, существо презренное даже в понятии сумасшедших, в прошлой жизни — выпускник МГУ и доктор наук.

— Товарищ переводчик! — он почему-то всегда зовет меня так. — Товарищ переводчик, сигаретки у вас не будет?

Он станет на безопасном расстоянии, хотя ни разу — я повторяю, ни разу! — я не ударил кого-то из них, заглядывать будет униженно в глаза мне... Я же потащу из кармана одну из трех, оставленных при себе пачек и медленно, отчетливо, чуть ли не по слогам произнесу:

— На всех — понял? Курить — всем! И не вздумай тихарить — иначе они растерзают тебя к чертовой матери. Сам ведь знаешь. Возьми себе лучше сейчас. Ладно, давай, двигай!

Сулим пойдет, сутулясь и шаркая короткими ногами, так и не посмеяв открыть пачку без них. Как только он приблизится к толпе, жестокая начнется бойня, и чтобы не видеть этого, я в другое сверну крыло — там, у одного из окон, ждет меня принудчик Сенин.

* * *

Не волнуйся, засыпай...

Мы не могли не сойтись с ним, как не могут не сойтись два человека, оказавшиеся — в силу обстоятельств — в скопище обезьян. Только что ему ударило сорок — и пятнадцать из них он провел не на свободе. Теперь он ожидает, пока придут необходимые бумаги — срок его скоро заканчивается, и после снятия принудки его должны будут выпустить.

Кукольников, заведением, говорит, что ждать ему не больше двух месяцев, и теперь он живет надеждой — точно так же, как живу надеждой я. Родная сестра Сенина, прописанная теперь в его квартире, являлась с неизменной регулярностью в первых числах каждого месяца — но ушел дождями умытый май, на финишную прямую выбегает июнь, а сестра не идет, забыла сестра, уехала, болеет, может быть, — и Сенин начинает по-немногу хандрить.

И все же нас двое, и нет особых причин для расстройства. Философия наша на данный момент предельно проста: даже в этом, печальнейшем из заведений, мы ищем во всем забавную сторону — это единственный способ жить здесь и не утратить при том ясности ума. Он будет ждать у окна — серолицый и крепкий, с висящей свободно на голом черепе кожей — и спросит, как делает это всегда:

— Ну что, бродяга, отвел душу?

Мы развернемся и смотреть будем сквозь решетку на крохотный, мелким песком посыпанный дворик.

— Вечером, часиков так в восемь-девять, будем очень плотно питаться — Олька целую гору жратвы привезла.

— А чай?

— Восемь пачек. До субботы следующей элементарно дотянем.

— Слушай, она у тебя — просто золото. Выйдешь — женись обязательно. Ну и меня не забудь пригласить — заметано?

— Обязательно.

Мы пойдем в курилку, расчистим место себе и закурим по ЦИВИЛЬНОЙ, с фильтром, сигарете. Идиоты, выстроившись полукругом, ожидать будут почтительно и страстно — вдруг да перепадет чего-нибудь!

— Вот сука! — скажет беззлобно Сенин. — Так-то они дурачье, психи полные, а вот пожрать, покурить — лучше здоровых соображают. Твари! Не-е-ет, на зоне лучше, веселей на зоне, — чтоб я еще раз попал сюда!.. Не могу я курить, когда мне в рот смотрят. На, ублюдок, травись!

Он сунет кому-то недокуренную сигарету, я отдам свою; мы выйдем в коридор и будем считать медленно, из конца в конец — девяносто шесть некрупных шагов.

* * *

Не волнуйся, засыпай...

Надавливая черную кнопку, я представлял, как выглядит он, почти-владелец ломбарда, и секунду спустя поразился, насколько верным оказалось мое представление. Он открыл дверь и стоял в проеме, заняв его целиком: на десяток лет старше меня, ростом, пожалуй, и не выше, но вдвое объемнее, с заплывшими жиром тяжелыми и покатыми плечами, с широким, оливково-нездоровым лицом...

Как раз таким и виделся он мне, и достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться: никакого разговора не выйдет, не получится никакого разговора, потому что говорить с такими я не умею и не научусь никогда, а он меня и подавно не станет слушать — такое-то ничтожество.

Он и рассматривал меня, как полное ничтожество, — презрительно и молча. И со мной, конечно же, произошло то, что всегда происходило в подобных случаях: я растерялся непростительным самым образом, растерялся и увидел вдруг с пронзительной ясностью себя со стороны — увидел и воспринял так, как, должно быть, воспринимал меня он: ничтожный и в самом деле человек, в старомодном истрепанном пальто, с нелепой этой, набитой апельсинами авоськой — человек, в сравнении с ним, откровенно отъявленно нищий...

Тут, я думаю, он предельно уверовал в мою несостоятельность, внутренне расслабился, и даже жалость какая-то проскочила в светлых его глазах. Я думаю, он и пустил меня в квартиру для того лишь, чтобы уничтожить окончательно в ее, Оли, присутствии — но растерянность моя уже миновала, и в дом я входил — не с миром.

Он оставил меня в длинном коридоре — в квартире был ремонт и пахло краской, клеем, свежим деревом — и пошел, тяжело ступая, в дальнюю комнату. Тут же из комнаты другой вышла Оля и повела меня в обширную кухню.

— Я сейчас чай согрею, ладно? — она пыталась улыбаться, но я видел, что напряжена она до предела — напряжена, взвинчена, напугана, — да и сам я хотел одного: чтобы закончилось все как можно скорее.

Я даже обрадовался, когда пару минут спустя явился в кухню он — явился и начал говорить. Слушая, я убеждался, что угадал его, еще не видя — до последней угадал мелочи. Все, что положено говорить самодовольным, уверенным в непогрешимости собственной тварям, полагающим всех, кто беднее их, людьми третьего сорта — а я, никчемный переводчик, работавший к тому же из убеждения учительской в самой обыкновенной школе, и был как раз таким человеком — все это он высказал, обращаясь не ко мне даже, а к ней: это чтобы унижить меня еще сильнее.

Но я молчал, молчал каменно, упершись взглядом в светло-зеленый пластик стола; молчал, пока он не развернулся и не пошел прочь, бросив через спину «пять минут» — столько он давал мне, чтобы я исчез из квартиры и никогда больше не попадался ему на глаза.

Он ушел, а я продолжал молчать — но «ДОЛЖЕН» жгло предельно и нестерпимо — так нестерпимо, что я разом вдруг стал спокоен, как бывает спокоен человек, принявший окончательное, перемене не подлежащее решение. Я взглянул на Олю — она сидела, не поднимая глаз, и все мешала ложечкой остывший давно чай, после достал из авоськи апельсин и принялся снимать кожуру блестящим на столе обнаруженным ножичком.

Отлично запомнилось мне: звон ложечки о края стакана, падает мягко на стол душистая кожура, часы-пингвин на деревянной полочке отшелкивают звучно секунды — а там, за стеной, ходит и ждет, и скрипит половицами, так скрипит, что и слов никаких не нужно, скрипит и поглядывает на часы, ожидая, — как часто ошибаются люди!

Скрип стих ненадолго, лишь хрустальный, нежный слышен был звон, а после снова: не скрипели уже, а выли от боли половицы, вытягивало-гнуло спину время, но меньше и меньше, совсем уже ничего не оставалось из отведенных мне трехсот секунд, и апельсин был почищен, и она положила на стол позолоченную ложечку — когда понял я, что незачем больше тянуть, и, схватив мгновенно ее в охапку, бросил в ванную и запер снаружи дверь на защелку. Она и сообразить ничего не успела — но сидела там тихо, как мышь.

Коридором полутемным я прошел в его комнату — он был у балкона и, увидав меня, не пошел даже, а побежал грузно ко мне. Замечательно помню, как тряслись жирные его плечи, как щеки ходили на оливково-нездоровом лице, помню выражение сосредоточенного азарта и уверенности абсолютной в его глазах, — как часто ошибаются люди!

Я дал себе труд подождать, пока он ударит первым, — полыхнуло лиловым в глазах, и свет комнатный на мгновение померк, — а после случилось то, чего ожидал я: раскаленным и красным выплеснуло жарко из глаз, внутри сделалось трезво, звонко, пусто, и бил уже я. Левой, правой и снова левой, и еще — убеждаясь с удовольствием, что прежний мой навык еще не утерян, — бил до тех пор, пока лицо не провалилось вниз и сам он не рухнул, сотрясая пол, на ковер. Несколько раз я ударил тушу его ногой, ощущая с наслаждением, как гнутся-трещат ребра, — но все это была прелюдия, и приходил я за другим.

Когда он перестал сопротивляться окончательно, я присел на корточки у разбитой, кровью истекающей его головы и сказал, пришептывая от горло сдавившей мне ненависти:

— Ты не будешь издеваться над ней, понял? Ты не будешь бить ее никогда, одноклеточная тварь! Все понятно? А теперь я услышу членораздельный ответ — я жду!

Но тот раздвинул только разбитые губы, показав презрительно золото зубов, и я ударил еще — ударил так, что разбил фалангу мизинца в кровь, а он захрипел и на подбородок себе выплюнул коронки в черном кровавом сгустке. Я повторил свой вопрос еще раз — ведь именно за этим пригнал меня сюда «ДОЛЖЕН» — и не слыша ответа, бил снова и снова, безжалостно бил и жестко. Думаю, в какой-то момент я все же потерял ясность рассудка и не мог просто взять в толк, что он без сознания — иначе я давно бы уже услышал ожидаемый ответ.

Но повторяю, в какое-то мгновение я перестал себя контролировать, я измазал уже всю руку чужой кровью, и дело могло бы кончиться совсем плохо — но упало что-то на меня сзади, обхватило, вцепилось намертво коготками в левую кисть...

Обернувшись, я увидел Олю — как только достало у нее сил прочнейшую выбить задвижку! А она кричала, и плакала, и ругалась неумело и яростно, и — затихло, ушло.

Я поднялся и побрел, пошатываясь, со лба утирая пот, в ванную, где вымыл тщательно руки и лицо, а после глядел с минуту в зеркало, привыкая к своему лицу.

Что же — оно у меня снова было. Тогда, помнится, я неимоверное испытывал облегчение, как человек, расплатившийся наконец с давно висевшим на нем неподъемным долгом. Но все это было не в первый раз, и я знал, что эйфория будет недолгой.

Ушел я молча, и никто меня не задерживал — некому было задерживать. Так это всегда случалось со мной: я делал что-то, чтобы избежать его — воющего злым пустынным зверем одиночества, — а в результате порождал вокруг себя испуганную пустоту.

Все дальнейшее я мог бы расписать по минутам.

Я знал, что ночью начнут уже выть и лаять под окнами жалость и страх, примутся грызть меня изнутри и не остановятся, пока не сожрут целиком. Спать я уже не смогу, и в попытках беспомощных хоть как-то оттянуть развязку я побегу в ночной магазин за водкой, и бегать буду еще много раз, пока сознание не помутится окончательно — меня больше не будет.

* * *

Не волнуйся, засыпай...

— Но почему, почему ты не подходил к телефону? Я каждый день по сто раз звонила — и все зря. Я и приходила к тебе — каждый день. Почему ты не открывал? Сейчас хотя бы ты можешь мне объяснить?

Жесткий, раскачиваясь легонько на стуле, перебирает нервными пальцами белесые ее волосы.

— Я отключил телефон. Да и вообще, видишь ли... После того, что случилось, я уверен был, что ты и видеть меня не захочешь.

— Ну что ты говоришь такое! Ты же видишь — я здесь! Неужели ты думаешь, что я дура полная и не понимаю, что все это — из-за меня?

Жесткий, улыбаясь, прижимает ее крепче к себе — как часто ошибаются люди! Он, жесткий, исходя из немалого опыта, знает не только как пройдет день сегодняшних, — он видит много дальше.

Девушка белобрысая будет являться, как и прежде, по субботам, привозить будет все заказанное, но станет сдержаннее, серьезнее, строже — взрослее станет во всех отношениях. Однажды, сидя вот так у жесткого на коленях, она скажет:

— Слушай, я не представляла даже, что он так меня любит! Он три недели уже не пьет, он чуть ли не на руках меня носит. Ты не поверишь, — он плакал вчера, представляешь! Он — и плакал. Мы с ним полночи проговорили вчера, оказывается, он все понимает. Он и на тебя совсем не сердится — знает, что виноват сам. Я не знаю, Дим, видел бы ты, как он вчера плакал. Мне жаль его, честное слово — не знаю даже, что и делать!

Знает зато жесткий. Он рад даже, что не придется ее уговаривать и все вернется на круги своя без дальнейшего его участия — поучаствовал, хватит! Жесткий, в очках золотых, будет рад и тому дальнейших взаимоотношений станет тщательно обходить стороной.

И девушка из медучилища, в благодарность за это, исправно будет приезжать каждую субботу — вплоть до последней. Но когда его выпустят — а случится это в конце июля, в дождливый и душный понедельник, — никто не будет ждать у двери, и домой он поедет один.

В квартире будет вылизано, пусто, светло — у Оли ведь был ключ — он выпьет, вставит в аппарат диск («Imagine» великого Джона), он заснет, может быть, в кресле, и сон впервые не будет тревожным. Да оно и понятно: очередной пройден круг, без особых пройден потерь, и жизнь — в который уже раз — только начинается.

По страницам молитвы

К 70-летию Израиля

«70» — поэтический сборник (Нью-Йорк: Издательский дом «КРиК»/KRiK Publishing House, 2018), посвященный юбилею образования независимого государства Израиль.

В книгу вошли стихотворения семидесяти современных русскоязычных поэтов на темы еврейства и Израиля.

В этом международном проекте приняли участие авторы из Ираиля, США, России, Украины, Беларуси, Латвии, Эстонии, Германии, Франции, Великобритании, Швеции, Ирландии и Голландии.

Наум Коржавин (США)

Дети в Освенциме

Мужчины мучили детей.
Умно. Намеренно. Умело.
Творили будничное дело,
Трудились — мучили детей.
И это каждый день опять:
Кляня, ругаясь без причины...
А детям было не понять,
Чего хотят от них мужчины.
За что — обидные слова,
Побои, голод, псов рычанье?
И дети думали сперва,
Что это за непослушанье.
Они представить не могли
Того, что было всем открыто:
По древней логике земли
От взрослых дети ждут защиты.

А дни всё шли, как смерть страшны,
И дети стали образцовы.
Но их всё били.

Так же.

Снова.

И не снимали с них вины.
Они хватались за людей.
Они молили. И любили.
Но у мужчин «идеи» были,
Мужчины мучили детей.

Я жив. Дышу. Люблю людей.
Но жизнь бывает мне постыла,
Как только вспомню: это — было!
Мужчины мучили детей!

Геннадий Кацов (США)

Судный день

Пламя всерьёз изучает предмет дотла,
Так же как жизнь зачитает до дыр карман:
Бог Милосердия, то бишь добра и зла,
Как для рыбацкой фелюги — гигант-кальмар,
Видится мне возглавляющим в день Суда,

В зале, похожем на бальный, без слов процесс,
Сроки там, большею частью от «навсегда»,
Можно на божьем бескрайнем лице прочесть.

Ветер Атлантики трогает небосвод,
Гладит гудящего купола плексиглас:
Словно ты годы куда-то спешил — и вот
Остановился, не веря тому, что глаз

Застит слеза (это ветер, а что ещё?)
И будто птичий протяжный над ухом звук,
Весть на закате о том, что сейчас прощён,
Ибо пока есть на выбор — одно из двух.

Апофроней

Горизонт, чей восход одинаков,
Пусть и непредсказуем закат,
Сбережёт от блуждающих знаков
Всё, что вышняя носит река.

Там мой прадед и дед — кожейяки,
Белошвейки их жёны, их слог
Будет вечно картавым и мягким,
И тяжёлым и мокрым весло, —

Уплывают в цитаты поверий,
По страницам молитвы, где гром
Сотрясает скрипящие двери,
Предвещая воскресный погром.

И летит деревянная стружка,
Стаей птиц становясь на пути,
Где малышка сидит старушкой
И ничто их не может спасти.

Кто бы нас уберёг от времён тех,
От разлуки с несчастной роднёй,
Всё плывущей по царствию мёртвых?
Жертв грядущих — одну за одной.

Шестикрыла и шестиконечна,
Ночь никак не исходит, пока
Горизонт — не спеша, человечно —
Не пропишет по небу рука.

Феликс Чечик (Израиль)

* * *

А. Ф.

Слово за слово... Снова и снова
и, отталкивая и маня,
не родная, но родная мова,
как Антея, держала меня.

Мать-и-мачеха — Припять и Пина,
где світанак и захад багров.
Возвращение блудного сына
в говорящий на идише ров.

* * *

Я учился, влюблялся, дружил, —
я был счастлив, как не был ни разу:
посреди разорённых могил,
но невидимых сердцу и глазу.
Что ты скажешь теперь, балабол?
Теплотрасса нуждалась в ремонте!
С пацанами играли в футбол
черепами Рахели и Моти.
И пока не ударил мороз,
мы играли на улице нашей:
черепами Исаков и Роз,
черепами Дебор и Менашей.
Я стоял на воротах. Я был
вратарём, подающим надежды.
Я учился, влюблялся, дружил.
Я был счастлив. Закройте мне вежды.

Татьяна Вольтская (Россия)

* * *

Ну очень добрые. Особенно Кёльн,
Дающий себя изнасиловать — только чтоб шито-крыто.
Потому что бегущие по волнам — братья: коль
Подставляешь корыто,

Что уж тут мелочиться — у вас же полно земли,
А уж девок — подавно. Только где же вы были,
Когда в ваши святые гавани шли корабли
С детьми Рахили?
Я напомним — вы их топили.

А соседей закапывали живьем.
Да, Валленберг, да, поддельные документы,
Спасавшие вашу честь, которой при любом
Раскладе — ни тогда не было, ни сейчас нету.

Да, мне жаль бегущих — под умолкший звон
Ваших колоколов, но, как презренный циник,
Задаю лишь один вопрос — тогда, в сороковом,
Куда вы дели аптекаря с улицы Капуцинок?

Да, мне жаль ваших святых камней, но пыль
Под ногами бредущих в Аушвиц, пыль от развалин штетла
Сушит мои слезы. Вы — Шарли, ну а я — Рахиль,
Стучащаяся в ваши двери. Тщетно.

Семён Крайтман (Израиль)

* * *

не хватало сирен.
в пять утра, восемь первых лучей —
негатив ПВО, осветили тяжёлое море.
восемь длинных игол.
восемь бледных когтистых смертей.
не хватало сирен, маскировочных чёрных сетей...
в остальном — было всё, как тогда.
я вплывал в остальное.
о, военное время.
рассказы про спички и хлеб.
перегретая пыль
голой бабой бежит по Волыни.
тётя Сима висит на воротах в одном башмаке
да в упавшем чулке...
да прибита доска к тёте Симе.
утром ветер — от берега.
пробует — хватит ли сил
этой щепке вернуться.
ну, пробуй,
проверь меня, сука, на гнилость.
я гребу, прикусивши до стога солёную синь.
бормоча этот стих:
«тётя Сима, как прежде, висит,
тётя Мара горчит...
тётя роза ветров изменилась».

* * *

глина моя, мой камень, сухая кость.
я вернул за тебя снега десяти губерний,
весь этот сладкий, мутный, больной наркоз,
где похоронная неотличима от колыбельной.
я пришёл к тебе с гласными,
цепкими, как репей.
я отряхивал их с себя, как чертей пьянчуга.
по привычке прошлой путая «пой» и «пей».
путая Авеля-Каина с Геком-Чуком.
глупо кричать «спасибо», и всё же нет
лучшего, чем
обломанными ногтями
выцарапывать буквы
на жаркой твоей спине,
зная даже, что их через миг затащит
ветром, песком...
ждать этот самый миг
и, «пронесло», с облегчением выдыхая,
встретить твой взгляд,
понять твой густой язык,
глина моя, камень мой, кость сухая.

Владимир Гандельсман (США)

Из псалмов Давида

Спаси, Господь! В чести соблазны
лукавых: «Кто нам господин,
когда державным словом властны?»
Кадильщики все как один.

Лишь нищему Ты явлен в Силе
и лишь творящему добро
Твои слова — семь раз в горниле
очищенное серебро.

Повергни криводушных в известь
горящую, чтоб извести
их племя, — здесь, где только низость
и велеречие в чести.

Игорь Тарасевич

ОТВОД

Рассказ

Наши деды — славные победы,
Вот где наши деды!

Солдатская песня

Ночь слепила, глаза лопались от напряжения. Казалось, перед взглядом трепещет прозрачный, дымчатый зонт, прошитый мерцающими швами лопастей, что висит над стригущим по-над травой вертолетом. Сквозь мелькание, сквозь полет видны тогда горы в синих зарослях — джунгли покрывают их сплошь, сливаясь — если смотреть с высоты трехсот-четырехсот метров — в курчавую, как голова негра, сине-зеленую кашу. Унгба готовил такую из наших манных кубиков, приправлял своей какой-то дрянью. Не хотелось и думать, почему сваренная на ключевой воде манка приобретает цвет разведенных чернил. Так что мы в основном жевали шоколад и глотали специальные питательные таблетки — хватало на день. А унгбово варево орехом отдавало на вкус, российским лесным орехом.

Сейчас отрезанная голова Унгбы с вырванными зубами — у них тут обязательно убитому врагу зубы надо вырывать, а иначе из каждого зуба покойник вырастет вновь — голова с уже запекшейся кровью лежала прямо под стенкой сарая — «бака» по-ихнему, с ударением на последнем слове — я мог бы, если б захотел, дотянуться до нее рукой. Так, значит, у них с предателями родины. Катнули хорошо, сильно катнули, докатилась и стукнула в стену, как бильярдный шар в борт. Борт, борт.... В темноте не видно, пришли муравьишки-то или не пришли. Разумеется, пришли. Мухи, те снялись на закате. К утру, если доживем, увидим, справляются ли муравьи за двое суток. Если, конечно, не придет борт.

Я зажмурился, на секунду зажмурился, желая увидеть внутри зрачков летящий вертолет, но веки сами, словно на пружинах, распрямились, как будто уже не могли закрыться вовек. Сквозь щель между бревнами нельзя было заметить моих глаз — они стреляют на блеск белков, — потому что я стоял в нескольких сантиметрах от щели, существенно, конечно, суживая себе угол обзора, но и оберегаясь: организм еще убеждал сознание, что хочет жить. У противоположной стены так же тщетно пылился Басин. От него несло кислым духом застоявшегося гноя — ранили его еще третьего

Тарасевич Игорь Павлович — автор семи романов, четырех сборников рассказов, пяти книг стихов, переводов и т.д. Проза печаталась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Наш современник» и др., переводилась на английский, французский, испанский, болгарский языки. Живет в Москве. В «ДН» публикуется впервые.

дня, и когда за его стеной, у болота, начинала выть гиена, мне казалось, что это Басин воеет, хотя он только зубами хрустел. Что ж, пользуйся, брат, пока зубы у тебя во рту.

— Полежи, Басин, — я не отрывался от кромешной ночи. — Ложись, я посмотрю с твоей стороны.

Он не застонал, сползая на пол, только грудь его, словно растягиваемая гармошка, издала глубокий тоскливый звук.

Я вновь пристроил Басина на мешки из-под арахиса — на живот, на спине он не мог лежать. Он не сопротивлялся, как три часа назад, когда я его уже укладывал, теперь дал разжать — один за другим — пальцы, держащие автомат. Расправляя ему ноги, я, кажется, задел маленький камешек в пустом мешке. Ха! А проверяли каждый мешок!

В складке шва застрял земляной орешек — два яичка в золотистой земляной волосистой скорлупе, не видимой сейчас, но ощущаемой обостренными рецепторами на подушечках пальцев. Еще бы стручок между ними, и получится отчетливый символ того, что нас здесь ожидает. Я медленно раздавил скорлупу и вложил в рот Басину твердое ядрышко. Слышно было, как басинский кадык дернулся, стараясь собрать слюну в сухом горле. Я сжал ему челюсти, чтобы он мог глотнуть. Гиена на болоте опять завывала. Я быстро передвинул ствол под руку — падая и перекатываясь, когда они войдут, можно успеть выдать хороший веерок, сильный, хороший веерок в семь-восемь, а то, если повезет, в девять-десять пуль.

— Ам... бец...

Шепот еле слышен, а у Басина голосок — стены дрожат. Потому я его — только для нас двоих — и прозвал Басиным. Нам полагается знать друг о друге только имена — вымышленные. Московские старые в лампах пердуны с удовольствием играют в войну. «Вы должны быть совершенно незаметны». Конёво дело, мы и так совершенно незаметны! Я был незаметным курсантом, потом стал незаметным лейтенантом, старшим лейтенантом, капитаном. Оттого что однажды я сдал роту морской пехоты и переделся в джинсовые шорты и «гавайку» с нарисованной на спине пальмой, я не стал более или менее заметным, чем в черном берете с маленьким треугольным красным флагом над виском.

В Питере нас с Басиным и еще одним хорьком — того потом отчислили, не потянул — выпустили в город, в первый и последний раз за полгода подготовки. Мы тут же направились в Гавань, чтобы снять девок, были уже в штатском. Никто нас не замечал, мы проходили сквозь толпу, не оставляя ни малейшего следа в ней, как теперь не оставляем ни малейшего следа в тропическом лесу. Девки, те просто с нами не разговаривали, и в «Норде» потом никого не удалось снять. Басин, правда, зацепил было одну — она, показывая отличные зубы, засмеялась ему в лицо, когда выяснилось, что у нас полтора часа времени на все про все. К двадцати двум имелся приказ вернуться.

Зубы, обнаженные смехом, конечно, выделяются на физиономии негра, хорошо, сильно заметны — если еще не вырваны, — ночью так прямо светятся, что твой циферблат. Все трое суток нашего знакомства с Унгбой он, кажется, ни на минуту не переставал улыбаться.

— Щель... щель... — с усилием прошептал Басин, словно бы видел перед собою разведенные женские ноги. — Сс.. мотри...

Он медленно похлопал рукой по мешкам, отыскивая автомат, зашуршал о джут. Потом во тьме раздался металлический звук, с которым выдвигается затвор пистолета — Басин вложил пулю в ствол. Гусарство, он в таком виде, что не успеет и руку поднять. Стреляться, по сути, следовало обоим уже давно.

— Может, утром придет, — на этот раз быстро и четко, укрепляемый отчаяньем, прошептал он. — Ты смотри...

— Да, да.

Я сел лицом к двери — так, чтобы слева и справа оставался простор для бросков.

С локтя я стреляю даже лучше, чем лежа на брюхе. А паяться в темноту более не имело смысла. Веки жили собственной жизнью, отказываясь повиноваться приказам. Рези и самих собою катящихся слез уже не осталось. И то сказать — трое суток без сна.

Встретить человека — негра, то есть, ихнего, принять груз, какой — не наше дело. Сопроводить до места. Все. Придет борт, заберет нас. Напрасно прождали более суток — тихо. Никого. Третьего дня Унгба дневалил, я проснулся — нет его. Не было и рюкзаков — всех трех. Джунгли за стенами этого «бака» орала на разные птичьи голоса, сквозь щели между бревнами и в полуоткрытую дверь били ослепительные лучи света, запросто преодолевающие утренний туман. Снизу, от болота, шел густой сладковатый запах, словно от парфюмерной фабрики. Басин приподнялся, и тут же ему под лопатку вошла пуля. Он еще — школа! — прежде чем выматериться, успел рефлекторно перекатиться вправо от линии огня. Один точный выстрел — хорошая, сильная рука, четкий зрачок — дверь-то была приоткрыта на десять-двенадцать сантиметров максимум, да еще внутри темновато, несмотря на райский утренний свет, — один только выстрел и — тихо.

Рубашка на спине Басина быстро темнела. Басину всегда и везде везет — видный парень, метр девяносто, — видный, как он ни старается быть незаметным.

— Продал, гад, — он скрипнул зубами, — как я чуял.

Тут же, словно опровергая его, голова Унгбы вылетела из папортников, ударила в стенку и чуть откатилась назад. Сквозь щель виделось, что кровь из распоротых вен еще продолжает литься. Значит, кончили его только сейчас, а зубы выдирали еще у живого. Теперь-то все уже подсохло, почти не воняет. Муравьи, что таксидермист, выбирают мясо под кожей, мумифицируют. Самое позднее завтра парень будет готов для музея. Не поверили ему, значит, хоть он и принес рюкзаки. Не убедил. Резать нас с Басиным не решился, а нерешительность всегда наказывается, друг.

— Уарга ко, уарга ко! — крикнул я тогда: поговорим, мол, козлы вонючие. И потом: — Лете тел, френде!

Они молчали.

— Лук — уы донт ган!

Как сказать это на диалекте, я не знал. Я мог еще сказать «уарга жа» — давай пожрем и «уарга хаа» — давай потрахаемся, но ни то ни другое сейчас явно не подходило.

Басин проложил рану платком. Дезинфицирующий, самозаживляющий бинт, линимент, таблетки — все осталось в рюкзаках. Спасибо, оружие всегда под щекою.

Бессмысленно что-то говорить людям, которые тебя не понимают. Мы лежали ничком на красной земле в негритянском сарае для арахиса. А ведь в детстве я хотел стать поездным проводником. Поезд виден всем, отовсюду, поезд гудит и быстро идет по рельсам, и нельзя не заметить его, нельзя не уступить дороги. Это мне всегда очень нравилось. И не машинистом, а именно проводником — ничего не надо делать, лежи себе на полке и смотри в окно. Еще я полагал, что мне будет очень приятно разносить чай. Так я представлял свое будущее.

Я вырос в интеллигентной семье, мои родители — доценты Института инженеров транспорта, отец читал курс теории упругости. Мое желание стать проводником всячески, разумеется, осмеивалось. Необходимо было проявить гибкость, а не упругость, но гибкость родителями проявлена не была, поэтому я принял присягу, когда мне еще, собственно говоря, не исполнилось восемнадцати, и отец стал ходить читать лекции в моем кителе, на котором теперь пришиты шпаковские четырехглазые пуговицы, а я, совершенно непонятно почему, лежу здесь, вращая в теплую красную землю глупого красного континента, такого щедрого на урожай.

Нас, видимо, взяли на прицел еще в гостинице, где Басин, изо всех сил стараясь быть незаметным, сказал «уарга хаа» девушке, принесшей пиво. — Донт хиа! Донт хиа! — вдруг, как резанная, завизжала та, словно белый человек нарушил невесть

какое суровое правило. Все негры, сидевшие за столиками и тянувшие пиво, обернулись к нам совершенно одинаковыми неподвижными лицами. Девушка поставила поднос и быстро-быстро что-то заговорила на диалекте, непрерывно проводя руками по бокам. Блин! Что ей такого сказали? Мы тут же ушли. Рекомендовано было вести себя естественно, мы и вели себя естественно. Или эти ребята с глазами тухлой рыбы, читавшие нам курс незаметных наук, решили, что мы теперь по гроб жизни тоже станем тухлой рыбой — из чувства благодарности?

Теперь, по крайней мере, Унгба не сумеет на нас настучать. У нас четыре гранаты за поясами, в том числе одна — кумулятивная, прожигающая что стену — и не такую! — что танк, что сейф — правда, лучше ее использовать для танка, потому что если грохнуть ею сейф, внутри сейфа останутся только выгоревшие стенки, даже пепла не будет. А может, и сейфа не будет.

Я зажмурился, изо всей силы зажмурился, отгоняя воспоминания, и веки закрылись. Я оставался в тот миг совершенно беззащитным. Войска отвели в запас. Что делать войскам в запасе? Конечно, минут десять я постоял у ворот железнодорожного депо, глядя, как со скрежетом и стуком, подпрыгивая на стрелках, из-под крыши вытягивается состав. Смехота! Сверху, по путепроводу, с вертолетным ревом пронесся рокер. Глушаки поснимал, козел. Я обернулся, словно ожидая, что от мотоцикла — хорошая, сильная машина, по звуку «Хонда» или «BMW» — я обернулся, словно ожидая, что из-под грязного картера вылетит НУРС¹, а потом второй, третий, сжигая округу — номера не было на заднем крыле мотоцикла, и самого крыла, кстати сказать, не было. Вертолет тоже не имел никаких опознавательных знаков. Через сколько рук прошла машина фирмы Сикорского² прежде, чем для нашего удовольствия выжечь джунгли на площади в сотни гектаров? «BMW» этот дурак тоже ведь не в магазине купил.

— Смотри, майор, э? — заржали. — Смотри, да-а? Знаешь, что такое?

Усмехнувшись, я взял ярко-желтый, похожий на огромный искусственный фаллос предмет, проверил чеку, запал и пломбу.

— Э, вижу, знаешь...

Я молчал, соображая, зачем нашим южным друзьям кумулятивная граната. Тем более — я успел заметить маркировку — этого года выпуска, моща — дай бог. Мое-то дело сторона: принял груз, сопровождал, сдал. По специальности. Все. Молчок. Но он заметил что-то в моем лице, специально, я обратил внимание, специально зашел с правой стороны, где у меня не новая розовая кожа, а старая, носимая с рожденья, на которой, вероятно, еще можно прочитать следы душевных движений.

Басина, говорю, и стали звать Басиным, а меня — майором, хотя Басин — не Басин, но тоже майор запаса. Наши фамилии и адреса они, разумеется, знали. Позвонили и предложили работу. Козлы! Они ошиблись: если им доложили, что мы с Басиным угодили под трибунал и обоим светило пожизненное, хотя в итоге даже оставили звания. Они решили, что если, значит, мы почти попали в полосатики, то — свои. Может быть, тот, кто нас рекомендовал нашим южным друзьям, даже сказал, что мы успели побывать на зоне? Глупо, все это у них узнается мгновенно. А наши друзья — все, как я понял, люди проверенные, все сидевшие. Мы же тогда даже не вышли за ворота посольства, тем более что, во-первых, нас как бы не существовало, а во-вторых, мы не могли ходить. Посольская врачиха оказалась блестящим хирургом, кто мог подумать! Она срезала Басину половину спины, сделала переливание крови, достала пулю, она состригла у меня с морды шматки обгорелой кожи и гипс на ногу положила так, что нога стала лучше прежней, той, что сделали отец с матерью. Мои

¹ Неуправляемый ракетный снаряд.

² Авиастроительная фирма в США.

родители умерли один за другим, получив официальное соболезнование от российского правительства, а левую йоку — левая — моя ударная нога — левую йоку я сегодня быю на три килограмма тяжелее, чем когда-то бил у себя в роте. Посольская врачаха вытащила Басина и сохранила для нас обоих кусок хлеба в будущем. Басин сказал ей «уарга хаа» сразу, как только у него начала спадать температура. Наталья, врачаха, знала местный диалект и применяла местные снадобья — во всяком случае, а видел тот же самый синий корень, что крошил для нас в хлебово Унгба. Нам с Басиным она выкладывала под бинты длинные нитевидные волокна, отделяя их от корневого ствола один за другим. Корешок на все случаи жизни, называется «киру», я привез запасец.

Но особенно хорошо запаслась Наталья, которую за связь с Басиным, разумеется, вычистили из посольства. Они с Басиным трахались, пока старший военный советник писал рапорта, пока заседал, как потом выяснилось, неведомый и далекий трибунал. И улетели мы все на одном самолете — через Хартум в Лондон. Теперь Наталья живет с Басиным и может пробовать киру в деле сколько угодно раз, хотя — постучать по некрашенной доске — все транспорты проходят у нас нормально. Прогулки все по югам, по долинам и по взгорьям, где непрерывно идет война. Но мы умеем оставаться совершенно незаметными. А теперь всю вагонную секцию отогнали в тупик, стреляли из смотровой локомотивной ямы и с крыши пакгауза. Окна вылетели сразу, спасибо, мы успели поужинать, а то пришлось бы жрать мясо пополам со стеклом.

Я никогда не видел столько мяса сразу. Проходя, как в подлодке, через шлюзовую камеру, то есть отпирая и потом запирая за собою, чтобы не выпустить холод, две герметические двери, ступая по дюралевоу полу рефрижератора, залитому, как каток, застывшей темной венозной кровью, я протискивался между рядами свиных туш, подвешенных на крюках к тянувшемуся сквозь весь вагон штоку. Так в самолете вешают на стенгу карабины вытяжных парашютов. Трупно-желтые, недавно убитые тела висели плечами вниз, на месте разреза мясо багровело, торчали края сосудов, виден был выход позвоночника. Пушок изморози осыпался, как глет, при прикосновении. Я каждый раз прежде, чем начинать состругивать мясо, всаживал — с локтя, так невозможно отвести удар, если, конечно, не поймать руку на замахе — всаживал нож в уже мертвое тело. И-я! Клинок входил максимум на пять-шесть сантиметров — туши сделались каменными с тех пор, как перестали жить. Если любого человека ободрать, отрезать ему, как отступнику, голову, он точно так же висел бы на крюке, более не галдя и не нарываясь со своим галдежом на международные конфликты, которых вовсе не ждет желающий остаться совершенно незаметным русский инструктор. Ии-я! Я наносил удар с выдохом, диафрагма хорошо, сильно сокращалась, с потолка, остужая, тоже сыпался снежок. Убитый висел, не отклоняясь, показывая своею неподвижностью, что рука у меня по-прежнему быстра.

— Коля!.. Коля!..

Коля — мое вымышленное имя, которое вполне мог знать вертолетчик. Коля, конёво дело! Коля с головами! Я опять зажмурился, чтобы отогнать воспоминания, хорошо, сильно зажмурился, продолжая лежать на теплой красной земле, но веки открылись сами. Так с чего же они взяли, что я сам, весь, целиком, буду подчиняться чьим бы то ни было командам? Если меня более нет, некому отдавать приказы.

— Эллевен! Эллевен! — завопил тот же голос.

А вот это уже был пароль. Басин тихонько зарычал и сделал движение, пытаясь подняться.

— Лежи! — я прижал его к земле.

Разумеется, они потом требовали нашей выдачи, словно бы я сжег не одну негритянскую деревню, а на самом деле, как они утверждали, полстраны. Надо уметь тушить лесные пожары, ребятки! Чай, не за Полярным кругом живете.

Горящая жердь, служившая матицей, рухнула на меня вместе с жердочками поменьше. Тогда я и не почувствовал, что нога задета, от крыши уже ничего не

осталось — сухой тростник горит, как порох, надо было вытаскивать Басина. Я на рысях тянул его по земле за шиворот, как девуку за косу, болевой сигнал включился, когда я уже подбегал к вертолету: нога — раз, и вырубилась. Стоя на коленях, я на всякий случай дал полпрожка вокруг поляны — для очистки совести. К тому времени это было уже лишнее, их и оказалось-то вместе с пилотом всего четверо мужиков, но я к тому времени уже туго соображал. Вертолетный ас из меня, разумеется, как сито из собачьего хвоста — еле поднялись, но танкетки пускателей я нащупал сразу, как взялся за ручку управления. Зачем он пришел с полным боекомплектом на борту? Войдя в сарай, сразу же схватился за кобуру. Я просто выбросил руку, в которой был зажат нож, не чувствуя, что клинок преодолевает какое-либо сопротивление. На этом континенте, на этой земле предательство у каждого в крови, они впитывают его вместе с материнским молоком. А для меня предатель не существует, его нет для меня, он отсутствует. Именно поэтому рука двигалась легко, словно сквозь пустоту.

— Вот, майор, твой груз, смотри, да-а?

На столе стоял металлический ящик с наборным замком и выведенными на бок вольтметром и цифровым индикатором. Он опять поймал мой взгляд, захохотал, откинул крышку — внутри зияла пустота, только несколько проводов таращились голыми золотыми клеммами — и вновь с грохотом захлопнул.

— Пока пусто, майор. А потом не советую открывать. Взлетишь на небо, как птичка, и каждый твой кусочек будет светиться, понял?

Они опять заржали. А я не любопытен. Я даже не знаю, продолжаю я работать в прежней конторе или же наши друзья самостоятельно разыскали нас с Басиным. Информацию, которую они о нас имели, можно получить только в одном-единственном месте. Но в любом случае мне совершенно все равно, что должно находиться в этой посуде. Я дважды повторил номер вагона-рефрижератора и название станции, на которой стоит сборный состав. К первой и последней цифре номера надо было добавить девять и назвать общую сумму — пароль. Наши друзья, как и все государство, усиленно играли в войну.

Государство нас сдало, словно прикуп. Если кто-то уполномочен заявить, что не имел, не имеет и не будет иметь никакого отношения к сепаратистским формированиям, и после этого заявления мы с Басиным начинаем в собственном посольстве спать по очереди и жрать только то, что принесет Наталья — в основном куриные яйца, потому что о поведении Натальи, разумеется, немедленно было сообщено уполномоченному, и ей вполне могли подсунуть на рынке такую же, как сам уполномоченный, уполномоченную пищу, если моим родителям, упреждая события — поторопились, нестыковочка! — приходит официальное «скорбим вместе с вами» от группы товарищей, и они, родители, умирают — отец все-таки после первого инсульта еще дождался меня, если я день и ночь, неделя за неделей должен, не отрываясь, лежать лицом вниз на теплой красной земле, если, говорю, происходит все это, пусть никто не удивляется, что однажды я подожгу стены и выскочу, прикрываясь от доброжелательных выстрелов живым огнем и мертвым телом негритянского друга, чтобы утвердить то самое отсутствие отношений именно с этой группой товарищей.

Прежде всего ошиблись родители, не проявив гибкости, потом, надо признаться, ошибся я сам, вырвавшись из-под опеки и непоследовательно нырнув в самую сердцевину заведомо опекаемых чувств и поступков. Но больше всего ошиблась контора и вслед за нею — наши южные друзья, полагающие, что им сдали шестерку, которая в одиночку, сама по себе, не сделает никакой игры. Я устал. Я не гоюсь для этой работы. Войска должны быть отведены.

— Мясо сдашь по накладной, бумаги в порядке, понял?

Они опять заржали, все наши друзья смешливы. Зубы у них — хоть на рекламу дантиста.

— А груз — живой, мертвый, но только чтобы туда доехало, понял? Тут башкой отвечаешь, отрежу башку.

Я сплюнул ему под ноги. Все замолчали.

— Потому даю, да-а? — он, секунду помедлив, хлопнул ладонью по кумуляшке, которую я все еще держал в руке. — При первом... э... сомнении, понял? За капусту не бойся — зеленые, придешь, — он характерно протянул «приде-ешь» — твои, да?

— Я не боюсь, друг, — сказал я, и они опять все враз перестали сверкать зубами, только один, наиболее нервный, дергал щекой. Это, возможно, именно он сейчас продолжал садить короткими очередями с крыши, когда все уже перестали стрелять и выжидали.

Мы нормально ехали более суток. Я невесть сколько не попадал в поезд, все только машина или самолет, теперь, словно воплощая детскую мечту, жадно смотрел, как плоская, безлесая, полная песка и глины, но сухая сейчас, твердая земля разворачивается перед взглядом — открытая, своя. С самолета земля — карта-стоверстовка, а в машине вечно следишь за дорогой. Только в поезде можно хотя бы чуть расслабиться, ошутимо представляя, как локомотив хорошо, сильно раздвигает воздух зеленым лбом, как округа расступается, давая дорогу. Низкий грудной звук сигнала катился по сторонам, ошметья его, клубясь, пролетали мимо узкой оконной щели. Мы с Басиным сидели по обе ее стороны, поставив между собою и тонкой стенкой по два свернутых матраса.

— Подъем...

Я открыл глаза — поезд втягивался на полустанок, колесная пара под нами толкнулась в стрелку и тут же — во вторую, и тут же — в третью, поезд явно сваливался с главного хода на боковой путь, если не в тупик. Под козырьком пакгауза горел не выключенный с ночи фонарь. Мне показалось, что напрасный свет режет глаза, словно бы его тусклое сияние несколько часов стояло перед взглядом. Веки закрылись с болью и открылись сами собой.

— Подъем, подъем, — Басин тоже щурился, широкое лицо его было тревожно. — Кажись, приехали.

Поезд встал — тихо. Наконец раздался стук: обходчик шел, проверяя буксы. Я поднялся. Басин уже сидел лицом к стуку с автоматом на коленях. Человек остановился у нас под дверью.

— Эй!.. Слышь! Проверка накладных! Эй!

Басин, прижимаясь к перегородке, откатил дверь, тот уперся руками в пол вагона, чтобы подтянуться и влезть, железнодорожный китель на мгновение оттопырился у него на груди, и под мышкой мелькнул отличный желтый кобур с торчащей рифленой рукоятью. И тут же я выстрелил. Это мог быть кто угодно — настоящий путеец, полицейский, наш конторский, друг или недруг наших друзей, включенный в цепочку — без разницы. На проверку накладных сейчас не ходят по одному, а обходчики, разумеется, не проверяют накладные — так или иначе, но он шел нюхать, разнюхивать, он был с оружием, он не соответствовал своему обличению, значит, обманывал и предавал, значит, мог выстрелить первым. Я выстрелил, даже не успев осознать всего этого, в автоматическом режиме. Пришедший рухнул, руки у него упали, Басин мгновенно задвинул дверь — голова, с которой скатилась черная фуражка, осталась в вагоне. Вмиг побагровевшая, она показалась мне черной, словно физия вошедшего в сарай вертолетчика — тогда, три года назад. Изо рта у него хлынула кровь, язык вывалился, дразня меня, лежащего на теплой красной земле. И тут же стекло, говорю, осыпало осколками. Стреляли в неприкрытую из-за головы щель и в окно. Я перекатился в угол, Басин приоткрыл дверь, голова выпала, он навалился на рукоять, замок щелкнул. Очередь из крупнокалиберного пулемета, прошив тонкую дверь, прошла Басину через грудь.

Я не люблю эту работу. Жратвы теперь — навалом, можно состругивать мерзлое

трупное мясо, нарезать и засовывать в рот алые кубики. Теперь я свободен и могу думать только о себе, у меня нет ни перед кем никаких обязательств. Земля остается такой же кровавой, но теперь от нее идет ледяной холод. Я лежу под висящими телами, полметра — достаточно, чтобы с хорошим, сильным замахом выбросить руку. Желтый фаллос с воронкообразной насадкой, доверенный мне моим южным другом, втыкается в глухую стену рефрижератора, пробивая, как целку, метровую огненную дыру, сдвоенный цинковый лист загорается, свертываясь, словно горящая кожа. С этой стороны меня не ждали. Я обнимаю свинью, словно убитого мной человека, и, прячась за тушей от осколков, одну за другой кидаю остальные, свои и басинские, гранаты — прежде чем прыгнуть в пламя. Половина рефрижератора горит, вспыхивает соседний вагон и тут же — стоящая за ним цистерна. Уцелевшие друзья, уполномоченные отобрать у меня груз, с криком бегут по горячим шпалам. Красные языки облизывают черные масляные бока, и вдруг kloкочущий и брызгающий шар желтого, розового, зеленого огня оказывается на месте нефтяной бочки. По воздуху летят куски железа — мои НУРСы. Совершенно незаметный, я опять лежу на теплой красной земле, проверяя, не выпал ли у меня из-за пояса брезентовый, забранный мягкой проволокой полуметровый мешок с изображением птицы, держащей в когтях пучок стрел и оливковую ветвь — счетчик Гейгера и клеммы в дурацком ящике не могли меня обмануть, их бутафория пропала впустую, глупо было надеяться, что я не смогу открыть замок. А Наталья пусть выбросит киру, Басин умер теперь уж окончательно, никто больше не придет лечиться. Я лежу, проверяя, на месте ли мешок, говоря им всем: — Уарга, уарга! — или: — Комон, комон! — или: — Давай, давай! — все это означает совершенно одно и то же, лежу, оставаясь совершенно незаметным и глядя, как пламя перекидывается с состава налево — на сухую траву в полосе отчуждения, дальше, через шоссе, на ровную желтую стерню и лес за нею, а направо — на белое станционное здание, дальше — к серебристым емкостям с соляровкой, вкопанным в землю, дальше — на площадь, где под людской вой одна за другою начинают взрываться машины. Я человек привычный: не на чем будет улететь — тем лучше, пойду пешком.

Тимур Максютов

Осколок синевы

Рассказы

Знамя ночного мотылька

Фан Дык Ха создал «Государство Небесного Благоденствия Свободных Людей» из ничего — из грязи индокитайских джунглей, стреляных гильз и перевязанных окровавленными бинтами бамбуковых палочек. Историки говорят, что оно просуществовало тридцать три года; это неправда. Никто так и не смог его уничтожить и сжечь столицу, которой не было, — значит, оно существует до сих пор.

Началось все с того, что французский лейтенант возжелал сестру Фана, лунолицую Суан. Это неудивительно: посмотреть на красавицу приходили даже полудикие охотники с той стороны Шаншанского хребта. Они вели себя прилично: неслышно являлись ночью и садились на корточки, кладя на колени бамбуковые духовые трубки, из которых метко плевались колючками, смазанными вонючим соком аманга.

Дикари с окрашенными охрой щеками ждали утра: на рассвете грациозная Суан вместе с другими женщинами деревни отправлялась за водой на реку. Они шли пестрой стайкой и звонко пели, подыгрывая себе на маленьких барабанах — и не от нечего делать, а чтобы прячущийся в тростниках тигр испугался громких звуков и передумал нападать.

Охотники неслышно скользили между лианами, недалеко от тропинки, любовались красавицей и наслаждались серебряным ручьем ее голоса. А потом исчезали, оставив предварительно у стены хижины связки ярких перьев невиданных птиц и свежую тушу горной обезьяны.

Французский лейтенант пришел не один — с тремя десятками желтолицых солдат. Солдаты были худые и голодные; длинные штыки их винтовок торчали во все стороны, словно иглы испуганного дикобраза. Офицер велел привести старосту деревни. Зуавы отправились искать; чтобы заглушить свой страх, они зло визжали — громче даже, чем визжала откормленная к Празднику Дождя свинья, которую вояки закололи штыками. Солдаты храбро задирали подолы юбок и ворошили навозные кучи. Они атаковали сарай, где прятались мешки с рисом, а потом взяли в плен две

Максютов Тимур Ясавеевич родился в Ленинграде в 1965 году. Вырос в Таллине. Окончил высшее военное училище (1986), служил в Забайкалье, на Урале, в Монголии. Капитан запаса. Автор книг «Ограниченный контингент» (2013), «Офицерская баллада» (2016), «Спасти космонавта», «Нашествие» (2017) и др. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

дюжины кур; ошипанные заживо куры не выдержали пыток и рассказали, как искать старосту, прежде чем солдаты их сварили.

Староста был там, где и всегда — в своем крытом бамбуком доме, что в центре деревни.

Старосту притащили на веревке. Солдаты уже выкопали бочонок с рисовой брагой, поэтому шли очень долго — их сильно шатало, соломенные тапочки застре-вали в грязи единственной улицы, и дошли не все — многие полегли на этом пути и захрапели.

Багровый лейтенант в пробковом шлеме щелкал тонким хлыстом по желтым крагам и лениво спрашивал:

— Ну-с, бунтовать будем, чтобы я с чистой совестью спалил эту грудку грязной соломы, которую ты называешь своей деревней? Или все-таки приведешь и подаришь мне красотку Суан?

Старосту качало, как бамбуковый побег на ветру. Седые волосы слиплись, будто рисовые метелки после дождя. Он потрогал изодранную веревкой шею, утер обильно бежавшую кровь и пробормотал:

— Как я могу подарить то, что мне не принадлежит?

— Ну, ты же местное начальство. Видишь эту толпу пьяных обезьян? Это мой пехотный взвод. Он принадлежит мне целиком — от драных патронных подсумков до жизней этих уродов. И твоя деревня, стало быть, принадлежит тебе целиком, вот и подари мне всего одну девку, чтобы сохранить остальное.

Староста улыбнулся:

— Солнце согревает весь мир, не делая различия между императором в золотом дворце и приговоренным к смерти. Ветер родины оmyвает и отроги Шаншаня, и морской берег. Красота Суан вдохновляет птиц на нежные песни и заставляет наших юношей распрямлять плечи.

— Это значит «нет»? — хмыкнул лейтенант.

Староста промолчал.

Тогда француз достал из желтой кобуры тяжелый «лебель». Введенный курок шелкнул, как хлыст бога смерти Ямы.

Лейтенант, не глядя, выстрелил в толпу: бабушка Туен вздохнула, будто давно этого ждала; удивленно посмотрела, как пропитывается бурый ветхий аозай, и рухнула ничком в раскисшую землю.

Француз вновь взвел курок и сказал:

— В барабане осталось всего пять патронов. Но ты не переживай, старик: у меня есть еще десяток. А если эта пьянь не растеряла боекомплект в битве с вашими курицами, то мой взвод может сделать добрую сотню залпов. Как тебе перспектива?

Староста упал на колени.

Медленно, как падает слоновое дерево, подрубленное усердным дровосеком.

А следом опустилась на колени вся деревня.

Осталась стоять только сестра Фана, лунолика Суан. Она улыбнулась небу и пошла легко, не касаясь смотрящих в землю соотечественников, будто танцуя — так танцует ночной мотылек в джунглях, не касаясь вялых мокрых лиан.

— Другое дело, — осклабился лейтенант.

И французы ушли.

Фан узнал обо всем этом, когда на следующий день вернулся из леса.

Молча выслушал рассказ старосты: тот лежал на соломенной лежанке и кряхтел, пока невестка обтирала избитое тело.

Кряхтел, стонал и плакал. Говорил сбивчиво и закрывал глаза ладонями.

Фан молча встал с циновки, не притронувшись к чашке с рисовой водкой. Молча вышел из дома старосты, и пошел прочь из деревни, не оглядываясь.

Что было потом, толком неизвестно. Сначала в заштатном французском гарни-

зоне сгорел дом лейтенанта, и в огне погибли не только офицер, но и его жена, и двое детей.

Молоденький сержант на пепелище размахивал руками:

— Погибшие были связаны до пожара! Посмотрите на положение рук и ног.

И похоже, им распорол животы.

Но бывалый военный прокурор Южного комиссариата только хмыкнул:

— Не майтесь дурью, молодой человек. Вы, кажется, бельгиец по происхождению? Слава Эркюля Пуаро не дает покоя?

Потом в грязных переулках «веселого» квартала Сайгона начали находить трупы сутенеров-китайцев, подгулявших моряков с французских канонерок и торговцев опиумом. Все они были убиты одним и тем же ужасным способом: сначала нападавший разбивал жертве затылок, лишая сознания, а потом распарывал живот от солнечного сплетения до паха.

Некоторые успевали прийти в себя за минуту до смерти от кровопотери и пытались запихать обратно перемазанные в жирной индокитайской грязи внутренности.

Военный комендант уже подготовил приказ о введении чрезвычайного положения, но убийства внезапно прекратились.

А на заброшенном кладбище на окраине Сайгона, среди безымянных холмиков, появилась мраморная плита. Без надписей.

Только с вырезанным изображением ночного мотылька.

* * *

Через три года в китайском Гуаньчжоу, в военной школе Вампу, появился новый курсант по прозвищу «Вьетнамец». Он не особо корпел над идеологическими предметами; начальник политотдела школы Чжоу Энлай отечески пенял мрачному юноше за нечеткое изложение «трех принципов Сунь Ятсена». Зато советские преподаватели тактики и военной топографии нарадоваться на Вьетнамца не могли, а уж на занятиях по стрельбе и диверсионной работе ему не было равных.

Я не могу рассказать, как я там оказался, да это и неважно.

Я спросил:

— Они не приходят к тебе? Все эти французы с распоротыми животами, китайцы с развороченными затылками? Твои бойцы, разорванные на части бомбами, завяленные заживо на солнце?

Я был осведомлен о любимом развлечении зуавов: они привязывали бунтовщиков к столбу на самом солнцепеке, а жителей провинившейся деревни выстраивали вокруг. И потом делали ставки на то, что произойдет раньше: умрет привязанный к столбу или кто-нибудь из жителей деревни. У вторых, конечно, было преимущество: на них были одежда, широкополые шляпы, и они стояли тесно, прикрывая друг друга от солнца.

— Нет.

— То есть ты не испытываешь угрызений совести?

Вьетнамец затаился японской папирсой, которая воняла ужасно: говорят, сыны Ямато делают эту дрянь из высушенных водорослей, предварительно пропитав их настоем на окурках, собранных в портовых борделях. Там прожигают свои гульдены и доллары длинноносые гайдзины. Портовые шлюхи — это вам не гейши разряда Лунной Хризантемы; это неграмотные деревенские девки, которых родители продали за мешок риса. У меня не повернется язык осудить несчастных стариков за подобную торговлю родной кровью: дочке гарантировано позорное, но сытое существование. А мешок риса — это три месяца жизни, если семья не слишком велика.

— Нет, — повторил Вьетнамец, — совесть — это не голодный тигр в тростниках. Она неспособна ничего сожрать; разве что позудеть над ухом, подобно малярному

комару. Я как-то раз сидел в засаде сорок восемь часов, поджидая, когда французский комиссар поедет к любовнице за реку. Комиссар все опаздывал: может, его вызвали на важное совещание по поводу духовного воспитания туземного населения; а может быть, у него разыгрался простатит. Но я сидел по уши в вонючей грязи, и комары медленно жрали меня, потихоньку зверея: они уже добрались до костей черепа и обломали о них хоботки. В тот момент я мечтал, чтобы пришел тигр, отъел мою голову, и эта пытка наконец закончилась. Но вот комендант появился, и все завершилось благополучно.

— Благополучно для коменданта?

Вьетнамец оценил шутку: расхохотался, хлопая себя по тощим коленкам.

— Там было сто шагов. С такого расстояния и слепая старушка попадет на слух.

— И все-таки, — не успокаивался я, — всегда ли оправданы жертвы на пути к свободе?

Вьетнамец потушил папиросу в консервной банке из-под свинины — завоняло неимоверно. Так пахла деревня Кванчу, которую французы спалили, когда староста отказался выдать связников Фан Дык Ха. Жителей загнали в большой овин вместе со всей скотиной и сожгли.

Там страшно смердело горелым мясом. И три дня спустя, и месяц. Может, воняет до сих пор.

Вьетнамец сунул руку в карман китайского кителя дешевой бумажной ткани. Достал винтовочный трассирующий патрон.

— Представь себе, что это человек. Неважно, откуда — из Парижа, Сайгона или твоего Ленинграда.

— Но-но, — быстро сказал я, — с чего ты взял, что я из Ленинграда? Я вообще — немецкий студент Клаус Вертер в туристической поездке.

— Несомненно. Так вот, о чем мечтает патрон? Да ни о чем возвышенном. Лежит себе в обойме рядом с такими же и хочет оставаться в темном и сухом месте как можно дольше. Он даже не представляет своих способностей. Он не знает, что внутри его — маленькое солнце, умеющее взорваться, разогреться до тысяч градусов. Его пуля-голова способна пролететь три километра и убить тирана, изменить мировую историю, швырнуть человечество в бурный поток, несущийся к океану свободы. Мечтает ли патрон о полете? о подвиге? о свершении? Ответь мне, немецкий студент-романтик, досконально знающий ремесло отравлений и тихих убийств.

Я молчал. Это непедагогично; преподаватель всегда должен найти ответ. Но я молчал.

— Так вот, — сказал Вьетнамец, — я делаю великое дело. Я открываю забитым, голодным, несчастным людям их истинное предназначение. Они не должны дремать в пыльном подсумке. Они должны лететь к великой цели с горящими жопами.

* * *

Через год, когда меня уже не было в китайской школе Вампу, Вьетнамец насмерть поругался с преподавателем марксизма и ушел. С ним ушли три десятка лучших курсантов.

Государство Небесного Благоденствия Свободных Людей успешно отбивалось от французов, позже от японцев, опять от французов; затем от американцев. Потом пришли коммунисты, но и у них не вышло подчинить себе горных стрелков Вьетнамца. Официальная пресса не писала о единственном вернувшемся в Ханой пропагандисте, желудок которого был набит страницами из «Капитала»; остальные переварить такое богатство не смогли и умерли по пути через джунгли. Поэтому я уверен: Государство существует до сих пор.

Невозможно подчинить себе пули с горящими жопами, летящие к великой цели.

Особенно если на их знамени — силуэт ночного мотылька.

Осколок синевы

— Битков! Сергей!

Визгливый голос воспидрылы носится над участком дурной вороной, бьется об игрушечные фанерные домики, путается в мокрых кустах.

— Куда опять этот урод запропастился, а? Найду — уши пообдираю. Битко-о-ов!

Серёжка сидит в любимом углу, скрытый от воспитательницы ободранной сиренью. Обхватив красными от холода ладошками колени, отчаянно шмыгает носом — веснушки так и подпрыгивают, словно мошки, стремящиеся улететь в низкое осеннее небо.

— Нет, ну надо же. Ведь два раза группу пересчитала, все были на месте — девятнадцать голов. А как на обед сажать — нету Биткова. Вот скотина малолетняя. Битков!

— Вера, ты в группе-то смотрела? Под кроватями в спальне?

— Да везде я смотрела. Вон, колготки порвала, пока лазила-то на карачках. Ну, сука, он мне ответит за колготки.

— А в шкафчиках? В раздевалке? В прошлый раз он там был.

— Точно! Во, зараза.

Воспидрыла, пыхтя прокуренно, убегает. Заскрипела дверная пружина, грохнула.

— Не пойду, — бормочет Сережка, — суп ваш есть, а Петька плевать-ся опять. И тихий час этот.

Битков рыжий, поэтому дразнят. И не хотят водиться. Он давно привык молчать с одноклассниками, а разговаривает обычно сам с собой.

Сыро, неудобно; облака ползут грязно-серыми бегемотами, давят брюхом.

Серёжка начал смотреть на улицу, сквозь забор из рабицы: там тоже — скукота. Ни пожарной машины, ни завалящего солдата. Только тополя машут тощими руками — будто соседки ругаются, швыряют друг в друга умершими листьями. Какая-то старуха прошаркала галошами, бормоча себе под нос. А на носу — бородавка!

— Баба-яга, — прошептал Битков и начал пятиться прочь от ставшего вдруг ненадежным сетчатого забора. Опять сел на корточки, чтобы быть меньше, незаметнее.

И — увидел вдруг.

Вдавленный в грязную землю, между редкой щетиной жухлой травы — неровный треугольник, размером со спичечный коробок.

Пыхтя, выковырял с трудом: кто-то будто вдавил каблуком, хотел разбить — а мягкая земля не дала.

Осколок синего стекла. Настолько синего, что сразу вспоминалось деревенское лето, оранжевый смеющийся шар в зените, запах полыни и нагретых солнцем помидоров. Сухие ласковые руки бабушки Фени, тарелка шанежек, похожих на подсолнухи. И кружка теплого молока, которое от щедрой горсти малины становилось синевато-розовым.

Сережа осторожно поднял осколок и посмотрел сквозь него в небо. В серое, сонное небо, в котором не угадывалось даже пятна от скрытого грязной ватой светила.

И ахнул...

... тополя прекратили вихляться, по команде «смирно» вытянулись ввысь и выбросили тугие белоснежные паруса. Волны едва успевали уворачиваться от стремительного форштевня — отпрыгивали, плюясь пеной и сердито шипя. И до самого горизонта, так далеко, что заломило глаза, — синее, синее, безбрежное...

— Вот ты где, подонок!

Стальные пальцы с облупленным маникюром вгрызлись в веснушчатое ухо,

закрутили — аж слезы брызнули из глаз. Воспидрыла потащила Серёжку в здание — в запах мочи, хлорки и пригорелой каши, в крашенные мрачно-зеленым стены.

А в кармашке штанов притаился синий осколок — мальчик нащупал его сквозь ткань. Шмыгнул носом и улыбнулся.

* * *

— Ма-а-ам!

— Отстань. Семнадцать, восемнадцать. Отстань, собьюсь — опять перевязывать.

Мама вяжет, и спицы качаются, словно весла резвого ялика. Заглядывает в заграничный журнал со схемой вязки — подруга дала только на один день.

У мамы морщинки возле глаз. Шурился близоруко, но очки не носит, чтобы быть красивой. Когда она смеется — морщинки превращаются в лучики. Серёжа так солнце рисовал в раннем детстве: кружок и тонкие штрихи.

А когда плачет, бороздки становятся сетью, ловящей слезы.

Плачет чаще.

— Ну ма-а-ам!

— ... тридцать два. Запомни: тридцать два! Не ребенок, а наказание. Ну, чего тебе надо?

— А вот папа. Он же моряком был, да?

Хмурится. Откладывает вязание, идет на кухню. Мальчик бежит за ней, как хвостик.

— Ведь был?

Мама мнет сигарету. Пальцы ее дрожат, поэтому спички ломаются — и только третья вспыхивает. Битков втягивает воздух веснушчатым носом — этот запах ему очень нравится.

Когда мама злится, она называет Биткова не «сынулькой» и не «Серёженькой». И говорит — будто отрезает по куску.

— Сергей. Почему. Ты. Это. Спрашиваешь?

Мальчик скукоживается, опускает глаза. Шепчет:

— Я же помню. Черное такое пальто, только оно по-другому называется. И якоря. И еще...

— Ты ошибаешься, — резко обрывает мать, — твой отец — не моряк.

— А кто тогда? — совсем уже тихо.

— Твой отец — сволочь! И больше, Сергей, изволь не задавать мне вопросов о нем.

Мама с силой вдавливая окурок и крутит его в пепельнице, убивая алый огонек. Выходит из кухни и автоматически выключает свет.

Серёжка сидит в темноте. Гладит синий осколок.

И вспоминает — ярко, будто было час назад: черная шинель («шинель», а не «пальто»), якорь на шапке, ночное небо погон — золотые звездочки и длинный метеоритный след желтой полосы...

Авоська с мандаринами, елочные иголки на ковре, смеющаяся мама — еще без морщинок у глаз.

И тот непонятный ночной разговор:

— Куда мы поедем, в Заполярье?! В бараке жить?

— Родная, будет квартира. Ну, не сразу.

— Торчат на берегу, психовать за тебя? По полгода! Без работы, без друзей!

Серёжка зажмуривается еще крепче.

Хочет увидеть играющую солнечными зайчиками лазурь, но вместо нее — тяжелые свинцовые брызги, оседающие льдом на стальных поручнях, и простуженный крик бакланов...

* * *

— Свистать всех наверх!

Черные грозовые тучи мчатся, словно вражеское войско, грозно стреляя молниями. Рангоут шхуны стонет, едва выдерживая ураган. Лопаются шкоты и хлещут палубу, будто гигантские кнуты. Неубранный стаксель рвется в лохмотья...

Многотонная волна набрасывается злобным хищником, хватая рулевого — и утаскивает за борт... Бешено вращается осиротевший штурвал, растерянno крутится обреченное судно.

Но кто это? Фигура в промокнушем насквозь плаще, в высоких ботфортах, бросается и хватается рукоятки рулевого колеса, разворачивая шхуну носом к волне.

— Молодец, юнга! — кричит пятнадцатилетний капитан Дик Сенд, — ты спас всех нас. Тебе всего восемь лет, но в храбрости и умении дашь сто очков вперед даже такому морскому волку, как Негоро!

Юнга отбрасывает капюшон, обнажая благородный профиль, и говорит:

— Мы идем неверным курсом, шкипер! Кок засунул топор под нактоуз, и перед нами Африка, а не Америка.

Паршивец Негоро выхватывает огромный двухствольный пистолет и стреляет, но юнга успевает закрыть капитана своим телом.

Дик Сенд склоняется над храбрецом:

— Как зовут тебя, герой?

Юноша смертельно бледнеет и успевает прошептать:

— Серж. Серж Биток...

По накренившейся палубе с грохотом катится пушечное ядро.

— Биток! Ты заснул, что ли? Мячик подай.

Серёжка хватается мяч, неуклюже пинает — мимо. Просит:

— Ну возьмите хоть на ворота. Пожалуйста.

— Иди, иди отсюда. Без сопливых скользко.

* * *

— Рыба!

Егорыч грохочет по дощатому столу так, что остальные костяшки подпрыгивают и сбиваются.

— Везет тебе сегодня, — качают головой игроки.

— Нам, флотским, всегда везет.

У тщедушного Егорыча — штопаная тельняшка, руки в наколках: полустертые якоря, буквы «ТОФ», сиястая русалка.

— Еще партию?

— Не, там же закрытие Олимпиады по телику.

Партнеры встают, идут по своим подъездам. Сергею тоже хочется смотреть закрытие из Москвы, но он остается. Смотрит, как Егорыч тихо матерится, копаясь в сморщенной картонной пачке «Беломора». Наконец находит невысыпавшуюся папирсину, чиркает самодельной зажигалкой из гильзы, прищуривается от едкого дыма. Фальшиво затягивает:

— Когда усталая подлодка из глубины... кхе-кхе-кхе.

Кашляет так, что ходят ходуном тощие плечи. Подмигивает Биткову, обкусывает картонный мундштук, протягивает беломорину:

— Добьешь, комсомолец?

— Не, — крутит головой Серега, — мне нельзя.

— Ну да, ну да, — хихикает Егорыч, — боксер, понимаю. Какой уже разряд?

— Второй юношеский.

— Ништяк.

Битков деликатно шмыгает. Решается:

— Дядя Егорыч, а океан — это ведь красиво?

— Да нунах. Лучше три года орать «ура», чем пять лет — «полундра». Хотя сейчас два и три служат. Я ж на железе, в подплаве. Чего я там видел? Мазут, отсек да учебные тревоги. Аварийная, — начал загигать прокуранные пальцы с желтыми ногтями, — пожарная, химическая... Уже и не помню толком. «Человек за бортом», во! Для подплава очень актуально, хе-хе-хе. Зато пайка на флоте — это песня. Железная пайка. Сгущенку давали. И кок не жмотился, добавку — всегда пожалуйста.

— Ну как, а небо, волны? Синева.

Егорыч кивает:

— Когда всплываем аккумуляторы подзарядить — да. Разрешают на мостик по двое подняться, покурить. После отсека-то! Воздух — пить можно, такой вкусный. И небо... Да.

Егорыч зажмуривается, его сморщенное загорелое лицо вдруг озаряется шерба-той детской улыбкой.

Видит и аквариумную воду, и такое же небо. Снежно-чистые комки облаков отражаются белыми барашками на гребнях.

Без всякого волшебного осколка — видит.

* * *

— Товарищ подполковник, ну пожалуйста!

— Станный ты какой-то, призывник Битков. Какого хрена тебя во флот потянуло? Опять же, три года служить. А так — два.

Подполковник отдувается, трет несвежим платком багровую лысину. На столе — тарелка с надкусанной домашней котлетой, чай в стакане прикрыт от мух бумажкой. Как такому объяснишь?

— Я с раннего детства... Мечта у меня.

— Странная экая мечта, — военком крутит толстой шеей, отстегивает галстук — тот повисает на залке.

— Городок наш сибирский, тут до любого океана — тысячи верст. Я тебе так скажу, Битков. Спортсмен, школу закончил отлично. Характеристики хорошие. Кстати, а чего не поступил в институт-то?

— Я хотел в военно-морское или торгового флота, во Владивосток. А мама категорически... Болеет она у меня.

— Ну, и чего? Не поехал во Владик, правильно, нахер он нужен. У нас же — и сельскохозяйственный, и политех. О! Педагогический, опять же. Одни девки учатся, был бы там, как султан в гареме.

Военком подмигивает и противно хихикает.

— Я... Я настаиваю, товарищ подполковник.

— Ну ты, сопляк, — повышает голос офицер, — настаивает он. Настаивалка еще не выросла. Пойдешь в ВДВ, в Ферганскую учебку. Про атмосферу Земли слышал? Пятый океан, голубой. Будешь прыгать с парашютом — считай, в синеве купаться, хе-хе.

* * *

Злой воздух хлещет, давит стенами. Десантники прячутся за рубкой катера, кутаясь в бушлаты. Старлей кричит, перебивая ветер:

— И чтобы без самостоятельности! Без пижонства этого вашего, никаких бескозырок. Каски не снимать! Высаживаемся, сразу цепью рассыпаемся. Первая группа прикрывает, вторая — с саперами к доту. Закладываем заряды и уходим. Все понятно, товарищи краснофлотцы?

Сосед Биткову шепчет на ухо:

— Ага, уходим. А если ждут, самураи чертовы? Берлин вон три месяца как взяли. Обидно так-то. Считай, после войны.

Серёга молчит. Проверяет сумку с дисками, поближе подтаскивает пулемет Дегтярева.

Катер сбрасывает ход до самого малого, чтобы не реветь дизелем — сразу начинает качать так, что ноги задирает выше головы.

— Пошли, — командует старлей шепотом.

Можно подумать, это поможет. Катер — как на ладони. Светило хлещет очередями веселых зайчиков, скачущих по лазури.

Почему все-таки не ночью, тля?!

Кто-то украдкой крестится. Переваливается через борт, ухает в воду — по грудь. Подняв над головой ППШ, идет к берегу, как танцует, — один локоть вперед, потом — другой.

Битков расстегивает промокший ремешок, снимает каску, бросает на палубу. Достает из-за пазухи беску, натягивает поглубже, ленточки — в зубы. Зажмурившись, кивает солнцу. Прыгает в зеленую волну.

Бредет к мокрым камням — они сейчас похожи на ленивых тюленей, развалившихся под жарким небом августа.

Когда остается двадцать метров — оживает японский дот. Бьет прямо в лицо ослепительными вспышками.

Серёга, опрокинувшись на спину, тонет — вода смыкается над головой, плещется, рвется в продырявленные легкие.

Нечем дышать.

Битков пытается нащупать в кармане треугольный стеклянный осколок.

* * *

— Харе орать, Биток.

Сергей распахивает глаза. Пытается втянуть раскаленный воздух — и корчится от боли. Розовая пена пузырится на губах.

Над головой — не синее курильское небо и не зеленая тихоокеанская волна.

Над головой — потолок кабульского госпиталя. В желтых потеках и трещинах, напоминающих бронхи на медицинском плакате.

— Осколок! Осколок мой где? — хрипит Битков.

— Во, видали? Хирурга спрашивай. Там из тебя всякого повынимали — и пуль, и осколков.

— Нет, — кашляет Серёга. Сплевывает в полотенце, добавляя бурых пятен, — стеклянный такой. Синий.

— Тыфу, вот чокнутый, а? Его когда в вертолет тащили — тоже все свою стекляшку искал. Кто маму зовет, а Битков — кусок бутылки.

— Где?!

— В манде. В тумбочке твоей, придурок.

Рыча, садится на койке. Ощупывает перебинтованную грудь. Скрипит верхним ящиком тумбочки.

Тошная пачка писем. Картонная коробочка с орденом Красной Звезды. Мыльница. Бурый огрызок яблока. Вот!

Берет осколок синевы. Прижимает к повязке, осторожно ложится на спину.

Улыбается растрескавшимся губами.

* * *

— Ну, все! Кабздец тебе, барыга.

Кожаных — четверо. Мелькают набитые кулаки, белые полосы «адидасов».

Мужик держится секунд десять, потом бритые его заваливают, начинают пинать лежащего — с хеканьем, выдающим удовольствие от процесса.

— А ну, стоять!

Битков ставит на скамейку ободранный чемодан с металлическими наугольниками, бросается в драку.

Первый даже не успевает развернуться — хрюкнув, падает мордой в асфальт. Второй успевает — и совершенно зря. Прямой левой приходится точно в челюсть.

Третий издает мяукающие звуки, начинает махать ногами. Балерун, тля. Кто же ноги выше пояса задирает в реальном-то бою?

Битков ловит каратиста под колено, бьет лбом в харю. Добавляет уже по упавшему.

Последний шипит что-то матерное, выбрасывает тонкий луч ножа. Вот это — зря. За такое не прощают.

Серёга выбивает нож. Руку ломает вполне осознанно и намеренно.

Помогает мужику подняться.

«Барыга» смотрит на свой пиджак в кровавых пятнах. Качает головой:

— Надо же, суки. Двести баксов платил за шкурку-то.

Подходит к каратисту, пинает узким туфлем. Нагибается и орет:

— Вы, бычары, всем кагалом не стойте, сколько пиджак! Так своему старшему и передай: должен теперь.

Поворачивается. Протягивает Биткову бумажный прямоугольник.

— Будем знакомы. Павел Петрович.

Удивленный Серёга крутит картонку, чешет лоб.

— А это чего это?

— Визитная карточка, — хмыкает Павел Петрович, — ты откуда такой взялся? Вписываешься ни с того ни с сего, визитки пугаешься.

— Я-то местный. Просто четыре года за речкой. Сверхсрочную еще.

— А! Афганец, значит? Это хорошо. Пошли. С меня поляна за спасение.

— Да как-то...

— Пошли-пошли. За все платить надо. А про Пашу-Металлурга любой скажет — я долги отдаю.

* * *

Четыре огромные трубы, будто наклоненные назад встречным ветром, нещадно дымят, пачкая ослепительную лазурь. Нож форштевня режет бирюзу, как грубый плуг — английский газон.

По верхней палубе прогуливаются пассажиры первого класса: сияют цилиндры, топорщатся нафабранные усы. Дамы сверкают драгоценностями: один гарнитур стоит столько же, сколько новейший миноносец.

Смех, словно звон серебряных колокольчиков. Улыбка — нить жемчуга в перламутровом обрамлении.

— Вы так милы, Серж. А китель великолепно облегает вашу фигуру. Ах, моряки — моя слабость.

В полутьме — шуршание сползающего шелка. Алебастр кожи. Неземной аромат.

— Это — Флер д'Амур, запах любви. Идите ко мне, мон капитэн.

— Кхм. Пока — только вахтенный начальник.

— Ах, смешной! Разве это важно? Вы же приведете бригадину нашей любви в лагуну истинной страсти, не так ли?

Звон пружин.

Жар скользящих тел, влага и дурман.

Скрип пружин.

Скрежет измученных пружин.

Вздых.
Стон.
Стон и скрежет рвущегося железа.
Бешеный стук вестового в дверь каюты:
— Всех офицеров — на мостик! Катастрофа, мы столкнулись с айсбергом.
Крики наполняют тесные пространства палуб.
— Ах, вы же не бросите меня, Серж?!
Прижимается горячим телом, умолая.

* * *

Битков открыл глаза.
Кто-то уткнулся в плечо, прижался горячим телом.
Серёга скосил взгляд, увидел пышную пергидрольную волну. Отодвинулся осторожно. Потрогал:
— Эй, девушка! Вы кто? Гражданка...
Блондинка проснулась. Хихикнула:
— Ты че, ты ж не мент, вроде. Какая я тебе гражданка?
Перекатилась на спину, потянулась — даже не пытаюсь прикрыть роскошные формы.
Битков отвернулся. Начал собирать по полу одежду — вперемишку свою и женскую.
Блондинка мяукнула:
— А ты чего торопишься, милый? Я не против продолжения.
— Можно и продолжить. Только я ни хрена не помню. Где мы? И ты откуда тут?
— Ну как же. У Павла Петровича на даче. А ты меня сам выбрал. И можешь не спешить — еще два часа оплачено.
Битков выпучил глаза:
— Ты что, эта? Э-э-э. Проститутка?
— Фи. Какая проза. Я — ночная бабочка, ну кто же виноват?
В дверь стукнул и сразу вошел Павел Петрович. Рассмеялся:
— Что, уже поете? Так, Серёга, пошли вниз, опохмелю и поговорим. А ты, подруга, давай, собирайся. Премию у водителя получишь.

* * *

— Для начала — пятьсот баксов в месяц. Ну и десять процентов в бизнесе.
Битков крикнул.
— Да, я со своими щедрый. А ты — свой. Ну что, еще «абсолюта»? Простого или черносмородинового?
Сергей прикрыл стопку ладонью.
— Погоди, Пал Петрович. Очень заманчиво, конечно. Только я не собирался дома оставаться. Хотел во Владик ехать, поступать в училище Невельского. Переживаю только за экзамены, со школы не помню ни фиги.
— Тю! И на хрена тебе оно надо? Ты ж четыре года лямку тянул, а там первокурсники в казармах. И закончишь — кем будешь-то?
— Я на судоводительский. Штурманом буду. Потом — и капитаном, если повезет.
— Вот смотрю я на тебя, Биток, и охреневаю. Точно как блаженный. Пароходов-то не осталось уже, моряки без работы. Это они при совке были крутые, дефицит возили и инвалютные копейки получали. А сейчас — нищета, кто под флагом не ходит.
— Я не из-за денег. У меня мечта. Я океан мечтаю с детства увидеть.
— Дурак ты, ей-богу! Да заработаешь денег и поедешь на свой океан. В круиз. С мулатками.
Серёга потрогал неровные края треугольника в кармане. Помотал головой.

— Нет.

— Ну, хорошо. Давай так: годик у меня поработаешь. Квартиру купишь, мать подлечишь. И на будущий год поступишь. Я там-сям подмажу, связи подниму — проскочишь в свое училище, как по маслу.

Битков сказал, только чтобы не обижать хорошего дядьку:

— Я подумаю.

— Это как раз хорошо. Никому не возбраняется. Подумать — оно полезно.

* * *

— Итак, «Кореец» вернулся, атакованный японскими миноносцами. Блокада Чемульпо полная. По старой флотской традиции, господа, первое слово — самому младшему по званию и годам службы. Сергей Иванович, прошу вас.

Мичман вскочил, волнуясь. Огладил тужурку. Прочистил горло.

— Господа, я подумал...

Командир подождал. Улыбнулся ободряюще:

— Ну что же вы, голубчик? Продолжайте. Подумать иногда даже штафиркам не возбраняется, а уж вам и сам бог велел.

— Всеволод Фёдорович, надобно принимать бой. Я полагаю, необходимо идти на прорыв, пытаться уйти в Порт-Артур.

Сел, краснея.

Офицеры поднимались один за другим, говорили о том же.

Командир помолчал. Перекрестился.

— Ну что же, так тому и быть. Офицеров по механической части прошу сделать все возможное, чтобы обеспечить полный ход хотя бы в девятнадцать узлов. Поговорите с кочегарами, с машинной командой. От всех господ офицеров и экипажа жду, что исполните свой долг до конца. Выход назначаю в одиннадцать часов. С богом.

В ушах еще гремели оркестры английского и французского стационаров, провожавшие крейсер на безнадёжную схватку.

Море было спокойным и безмятежным; ластилось к крейсеру, поглаживая борта зелеными лапами. Фок-мачта царапала синеву, словно пытаясь оставить последний автограф.

Мичман приник к визиру. Нашупал хищный силуэт японского флагмана. Прокричал:

— Дистанция сорок пять кабельтовых!

Это было в 11 часов 45 минут.

В 11.48 в верхний мостик угодил восьмидюймовый снаряд с «Асамы».

После боя моряки обнаружили оторванную руку мичмана, сжимающую стеклянный осколок — видимо, от оптической трубы.

Все, что осталось от дальномерного офицера.

* * *

Битков вскрикнул. Разжал ладонь — синий осколок врезался в пальцы. Поднял ко рту, высосал капельку крови.

— Ты когда-нибудь себе пальцы отрежешь, дарлинг.

Жена сидит у итальянского авторского зеркала. Правит ноготки пилкой: «вжик-вжик». Будто крохотные мирные раковины превращает в хищников.

Ручка пилки облеплена стразами.

— Это вообще-то ненормально, дарлинг. В пятьдесят лет спать со стекляшкой в руке.

— Не твое дело.

— Фи. Хамишь, май хани.

Битков морщится. Задолбали англицизмы к месту и нет.

Вжик-вжик.

— Чего ты их трешь? Сточишь же до мяса. Позавчера делала маникюр.

— И сегодня буду, на двенадцать вызвала мастера на дом.

Сергей Иванович смотрит на бутылку из-под двадцатипятилетнего «чиваса».

Наклоняет над стаканом. Остатки едва покрывают дно.

Вжик-вжик.

— Прекрати, достала. Будто мясник нож точит.

— А меня достало, что ты бухаешь с самого утра...

— Хлебало завали.

— ... и до поздней ночи. Ходишь потом с опухшей рожей.

— Заткнись, тварь. Своего тренера по фитнесу учи. Если он, конечно, обучаем.

Жена сладко тянется, изгибая спинку.

— О-о-х! И еще как обучаем. Способный мальчик.

— Он тебе в сыновья годится.

— Бред.

— Нет, не бред. Если бы не чистки твои бесконечные... Как раз родила бы в девяностом, и было бы мальчику двадцать пять сейчас.

— Слушай, лучше пей.

Маслянистый виски жжет распухший язык.

— Ты не забыл, дарлинг? Сегодня пати у Васильчиковых.

Битков взрывается:

— Во-первых, у твоих Васильчиковых может быть только пьянка под гармошку по поводу смерти соседской коровы, а никак не «пати». Во-вторых, ты прекрасно помнишь: сегодня мамина годовщина. Я поеду на кладбище.

Вжик-вжик. Точеная ножка качает туфелькой.

Жена никогда не ходит в тапочках. «Фи, это моветон».

Мама ходила в тапочках. Старых, без задников. И с помпоном на левом. А с правого тапка помпон потерялся.

Звякнул «верту».

— Сергей Иванович, это Лёня. Я подъехал, стою внизу.

Чертыхаясь, начал подбирать галстук. Плюнул.

— Ты бы хоть в душ сходил. Воняешь, как козел. Не комильфо, дарлинг.

— А ты не нюхай. На работе помоюсь.

— Да-да. И ведь найдется кому спинку потереть, не так ли? Дай угадаю. Сегодня у тебя Света? Или эта, черненькая. Галя, да?

— Обе сразу, — пытит Битков, натягивая ботинки. Пузо мешает, а ложка для обуви завалилась куда-то.

— Это вряд ли. Обе сразу не поместятся в кабинке. Света слишком жопаستا.

— Да уж, тебе до Светочки далеко. Одни мослы. Сточилась об тренера, мать.

Вжик-вжик.

* * *

Охранник вытянулся, отдал честь:

— Здравия желаю, Сергей Иванович!

Битков мрачно зыркнул:

— Ты чего, клоун? У нас что, армия тут?

Охранник побагровел. Содрал бейсболку, начал протирать лысину несвежим платком. На столе — тарелка с надкушенной котлетой и стакан с чаем, прикрытый бумажкой. Проблеял:

— Виноват...

— А чего жрем на рабочем месте?

Блеяние перешло в визг:

— Ви-и-иноват. Исправлюсь.

Битков поднялся на пролет. Вспомнил что-то, вернулся.

— Слышь, служивый. Ты подполковником был? В военкомате?

— Никак нет. Я капитаном третьего ранга. Северный флот.

— Да-а? Подплав? Надводник? — живо заинтересовался Битков.

— Я, это. Извините. Замполитом на базе снабжения. В морях не бывал-с.

— Тьфу ты.

* * *

— Серёжа, ну чего ты кислый?

— Петрович, договаривались же. Я на Тихий океан на две недели. Без отпуска пятый год. А тут в кои веки — без жены, она с подружками своими малахольными в Париж на неделю высокой моды. Не могу я ехать в Тюмень.

— Тю! На Тихий океан, ага. В Тайланд, что ли? Смотри, там транссексуалов море. Не перепутай, ха-ха-ха!

— Да какие... В Находку. Я же теплоход купил. Старенький, но еще фурычит. Ребята ремонт сделали, фотки прислали. Ты же помнишь, у меня мечта.

— Биток, кончай тут мне. Тьфу, то есть не мне и не кончай. Говорю — надо в Тюмень. Они там совсем оборзели, два лярда уже торчат. А ты разрулишь, ты можешь. Давай, а?

— Ну как ты не понимаешь, Петрович! Мы до Камчатки своим ходом, а там уже все заряжено. Вертолет, инструктор. У меня график по часам расписан. Экипаж со всей Находки собирали. Не могу я!

Павел Петрович шарахнул волосатым кулаком по столу — звякнула печатка с бриллиантом о столешницу.

— Все, нахрен. Пропил совсем мозги уже? Русским языком говорю: «два лярда». Закроем контракт — нормальную яхту себе купишь, у меня приятель продает на Канарах. По божеской цене отдаст. А то будешь позориться на пердящем корыте, белых медведей до икоты доводить. Не обсуждается.

— Мне не надо Канары. Мне надо Тихий океан.

— А мне пох, что тебе надо!!! Будешь делать то, что надо мне. Иди, готовься. Билеты на самолет у Светочки своей сисястой заберешь. Свободен.

— Да. Я свободен.

Грохнул дверью так, что со стены слетел бесценный картон в разноцветных пятнах какого-то французского концептуалиста.

* * *

— Может, все-таки в ресторан, Сергей Иванович? А лучше — домой.

Водитель Лёня доставал из пакета бутылки, складывал на сидении. Понюхал пирожки, поморщился:

— Отравитесь еще, Сергей Иванович. А у вас поджелудочная. И печень.

— Простату забыл. И камни в почках. Наливай.

— Водка, вроде, не паленая. Хотя все равно, вы же отвыкли. Может, в центр мотанемся, в «Азбуку»? Виски куплю вам, закусь нормальную...

— Харе трындеть. Наливай, говорю.

Ухнуло горячим комком, желудок растерялся и присел.

— Ы-ы-ть. Забыл уже, чем родной народ живет. Наливай.

— Вы бы хоть пирожком-то...

— Сам их жри. Я кошек не люблю. Ни так, ни в пирожках.

— Скажете, тоже...

Отпустило, вроде.

— Понимаешь, Лёня. У меня мечта. Про океан. Я в детстве стекляшку нашел, синюю. Вот эту.

— Да я в курсе. Вы уж в десятый раз рассказываете.

— Заткнись! Наливай. И слушай. Я ведь через нее посмотрю — и вижу... Волны! Небо! Альбатрос — высоко-высоко. И я! То у Колумба — первым землю замечаю. То с Одиссеем гребу. То Магеллан на моих руках умирает, отравленной стрелой в горло ему... Ярко так вижу — ни в каком кино... А в последнее время — хрень. Сломалась штукавина. Все какие-то яхты, шлюхи крашенные, губернатор белую дорожку строит. Рожи — свинские! Ни пиратов, ни марсовых. Капитанов нет — одни холуи. В золотых мундирах, что твой Киркоров, тыфу. Понимаешь ты меня?! Все. Кончилась мечта. Протрахал я мечту. На говно поменял, в купюрах. На стерве этой женился, по расчету. Детей нет, друзей нет. Думал — на теплоходе, две недели, восстановится все — хрен там! ПэПэ меня в Тюмень загоняет. Все, не могу я больше. Наливай. Пошевеливайся давай, тормоз. Чего зенки вылупил?

— Не надо так, Сергей Иванович. Я не тормоз. И вам не официант.

— А кто ты? Шестерка.

— Да иди ты, алкаш.

— Что-о?! Что ты сказал? Вернись! Вернись, козлина.

Битков вылез из «бентли», сел на поребрик. Глотнул из горла. Вытащил осколок, посмотрел сквозь него — увидел серое небо, неряшливые тополя.

Завыл, задрал лысеющую голову.

Зазвонил телефон. Встревоженный голос Светочки:

— Сергей Иванович, где вы? Из Тюмени звонят — вас в самолете не было. Павел Петрович тут, как Везувий. Извергнется сейчас.

— В манду.

— Что? Я не расслышала.

— Светочка, у тебя есть ручка и бумага?

— Конечно, я же в офисе.

— Записывай. Пункт первый. Павел Петрович. Хотя нет, какой он первый? Исправь на «нулевой». Записала?

— Да-да.

— Пункты остальные. Света жопастая.

— Что? Плохо слышно.

— Конечно. Где же тут расслышишь, когда жопа уши затыкает. Дальше. Галочка-брюнетка. Этот, как его. Глозман, начфин. Ой, как же я забыл! Ольга Сергеевна из мэрии. И все остальные. Записала?

— Да, только последний пункт не поняла.

— Чего ты не поняла, дура? Вообще все-все-все. Как в книжке про Винни-Пуха. Ну?

— Про Винни-Пуха. Записала, да.

— Стой! Вычеркни медведя, он тут точно ни при чем. Вот. А всех остальных обведи кружком. Стрелочку нарисуй. И напиши: В МАНДУ!

— Куда?

— Туда, тля. Откуда мы все взяли — вот туда.

Нажал отбой. Хотел разбить «верту» — не успел. Чертыхнулся, принял звонок.

— Дарлинг, где ты?! Я у Васильчиковых, тут весь бомонд, ждем тебя.

— Вот, блин, чуть главного-то не забыл! У тебя моей Светочки есть номер? Позвони сейчас ей и попроси, чтобы тебя включили в список. И Васильчиковых, и бомонд.

— Какой список, хани?

— Она знает. Конец связи.

Размахнулся телефоном.

Спохватился, набрал зама по безопасности.

— Да, Сергей Иванович? — испуганно.

— Там у тебя утром на вахте стояло мурло одно. Косит под моряка, а сам... Короче, уволь его нахрен. Только сначала сорви перед строем морские погоны.

— Ка... Какие погоны?!

Вот теперь — все.

С наслаждением грохнул телефон об асфальт. Вытащил из замка ключи, закинул в кусты.

Шел вдоль обочины, разбрасывая — паспорт, визитки, кредитки. Швырял купюры, ключи от кондоминиума, от гаража, от загородного дома.

Обручальное кольцо долго не поддавалось.

Достал конверт с документами на теплоход. Подумал. Порвал и разбросал обрывки — ветер унес их в ночь, как мотыльков.

Последним был синий осколок. Сжал, крича прямо в треугольный глаз:

— Ты! Если бы не ты — я бы давно сам на океан уехал! Понимаешь? Сам! А ты мне все картинки показывал, вместо настоящего океана. Скотина ты, врун!

Бросил, пытался раздавить каблуком — мягкая земля приняла. Не дала расколоть.

И пошел вдоль трассы.

На восток.

Навстречу солнцу, которое в тысячах километров отсюда проснулось, сладко потянулось и сбросило сапфировое одеяло Тихого океана.

Илья Фаликов

Борис Слуцкий: Майор и муза

*Главы из книги**

ОТ АВТОРА. Слуцкий любил считать. Всяческая статистика — любимое занятие. Это сочеталось с отрицанием голого рации:

Не солонина силлогизма,
а случай, свежий и парной
и в то же время полный смысла,
был в строчках, сочиненных мной.

Стихи на случай сочинились.
Я их запомнил. Вот они.
А силлогизмы позабылись.
Все. Через считанные дни.

(«Не солонина силлогизма...»)

Рифму *Слуцкий* — *случай* он слушал всю жизнь. Этот ассонанс для него был полной рифмой. Можно сказать, он исповедовал философию случая.

Слуцкий подкинул нам задачку. Апологет счёта, всем остальным он оставил наследие, не поддающееся подсчёту. 1000 названий посмертного трехтомника и 2000, что ли, ненапечатанных в архиве — не предел. Юрий Болдырев, душеприказчик Слуцкого, говорил о 4000 (общем числе всех стихотворений).

Не цифрами, а буквами. Точней,
конечно, цифра. Буква — человечней.
Болезненный, немолодой, увечный
находит выражение только в ней.

А цифра — бессердечная метла.
Недаром богадельня и больница
так любит слово, так боится,
так опасается числа.

(«Не цифрами, а буквами»)

Сколько он сделал, никто не знает. Жизнь его — туманное облако при неясной погоде. Определенность кончается на том, что он закончил в Харькове 94-ю среднюю школу, дальше — житейское море, в котором покачиваются веши и вешки, лишь внешне опознаваемые. У него и вуза было два. Его анкета проще пареной репы, поведение — демонстративно внятное, но глубина биографии закамуфлирована плотной пеленой расчисленной дисциплины. Вместо копания в подробностях его пути он предложил нам прочесть его стихи. Там все сказано.

Поэтому — документы, документы, документы, только так можно что-то установить. Цитаты, очень много цитат. Звук времени. Разногласия времен. Пусть читателя не смутит пестрота имен. В основном это люди известные, не нуждающиеся в сопроводительных характеристиках. Иные мемуаристы не столь заметны, но в этой книге нужны как свидетели жизни Слуцкого и лишь в таком качестве присутствуют в разговоре о нем, а большего, пожалуй, нам знать о них и не надо.

* Книга готовится к публикации в серии ЖЗЛ издательства «Молодая гвардия».

Общительный Слуцкий охватил бесчисленное количество людей. О нем думали и писали многие. Похоже, специально для биографа было создано это саркастическое стихотворение:

Неча фразы
подбирать.
Лучше сразу
помирать:
выдохнуть
и не вдохнуть,
не вздохнуть, не охнуть,
линию свою догнуть,
молчаливо сдохнуть.
Кончилось твоё кино,
песенка отпета.
Абсолютно всё равно,
как опишут это.
Всё, что мог — совершенно,
выхлебал всю кашу.
Совершенно всё равно,
как об этом скажут.

(«Неча фразы...»)

Чтобы сказать такое, надо было прожить долгую и мучительную жизнь.

Проза Слуцкого

Давид Самойлов:

Утро 22 июня. Я готовлюсь к очередному экзамену. Как обычно, приходит заниматься Олег Трояновский, сын бывшего посла в Японии и США.

Он говорит: «Началась война». Включаем радио. Играет музыка. Мы еще не знали о функции музыки во время войны...

Решаем заниматься... Однако занятия все же не ладятся. Я понимаю, что если не сообщу о войне Слуцкому, он мне этого никогда не простит...

Через полчаса стучусь в знакомую комнату в общежитии Юридического института...

— Война началась, — говорю я спокойно.

— Да брось ты, — отвечают юристы.

Я не стараюсь их переубедить. На всякий случай включили громкоговоритель... Объявили о выступлении Молотова.

— Сопляк, — с досадой сказал мне Слуцкий. Он никому не успел сообщить о начале войны...

Имея отсрочку по призыву, не успев сдать всех выпускных экзаменов в МЮИ, но сдав их в Литинституте, Слуцкий внезапно для своих друзей ушел на фронт. Добровольцем, по решению военкомата — в качестве юриста: следователем дивизионной прокуратуры. Это было недолго, не более полугода, вскоре его перевели в политработники. Но уже в июле 1941-го он с тяжелым ранением попал в госпиталь в Свердловске, пролежав там пару месяцев.

Более точно, с применением чисел, это выглядит так у Юрия Оклянского в его повести о Слуцком «Праведник среди камнепада» («Дружба народов», 2015, №5):

В архивах Союза писателей я нашел две не публиковавшиеся до сих пор автобиографии Б.А.Слуцкого (от 6 февраля 1956 г. и от 30 сентября 1966 г.). Вот что он сам сообщает о тех днях во второй из них: «Когда началась война, поспешно сдал множество экзаменов, получил диплом и 13 июля (обратите внимание — ровным счетом через три недели после начала

войны! — Ю.О.) уехал на фронт. 30 июля был ранен (на Смоленщине). Два месяца пролежал в госпиталях. 4 декабря нашу 60 стрелковую бригаду выгрузили в Подмосковье и бросили в бой. С тех пор и до конца войны я на фронте...»

Другу Дезику — Давиду Самойлову — бодро сообщил: «Вырвало из плеча мяса на две котлеты». Потом, после войны, будут стихи, связанные с недолгой юридической ипостасью:

Кто они, мои четыре пуда
Мяса, чтоб судить чужое мясо?
Больше никого судить не буду.
Хорошо быть не вождем, а массой.

(«Кто они, мои четыре пуда...»)

Самойлов:

Мы встретились в октябре 41-го, Слуцкий — лихой уже вояка, прошедший трудные бои и госпитали, снисходительный к моей штатской растерянности.

— Таким, как ты, на войне делать нечего, — решительно заявил он. Он, как и другие мои друзья, соглашались воевать за меня. Мне как бы предназначалась роль историографа.

Слуцкий побыл у меня недолго. Эти дни перед 16 октября (день массовой паники в Москве. — И. Ф.) он был деятелен, увлечен, полон какого-то азарта. Тут была его стихия. На улицах растерявшейся Москвы энергичные люди спасали архивы, организовывали эвакуацию. Слуцкий потом рассказывал, как участвовал в спасении архива журнала «Интернациональная литература». Пришел проститься.

— Ну, прощай, брат, — сказал он, похлопав меня по плечу. — Уезжай из Москвы поскорей.

Я малодушно всхлипнул. Слуцкий, слегка отворотясь лицом, вновь похлопал меня, быстро вышел в переднюю и побежал вниз по лестнице.

Слуцкий закрепил тот день так:

Узнаю с дурацким изумленьем,
Что шестнадцатого октября
Сорок первого, плохого года
Были: солнце, ветер и заря,
Утро, вечер и вообще — погода.
Я-то помню — злобу и позор:
Злобу, что зияет до сих пор,
И позор, что этот день заполнил.
Больше ничего я не запомнил.

(«Домик погоды»)

О гибели друзей — Паши Когана, Миши Кульчицкого — Борис узнавал с запозданием. Петр Горелик, воюя на другом фронте, в феврале 1944-го получил письмо от Бориса со словами: «От Миши Кульчицкого никаких вестей» — спустя год после гибели Миши под Сталинградом. Этой смерти Борис долго не верил, тем более что слухи о Кульчицком — живом — еще долго ходили по Москве. То он читал стихи в сибирском лагере, то выбросил записку из тюремного эшелона где-то на станции Переделкино. Специфические легенды. Живучие. Мать Миши приезжала в Москву в поисках сына, хотя у нее на руках была похоронка с его именем и местом гибели.

По ходу войны Слуцкий посетил Харьков. Тому предшествовали маленькие фронтовые радости: «Уже в 1943 году (летом) мы перестали испытывать нужду в овощах. Под Харьковом фронт проходил в бахчах и огородах. Достаточно было протянуть руку за помидором, огурцом, достаточно разжечь костер, чтобы отварить кукурузы. В это лето продотделы впервые прекратили сбор витаминной крапивы для

солдатских борщей». Одиннадцатого сентября 1943 года — советские войска вошли в город — он повидал свой почти целый дом, №9, на Конной площади. Родители были в ташкентской эвакуации, отец болел, три года не вставая с постели. За один день Борис побывал в разных концах города, увидел многих однокашников, по преимуществу девушек, и старших: няню Аню сумел поселить по новому адресу (в чью-то разоренную квартиру) и обеспечить аттестатом как члена семьи офицера. Аней ее называли дети Слуцких, а была она по рождению Марией Тимофеевной Литвиновой. Она всегда была с ними: кормила, мыла, обстирывала, обшивала, собирала в школу и встречала из школы, спала с ними в одной комнате. Собственно, Аней ее назвал маленький Борис, может быть, исходя из рифмы «няня — Аня». Вторая мама. В эвакуацию ехать со Слуцкими она отказалась.

Ходили слухи о повальном антисемитизме харьковчан, но не подтвердились. «Однако, к счастью для нашего народа, это не 100%, это даже не 50%, это позорная четверть» — из письма Горелику; ему же: «...стихов не пишу более трех лет. <...> Впрочем, для всех я человек с литературным образованием (критический! факультет литинститута). Никакой я не поэт!»

Сохранилось около двух десятков фронтовых писем П.Горелику, десять писем брату Ефиму (все эти письма опубликованы), несколько писем Елене Ржевской. Может быть, это заменяло ему стихописание. Одним из его адресатов была Слава Владимировна Ширина, в годы его учебы — и потом долгие годы — руководившая в Литинституте семинаром по основам марксизма-ленинизма. Она переписывалась со многими бывшими студентами. Их отношения были явно неформальными.

Дорогая Слава!

Твое письмо получил. Очень прошу тебя написать подробно все о Борисе Лебском. Точно ли известно, что он умер от ран? У него в Москве на Цветном бульваре — кажется, № 25 — живет мать. Заходила ли она к тебе? Еще одно соображение. У Бориса нет печатных произведений. А ведь это замечательный поэт, умный и лаконичный, профессионально писавший несколько лет подряд. Если сейчас не собрать его стихов, Павла, Майорова, Полякова, Траубе и тех, быть может, многих, о которых ты мне не пишешь, — они не будут собраны никогда. Нужно поднять на это дело нашу партийную организацию и всех ребят.<...>

То, что Сельвинский и Брик снова работают в институте, — это очень хорошо. Это значит, что не так уж плохо обстоит дело с талантами. Кого из писателей вы думаете пригласить?..

8 марта 1943

Борис

Дорогая Слава!

<...> Вот уже пять недель веду непрерывные бои с фрицем на широком фронте с участием танков, авиации и самоходных пушек.

Воюю пехотно, батальонно, как подобает старшему лейтенанту гвардии. Но отсыпаться прихожу к себе в политотдел, ибо я есть начальство — старший инструктор политотдела. <...>

11 апреля 1943

Борис

<...> Причины моего молчания (кратко): после переезда через всю Россию мы с начала марта с ходу вступили в бой, остановили фрица и до сих пор не пустили его дальше. Несмотря на его ярко выраженное желание. Шестую неделю непрерывно воюю пехотным способом. Времени мало. Живу я хорошо. Помимо экзотики работы по специальности сама пехотная война здесь литературабельней всего, что мне доселе приходилось видеть. <...>

[Без даты]

Твой Борис Слуцкий

Дорогая Слава!

С величайшей завистью прочел в «Литературке» отчетец о нашем юбилее. Но почему десять лет? Я думал — больше. Надо считать не с формального открытия учебного сезона, а со времен брюсовских, то есть с начала писательского образования в России.

Поздравь меня с орденом Красной Звезды за Харьков.

Пока все. Целую.

8 февраля 1944

Борис

Дорогая Слава!

Прости, что не писал так долго. Сейчас получил скверное письмо от Олеси. Олеся Кульчицкая — это сестра Михаила. Им пришло извещение о том, что он погиб 19 января 1943 г.

Семья Михаила — мать Дарья Андреевна и сестра — находятся, видимо, в тяжелом материальном положении. Думаю, что обращение Союза писателей и института к харьковским организациям может им помочь.

Их адрес: Харьков, ул.Свердлова, 51, кв.7. Кульчицким.

Пока все. Крепко жму руку.

9 февраля 1945

Борис

Слуцкий прошел путь от Смоленщины и Подмосковья до Румынии, Балкан, Венгрии и Австрии. С июня 1943-го до конца войны и даже дольше он служил инструктором в политотделе 57-й армии, на его плечах сверкали погоны майора. Ему шла форма, китель подчеркивал осанку и рост. На правой стороне груди — «малый джентльменский набор»: ордена Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды (последний — за Харьков); здесь же — гвардейский значок и нашивка за тяжелое ранение. На левой — медали и болгарский орден «За храбрость», предмет его особой гордости. У него появились пшеничные усы и некое чувство превосходства. Под занавес войны он участвовал в формировании властей и новых партий в Венгрии и Австрии, формировал правительство в южно-австрийской Штирии.

Когда я впервые после войны приехал (в ноябре 1945), я позвонил по телефону Сельвинскому, его жена спросила меня:

— Это студент Слуцкий?

— Нет, это майор Слуцкий, — ответил я надменно.

Проза войны стала прозой поэта — и в стихах, и в нестихах, то есть в прозе как таковой. Она была готова к осени 1945 года. Десять глав. На одном дыхании. Заведомый самиздат — такого не опубликуешь.

Он привез свою прозу в первое послевоенное посещение Москвы осенью 1945-го. Остановился у Лены Ржевской, только что вернувшейся с войны, видел уцелевших друзей, задумывался об уходе из армии, откуда его пока что не отпускали. Уехав из Москвы в Грац (Австрия), где стояла его часть, сообщил другу Исааку Крамову: «...написал три больших стиха, которые я могу читать тебе или Сергею <Наровчатову>...»

В ближайшие затем месяцы происходили всяческие хлопоты по разным гадательным направлениям: либо аспирантура одного из исторических институтов Академии наук, либо адъюнктура Высших военно-партийных курсов. Сорвалось там и там.

Началось обострение пансинусита. Летом 1946-го он приехал в Харьков, и это стало началом его постоянных послевоенных посещений родного города. По возвращении в Москву прошел госпитальную комиссию и получил инвалидность. «Мне дали инвалидность второй группы. Я потрясен. Ты знаешь, кому дают вторую группу? Обрубкам без ног и рук, а я? Я-то ведь с руками и ногами». Потребовалось хирургическое вмешательство, ухаживать за ним приехала мать — Александра Абрамовна. Его оперировали, от трепанации черепа остался след в надбровной части лба, со временем прикрытый бровью. Головные боли и бессонница никуда не ушли. Через какое-то время, при временном облегчении, он сам отказался от инвалидности.

Выручал Харьков. «Как инвалид Отечественной войны второй группы я получал 810 рублей в месяц и две карточки. В Харькове можно было бы прожить, в Москве — нет... В Харькове можно было почти не думать о хлебе насущном».

Так или иначе, московская жизнь для него постепенно возрождалась. Никуда не делись и поэтические вечера, вернисажи, просмотры.

Своей крыши над головой не было и не намечалось. Его прописал у себя отец институтского товарища Зейды Фрейдина, это время проводившего на зоне.

В конце сороковых уже было написано многое, ставшее затем — для самого Слуцкого — фундаментом его имени. Стихотворение «Госпиталь» было предметом его правильной гордости, перемешанной, как это у него часто бывало, с неуверенностью и неполным пониманием, что он написал.

Ещё скребут по сердцу «мессера»,
ещё
 вот здесь
 безумствуют стрелки,
ещё в ушах работает «ура»,
русское «ура-рарара-рарара!» —
на двадцать
 слогов
 строки.
Здесь
 ставший клубом
 бывший сельский храм,
лежим
 под диаграммами труда,
но прелым богом пахнет по углам —
попа бы деревенского сюда!
Крепка анафема, хоть вера не тверда.
Попишку бы ледащего сюда!

Какие фрески светятся в углу!
Здесь рай поет!
 Здесь
 ад
 ревмя
 ревёт!
На глиняном нетопленном полу
Томится пленный,
 раненный в живот.
Под фресками в нетопленном углу
Лежит подбитый унтер на полу.

Напротив,
 на приземистом топчане,
Кончается молоденький комбат.
На гимнастерке ордена горят.
Он. Нарушает. Молчанье.
Кричит!
 (Шёпотом — как мертвые кричат.)

Он требует, как офицер, как русский,
Как человек, чтоб в этот крайний час
Зелёный,
 рыжий,
 ржавый
 унтер прусский
Не помирал меж нас!

Он гладит, гладит, гладит ордена,
Оглаживает,
 гладит гимнастерку
И плачет,
 плачет,
 плачет
 горько,
что эта просьба не соблюдена.

семантику. К слову, Пушкин — это общеизвестно, но поразительно — писал прозаические черновики стихотворений. Иногда. Вот вам и моцартианство...

В «Записках» Слуцкий воплощал прежде всего «прозу в жизни». Надо было освободиться от войны, от «прозы в жизни». Гремели фанфары Победы, порождая великую ложь. Прекрасно помня реакцию того же Буденного на «Конармию» — полководец возмутился художествами Бабеля, — Слуцкий заговорил поперек непереносимому грохоту.

Возникновение стихотворения «Кёльнская яма» посреди прозаического текста означает, что в стихи можно вогнать любую «прозу в жизни». Это в свой черед свидетельствует о том, что Слуцкий в «Записках» писал именно прозу. Просто — иногда нельзя обойтись без стиха. В тот миг над головой того прозаика вспыхнула именно поэтическая лампа, бросив свет на способ стихописания, мучительно искомый в ту пору:

Нас было семьдесят тысяч пленных
В большом овраге с крутыми краями.
Лежим
 безмолвно и дерзновенно,
Мрём с голодухи
 в Кёльнской яме.

Над краем оврага утоптана площадь —
До самого края спускается криво.
Раз в день
 на площадь
 выводят лошадь,
Живую
 сталкивают с обрыва.

Пока она свергается в яму,
Пока её делим на доли
 неравно,
Пока по конине молотим зубами, —
О бюргеры Кёльна,
 да будет вам срамно!<...>

У Лазаря Лазарева сохранилась стенограмма выступления Слуцкого (февраль 1967 года) в Народном университете при ЦДЛ. Сначала он довольно долго говорил не о себе, а о Симонове и Твардовском, о том, какую великую роль играла их поэзия во время войны, как их читали на фронте. А потом, почти вынужденно:

Я был политработником и разведчиком и по-настоящему написал одно стихотворение за войну. Но при любопытных обстоятельствах. Дело было в Югославии, когда брали Белград. Город был уже наполовину занят, а немцы, отступавшие из Греции, силами четырех-пяти дивизий прорывали наш район коммуникаций.

Под Белградом есть гора Авала, где стоит памятник Неизвестному герою, сооруженный еще после Первой мировой войны. Это красивый памятник из красноватого гранита. И на этой горе поставили тогда две МГУ¹ <...> И эти два передатчика день и ночь посылали призывы немецким солдатам. И на большое количество их повлиял этот голос разума, и они сдавались нам. Охрану этих машин несли две бригады югославских партизан. Причем интересно отметить, что в каждой бригаде была русская рота. Это были пленные, бежавшие из расположенных во Франции и Италии лагерей, бежавшие в направлении Югославии и примкнувшие к партизанам. Тито сводил их в роты, которые действовали на стороне партизан против немцев...

И вот однажды ко мне подошел партизан, он оказался бойцом русской роты, родом был с Алтая. Он начал рассказывать о большом лагере для военнопленных под Кёльном, в котором

¹ МГУ — малая громкоговорящая установка.

он сидел, пока не добрался до Югославии. Это Кельнская яма. Там погибло несколько тысяч наших бойцов и офицеров. Он говорил медленно. Рассказ он начал словами: «Нас было семьдесят тысяч пленных». Потом помолчал и сказал: «В большом овраге с крутыми краями».

Я перед этим несколько лет не писал ни строчки. И когда он сказал: «Нас было семьдесят тысяч пленных. В большом овраге с крутыми краями», мне показалось, что это начало стихотворения...

Слуцкий вслушивается в войну. «На войне пели “Когда я на почте служил ямщиком...”, “Вот мчится тройка удалая...”, “Как во той степи замерзал ямщик...”. Важно, что это не разбойничьи, не бурлацкие и не солдатские песни, а именно ямщицкие. Преобладало всеобщее ощущение дороги — дальней, зимней, метельной дороги. Кто из нас забудет ощущение военной неизвестности ночью, в теплушке, затерянной среди снежной степи?» Да, песни ямщицкие, но они по составу, по духу, по музыке звучат на едином фоне: идет война народная.

Возникает имя Эренбурга. Слуцкий оценивает его высочайшим образом: «Один из самых тяжелых и остроугольных кирпичей положил Илья Эренбург, газетчик. Его труд может быть сравним только с трудом коллективов “Правды” или “Красной Звезды” <...> Все знают, что имя вклада Эренбурга — ненависть». После войны на одном из трудных приемов в Союз писателей Слуцкий сказал по поводу журналистов, которых не хотели принимать в Союз:

— Их назвал кремлевскими шавками Гитлер!

Приняли единогласно.

Слуцкий уважал газету. Приезд в Харьков Ильи Эренбурга (1941) стал событием, продлившимся на всю жизнь Слуцкого. В роман «Буря», печатавшийся тогда в «Новом мире» (1947, № 8), он внес стихи о Кельнской яме, посчитав их «анонимным образцом солдатского творчества», приняв версию Слуцкого на веру, да и сама проза Слуцкого поначалу попала к нему якобы случайно, хотя Слуцкий сам принес ему свою прозу осенью 1945-го («В 1945 году молодой офицер показал мне свои записи военных лет»). Впрочем, есть версия об участии в этом деле некоего посредника. Слуцкий наткнулся на роман Эренбурга со своими стихами в харьковских домашних условиях, больной, лежа на диване. «Однажды, листая “Новый мир” с эренбурговской “Бурей”, я ощутил толчок совсем физический — один из героев романа писал (или читал) мои стихи — восемь строк из “Кельнской ямы”. Две или полторы страницы вокруг стихов довольно точно пересказывали мои военные записки. Я подумал, что диван и тихая безболезненная головная боль — это не навсегда. Было другое, и еще будет другое». Более определенная встреча состоялась в Москве, в 1949-м.

Русский солдат вошел в Европу — об этом «Записки о войне».

«Границу мы перешли в августе 1944-го. Для нас она была отчетливой и естественной — Европа начиналась за полутора километрами Дуная. Безостановочно шли паромы, румынские пароходы с пугливо исполнительными командами, катера. Из легковых машин, из окошек крытых грузовиков любопытствовали наши женщины — раскормленные ППЖ (от «походно-полевая жена». — *И.Ф.*) и телефонистки с милыми молодыми лицами, в чистеньких гимнастерках, белых от стирки, с легким запахом давно прошедшего уставного зеленого цвета (автор этой прозы — молодой человек! — *И.Ф.*). Проследовала на катере дама, особенно коровистая. Паром проводил ее гоголем, но она и не обернулась — положив голову на удобные груди, не отрываясь смотрела на тот берег, где за леском начиналась Румыния. Это прорывалась в Европу Дуныя».

Начинаются проблемы, до того не существовавшие. Одна из них: «Все сводки времен заграничного похода тщательно учитывают обратное влияние Европы на русского солдата. Очень важно знать, с чем вернутся на родину наши — с афинской гордостью за свою землю или же с декабризмом наизусть, с эмпирическим, а то и политическим западническим?» Происходит взаимная пропаганда, не обязательно

официальная. Все видя, на кое-что дивясь, воин-освободитель проявляет особую форму патриотизма: «Где-то в Австрии жители недоумевали по поводу рассказов нашего солдата, бывшего сапожника, наговорившего России три короба комплиментов. Конечно, тысячи и тысячи солдат преувеличивали положительные стороны нашей жизни перед иностранцами, оправдывая себе эту ложь именно справедливостью жизни в России».

Хорошо писать без надежды на публикацию — получается проза без оглядки. Стилистически она не только а-ля Бабель. Тут можно услышать и Пильняка, и Катаева, и прозу Маяковского — всю революционную литературу 1920–30-х, а также ту журналистику, ее лучшие перья, в частности — Михаила Кольцова. Оттуда и вышел Слуцкий-поэт — из той прозы, из той поэзии, из той журналистики. Его проза, как ничто другое, обнажает генезис его музыки.

Бегло фиксируя многое — в частности, межпартийные борения на завоеванных территориях, — Слуцкий пристально следит за шагами нашего воина, за его повадками, за всем содержанием его опасного пути сквозь Румынию, Югославию, Болгарию, Венгрию, Австрию. Разные страны — разные нравы, разные люди. Много — о женщинах. Много и без иллюзий. Податливость румынок и венгерок, неприступность болгарок, обреченность насмерть перепуганных немцев. Грабеж, мародерство. Разгул сифилиса. Насилие.

«В то время в армии уже выделилась группка профессиональных кадровых насильников и мародеров. Это были люди с относительной свободой передвижения: резервисты, старшины, тыловики.

В Румынии они еще не успели развернуться как следует. В Болгарии их связывала настороженность народа, болезненность, с которой заступались за женщин. В Югославии вся армия дружно осуждала насильников. В Венгрии дисциплина дрогнула, но только здесь, в 3-й империи, они по-настоящему дорвались до белобрых баб, до их кожаных чемоданов, до их старых бочек с вином и сидром».

Орда? Частично. «В эти дни доминирующей мыслью было: “Мы — победители. Они нам покорились”. Потребовалась неделя, чтобы умами овладела следующая идея: “По поводу победы их следует пощипать”».

Нечто вроде праздничного славянофильства овладевает Слуцким (в перспективе — не им одним: вспомним «Цыгановых» Самойлова). Оно пронизано коммунистичностью. «Два болгарских офицера, по пьяной лавочке крепко ругавшие “своих” коммунистов, по-хорошему оживились, когда я заговорил о Димитрове:

— Как он ответил Герингу, когда тот на суде обозвал его темным болгариним. Он так и сказал всем этим немцам: “Когда ваши предки носили вместо знамен конские хвосты, у наших предков был золотой век словесности. Когда ваши предки спали на конских шкурах, наши цари одевались в золото и пурпур”».

Приходила на память и Цветаева с ее «Крысоловом», и вот в каком контексте: «С чем сравнить беспутное наслаждение, охватывающее меня, когда, поворачившись в десяти выбоинах, МГУ выползла на горку и судорожно скрипела, разворачиваясь в сторону противника.

Подобно гаммельнским крысам, немцы любили музыку. И я, как старый флейтист из Гаммельна, обычно начинал вещание со штраусовского вальса “Тысяча и одна ночь”. Вокруг слоями напластывалась тишина — молчание ночного переднего края на спокойствие партера.

<...> Фрицы, мечтательные фрицы, выползали из блиндажей — топырили уши, сбрасывали каски. А я вещал “Тысячу и одну ночь”, будя ностальгию, тоску по родине, самую изменническую из всех страстей человеческих».

Свою громкоговорящую установку он подает в мифологическом духе: «Огромная, тупорылая, с белым бивнем рупора, покачивающимся впереди, она напоминала мастодонта, захиревшего в цивилизации, но сохранившего грузный голос и странную легкость движений».

В идейности нашего политука была немалая доля иронии, ходящей очень недалеко от пресловутой 58-й статьи. «Меня всегда удивляло — до чего крупный, упитанный народ наши генералы. Очевидно, здесь дело не только в естественном влечении в кадры рослых людей, но и в том, что двадцать лет мирного строительства, когда начальство — партийное, советское, профсоюзное — надрывалось на работе, они физкультурили и отчасти отъедались на положенных пайках».

Выходит, генералы — не вполне начальство. Или — обладали определенными привилегиями до того, как вошли в ряды начальства.

Слуцкий являет искусство говорения неоднотонного, интонации перемежаются, мысль свободна в своих передвижениях — от всемирной истории до сиюминутного происшествия. По существу, все происходящее и есть история. Вот глубина исторического измерения: «В Афинах существовал закон: граждане, не примкнувшие во время междоусобиц ни к одной из борющихся партий, изгонялись. Изгнанию подвергались и те, которые примкнули слишком поздно». Это говорится между делом, в процессе попутных размышлений о недавней политической жизни Венгрии. Чуть выше у Слуцкого сказано: «Характерным для отношения мадьяр к нам был страх». Чуть ниже, через пару абзацев, в одном из которых он упоминает историка Е.В.Тарле и 1812 год, — такая вот вольная байка: «Это было в Будапеште. Излюбленным местом наших курсантов здесь был “англо-парк”, вполне жалкое заведение, комбинация из балаганов и киосков с мороженым: побывав в комнате страха и комнате смеха, я уединился в фанерном клозете. Здесь были обнаружены две надписи потрясающего содержания:

“И вот мы взяли Будапешт и гуляем по англо-парку. Думал ли ты, Ваня, что мы когда-нибудь достигнем этого? ”

“Испражнялся в англо-парке. Да здравствует советская власть, которая привела нас в Будапешт!”».

Веселый писатель Слуцкий, не так ли?

Его экскурсы в историю естественно вытекают из того, что происходит на его глазах. «Когда весной 1945 года мы ворвались в Австрию, когда капитулировали первые деревни и потащили в амбары первых фольксштурмистов, наш солдат окончательно понял, что война вступила в период воздаяния. Армия учуяла немца. Мы слишком плохо знали немецкий язык, чтобы различать, где прусский говор, а где штирийский. Мы недостаточно ориентировались во всеобщей истории, чтобы оценить автономность Австрии внутри великогерманской системы. <...> Немец был немцем. Ему надо было “дать”. И вот начали “давать” немцу».

На той войне, которую так победно закончили, многое началось, и то, что началось, никогда не кончится, похоже. «Война принесла нам широкое распространение национализма в сквернейшем, наступательном, шовинистском варианте. Вызов духов прошлого оказался опасной процедурой. Выяснилось, что у Суворова есть оборотная сторона, и эта сторона называется Костюшко. Странно электризовать татарскую республику воспоминаниями о Донском и Мамае. Военное смешение языков привело прежде всего к тому, что народы “от молдаванина до финна” — перезнакомились. Не всегда они улучшали мнение друг о друге после этого знакомства». Это написано в 1945-м. Слуцкий опасно намекает на крамольно-зловонную мысль Тараса Шевченко:

У нас же и простор на то, —
Одна сибирская равнина...
А тюрем сколько! А солдат!
От молдаванина до финна
На всех языках все молчат:
Все благоденствуют!<...>¹

¹ Перевод П.Антокольского.

Тому, кто хочет лучше понять причины распада Югославии, стоит заглянуть в соответствующие главы «Записок о войне».

В Сербии обнаруживается такая организация как Союз советских патриотов. «Эти люди не напоминали мне ни один из вариантов интеллигентских сборищ в Советском Союзе. Сдержанность, ощущение старой культуры заставляли отвергнуть и сопоставление со сходками народовольцев. Скорее всего, это были декабристы, декабристы XX века. Преобладание дворянского, присутствие офицерского элемента усиливали впечатление».

Логика его прозы больше незримая, чем очевидная: слово управляет сюжетом, а не наоборот. Это сугубо поэтический подход к делу. Дневник заграничного похода был, безусловно, подготовлен до того, как автор сел писать непосредственно прозу. Естественный сбор материала — само участие в том предприятии — велся добросовестно и тщательно: конкретика имен, топонимика местности, знание военных операций и армейской системы — все это, ложась верхним слоем на художественное слово, дает результат непредумышленности высказывания и действительно может внушить впечатление быстрой и необременительной работы (две недели). Можно подумать, что автор пишет по настроению: здесь скажу подробней, здесь отвлекусь, а здесь лишь назову человека, не распространяясь ни о его должности, ни о воинском звании, ни о том, как он вообще сюда попал. Это не батальное полотно, не психологическое повествование, не живопись фрагментов — это все вместе, сведенное воедино ритмом только что пережитого и еще не остывшего пласта истории.

Он говорит, положась на собственное дыхание. На его глубину и длину.

Не каждый солдат начнет разговор с признания: «Не умел воевать...» — Слуцкий пишет на этом уровне искренности. Тут нет специфически «поэтской» покаянности, идущей прежде всего от Некрасова и уже звучащей как прием. Доверительность Слуцкого — результат его прямой речи, без экивоков и реверансов. Он не задумывает эффектов, выкладывает сразу все, имеющееся за душой. Деловая проза? Можно и так. По крайней мере — без «секретов мастерства» и тайных уголков писательской кухни.

Глава «Белогвардейщина». Слуцкий основывается на легенде в рассказе о П.Б.Струве, который в этом случае умирает «римским концом», то есть кончает самоубийством. Это далеко от реальности. И Струве продолжал действовать, и Цветаева, о которой Слуцкий не упоминает, с ним взаимодействовала в парижскую пору. Да, Слуцкий умолчал о своем чтении эмигрантской словесности, не счел нужным или счел ненужным. Видимо, хотя бы крошечную надежду на публикацию своей прозы он все-таки подспудно хранил.

Послевойна

Год или два
те слова,
что я писал,
говорила Москва.
Оно отошло давным-давно,
время,
выраженное мною,
с его войною и послевойною.

(«Обращение к читателю»)

Война кончилась, Слуцкий пришел с войны и два года провалялся в госпиталях и на диване. Головные боли, депрессия, а главное — дикая бессонница, которой не было конца. Съемным комнатам и углам не было счета, хотя потом он говорил о двадцати двух таковых. Был среди его пристанищ и угол у старой немки по паспорту,

родившейся и всю жизнь прожившей в Москве и, вопреки предписаниям военного времени, не покинувшей свое убогое жилище, для чего пришлось обречь себя на затворничество, оборвать связь с внешним миром и жить в не слишком надежной пустоте, хотя по крайней необходимости она сдавала угол, куда занесло Слуцкого.

На месте партийного учета Слуцкий получил такой документ:

Характеристика

на чл. ВКП/б/ Слуцкого Б.А.
Рожд.1919, чл. ВКП/б/ с IV 1943,
партибилет 5405966

Тов. Слуцкий состоит на партучете в парторганизации ЦК Профсоюза рабочих коммунального хозяйства с X. 1946 г., является дисциплинированным коммунистом, принимает активное участие в жизни парторганизации, руководит кружком по изучению истории ВКП/б/.

Политически грамотен, идеологически выдержан. Систематически работает над повышением своего идейно-политического уровня.

Партвызысканий не имеет.

Выдана для представления в Москворецкий райвоенкомат.

Секретарь парторганизации
ЦК профсоюза работников
коммунального хозяйства

Н. Мусинов

15 ноября 1949 г.

На одиночество он не жаловался — врожденная общительность приводила к нему новых друзей, не говоря о прежних, довоенных. В частности, Самойлова.

Он воротился в Москву в сентябре 1946 года блестящим майором. Похорошевший, возмужавший, с пшеничными усами, грудь в орденах, он в тот же день явился ко мне. Я был уже женат, и жили мы на улице Мархлевского, в центре города. Слуцкий был великолепен. Мы двое суток не могли наговориться. Он тогда замечательно рассказывал о войне, часть рассказов, остроумных, забавных, сюжетных, записал и давал читать друзьям машинописные брошюры: «Женщины Европы», «Попы», «Евреи» и т. д.

Памятуя о военных записках, сказал ему:

— Будешь писать воспоминания? У тебя получается.

— Не буду. Хочу написать историю нескольких своих стихов. Все, что надо, решил вложить в стихи.

Разговаривали мы всласть и в эти двое суток, и после много лет подряд...

На другой день после приезда Слуцкого пришел Наровчатов. Надо было обсудить серьезные проблемы. Время не давало отдыха. Победа, как оказалось, была не только победой народа над врагом, победой советской власти над фашизмом, но и победой чего-то еще над довоенным советским идеализмом. Это чувствовалось в общественной атмосфере, в печати, в озадачивающих постановлениях ЦК (Постановление оргбюро ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“» и другие. — *И. Ф.*).

Наша тройственная беседа происходила в духе откровенного марксизма. Мы пытались рассуждать как государственные люди. И понять суть происходящего.

Концепция Сергея была такова: постановление о ленинградцах — часть обширного идеологического поворота, который является следствием уже совершившегося послевоенного поворота в политике. Соглашение с Западом окончилось. Европа стала провинцией. Складывается коалиция для будущей войны, где нам будут противостоять англичане и американцы. Отсюда резкое размежевание идеологий. Возможно восстановление коминтерновских лозунгов.

Литература отстала от политики. Постановление спасает ее от мешанской узости и провинциального прозябания...

Как видим, откровенный марксизм по-своему довольно толково оценивал ситуацию.

Нам не было особенно жаль ленинградцев, ибо мы считали их прошедшим днем литературы, а себя — сегодняшним и завтрашним. Мы не хотели сильно обижать Ахматову, Зощенко или Пастернака, но считали, что обижают их из тактических соображений. И гордились тем, что умеем четко отличать стратегию от тактики.

Тактикой, как видно, мы считали начало великодержавной и шовинистической политики. Ждали восстановления коминтерновских лозунгов.

В те восемь лет после войны Слуцкий с Самойловым были неразлучны. При этом: «...Года послевоенные вспоминаются серой, нерасчлененной массой, точнее, двумя комками. 1946 — 1948, когда я лежал в госпиталях или дома на диване, и 1948 — 1953, когда я постепенно оживал».

Слуцкий все свободные средства тратил на книги. Он умел отыскивать у букинистов редкие книги по искусству двадцатых годов, редкие поэтические сборники, вроде довоенного Хлебникова, имажинистов, Тихона Чурилина; покупал множество книг по новой и новейшей истории. Нельзя объять необъятное, друзья в шутку разделили области знания между собой. Борис взял новую историю и изобразительное искусство. Давид — Средневековье и музыку. Доверяли друг другу составлять общее мнение по своим отраслям знаний. Книги Слуцкий отвозил или отправлял по почте на хранение в Харьков.

Слуцкий записал у себя в тетрадке (дата не указана):

Вчера Дезик читал мне свой мемуар со всем жаром отвергнутой любви, со всем хладом более правильно прожитой жизни.

Не учитывая.

Сколько у меня шансов было — это я сам знаю. Больше никто. Сколько козырей, сколько возможностей. Хотел распорядиться ими получше.

Как уж вышло.

Странное было время. Стихи били фонтаном. Густо и регулярно проходили вечера поэзии — и в Политехническом, и в Литературном институте, и в Комаудитории МГУ, и во второй аудитории филологического факультета, и в университетском общежитии на Стромынке, и на многих других площадках. Слуцкий «выступает в различных домах. К обеду, к ужину, в полночь. Можно не за столом, а в креслах или на стульях, можно на кухне. Годится любая аудитория. Быстро налаживается контакт с отдельным слушателем, с человеческим множеством, особенно с молодежью» (сообщение Л. Озерова).

Появлялись первые — разрозненные, скудные — публикации Слуцкого в журналах и газетах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Пионер», «Комсомольская правда»), поток его стихов, безотносительно к публикациям, нарастал. Еще до XX съезда у Слуцкого писались стихи антисталинского уклона, вырастая в тему — одну из важнейших тем его поэзии вообще. В пору оттепели были опубликованы лишь «Бог» и «Хозяин».

Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.
Он жил не в небесной дали,
Его иногда видали
Живого. На Мавзолее.
Он был умнее и злее
Того — иного, другого,
По имени Иегова,
Которого он низринул,
Извёл, пережёл на уголь,
А после из бездны вынул
И дал ему стол и угол.
Мы все ходили под богом.
У бога под самым боком.

Однажды я шёл Арбатом,
Бог ехал в пяти машинах.
От страха почти горбата,
В своих пальтишках мышиных
Рядом дрожала охрана.
Было поздно и рано.
Серело. Брезжило утро.
Он глянул жестоко,
мудро
Своим всевидящим оком,
Всепроницающим взглядом.

Мы все ходили под богом.
С богом почти что рядом.

(«Бог»)

Подобных стихов набралось много, их знали по рукописям, и однажды у Льва Копелева собралось более двадцати человек — Слуцкий читал наизусть, сухо, деловито, без патетики. Копелев полагал: это лучший поэт поколения. Соглашались не все. Спорили.

Копелев слыл человеком восторженным. Оснований для этого свойства было не так и много. Со Слуцким они земляки: уроженец Киева, Копелев провел детство и юность в Харькове, затем — уже в Москве — они пересекались в ИФЛИ, где Копелев учился в аспирантуре и преподавал. Во время войны занимались схожим делом: политработник Копелев тоже «разлагал» неприятеля при помощи малой громкоговорящей установки, сочинял листовки и работал с пленными по части антифашистской перековки. Весной сорок пятого Копелев возмущен неподобающими инцидентами вхождения советского солдата в Восточную Пруссию, обратился на сей счет по начальству, его упекли в лагерь, он прошел через «шарашку» (бок о бок с Солженицыным), откуда вышел почти через десять лет. Что упало Слуцкого — автора прозы о путях Победы — от подобной участи? Только случай, на сей раз счастливый.

Первый поэт (эпохи, поколения). Что это такое? Суд молвы? Вердикт критики? Общее решение собратьев? Все это вместе? Ответа нет, а понятие есть.

В «Литературке» стихами ведал Владимир Огнев, через которого и прошел в газете «Памятник» Слуцкого. В отделе критики работал Лазарь Лазарев. От него остались воспоминания, исполненные сильных подробностей.

Вот «Записка» (названа она так, но, наверное, для обозначения этого жанра более подходило другое слово — донос), отправленная в ЦК КПСС 19 августа 1959 года тогдашним главным редактором газеты «Литература и жизнь» В.Полторацким. Он сообщает:

«У задержанного Резницкого имелась записная книжка со стихами. На одной из страниц ее имелось указание, что это стихи Б.Слуцкого.

Этот своеобразный “альбом стихов” работники милиции передали сотруднику нашей газеты тов. Берникову.

Ознакомившись с записями, я увидел, что это действительно стихи Бориса Слуцкого, которого И.Г.Эренбург в свое время объявил “настоящим народным поэтом”. Впрочем, партийная критика резко расходилась с мнением Эренбурга о творчестве Б.Слуцкого. В записной книжке Резницкого были переписаны некоторые стихи Б.Слуцкого, появившиеся в печати, а большинство таких, которые не печатались и, на мой взгляд, недостойны печатания по своей антинародной направленности.

Стало быть, их распространяют путем переписывания. Кто это делает — мне неизвестно, но само собой разумеется, что без участия автора стихов это не обходится».

К «Записке» автор услужливо приложил перепечатанные стихи Б.Слуцкого «антинародной направленности», не без оснований рассчитывая на то, что работниками ЦК будут приняты необходимые меры и света они не увидят. Так и случилось: приведенные им стихи были занесены в черные главлитовские списки.

И еще один документ — «Справка», направленная в ЦК КПСС 27 мая 1964 года начальником Главного управления Госкомпечати СССР В.Мочаловым. Он докладывает об обнаруженной крамоле и принятых мерах: стихи, которые цензоры расценили как порочные, из сборника «Работа» были сняты.

«При ознакомлении с версткой подготовленного издательством “Советский писатель” сборника стихов Б.Слуцкого выяснилось, что в целом ряде случаев автор стоит на сомнительных, а иногда и явно неправильных позициях, нередко прибегает к двусмысленности, делает какие-то намеки, в том числе касающиеся вопросов социально-политического характера. В стихотворении “Связь времен” автор пишет:

*...То, что было до Октября,
Встало возле
(вопреки и благодаря)
С тем, что делалось после.
Ты — звено в этой крепкой цепи
И ее натяжение.
Выноси и терпи,
Как и прочие звенья...*

Нельзя не привести стихотворения “Как убивали мою бабу”... Здесь Слуцкий с национальной ограниченностью толкует, в сущности, о судьбах в годы войны русского и еврейского народов. Можно подумать, что в то время, как фашисты расстреливали евреев, русские отсиживались, ограничиваясь пассивным сочувствием к их страданиям...”

Но все это происходило уже в более поздние годы, а в начале пятидесятых публичная литературная дорога Слуцкого только начиналась.

Не сказать, что количество напечатанных стихов скапливалось в некую критическую массу, но разговоры о Слуцком, о его появлении и явлении неизбежно привели его на порог вступления в Союз писателей. В это привилегированное пространство просто так не пускали. Нужны были книжки — хотя бы одна, три рекомендации и вообще какая-то репутация, прежде всего в своем цехе.

Репутация Слуцкого росла. Цех знакомился с ним. Несколько стихотворений было напечатано в «Литературной газете», появились, как было уже сказано, первые подборки в «Знамени», «Октябре», «Новом мире». В секции поэзии Союза писателей иногда слушали новых поэтов, и в 1954-м на собрание секции, по инициативе Льва Озерова, пришел молодой поэт, имя которого отнюдь не всем собравшимся было известно. Слуцкий почитал стихи, пошло обсуждение. Михаил Светлов сказал без нажима, но убежденно:

— По-моему, всем ясно, что пришел поэт лучше нас. Так появился в Москве Багрицкий — сразу большим поэтом.

Лишь через пару лет, в январе 1957 года, реально стал вопрос о приеме Слуцкого в Союз писателей. У Слуцкого были весьма солидные рекомендатели: Николай Асеев, Павел Антокольский, Степан Щипачев.

Асеев: «С хорошим чувством рекомендую в члены ССП Б.Слуцкого. Поэт Борис Слуцкий известен мне как талантливый человек с чистым сердцем и ясным взглядом на жизнь. Знаю его еще с литинститутских времен и после, когда он после фронтовой страды остался тем же строгим коммунистом и верным своей юношеской честности товарищем». Антокольский: «Борис Слуцкий значительно и остро талантливый поэт. Стихи его вполне своеобразны, богаты мыслью и большим опытом — жизненным, военным, общегражданским. Как известно, Слуцкому пришлось преодолеть немалые трудности, прежде нежели его стихи появились в печати, в журналах. Тем не менее за последние полтора года они печатались нередко и достаточно широко, так что по количеству и особенно по качеству напечатанного Борис Слуцкий может стоять в одном ряду с теми, кто является автором книги стихов. Не может быть сомнений в том, что книга стихов Бориса Слуцкого в скором времени действительно будет существовать реально и наверняка будет замечена».

Щипачев: «Считаю Бориса Слуцкого одаренным и ярко самобытным поэтом».

Прием прошел трудно, закипели страсти. Оппоненты всегда возникают как бы ни с того ни с сего, и это неизбежно. В два захода стена была проломлена. В заключительном слове он выразил сожаление, что такие хорошие поэты, как Глазков и Самойлов, еще не члены Союза. Глазков называл его «отважным деятелем», Самойлов — «административным гением». То есть стихи его не достигали взыскуемых вершин. «Политический успех он принял за поэтический», — сказал о нем Межиров.

Известность приходила по старой схеме — вне официоза. От слепых копий стихов Слуцкого до магнитофонных катушек Окуджавы или Высоцкого — прямой путь. Угловатый Слуцкий шел путем песни. Впоследствии он будет пытаться помочь Высоцкому, даже будет слушание стихов (не песен) втроем — Слуцкий, Межиров, Самойлов, без результата относительно публикаций.

С какой-то поры Слуцкий стал часто наведываться в редакцию «Литературки». Лазарев:

Борис обычно в редакции надолго не задерживался — посидит какое-то время, послушает, о чем говорят и спорят, что-то спросит, с кем-то перекинется парой-другой фраз. Поднимался неожиданно, попрощался и решительной походкой направлялся к дверям. Как-то при нем сотрудник, вычитывавший материал, стоявший уже в полосе, задумчиво спросил: «А правильно ли, что этого писателя называют „выдающийся“? Не лучше ли написать „крупный“?» Этот ни к кому конкретно не обращенный вопрос вызвал короткий обмен весьма энергичными

репликами из разных углов комнаты — не все они поддаются воспроизведению в печатном виде, — очень нелестно характеризующими и интеллектуальные способности сотрудника, у которого могла возникнуть такая мысль, и саму природу подобных иерархических представлений, прикладываемых к искусству. И вдруг на полном серьезе Борис сказал: «Вы не правы. Иерархия — вещь полезная и важная в искусстве, но выработать ее непросто. Но у меня есть одна идея». От изумления все замолчали, ожидая, что же он скажет дальше. «Надо, — продолжал тем же тоном Борис, — ввести для всех писателей звания и форму. Самое высокое — маршал литературы. На погонах — знаки отличия для каждого жанра». Идея была подхвачена, Бориса засыпали вопросами, он отвечал мгновенно. «Первое офицерское звание?» — «Только с вступлением в Союз — лейтенант прозы, лейтенант поэзии и так далее». — «Может ли лейтенант критики критиковать подполковника прозы?» — «Ни в коем случае. Только восхвалять. Звания вводятся для неуклонного проведения в литературе четкой субординации». — «Можно ли на коктейльном пляже появляться одетым не по форме?» — «Этот вопрос решит специальная комиссия». — «Как быть с поручиками Лермонтовым и Толстым?» — «Присвоить посмертно звание маршалов». — «А у вас какое будет звание?» — «Майор поэзии. Звания, присвоенные другими ведомствами, должны засчитываться». Это напоминало партию пинг-понга, и провел ее Борис с полным блеском. Ни разу не улыбнулся. На прощание бросил: «Вот так-то, товарищи лейтенанты и старшины литературы...»

Но и Самойлову он как-то сказал: «Больше чем на майора не потянешь». В стихах это выглядело так:

Широко известен в узких кругах,
Как модерн, старомоден,
Крепко держит в слабых руках
Тайны всех своих тягомотин.
Вот идёт он, маленький, словно великое
Герцогство Люксембург.
И какая-то скрипочка в нём пиликает,
Хотя в глазах запрятан испуг.
Смотрит на меня. Жалеет меня.
Улыбочка на губах корчится.
И прикуривать даже не хочется
От его негреющего огня.

(«Широко известен в узких кругах...»)

Здесь автор обошелся без воинских званий. И с другом обошелся довольно круто.

Слуцкий любил живопись. Обживая Москву, юный Слуцкий облюбовал Музей нового западного искусства на Кропоткинской улице и ходил туда как домой.

Летом 1956 года в Пушкинском музее на Волхонке стараниями Ильи Эренбурга и Ирины Антоновой прошла выставка, посвященная семидесятилетию Пабло Пикассо, и безумный ажиотаж толпы чуть не раздавил самого Эренбурга. Слуцкий там был, по протекции Эренбурга, а потом бывал на подпольных выставках и в подвалах советского андеграунда. Эренбурга он позже привозил в подмосковное Лианозово, где работала «лианозовская группа» неформалов от поэзии и живописи. Олега Целкова познакомил с Евтушенко. Александра Городницкого послал к сестрам Филонова, живущим в нищете хранилищам филоновского наследия.

Вклад Ильи Эренбурга в литературную и общую судьбу Слуцкого, пожалуй, можно сравнить с его же участием в Марине Цветаевой накануне ее отъезда из России и в первое время ее эмигрантской жизни. Он нашел в Константинополе след ее потерявшегося на несколько лет мужа Сергея Эфрона, он свел ее в Берлине с русскими литераторами и журнально-издательскими деятелями, помог в издании ее первых берлинских книжек. Слуцкому он, по сути, сделал имя и проистекшую из этого обстоятельства первую книгу, трудно готовившуюся в издательстве «Советский писатель». По выходе книги автор надписал ее мэтру:

Илье Григорьевичу Эренбургу
Без Вашей помощи эта книга не вышла бы в свет,
а кроме того от всей души

Борис Слуцкий

Можно больше сказать. Едва он поселился на Ломоносовском проспекте, № 15, как сразу уехал — в Италию. И первый выезд за границу, и даже женитьба Слуцкого — все это как знаки грянувшей удачи счастливо связано с эренбургской опекой.

В 1955 году главным редактором «Литературной газеты» назначили Всеволода Анисимовича Кочетова. Внутриредакционная вольница иссякла. У начальника была железная рука. Этой рукой он создал несколько романов, образцово соцреалистических, бестселлеров, выстраивающих очереди в книжных магазинах. Его, переведенного на основные языки, знали в мире. Ярая ностальгия по сталинским порядкам: идеальной власти и безукоризненной партии. Случилось так, что он был в отъезде или отпуске, и в газете прошла статья Эренбурга о Слуцком. Журналистам, заказавшим Эренбургу «что-нибудь для газеты», и в голову не могло прийти, что Эренбург для Кочетова не очень приемлем. Вернувшийся Кочетов пришел в ярость.

Это была ересь:

Мне кажется, что теперь мы присутствуем при новом подъеме поэзии. Об этом говорят и произведения хорошо всем известных поэтов — Твардовского, Заболоцкого, Смелякова, и выход в свет книги Мартынова, и плеяда молодых, среди которых видное место занимает Борис Слуцкий. <...> Конечно, стих Слуцкого помечен нашим временем — после Блока, после Маяковского, — но если бы меня спросили, чью музу вспоминаешь, читая стихи Слуцкого, я бы, не колеблясь, ответил — музу Некрасова. Я не хочу, конечно, сравнивать молодого поэта с одним из самых замечательных поэтов России. Да и внешне нет никакого сходства. Но после стихов Блока я, кажется, редко встречал столь отчетливое продолжение гражданской поэзии Некрасова. <...> Почему не издадут книгу Бориса Слуцкого? Почему с такой осмотнительностью его печатают журналы?

Надо сказать, что эти вопросы несколько беспокоили и заместителя Кочетова Виктора Алексеевича Косолапова, допустившего эренбургскую публикацию. Он потом, став главредом «ЛГ», напечатает и «Бабий Яр» Евтушенко, за что довольно скоро поплатится увольнением с работы.

Так или иначе, статью напечатали.

На планерке главред заявил:

— Надо выдать Илье сполна.

Сомнительного молодого автора с тремя десятками напечатанных стишков сравнивают — с Некрасовым.

В газете появилась статья, точнее — читательское письмо. Называлось оно «На пользу или во вред?», с подзаголовком «По поводу статьи И.Эренбурга», подписано Н.Вербицким, преподавателем физики 715-й московской средней школы. Лжеавтор лжеписьма обращался к Эренбургу:

Если бы вы в своей статье высказывали просто свое мнение, это было бы вполне правильно. У каждого может быть свое мнение по любому вопросу, а другие, в меру своего разума, могут соглашаться или не соглашаться с ним. Но мнение, высказанное вами в статье, носит декларативный характер. <...> Я отнюдь не собираюсь утверждать, что названные вами в статье Ахматова, Цветаева, Пастернак в какой-то степени не влияли на развитие советской поэзии в послереволюционные годы. Выяснить, было ли это влияние положительным или отрицательным, — дело историков литературы.

Аля — Ариадна Эфрон, дочь Цветаевой, — написала 2 августа 1956 года Эренбургу:

Что за сукин сын, который написал свои соображения (свои ли?) по поводу Вашей статьи о Слуцком? Для простого преподавателя физики, или химии, или Бог знает чего там еще он удивительно хорошо владеет всем нашим советским (не советским!) критическим оружием — т. е. подтасовками, извращениями чужих мыслей, искажением цитат, намеками, ложными выводами и выпадами. Кто стоит за его спиной?

А все-таки хорошо! Не удивляйтесь такому выводу — мне думается, хорошо то, что истинные авторы подобных статей уже не смеют ставить под ними свои имена, ибо царству их приходит конец, они прячутся по темным углам и занимаются подстрекательством, но оружие, которым они так мастерски владели, уже выбито из их рук. И вот они пытаются всучить его разным так называемым «простым людям», той категории их, которой каждый из нас имеет право сказать: «сапожник, не суди превыше сапога»!

Публикация Эренбурга в «Литературке», весь сюжет появления его слова о Слуцком в этом издании, на время выпавшем из железной руки В.Кочетова, запоздалая кочетовская попытка при помощи подставного читателя выправить конфуз, кончившаяся саморазоблачением... — подобно тому, как многим из молодых поэтов выпала счастливая карта встретиться со Слуцким, самому Слуцкому необычайно повезло на Эренбурга. Безусловно, в помощи молодым поэтам и художникам он опирался на свой личный опыт выхода на свет божий из полуподпольного полунебытия и участие в нем Эренбурга.

Самойлов ревнует, явно переживая: «Эренбург — старый метрлотель в правительственном ресторане — был в восторге, что с ним стали здороваться за ручку. Лакейские упования многим казались тогда пророчеством. Слуцкого тянуло к Эренбургу. Эренбург нашел Слуцкого. И назвал его. Оттепели полагалась поэтическая капля. Эренбургу казалось, что он нашел подходящего поэта».

Слуцкий знал, разумеется, о неоднозначности Эренбурга, но оправдывал его так: «Конечно, Эренбургу приходилось идти на компромиссы. Но зато скольким людям он помог! А кое-кого так даже и вытащил с того света...» (в передаче Б.Сарнова).

При этом Слуцкий не стоял перед Эренбургом по стойке смирно, порой спорил с ним и однажды на внезапный эренбурговский вопрос о том, кто первый ввел в обиход выражение «справедливые войны», предположил: Сталин, наверно.

— Фридрих Второй, — победно усмехнулся Эренбург.

«Это была на моей памяти первая и последняя промашка Слуцкого» (В.Огнев).

Заметим эту сталиноцентричность Слуцкого. А почему не Ленин или Маркс, например? В мозгу сидел Сталин.

В свое время Слуцкий с Самойловым пообещали друг другу не публиковать все написанное ими до смерти Сталина. Евтушенковский «Бабий Яр» был напечатан 19 сентября 1961 года («Литературная газета»). Пошел вселенский шум. Сервильная «Литература и жизнь» поместила два материала — 24 сентября дуболомные стихи А.Маркова «Мой ответ» и 27 сентября ушлую статью Д.Старикова «Об одном стихотворении», в которой ентушенковскому стиху противопоставлен «Бабий Яр» эренбурговский (1944), в цитатах оборванный где надо, как образец «подлинного интернационализма».

Эренбург, пребывая в Риме, о публикации узнал из итальянских газет. Слуцкий счел необходимым срочно с ним связаться. Стиль письма, учитывая перлюстрацию, достаточно эзоповский.

Дорогой Илья Григорьевич!

Грязная статья Старикова получила широкий резонанс и наносит серьезный ущерб престижу нашей печати. Мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы Вы телеграфировали свое отношение к попытке Старикова прикрыться Вашим именем — н е м е д л е н н о и в авторитетный адрес.

Крепко жму руку.

Борис Слуцкий.

Заварились эпистолярная каша, Эренбург писал Хрущёву и его помощнику В.С.Лебедеву, в сухом остатке — крайне лаконичное «Письмо в редакцию» Эренбурга 14 октября на последней странице «ЛГ». Слуцкий принимал во всем этом непосредственное участие, черновики писем Хрущёву написаны его рукой, Эренбург подредактировал их в сторону меньшего политического темперамента. Когда после кремлевских встреч Хрущёва с художественной интеллигенцией (1963) Эренбургу поставили заслон в публикации его мемуаров, писатель опять обратился к главе государства с письмом, и опять вчерне набросал эпистолу — Слуцкий.

В течение 1956 года вышло два выпуска альманаха «Литературная Москва» под редакцией М.Алигер, А.Бека, В.Каверина, Э.Казакевича, К.Паустовского, В.Тендрякова и др. В первом выпуске были напечатаны Асеев, Заболоцкий, Слуцкий, но и Сурков со товарищи. Их пригласили на ТВ.

Телевидение было тогда свежайшей новинкой. Я выступал в первый раз. Заболоцкий, наверное, тоже. В студии на Шаболовке стояла чрезвычайная жара — градусов в сорок. Нас мазали, пудрили и долго, вдохновенно рассаживали. Мы оба были подавлены и помалкивали.

Командовал передачей Сурков. По его плану, где-то в самом конце отведенного «Литературной Москве» часа он должен был сказать: «А вот поэты Заболоцкий и Слуцкий. Вы видите, они оживленно разговаривают друг с другом!» После чего мы должны были прекратить разговор, осклабиться и почитать стихи — сначала Н.А., потом я.

Передача шла, до конца было еще далеко, я сидел под юпитером, плавился, расплавлялся и думал о том, что вот рядом со мной помалкивает Заболоцкий. Оба мы помалкивали и думали свои отдельные думы, нимало не контактируя друг с другом.

Когда Сурков сказал запланированную фразу и глазок телекамеры уткнулся в нас двоих, это застало нас врасплох. Очевидцы свидетельствуют, что мы как-то механически дернулись друг к другу, механически осклабились, после чего Н.А. начал читать — как обычно, ясно выговаривая каждое слово, серьезно, вдумчиво, четко отделяя текст от себя, от своего широкого лица, пухлых щек, больших очков в роговой оправе, аккуратистской прически, от всей своей аккуратистской наружности, плохо увязывавшейся с текстом.

Это было первое знакомство с Заболоцким, а первое знакомство с его стихами состоялось лет за двадцать до этого — в Харькове. Заболоцкий впервые предстал предо мною цитатой в ругательной статье о Заболоцком, островком непарели в море петита, стихами, вкрапленными во враждебную им критику.

После второго выпуска альманах прикрыли.

30 сентября 1956 года вышел первый выпуск «Дня поэзии» — с участием Слуцкого.

Итак, праздник — День поэзии. Советская поэзия в лице своих создателей становилась за прилавки книжных магазинов и выплескивалась на площади.

Стихотворения Слуцкого «Последнею усталостью устав...» и «Вот вам село обыкновенное...», напечатанные «Комсомолкой» (1956, 20 июля), вызвали критическую бурю, и «Комсомолка» на четыре года закрыла перед Слуцким двери.

Литературная жизнь набирала обороты.

Новый журнал «Вопросы литературы» стал выходить с апреля 1957 года. Сначала он ютился на задворках Гослитиздата. Когда «Вопли»¹ перебрались на Пушечную, а потом в Большой Гнезниковский, Слуцкий часто навещал Лазарева, из «ЛГ» перешедшего в «Вопли».

У Слуцкого были свежие идеи. Он, например, предложил дать в журнале цикл статей, посвященных русским второстепенным поэтам. Себя он упорно относил к этому ряду отечественных стихотворцев.

Как-то Слуцкий спросил Лазарева:

— А как вы думаете, будут меня читать после смерти, останутся какие-нибудь из моих стихов?

Его точила собственная самоидентификация:

¹ Принятое в литературных кругах наименование журнала «Вопросы литературы».

Нам, писателям второго ряда
С трудолюбием рабочих пчёл,
Даже славы собственной не надо,
Лишь бы кто-нибудь прочёл.

(«Чёрный перечёт»)

Это, к слову говоря, привет «писателю второго ряда» Александру Петровичу Сумарокову, в осьмнадцатом веке издававшему журнал «Трудолюбивая пчела». Воюя с реформаторами Ломоносовым и Тредиаковским, Сумароков был замечательно смелым поэтом. Великолепен, скажем, его прорывной сонет «О существа состав, без образа смешенный...»

В советскую поэзию отчего-то накатила волна сонета. Сонеты писали почти все. Никто не знал Сумарокова. Слуцкий знал много, любил Михаила Илларионовича Михайлова, помимо прочего переведшего гейневский шедевр «Во Францию два гренадера...», — прочитал в отрочестве три томика, подаренных маминной подругой. Память его была системна, не с кондачка. Он еще в юности прочел фолиант И.Ежова и Е.Шамшурина «Русская поэзия (антология русской лирики первой четверти XX века)». Лучше всего память работает именно в юности.

Слуцкий живо интересовался новорожденными «Воплями». Лазарь Лазарев вспоминал:

Ему (Слуцкому. — *И. Ф.*) принадлежала идея — более или менее регулярно публиковать в журнале стихи, посвященные поэзии, литературе. Циклом стихов Слуцкого журнал открыл новую рубрику: «Диалог поэта и критика». Когда мы (Станислав Рассадин, Бенедикт Сарнов и я) стали писать пародии, составившие потом книжечку «Липовые аллеи», Борис горячо поддерживал это наше то ли занятие, то ли развлечение. Он считал удачными и смешными пародии не только на других (такие комплименты нам приходилось слышать довольно часто), но и на себя (в этих случаях, что греха таить, далеко не все обнаруживали чувство юмора). В порядке поощрения он подарил мне книгу пародий А.А.Измайлова «Кривое зеркало», вышедшую в 1912 году в «Шиповнике». Прочитав в «Вопросах литературы» мою довольно пространную беседу с Константином Симоновым, Борис стал убеждать меня, что я должен провести еще несколько такого рода бесед с Симоновым, чтобы на их основе сделать большую книгу не только о Симонове, но и о нашей литературе, о нашем времени. Несколько раз возвращался к этой идее, всячески доказывая мне ее важность. <...> Когда Слуцкий выступал с критическими заметками, рецензиями, чаще всего, охотнее всего он писал о тех, кто оказался в тени, кого не заметили или недооценили, кому по разным причинам «недодано». То были начинающие, обычно не москвичи — А.Жигулин и В.Соснора, И.Шкляревский и Ю.Воронов, В.Леонovich и О.Хлебников. Но не только молодые — он всегда старался сказать доброе слово о тех поэтах старшего поколения, с оценкой сделанного которыми, по его мнению, тогда было не все ладно, — о Н.Асееве, Н.Заболоцком, В.Каменском, Л.Мартынове, Д.Хармсе. И из своих ровесников Слуцкий тоже выбирал прежде всего тех, кто был несправедливо обделен, — как проникновенно он написал о К.Некрасовой и Н.К.Глазкове...

Надо обратить внимание на этот год — 1957.

«В том 1957 году Твардовскому не нравилась вся русская поэзия, начиная с Некрасова. Есенин — особенно, но и Маяковский, Блок. О Пастернаке он выразился:

— Конечно, не стал бы за ним с дубиной гоняться. — Это и было пределом его доброжелательства к Пастернаку».

В том году — 29 июня — прошел бурный Пленум ЦК КПСС, когда Хрущев, с помощью привезенных на военной авиации в Москву своих провинциальных назначенцев и имея на своей стороне председателя КГБ Серова и маршала Жукова, одолел (начинаются сплошные кавычки) «фракционную антипартийную группу» Молотова, Маленкова, Кагановича и «примкнувшего к ним Шепилова» — «ленинскую гвардию», ставшую поперек перемен в стране. Крайних, смертных репрессий не последовало, и это было фактом перемен, но высокие посты названные товарищи потеряли.

Те пути, что войною забиты,
Те пути,
по которым идти.

Этим поэт намеревался, по-видимому, в символической форме сказать о непобедимой созидательной силе народа, о том, как берется он за новые труды. Но как мрачно это выходит, с каким словно бы уже и отчаянием все это рисуется! Поучительно заметить, что, подобно Е.Евтушенко, и Б.Слуцкий оказывается в этом стихотворении *без художественного языка*. Стихотворение не становится подлинным разговором в образах жизни, является лишь унылым как бы воплем: страшно возвращаться с войны. <...>

Ближе к концу своего выступления В.Назаренко сворачивает на Твардовского, в противовес предыдущим авторам:

В главе «Переправа» пишется так:

Вдруг снаряд. Понтоны — в ряд.
Густо было там народу —
Наших стриженных ребят...
И увиделось впервые,
Не забудется оно:
Люди тёплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Перед этой картиной какая цена наивному стращению Евтушенко — «под пулею немецкою, быть может, упадет»? Перед сценами военного горя, проходящими в «Тёркине», какое впечатление может произвести уныло-ноющий стих Б.Слуцкого?

Тем не менее в Италию Слуцкого отправили.

Ехали вдвоем с Заболоцким на поезде, вслед улетевшей группе поэтов. Сердечнику Заболоцкому летать было нельзя, Слуцкий вызвался его сопровождать.

Аккуратист Заболоцкий конспектировал в записной книжке пребывание на родине Данте.

11 окт<ября>. В 9.50 прибыли в Рим и сразу поехали во Флоренцию, где в о<бществе> Ит<алия> — СССР собрание и диспут на тему об оптимизме и пессимизме. Мое выступление. С<луцкий> — предпочел бы, чтобы в природу вмеш. /?¹ человек.

Бажан².

См<отрели> Санта-Кроче. Могилы Галилея, Микель-Анжело

Уго Фосколо

На пл<ощади> памятник Данта

кам<енные> львы и голуби на его голове. Палаццо Векьо. Площадь Синьории.

12 окт<ября>. Осмотр г. Флоренции

Гал<ерея> Уффици

<...>

Виноградные лица у Боттичелли

<...> Тайна в уголках губ. Они глубоко и нежно-туговато очерчены. Тонкие высокие брови. Глаза дивн<ой> чистоты или широко открыты или опущены. Золотые кудри расчесаны в завитках. Длин<ные> белые руки и пальцы. Сквозная корона. На лице Мадонны задумчивая нежность и легко («легко» — подчеркнуто. — *И. Ф.*) легла страдающая покорность судьбе. Тоск<анский> пейзаж на з<аднем> плане

Чертальдо

Род<ина> Боккачио

Спагетти — верм<ишель> с мяс<ом> и сыром

Замок епископа с майоликовыми щитами.

¹ Так в машинописи, подаренной Слуцкому Н.Н.Заболоцким, сыном поэта. РГАЛИ. Ф. 3101, оп. 1, ед.хр. 587.

² Микола Бажан — украинский поэт.

Родиной его был Чертадьдо, отцом Боккачио, наставницей — божественная поэзия.
Одна бомба упала на Чертадьдо — именно на дом Боккачио.

13 утро, 6.30-11 часов. Едем через Болонью в Равенну.

1.30 поездом, 2 часов машиной. В Равенне 3 дня, затем поездом в Триест, оттуда Венеция, Болонья, Модено, Рим.

Виноград, толстые стволы, поднят, персиковые деревья, акация. <...>

Равенна

11-20 У могилы Данте.

Венок.

«Когда я умер я далеко от Флоренции», котлая для меня мать, котлая меня мало любила («мало любила» — подчеркнуто. — И. Ф.).

14. X. 57. «Пока на свете будут попы и папа, я чту карабин». Гарибальди.

Сегодня Гарибальди. Дом, где он скрывался.<...>

16 утро.

Едем машиной до Феррары, оттуда поездом в Триест. Вдвоем со Слуцким и 2 переводчицы. <...>

8-20 Феррара, замок герцога.

г. Падуа

12-45 Триест

<...> Вечер — вечер с чтением стихов в словенском рабочем поселке Санта-Кроче.

<...> Инфрмация> Слуцкого для словенского радио. Три вопроса: о цели приезда, о взгляде на лирику, о советской лирике.

17. Инфрмационное> сообщение в «Il piccolo» от 17.X. (правая газета) о пребывании в Триесте. То же — в «Унита».<...>

19. 10 часов>

На гондоле

Пароходик> вапоретто. Дворцы, ступени в воде, сушится белье, цветы на балконах, гондола стучается на углах кирпичных стен.

Жил Марко Поло Рио Малибро.

Медленно. Окрики гондольера «Оль!» Ставни. Зеленая мутная вода. Порт у каменных> львов Венеции.

Выезжаем на Канал Гранде. Понте де Риальто (мост). На нем магазины. Длина Канала Гранде 4 км. Моторные лодки с овощами. Кружевные карнизы и портики балконов. Нос гондолы как шея черного лебедя.

<...> Черное здание Трибунала. Свернули с Канала Гранде в узкий. Цвет домов розовый, серый, желтый.

Облезла штукатурка, потеки. Плесень на камнях. Железные решетки нижних окон. Зеленая плесень. Непрерывно мостики. Внизу склады для угля и дров. Гербы на гондоле. Черное лакированное. Медные дельфины на гондоле. Гондольер кричит «О!», «Ой!»

<...> Башня часов (XV в.). Мавры бьют в колокола. Пристали к пристани у Дожей.

<...> 19-го в 2-40 дня выехали в Рим по известным> причинам.

20, воскресенье

<...>Ватикан. Сан Пьетро.

Колоннада, площадь, ватиканские карабинеры.

Месса в Сан-Пьетро.

<...> Пышность и огромность храма. Гробница Петра и его статуя.

<...> Поездка по городу.

Вилла Боргезе.

Аветинский холм

<...> Корсо. Визит к Рипеллино¹.<...>

22

У посла Боргезе <...>

Вечером прием в посольстве.

Унгаретти, К. Леви², дочь Саба и др. Тольятти³.

¹ *Анджело Мария Рипеллино* — литературовед, славист (русист, богемист), переводчик, поэт.

² *Джузеппе Унгаретти* — поэт и переводчик; Грациаджо Карло Леви — писатель, художник и политический деятель.

³ *Пальмиро Тольятти* — лидер итальянских коммунистов.

23

Документы в посольстве
Покупки
Вечером в 10-5 отъезд из Рима на Вену

26

12-20 дня отъезд из Вены на Москву через Варшаву, Брест.

В придачу к тому можно добавить. Заболоцкий разжился в Италии отрезом для костюма, в котором вскоре будет похоронен. Слуцкий взял там же отрез почему-то парчи. «Мы смеялись, не знали, что с ней делать» (В. Огнев).

Заболоцкий привез из Италии шедевр. Написан не сразу, чуть погодя (1958), и это стало его лебединой песней.

Мне мачехой Флоренция была,
Я пожелал покоиться в Равенне.
Не говори, прохожий, о измене,
Пусть даже смерть клеймит её дела.

Над белой усыпальницей моей
Воркует голубь, сладостная птица,
Но родина и до сих пор мне снится,
И до сих пор я верен только ей.

Разбитой лютни не берут в поход,
Она мертва среди родного стана.

Зачем же ты, печаль моя, Тоскана,
Целуешь мой осиротевший рот?

А голубь рвётся с крыши и летит,
Как будто опасается кого-то,
И злая тень чужого самолёта
Свои круги над городом чертит.

Так бей, звонарь, в свои колокола!
Не забывай, что мир в кровавой пене!
Я пожелал покоиться в Равенне,
Но и Равенна мне не помогла.

(«У гробницы Данте»)

Слуцкий отчитался за поездку поначалу оперативным репортажем в форме псевдотерцин «Рубикон», исполненным сарказма, и, перечислив некоторых своих спутников, имя Заболоцкого обошел.

А Рубикон — речонка
с довольно шатким мосточком.
— Ну что ж, перейдём пешочком,

как некогда Юлий Цезарь, —
сказал я своим коллегам,
от спеси и пота — пегим.

Оставили машину,
шестипудовое брюхо
Прокофьев вытряхнул глухо,

и любопытный Мартынов,
пошире глаза раздвинув,
присматривался к Рубикону,

и грустный, сонный Твардовский
унылую думу думал,
что вот Рубикон — таковский,

а всё-таки много лучше
Москва-река или Припять
и очень хочется выпить...

Это было ярко, но не из ряда вон. Данте у Слуцкого здесь, конечно, нет, а вот Ходасевич отдаленно присутствует:

Брента, рыжая речонка,
Лживый образ красоты!

(«Брента»)

По-настоящему мощная вещь у него появилась годы спустя, в самом начале семидесятых, и это был тот случай, когда он мог бы сказать, что прыгнул выше самого себя, сделав нечто вычленившееся, выломавшееся из него — реалистически-символистическое исключение, по существу заболоцкое.

У пригласивших было мало денег,
и комнату нам сняли на двоих.
Умаявшись в банкетах и хождениях,
мы засыпали тотчас, в один миг.
Потом неврастения, ностальгия,
луна или какие-то другие
последствия пережитого дня
будили неминуемо меня.

Но Заболоцкий спал. Его черты
темнила ночь Италии. Белила
луна Италии, что с высоты
лучами нашу комнату делила.
Я всматривался в сладостный покой,
усталостью, и возрастом, и ночью
подаренный. Я наблюдал воочью,
как закрывался он от звёзд рукой,
как он как бы невольно отстранял
и шёпоты гостиничного зданья,
и грохоты коллизий мирозданья,
как будто утверждал: не сочинял
я этого! За это — не в ответе!
Оставьте же меня в концов конце!
И ночью, и тем паче на рассвете
невинность выступала на лице.
Что выдержка и дисциплина днем
стесняли и заковывали в латы,
освобождалось, проступало в нем
раскованно, безудержно, крылато.
Как будто атом ямба разложив,
поэзия рванулась к благодати!
Спал Заболоцкий, руку подложив
под щеку, розовую, как у дитяти,
под толстую и детскую. Она
покоилась на трудовой ладони
удобно, как покоится луна
в космической и облачной ледяни.
Спал Заболоцкий. Сладостно сопел,
вдыхая тибуртинские миазмы,
и содрогался, будто бы от астмы,
и вновь сопел, как будто что-то пел
в неслыханной, особой, новой гамме.
Понятно было: не сопит — поет.
И упирался сильными ногами
в гостиничный кроватный переплет.

(Продолжение в следующем номере)

Сергей Панарин

Миграции на шкале истории

Не остается ничто незбылемым: всё преходяще¹.

Лукреций «О природе вещей»

Двадцать пять лет назад в ответ на вопрос профессора истории из Гарвардского университета Эммы Ротшильд, чем бы я хотел заниматься в рамках международного проекта по продвижению и дальнейшей разработке новой концепции безопасности, я предположил, что это могла бы быть тема «Миграция и безопасность».

С тех пор, куда бы меня ни уводил исследовательский интерес, прихотливым сменам которого я всегда, не особо сопротивляясь, следовал, миграционные сюжеты никогда не выпадали полностью из моего поля зрения. Я возвращался к ним даже после длительного, в несколько лет, перерыва — с опасением, конечно, что безнадежно отстал за пропущенное время и не смогу найти общего языка с небольшой, но очень активной, постоянно общающейся и, увы, не слишком интенсивно обновляющейся когортой «миграционистов».

Однако эти страхи оказывались преувеличенными. Я действительно отставал в знании новых фактов и теоретических наработок, но не в понимании проблематики. Что не было, однако, моей заслугой. Ибо хотя менялись ее акценты, одни аспекты выходили на передний план, другие на время отступали в тень, в целом круг вопросов, требовавших ответов, почти не менялся, и в почти неизменном виде повторялись варианты этих ответов. В то же время, как раз благодаря перерывам, все более отчетливо виделась способность миграции и мигрантов противостоять, при попытках перевести их в разряд «предметов и объектов исследования», отчуждению в форме объективации и концептуализации, способность вторгаться в исследование всей полнотой жизненного восприятия «их» «нами». И тем самым нарушать столь необходимую для исследователя дистанцию.

Но разве могло быть иначе? Ведь мигранты вошли в нашу жизнь. Из своего окна, выходящего во двор старого сталинского дома, я в течение уже лет десяти невольно наблюдаю за работами и заботами сменяющихся дворников — мигрантов из Средней Азии. Какие среди них попадались неутомимые, добросовестные труженики — как, впрочем, и мастера имитировать трудовую деятельность!

Панарин Сергей Алексеевич — востоковед, заведующий Центром исследования общих проблем современного Востока Института востоковедения РАН. В «ДН» публикуется впервые.

¹ Перевод Ф.Петровского.

Одна из квартир в моем подъезде давно сдается интеллигентным девушкам-киргизкам, тоже периодически сменяющимися. Как-то в ней даже была сыграна пышная свадьба. А однажды я был вынужден вмешаться, когда разозленный киргизский кавалер свою хрупкую киргизскую подружку, с виду вполне современную девушку, стал вполне «по традиционному» бить ногой по самым чувствительным местам... Да что перечислять эпизод за эпизодом! Уверен, что из личных воспоминаний о встречах с мигрантами тех немногих, кто исследует миграцию, и тех многих, кто ею профессионально не занимается, можно составить толстенный том, а то и два, под условным названием «Какими мы видим их». И том этот был бы в первую очередь не о мигрантах, а о нас.

Что приходит из жизни и задевает лично, заставляя забыть, иногда надолго, об успокаивающем лекарстве рефлексии, то не так-то легко отстранить и анализировать. Так и с миграцией. Намного сильнее, чем традиционные исторические сюжеты, проблемы Южно-китайского моря или очередная встреча в рамках ШОС, апеллирует она напрямую, поверх ограды затверженных научных интерпретаций, к тому, как ее исследователь видит мир и себя в нем, какие ценности разделяет и отвергает. Злободневная по определению, успешно вызывающая подчас даже к индивидуальному темпераменту, она оказывает на любого субъекта ее восприятия — будь тот ученым, политиком, социальным работником или полицейским — такое давление, что парадоксальным образом объективирует уже самого этого субъекта. Объективирует в том смысле, что, провоцируя запуск в сознании процессов категоризации¹, хотя бы отчасти подменяет индивидуальное восприятие стереотипным. И это давление мешает выстроить непротиворечивое объяснение феномена миграции.

Есть и другая почти непреодолимая трудность — соединение извечного течения миграций с их текучей изменчивостью. Миграции длятся и длятся: от огромной по длительности эпохи антропогенеза до ничтожного кусочка времени, гордо объявленного эпохой постмодерна; от господства каменной индустрии до наводнения информационных потоков и обслуживающих их технологий; от Саргона Великого и фараона Джосера до Путина и Трампа. При этом в каждый данный, относительно протяженный, отрезок исторического времени в большей или меньшей степени обновляется социальный состав миграций, происходят изменения в композициях и балансах вызывающей их совокупности причин и миграционных следствий, как ожидаемых, так и непредвиденных. Эта вечность миграций, их непрерывное — то более выраженное, то менее, но неизбежное — присутствие в истории человечества и вечная изменчивость, обостренная реагентность на смену обстоятельств оборачиваются настоящими преградами для тех, кто жаждет их «разъять алгеброй» анализа, подчинить законам. Ученые подступают к миграциям как к объекту исследования, властители — как к объекту управления; но и те и другие равно уподобляются борцам с мифическим Протеем, вечно меняющим облик и потому ускользающим от понимания первых и не поддающимся контролю вторых.

Поэтому я скептически отношусь к концепциям миграции и сосредоточусь на методе исследования, способном, как представляется, обеспечить необходимое отстранение от дышащего в затылок «предмета», различить под маской частых и частных изменений его едва ли не вечные в их устойчивости, «гранитные» черты.

¹ Понятием «категоризация» в социальной психологии определяется произвольный процесс деления людей на группы в ситуации, когда эти группы взаимодействуют лишь случайно и поверхностно и когда их не сближает сходство в мировидении. Категоризация может вести — и нередко приводит — к предвзятому отношению и дискриминации.

I

Одно тысячелетие за другим землю населяют одни мигранты, и завтра мы будем мигрировать еще больше. Будут мигранты политические, мигранты экономические, мигранты климатические. Но люди — это бабочки, возомнившие себя цветами: как только они где-нибудь обосновываются, они забывают, что у них нет корней, они принимают собственные крылья за лепестки, придумывают себе иную генеалогию, отличную от блуждающей гусеницы и летающего зверя.

Эрик-Эмманюэль Шмитт. Улисс из Багдада.

Начну со слова. Уже в своем римском «далеке» латинский глагол *migrare* и существительное женского рода *migratio* обладали многими значениями. Чаще всего их употребляли, когда надо было сказать о переселении, переезде кого-либо или перемещении чего-либо; об уклонении от чего-либо, оставлении чего-либо (например, своего поста); об отступлении от закона, его нарушении; о вступлении в новый брак; о смерти как переходе, расставании с жизнью; в целом — об изменении и всеобщей изменчивости. В дальнейшем, в течение столетий бытования латыни в качестве международного языка высокой культуры значения слова «миграция» продолжали множиться — как и после вхождения этого слова в национальные языки. В итоге за время длительного пребывания и в повседневном языке, и в языках политики, журналистики и науки понятие обросло множеством смыслов и коннотаций, а заодно и эмоциональных мировоззренческих и идеологических реакций на него.

В зависимости от контекста использования понятия на первый план выходят лишь некоторые его значения или вовсе единственное. Понятие «миграция» — не исключение. С уверенностью можно предположить, что для энтомологов, изучающих вид *Coccinellidae*, оно в первую очередь ассоциируется с перелетами целой популяции божьих коровок. Но и при переходе от языка узких специалистов к языку общенаучному и литературному опережающее всплывание какого-то смысла тоже определяется контекстом, только теперь контекстом, создаваемым не столько профессиональными занятиями, сколько обстоятельствами места и времени.

В «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и Ефрона вместо статьи о миграции дается отсылка к статье «Переселение», а в той речь идет исключительно о миграциях в животном мире. И хотя затем следует большая статья «Переселения» — о переселениях русских крестьян на окраины империи, и есть в «Словаре» статьи «Иммиграция» и «Эмиграция», как *родовое понятие* миграция все-таки не отождествляется в нем напрямую с перемещениями людей. Спустя столетие, в академическом словаре, оставив эпитет «академический», предназначенном для фиксации изменений в русском языке к концу XX века, миграция толкуется исключительно как движение людей. Причем и в его толковании, и в иллюстрациях медийного употребления это слово прочно привязывается к движениям населения в пространстве бывшего СССР после его распада.

Другой пример контекстуальной аранжировки смыслов. В онлайн-словарях итальянского языка, при сугубо политкорректном толковании самого термина, в поясняющих примерах прорывается его эмоциональное восприятие, обусловленное европейским миграционным кризисом. Например, в авторитетном словаре итальянского языка «Вокабулере Треккани» вслед за нейтральным объяснением значения слова «мигрировать» приводится фраза из текста Карло Сгорлона¹, отражающая отношение

¹ Карло Сгорлон (1930—2009), итальянский писатель родом из области Фриуле. Обладатель множества престижных литературных премий. Автор трех десятков романов, сборников рассказов и пьес. В том числе — автор романа о мигрантах из Фриуле, участвовавших в строительстве Транссиба.

к миграции как к бедствию: «Орды варваров прихлынули к пределам Римской империи — и ее жители были вынуждены бежать, бросая свои земли, становиться людьми, рассеянными по свету, лишенными будущего». В другом словаре сначала объясняется, что мигрировать = поселиться не в том месте, откуда ты родом — разумеется, без указания этого самого места. Но в иллюстрирующем предложении оно обозначено четко и — весьма симптоматично: «популяции мигрировали с *Востока*» (выделено мною. — С.П.).

Как хорошо видно из этих примеров, понятие «миграция» откликается на перемены в его восприятии, а те обусловлены не только исторической динамикой контекста социальной среды, в которой разворачивается миграционный процесс, но и его собственной динамикой. Благо богатый смысловой арсенал понятия это позволяет. Вместе с тем, не стоит забывать, что все смыслы слова «миграция» крепятся, подобно роскошной кипени цветов, вдруг облепивших невзрачную ветку, к элементарному представлению о движении в пространстве. Миграция немыслима без движения, без этой природной способности человека как живого существа, которой он, уже как существо социальное, придал созидательную историческую функцию окультуривания, очеловечивания природного пространства, его колонизации. А ключевой характеристикой колонизации, включая самую древнюю, начальную — ту, что совпала по времени с началом человеческой истории, — была, по определению историка А. Головнёва, «стратегия движения (власть над пространством) с многообразием миграций и взаимодействий».

Можно, наверное, сказать, что миграция сама — исконная человеческая способность. Пусть у многих людей, глубоко погруженных в жизнь — да простится мне неологизм! — домоседную, эта способность до поры остается свернутой, она так же имманентна любому человеку, как его способность дышать или спать. Даже парализованный человек свободно перемещается в *воображаемом* пространстве. Он может развить в себе способность к *творческой* миграции. К той, например, которой буквально живет герой детективов Джеффри Дивера Линкольн Райм, которому почти полная неподвижность не мешает мысленно двигаться за логикой замыслов и пространственными перемещениями преступника.

Вернемся, однако, к мигрантам реальным, способным к физическим перемещениям. Как бы ни варьировались их цели, все они для достижения своих целей прибегают к помощи одного средства — движения в пространстве. Именно такое движение — обязательное условие и универсальное средство решения самых разных проблем, возникающих на личностно-групповом уровне и на уровне этнической общности. Более того, миграции были необходимой составляющей самого становления человека как *вида*, процессы антропогенеза и миграции — куда большие «близнецы-братья», чем партия и Ленин в поэме Маяковского. Поэтому история миграций — в отличие, скажем, от истории революций, государств, международных отношений и т.д. — соизмерима с историей человечества во всей ее протяженности. Что позволяет при поиске первичной, базовой характеристики совокупного мигранта использовать парафраз из Шефтсбери: мигрант — это человек, *каков он сам по себе*, то есть человек еще не исторический, человек естественный в руссоистском понимании термина. И вместе с тем именно посредством миграционного движения «естественный» человек расстается со своей изначальной включенностью в мир природы, начинает долгий путь к антропоцену. Это путь от свободных просторов — к пространствам, человеком-мигрантом одновременно расширяемым, разграничиваемым и изменяемым. От родовой территории он ведет к национальному государству и глобальному миру, от стоянки в сотню квадратных метров — к мегаполису, от устного известия в узком кругу — к всемирной информационной паутине и т.д. и т.д. и т.д.

Всё проходящее.

II

...Прошлое и настоящее взаимно освещают друг друга.

Фернан Бродель. *История и общественные науки: историческая длительность*

Итак, способность к миграции была присуща человеку еще тогда, когда человеком он только становился. Миграции, в ходе которых люди расселились от Бретани до Чукотки и от Гренландии до Огненной земли, охватили *всю* Землю, прослеживаются на протяжении *всей* истории человечества. Такая соположенность миграций «времени мира»¹ и такая их соразмерность земному пространству требуют использования, наряду с широко распространенными исследованиями, сфокусированными на происходящем сейчас, исследований, обращенных в прошлое.

Мне тут же скажут — и вполне обоснованно, — что с пафосом ставить такую задачу все равно что ломиться в открытую дверь. Исторические миграции давно стали предметом внимания и рефлексии. Что такое вторая и четвертая книги Моисеевы («Исход» и «Числа»), как не описание исторической миграции евреев из Египта в страну Ханаан? И не просто описание, а еще и задним числом легитимирующее объяснение причин и целей этой миграции. И дано оно было задолго до первых претендовавших на научность интерпретаций непосредственно наблюдаемых миграций, сводивших миграционные перемещения к разновидности броуновского движения.

В настоящее время нет недостатка внимания к историческим миграциям со стороны ученых — историков, этнологов, археологов. В Институте археологии РАН даже существует специальное подразделение по изучению миграций прошлого — Отдел археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья. Однако само по себе наличие «древников», занимающихся миграциями далекого прошлого, ровно ничего не значит для «современщиков», и наоборот. Ибо располагаются они на разных концах временного континуума, в своем поиске друг с другом не взаимодействуют и, похоже, совсем не тяготеют взаимной изоляцией.

Между тем, по моему глубокому убеждению, для того чтобы миграционные исследования обрели новые объяснительные возможности, необходимо устранить этот разрыв, поместив их на единую временную шкалу — шкалу *longue durée*, то есть на шкалу исторической длительности.

Оборот *longue durée*, имеющий во французском языке значение «длительный срок», «продолжительный период времени» и т.п., стал с легкой руки Фернана Броделя термином и служит сейчас для каждого, кто употребляет фразеологизм в этом качестве, таким же бесспорным свидетельством его пребывания на теоретическом Олимпе и историографическом Парнасе, как и почтительные упоминания ризомы Делёза или инвективы в духе Эдварда Саида в адрес пресловутого ориентализма. Однако частое использование понятий столь же часто не идет им на пользу. Они стираются, превращаются в функцию, в статусные символы и ненаучные интерpellации, чей исходный смысл оттесняется так далеко на периферию сознания, что он, а вслед за ним и само слово словно бы умирают. А мертвые слова, как выразился в стихотворении «Слово» Николай Гумилев, «дурно пахнут». Поэтому, несмотря на видимую всеобщую осведомленность в вопросе, что это за конструкт такой *longue durée*, я уделю ему далее целый раздел. Благо сам творец и пропагандист конструкта разбросал в своих текстах немало кратких пояснений на его счет. Есть у него и специальная статья, в которой он раскрывает содержание своей излюбленной метафоры

¹ Метафора заимствована из названия третьего тома главного труда Фернана Броделя. См.: (Бродель Ф. Материальная цивилизация, т. 3, 1992).

и — что еще более важно с точки зрения замысла книги, предваряемой этим предисловием, — доказывает методологическую *необходимость* использования *longue durée*.

Еще в 1948 году Бродель представил историю Средиземноморья в виде здания из трех этажей. Первый этаж — это почти неподвижная история взаимоотношений человека с окружающей средой; второй — история медленных ритмов = социальных групп, третий — «быстрая» «индивидуальная» история, под которой он понимал как бы размеченную деяниями исторических фигур и потому преимущественно политическую историю. Или, по определению Франсуа Симиана, историю событийную. И поскольку эти три истории различались для Броделя не только силами и акторами, но и скоростью протекания, он и время истории разделил соответственно ее этажам на время географическое, социальное и индивидуальное.

В дальнейшем Бродель фактически отождествил событийную историю с историей времени как мгновения и противопоставил ее истории процессуальной, время которой — *longue durée* — продолжительное, длящееся. Однако его противопоставление нельзя назвать жестким: он уточняет, что какие-то события, короткие в пределах их самостоятельного существования, могут, условно говоря, растягиваться во времени, поскольку оказываются важными или даже ключевыми звеньями в цепи причин и следствий. Поэтому «лучше говорить не о событиях, а о коротких промежутках времени, соразмерных отдельной личности, повседневной жизни, нашим заблуждениям и скоропалительным умозаключениям, — прежде всего, о времени хроники, времени журналистском». В этом времени царит событийная усредненность, к тому же «из всех возможных промежутков времени самый короткий — и самый капризный и обманчивый».

Этажи истории различаются и по их структуре. Структуру Бродель определял как «связный, хорошо фиксируемый ряд отношений между действительностью и социальными массами». «Одни структуры, вследствие их долгого существования, становятся прочными элементами жизни бесчисленных поколений: встают на пути истории, препятствуют ее течению и тем самым формируют ее. Другие изнашиваются быстрее. Но все они служат и опорой, и помехой. В качестве помех они образуют границы, за которые человек и человеческий опыт не могут ступить. Только представьте себе, как трудно вырваться из рамок, устанавливаемых географией и биологией, преодолеть пределы производительности, даже какие-то специфические духовные ограничители — ведь ментальные рамки тоже могут быть темницей *longue durée*»¹.

Совокупность ограничивающих структур Бродель называл структурами повседневности. Чтобы прояснить содержание этого понятия — и, заодно, доставить читателю удовольствие от высокой исторической прозы, — позволю себе еще одну пространную цитату.

«Я начинаю с инерции — с истории того, довольно-таки неопределенного на первый взгляд, сорта, что выходит за пределы ясного осознания. Эта история — как игра, в которой человек не столько играет сам, сколько она играет им. <...> Начинаю с повседневной жизни, с тех ее сторон, что контролируют нас, а мы этого даже не замечаем: с привычек, или, лучше сказать, с рутины — с того множества актов, процветающих и вызревающих независимо от чьего-либо решения, которое мы себе и не представляем. <...> Бесчисленные унаследованные нами акты, накопленные вперемешку и до сих пор периодически нами повторяемые, и помогают нам жить, и лишают нас свободы, принимая за нас решения на протяжении всей жизни». Что это за акты? «Это побуждения, влечения, образцы и способы действия и реагирования, которые — куда чаще, чем мы в состоянии подозревать — восходят к началам человеческой истории. Древнее, но всё еще живое, это многовековое прошлое втекает в настоящее подобно Амазонке, изливающей в Атлантический океан половодье своего мутного потока».

¹ Указ. соч. С. 31.

III

...Сегодня в Европе мы имеем дело не с иммиграцией. Мы наблюдаем феномен *миграции*. Разумеется, она лишена стремительности и жестокости вторжения германских племен в Италию, Францию и Испанию, ярости арабской экспансии после Хиджры и неторопливости неисчислимых людских потоков, которые перенесли загадочные народы из Азии в Океанию и, возможно, в обе Америки через исчезнувшие ныне сухопутные перешейки. Но это другая глава истории планеты, которая видела цивилизации, образовавшиеся и исчезнувшие на гребнях великих миграционных волн. Сначала — с Запада на Восток (но мы об этой волне очень мало знаем), потом с Востока на Запад, начиная тысячелетнее движение от истоков Инда к Геркулесовым столбам и потом, через четыре столетия, — от Геркулесовых столбов в Калифорнию и к Огненной Земле.

Умберто Эко. Картонки Минервы

Мы не сможем глубоко проникнуть в современность, если, обязательно помня о вопросах, которые она задает нам, не обратимся к поиску ответов также и в прошлом. В нашем случае — к поиску ответов на вопросы о миграции. В методологическом отношении такое обращение — при условии, что это будет не точечный укол, не выхватывание подходящей по видимости аналогии, а именно погружение в Амазонку *longue durée*, — откроет некоторые потенциально эвристические возможности.

Обогащение представления о структуре миграционных процессов. Как это может получиться при сопоставлении сущностей, разделенных временем, Бродель показал с помощью простого сравнения сущностей, разделенных пространством. «Прожив в Лондоне год, вы не так уж и много узнаете об Англии. Зато по контрасту, на фоне того, что вас там удивило, вы внезапно придете к пониманию глубоко запряганных характерных особенностей Франции — вещей, которые вы не знали раньше потому, что знали их слишком хорошо. Так и с современностью: прошлое — способ от нее дистанцироваться». То есть речь не идет о том, что, проследив, предположим, движение гуннов на запад в V веке или переселение горстки зулусов под началом Мзиликази на север в первой четверти XIX века, мы непременно обнаружим нечто такое, что хорошо выражено и в современных миграциях. Куда более вероятно другое: на «экзотическом» фоне исторических миграций мы сможем разглядеть в миграциях наших дней то, чего раньше в них не замечали, на что не обращали внимания.

Аналогичный результат представляется возможным и в том случае, когда фоном, способным проявить нечто, скрытое в привычном облике прошлого, может, наоборот, послужить картина современных миграций. Но этим не исчерпывается ожидаемый эффект от сравнения миграций, разделенных столетиями. В узких хронологических рамках, будь то рамки текущих событий или короткого периода прошлого, нередко видится только то, что само бросается в глаза, тогда как все остальное, быть может, более важное, ускользает от взгляда исследователя. Когда же прошлое и настоящее соположены и, благодаря этому, корректно сопоставлены, определение исследовательских приоритетов, главного и второстепенного в предмете исследования может оказаться значительно более точным, чем при рассмотрении разновременных миграций изолированно друг от друга. И открываются альтернативы привычному видению современной миграции: *историзируя* ее, мы приобщаемся к той способности истории, о которой прекрасно сказал Юваль Харари: «В отличие от физики и экономики, история не берется давать точные предсказания. Мы изучаем ее не затем, чтобы выяснить будущее, но чтобы расширить наши представления, понять, что

нынешняя ситуация не так уж естественна и неизбежна. А значит, и сейчас перед нами множество дорог, гораздо больше, чем мы полагали».

Проверка исследовательского инструментария. Современными миграциями занимаются разные науки, более всех — социология, особенно качественная, и антропология, особенно культурная. Для изучения миграций они сделали больше, чем другие дисциплины. Однако и сегодня актуальны слова Броделя, некогда адресованные им социологам: вы склонны игнорировать исторические объяснения под тем предлогом, что каждое такое объяснение зиждется на небесспорной реконструкции.

С точки зрения социолога или антрополога их методы позволяют сделать точный срез действительности, ее, образно говоря, фотоснимок. И сколько бы его авторы ни демонстрировали на публику скептицизм в отношении получаемых ими результатов, в глубине души большинство из них верит, что на снимке — всё как есть на самом деле (или как было, когда «птичка вылетела»). С точки зрения историка — всё ровно наоборот: «исследователь, занимающийся современностью, сможет очертить... контур искомой структуры лишь в том случае, если сам займется реконструкцией, если на первое место поставит теории и толкования, не будет затянута в плен непосредственно явленной реальности...»¹

Совместное пребывание в школе *longue durée* специалистов по современности и по древности и в этом отношении будет взаимовыгодным. Это не означает, конечно, что стороны будут с легкостью обмениваться методами. Скорее, следует рассчитывать на перспективу *тестировать* «замеры» происходящего здесь и сейчас историческими реконструкциями произошедшего там и тогда. Ибо при всей уязвимости реконструкции любой исторической миграции, ее хода, составляющих, связей с другими процессами, итог ее именно как процесса нам *явлен*. Снимки же, делаемые социальными науками, при всей их впечатляющей детальности, суть не более чем фиксации промежуточных, исторически минутных, сменяющихся состояний. Несомненно, и они могут сказать, и немало, о процессе, но лишь после того, как мы его *мысленно сконструируем*, выработаем методику «улова» гипотетического процессуального и с ее помощью разрозненные фотографии времени как момента соединим в единый свиток времени как протяженности. Что касается «навара» для историков, то тут дело обстоит более сложным образом, поскольку сам принцип снимка им недоступен. Невозможно включенное наблюдение крестовых походов или восстания сипаев. Стоит рассчитывать на то, что не сам по себе методологический багаж «современщиков», а их, если можно так выразиться, методическая изобретательность будет усвоена «древниками» и принесет им несомненную пользу.

Углубленное понимание следствий миграций. Когда в исследовательском поле прочерчивается только верхняя хронологическая грань — текущее десятилетие XXI века, нижняя же теряется в глубине тысячелетий, открывается возможность увидеть действительно долговременные эффекты исторических миграций — долговременные и как *долго проявляющиеся*, и как *долго длящиеся*. Конечно, на протяженной временной шкале происходило много такого, что существенным образом могло повлиять и влияло на последствия миграций; это «много чего» могло вообще кардинально изменить непосредственные эффекты миграций, элиминировать их кумулятивный эффект. Сами эффекты заявляли о себе в разных областях жизни, на разных этажах истории. Однако, если попытаться обобщить это множество в наиболее значимое следствие, то можно, как мне представляется, утверждать: и массовые миграции по типу переселения целого народа, и тихие, скромные по масштабам, но надолго растянувшиеся во времени миграции-инфильтрации чреваты *сменой одного субъекта истории другим*.

¹ Указ. соч. С.36.

Когда смена действительно случалась, происходила она по-разному. Самый радикальный способ — завоевание, в ходе которого аборигенное население уничтожалось полностью или в огромных масштабах и заменялось населением пришлым. Но более распространенными были либо синтез новой субъектности на основе социокультурных характеристик пришлого и коренного населения, либо полная утрата автохтонами своей идентичности, принятие ими идентичности мигрантов. Ближайший пример синтеза — результаты завоевания варварами Западно-Римской империи. Здесь мы видим и сложение нового общественно-исторического строя, и замену одного государства многими, и формирование, на основе слияния германо-язычных варваров с романизированными автохтонами, сначала народностей, потом современных наций. И конечно же, мощное влияние культурного наследия античности на становление Запада как сообщества nation-states, как особой цивилизации, как «родины» науки и капитализма.

За примерами поглощения аборигенного населения населением пришлым и вовсе не надо далеко ходить: вспомним о полностью растворившихся в славянском племени балтских и финно-угорских народностях — голяди, веси, мери, муроме.

Не меньшими по значимости оказались периодические перемещения в пространстве сравнительно немногочисленных групп людей, для которых эти перемещения были, по сути, смыслом жизни, — торговых мигрантов, паломников, странствующих проповедников, ученых, артистов, поэтов. Следствием в данном случае стала всепроникающая кросс-культурная миграция вещей, идей, понятий, образов, целых текстов, отдельных слов и алфавитов и других артефактов культуры. Эти миграции в большинстве случаев не были катастрофическими. И даже там и тогда, где и когда они были частично травматическими, такими они становились лишь постольку, поскольку вызывали в личностном и групповом сознании болезненную эрозию привычной картины мира и/или провоцировали репрессивные меры со стороны ее властных охранителей. Зато, пусть с перерывами и попятными движениями, они работали на трансформацию той или иной культуры и на сплавление культур¹. Они же рыхлили почву для культурных гибридов, проверяли практики неконфликтных гетерогенных взаимодействий, открывали новые возможности — короче, создавали исторические предпосылки глобализации и «сетизации» мира на всех их будущих направлениях.

Этими следствиями то, что было завещано нам историческими миграциями, конечно же, не исчерпывается. Приведены они здесь лишь для того, чтобы показать, к каким масштабным, многосторонним, то противоречивым, то комплементарным результатам — нередко не ожидавшимся, не предполагавшимся и даже во время их течения не подвергавшимся сколько-нибудь углубленной рефлексии, — могут приводить миграции. Но также для того, чтобы показать: и то, что миграции могут выступатьдемиургами исторического процесса, и то, какова сила их воздействия на него, и то, что эта сила способна сделать, — все это в короткой перспективе современности капитально помогает увидеть опыт прошлого.

¹ Не случайно исторические миграции с самого попадания их в поле научного анализа рассматривались в качестве инварианта объяснения всего хода истории (см.: Амальрик А.С., Монгайт А.Л. В поисках исчезнувших цивилизаций. М.: Наука, 1966. С. 262—272).

О цели и направлении

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Дорогой Алексей! Вот вам картинки с выставки.

С выставки хорошего сибирского художника Ивана Кулакова.

Прошла она в июле 2017 года в Доме ученых Сибирского отделения РАН.

Почему я поставил в заголовке этого материала слово *цель*? Да потому, наверное, что она, эта странная цель, присутствует в каждом нашем действии. Как и *направление*, с которым, правда, все вроде яснее. Идут ведь всегда к чему-то: к далекой горе, к морю, к саду, к супермаркету, да мало ли. Никто не говорит: иду на север, на юг и т.д. Даже капитан Гаттерас в известном романе Жюль Верна стремился не просто в полярные края, нет, он страстно и неуклонно стремится — к полюсу. То есть к определенной точке. Так что направления почти всегда — к *чему-то*. Альпинисты всходят на высочайшие пики, видят внизу долины, ущелья, извивающиеся реки. Огюст Пикар опускается в Марианскую впадину, видит в темной вечной мгле рыбу, похожую на камбалу. Ален Бомбар в одиночестве пересекает Атлантику, и волны, только волны вокруг, исследует все более глубокие пещеры, писатель пишет книгу, строитель возводит величественные дворцы, прокладывает дороги.

У всех есть некая цель.

И есть направление — путь к цели.

Вавилонскую башню строили потомки Ноя в долине Сеннаарской.

Вавилонская башня должна была стать центром притяжения для многочисленных местных племен. Наследники Хама (одного из сыновей Ноя) стягивались в долину, камня не хватало — обжигали глину, получали кирпич. Господь, как правило, не настаивает на полном Ему подчинении, что ни говори, свобода выбора все-таки существует, но в случае с Вавилонской башней Он возмутился. Как это, башня до небес? Почему до самых небес? Конечно, самоуправство. Только по доброте своей Он не стал проливать кровь. Просто смешал языки.

Не случится ли такого с построением Евросоюза?

Вопрос возник по ассоциации. Но он не так прост, как кажется.

Загадочная Вавилонская башня во все времена привлекала внимание художников, ведь она одновременно — и направление, и цель. Куда потомкам Хама двигаться?

Буров Алексей Владимирович — кандидат физико-математических наук, философ, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им. Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов»: эссе «О красоте» (2016, № 1); эссе «О молчании» (2016, № 6); «О понимании» (2017, № 4); «О пошлости» (2017, № 7); «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12).

В Сеннаарскую долину. Что им там делать? Строить башню до неба. Потомки Хама, ведомые Нимродом, не хотели больше оставаться рабами потомков Иафета и Сима. Куда им уходить от агрессивных соседей? Нимрод, наверное, не один год обдумывал это. В конце концов, почему бы не потягаться с самим Господом? Всего-то делов — построить башню. Главное — начать. Как через много веков говорил один маршал: главное — ввязаться в драку.

Так цель и направление сливаются воедино.

Свою «Вавилонскую башню» русская художница Наталья Толпекина (сейчас живет в Англии) написала грубой, громоздкой, архаичной. Ее холст — это отзвук прошлого, сам воздух напитан дряхлеющим временем. Башня, написанная Толпекиной, она — от Лукаса ван Фалькенборха; от Хендрика ван Клеве; от Момпера и Франса Франкена-младшего; она, конечно, от Питера Брейгеля.

Наталья Толпекина остро чувствует прошлое.

А вот башня, написанная сибирским художником Иваном Кулаковым, насыщена исключительно современными реалиями. Строители Кулакова — это мы с вами. Мы видим на холсте тесно сгрудившиеся небоскребы, над ними — в металле и стекле — главный. Все вместе эти небоскребы и есть Вавилонская башня, тут не о чем спрашивать, тут все ясно с первого взгляда. Мы строим свою башню упорно, мы начали строительство еще в каменном веке. Переходя от бронзы к железу, от железа к стали, от стали к титановым сплавам и т.д., и т.п., мы строим все круче, все выше, все мощнее. Наша Вавилонская башня (одновременно) — это и дарвинизм, и водородная бомба, и полет на Луну, и открытое общество. Мы хотим стереть все границы. Долой полосатые столбы, распаханное поле, мы вот-вот достанем до неба! Вон как бодро мы (строители) рассыпались по смотровым площадкам, каждый — на своем небоскребе. Нам не до личных встреч (есть интернет, в конце концов), нам не хватает времени для прямого общения (зато у нас есть мобильная связь).

Мы поднимаемся выше и выше.

Мы поднимаемся к небу.

Ну, хорошо, пусть так.

А потом? А потом что?

Подергать за бороду Большого Старика?

Увидеть все тот же мир, только с несколько иного уровня?

«И увидел я новое Небо и новую Землю; ибо прежнее Небо и прежняя Земля миновали, и Моря уже нет». (*Апок. 21, 1*).

Но ведь мы видели это уже не раз. Видели с орбиты МКС. Видели с покоренной Джомолунгмы. Что нового можно увидеть с Вавилонской башни? Как-то не верится, что, начиная такое необычное дело, никто всерьез не задумался о реальном будущем. Как так? Мы же знаем: уничтожая пространственные границы, мы одновременно создаем новые — невидимые, но все более мощные. Поднимаясь к небесам этаж за этажом, мы видим все тот же окружающий мир...

И дело не просто в эстетической составляющей.

Вот мы еще не достроили башню, а уже знаем, что увидим с нее.

Художник Иван Кулаков — геофизик по специальности. Он не раз мысленно (и с помощью приборов) заглядывал в темные глубины Земли (это его профессия), думаю, он не раз строил (и продолжает строить) модели земных пластов — таких всегда живых и подвижных. Наука — занятие счастливое. Но когда Кулаков (уже как художник) писал Вавилонскую башню, он явно тревожился. Не случайно его строители (мы) выглядят такими неуверенными. Они толпятся на смотровых площадках, они, возможно, предчувствуют, что никаких ресурсов не хватит, возможно, они боятся того, что Большой Старик опять не потерпит их стремления к собственному выбору...

Однажды в Куала-Лумпуре (Малайзия) я смотрел на лежащий внизу огромный город с его самой высокой башни (внизу, кстати, среди прочих достопримечательностей четко выделялась белая аккуратная тюрьма для китайских террористов), в другой раз — на Гудзон и кварталы Нью-Йорка с одного из Близнецов (Южного). Мир и там,

и там казался невероятно обширным, и все же это был все тот же, хорошо знакомый мне мир.

Наверное, и с вершины древней (овеянной допотопными ветрами) Вавилонской башни (если бы ее все-таки достроили) мир увиделся бы столь же широко; и все равно — он уже знаком нам...

А вот другой холст Ивана Кулакова.

На этом холсте изображен Ной — крошечный старичок, поднявшийся на самую верхнюю палубу (палуб у нового ковчега не менее семи). Он нетороплив. На момент постройки Ною исполнилось примерно пятьсот лет, а после чудесного прибытия ковчега к горе Арарат он, сын Ламеха, внук Мафусаила, прямой отпрыск Адама, жил еще триста пятьдесят лет. Куда спешить в таком возрасте? Вот он и возделывал землю — неспешно, долгими веками, высаживал виноград, ухаживал за лозой. С ним на ковчеге спаслись сыновья: Иафет, родоначальник европейцев, Сим, давший начало семитским народам, Хам, породивший африканские племена...

Но Иван Кулаков — о другом.

Ковчег, написанный им, огромен.

Ковчег просторен. Ведь на нем должны спастись многие живые пары.

Вот хотел написать — счастливые, а написал — живые. И действительно, как нам знать, были ли эти спасающиеся пары счастливы? Вообще, счастливы ли спасающиеся? Есть ли выбор у спасающихся? Они же понимают, глядя на окружающие горы, реки, деревья, что все это уже *не наше*. Вон какая огромная очередь растянулась по берегу — жирафы, бегемоты, волки, лисы, обезьяны, медведи, львы, белки, хомяки и прочая, прочая, прочая. Каждой твари по паре. Все ищут спасения. Не зря Ламех в час рождения сына своего Ноя провидчески заметил: «Он утешит нас в работе нашей».

И Ной утешил. Он спас человечество.

Он заодно спас весь животный мир Земли.

Вот только можно ли быть счастливым, понимая, что все остальные обречены?

Ковчег, конечно, прекрасен. Как все у Кулакова, ковчег сугубо современен. На нем надстройки, прожектора, локационные башни, антенны, иллюминаторы, только на носу — старинный небольшой парус, скорее, символ. Сразу видно, что такой ковчег спокойно пройдет сквозь любую бурю и доставит своих пассажиров...

Куда? К горе Арарат?

А пассажиры хотят туда?

Что делать африканскому льву или южноамериканскому ленивцу на вершине заснеженного Арарата, чем питаться среди голых мерзлых камней яванской тропической обезьяне или североамериканскому, пусть и более неприхотливому, скунсу? Ну, и все такое прочее. Одни только птицы на холсте Кулакова чувствуют близкую опасность — они беспокойно клубятся над ковчегом, над крошечным пятисотлетним Ноем. Они-то уж точно видят вдали волну-убийцу, уже катящуюся к берегу.

Это потоп.

Он надвигается.

Ной на верхней палубе одинок.

Сыновья старика заняты погрузкой.

На берегу звери смиренно выстроились в длинную очередь.

Они еще не знают, не понимают, зачем они тут. Но их тревогой напитан воздух.

Это и понятно: ведь звери никогда не идут туда, где чувствуется опасность (зверь с холма смотрит вперед, но не в будущее), а эти пришли. По зову Ноя, конечно. Коровы, бизоны, лошади, коты, собаки, крысы, саранча, ящерицы и все прочие — они не знают своего будущего, но их *позвали*. Они стоят, переминаются с ноги на ногу, с лапы на лапу, они перешептываются. Они понимают: надо ждать. Сперва — волны наступающего потопа. Потом — появления на горизонте горы Арарат. Потом отступающей волны. Потом новой жизни. Потом создания каменных и костяных орудий труда, потом все более совершенных орудий. А потом полета на Луну и, само собой, водородной бомбы. То есть всего того, что мы так часто называем прогрессом,

что мы все определяем как будущее и что (в своем неумолимом вечном движении) так быстро превращается в прошлое.

Звери еще не взошли на ковчег, тянется по берегу смиренная очередь.

А морские валы вдали поднимаются все выше, выше. Порывы ветра срывают с них пену. Вверх, вниз. Опять вверх и вниз. Парус округляется. Какую же цель ставит перед собой человек, начиная строить Вавилонскую башню, создавая ковчег? Я сейчас говорю не о конкретно означенной цели — добраться до небес, достичь земли; я говорю о том, что нас внутренне заставляет все это снова и снова совершать? Какова истинная цель наших многих (часто необъяснимых) действий?

Вот качнулась и двинулась наконец громада ковчега.

Вот она уже рассекает волны.

Куда ж нам плыть?

Алексей Буров

Дорогой Геннадий Мартович, Ваши письма неизменно приводят меня в ошеломление каким-то особым электричеством, излучаемым персонажами и ситуациями.

Вот маленькая фигурка Ноя на верхней палубе ковчега — одного под бездонным небом, сливающимся с бесконечными водами везде, куда ни глянь. Много лет он был состоятельным, всеми уважаемым человеком; жизнь шла своим чередом, возвращаясь, как ей и положено, на круги своя. Все было налажено и устроено, но в определенный момент этому уже не слишком молодому человеку стало ясно, что круги жизни безнадежно испортились, идут ко дну, что единственный его шанс не пропасть вместе со всем этим хозяйством — строить ковчег и уплывать, уходить от тонущего мира навсегда. Что могли думать соплеменники, наблюдая странные приготовления к отъезду человека, даже и не знавшего, как объяснить, зачем и куда он уезжает? Должно быть, судили-рядили о странностях Ноя, о известном его упрямстве. И вот эта жизнь уже позади, ее больше нет, и она никогда не вернется; средних же лет человек на верхней палубе ковчега видит себя со всех сторон окруженным небом, которое всегда было и будет для него подлинной твердью.

А вот организованно движутся вдали колонны великого вавилонского народа, строителя светлой Башни. Этим уверенным в завтрашнем дне людям стало ясно, что человечество постоянно обманывали, убеждая славить богов, через то унижая и эксплуатируя трудящихся. Но пришли великие учителя и объяснили, что богов выдумали, велик же на самом деле никакой не бог, а человек, что должно быть ясно всякому, подержавшему в руке хорошо обожженный кирпич. Не боги ведь кирпичи обжигают! Свет учения идет от Вавилона, чей передовой народ под мудрым руководством наставников строит Башню. До самого неба будет эта великая Башня, никак не ниже! И пусть дивятся на нее окрестные народы, восхищаясь великими соседями, почтительно расступаясь и склоняясь пред ними в изумлении. Да, нелегко таскать глиняные кирпичи на высокие этажи, но это ничего; еще немного и достигнем неба, и точно увидим, что никаких богов там нет и не было. Башня же будет сиять в веках, прославляя великий народ великой страны.

Проект этот не получился. На каком-то этапе возведения светлой Башни ее строители стали подозревать неладное: что до неба достать нельзя, что глупо даже задачу так ставить. Сомнение это, несмотря на карательные меры стражей, росло, принимало самые разнообразные формы, а затем уже все, включая самих наставников, перестали понимать, что такое эта Башня и зачем она нужна, если все больше и

больше она становится предметом обличений и горьких шуток. В конце концов и самый язык построения Башни был утрачен, уйдя в забывающиеся анекдоты и не слишком интересные ученые трактаты.

Как же, Геннадий Мартович, ответить на ваш вопрос:

— *добраться до небес...*

— *достичь земли...*

— *какова истинная цель этих наших (часто необъяснимых) действий?*

Кого об этом спрашивать, к кому идти за ответом?

Но прислушаемся, однако же, к самому вопросу. Бывают ведь такие вопросы, что уже в самих себе содержат часть ответа.

Истинная цель, о которой вы спрашиваете, принадлежит уровню, резко отличающемуся от непосредственных целей. В отличие от последних, неизвестно, кого о ней надо спрашивать, да и есть ли она. Спрашивая, в чем она состоит, вы тем самым уже как бы подразумеваете, что она есть. Положим, что так; но где же она существует, в каком пространстве, внутри чего? В природе нет целей; наука описывает природу посредством законов, случайности, и причинных, но не целенаправленных связей. Цель, если она действительно цель, а не иллюзия, может устанавливаться лишь умом, лишь уму может принадлежать, лишь умом задаваться. Если для человечества в целом она и в самом деле установлена, то имеется, стало быть, и ум, ее установивший, ум Создателя.

Тут развилка: если цель действительно есть, то есть и Создатель.

А если никакой цели у человечества нет? Если человечество случилось в ходе бесцельной эволюции, и сам вопрос о его назначении, как и распространенная вера в Создателя, тоже произошли в силу откуда-то упавших законов и случая, не более того?

В нашем предыдущем разговоре («О правде и вечных вопросах») я попытался показать, почему второй вариант плох. Избегая повторений, лишь кратко перечислю аргументы против этого второго варианта — атеизма (материализма, натурализма, сциентизма).

Во-первых, это воззрение противоречит математической красоте законов природы, и как факту самой природы, и как неотъемлемой от теорфизики вере в такие законы, и как уже реализованному познанию Вселенной.

Во-вторых, оно противоречит разумности потенциально неограниченных требований долга, а потому губительно как в индивидуальном, так и цивилизационном плане.

В-третьих, оно чревато ситуацией хамской неблагодарности в случае своей ошибки.

Есть и иные аргументы в ту же сторону, но ограничусь здесь этими.

Замечу заодно, что почти все из этих аргументов работают и против того, что можно назвать гипотезой Джокера, то есть предположения о недобром или неумелом создателе Вселенной или о могущественном демоне, захватившем полноту власти над человеком. Идея такого демона стара как мир: в христианстве она присутствует как преувеличение роли Сатаны, над возможностью ее опровержения размышлял Декарт, ей был придан современный вид фильмом «Матрица» и набирающими популярность идеями мира как компьютерной симуляции.

Оставив Джокера в стороне, спросим: не может ли так быть, что Создатель есть, но никакой особенной цели, назначения для созданного им человечества он не предусмотрел или же пока не определился в этом отношении?

В нашем разговоре «о правде и вечных вопросах» я определил человека как того, кто может удивить Бога. Людей удивляют как сами люди, так и природа, но для Творца природа, подчиненная его закону и случаю, вся прозрачна и предсказуема. Человек же подобен Богу как существо духовное, способное противостоять природным силам,

рождать новые идеи и реализовывать их, и в силу того он таинствен даже для Бога. Потому и разумно заключить, что человек не просто интересен, но по преимуществу именно он интересен Создателю. А раз так, то и надежды Создателя в отношении человека могут состоять лишь в росте этого интересного начала, творческого духа, усиления его атрибутов: познавательной способности, изобретательности, стремления и реализации себя в красоте, истине, любви.

Но тут меня могут спросить: если так, то отчего же Творец сразу не создал человека существом высокого духа, отчего человек так долго пребывает не в силе, а в слабости и ничтожестве, отчего он так часто глуп, жесток и низок? Зачем творить так, чтобы затем смывать потопом почти всех сотворенных? Разве не указывают все такие печальные события на недостаток прозорливости или творческой мощи автора?

Я так не думаю, и вот почему.

Богopodobие предполагает участие в творении не только всего мира, но и себя самого. Если бы Бог сразу сотворил человека супер-духовным существом, то тем самым человек был бы лишен возможности самосовершенствования до этого самого высокого уровня. Его богopodobие было бы уменьшено ровно на этот вклад в сотворение мира. Так что максимум творческого участия требует самой низкой из возможных стартовых позиций. Она и была изначально предельно низкой: человек, получив минимальную искру духа, начал выходить из животного царства. Из этого царства человеку предстояло вытащить себя за волосы самому, лишь с минимальной помощью свыше. Задача требовала именно границы невозможного.

Как же так, Алексей? — должно быть, остановите вы меня. — А как же Эдемский сад? И Змей, и грехопадение? Что же, — отвечу я. — Благая Книга есть катализатор духа, а не научное пособие. Она часто загадочна, темна, всегда требует усилий понимания, а не буквалистского прочтения. Бог дал человечеству две книги, писал Галилей, книгу природы и книгу обоих заветов. В отношении каждой из них мы должны держать ум открытым к новым проблемам, к необходимости нового понимания в свете новых данных и новых идей. Все, уже немалые, научные данные о предках человечества говорят именно о достаточно медленном выходе человека из царства приматов, не содержа никакой возможности вписать туда эдемскую жизнь исключительно разумной пары общих предков. Это означает, что буквальное прочтение мифа о сотворении человека, скорее всего, ошибочно. Но Библия, подчеркну еще раз, есть книга духа, а не учебник антропологии. Эдемский миф есть одно из великих посланий человечеству — на все века, как и миф о Потопе, и миф о Башне. Эти послания выражены в наиболее универсальной, захватывающей внимание форме — в виде поэтических художественных образов. Их уникальная сила явлена тем простым фактом, что по прошествии тысячелетий человечество не забыло их, не оставило, как отжившую рухлядь, но продолжает активнейшим образом спорить об их смысле, держа их в самом фокусе внимания. В той стране (США), где ваш покорный слуга живет уже два десятка лет, Библия постоянно находится в центре внимания всего народа: о смысле тех или иных ее историй идут (без какого-либо участия государства) дискуссии фермеров и водопроводчиков, музыкантов и психологов, а не только теологов и священников.

Хорошо, но как же быть с мифом об эдемской паре, как его понимать?

Я вижу в этом мифе предупреждение о вечной опасности утраты доверия Создателю и соблазна «быть как боги», соблазна «сделать себе имя», превознести и восславить себя, оставив Бога, — именно того соблазна, который захватил и ослепил вавилонян, взявшихся строить башню до неба.

Сотворив человека, Бог сотворил другого бога, подобного и не подобного Себе. Сотворив человека, Он дал ход времени, как мере становления, раскрытия потенциальной божественности в актуальности личности и истории. До человека времени не было или оно не играло роли: всеведению и всемогуществу Творца нет

пределов в природе, подчиненной установленному Им закону и границам случая; в отрыве от человека, природа раскрыта перед всеведением, от начала и до конца.

«Наиболее трудным в христианской метафизике является вопрос о примирении свободы человека с Божьим всемогуществом, с Божьим всеведением. На этой почве родилось учение о предопределении, достигшее крайнего выражения у Кальвина. Уже Блаженный Августин испытал тут непреодолимые затруднения. Наиболее верен тут путь мысли, на котором будет признано, что свобода есть граница Божьего предвидения, что Бог сам полагает границы своему предвидению, так как он хочет свободы и в свободе видит смысл творения», — утверждал Николай Александрович Бердяев на варшавском философском конгрессе 1927 года.

Разумных альтернатив этому *наиболее верному пути мысли* мне не видно.

Напряженный духовный рост человека и человечества — вот что важно для небес.

Замысел не в том, чтобы доставить человечество в некую наилучшую землю, где люди бы наконец успокоились в своих поисках и зажили правильной жизнью. Будь задача именно такой, имей высшую ценность не духовное напряжение, а бытие в самых его прекрасных формах, оно и было бы сразу создано и населено добродетельнейшими и благочестивейшими людьми, которые отныне почитали бы за счастье жить именно в этом лучшем из миров, непрерывно благодаря за то Создателя и друг друга. Кто скажет, что свобода воли непременно сопряжена с риском злодеяний, пусть подумает о мире, сплошь населенном святыми угодниками, и вспомнит, что для Бога нет ничего невозможного. Дух есть сотворение нового, а не хождение по кругам, сколь бы хороши эти круги ни были. Хождение по кругам — это природа, это жизнь, но вовсе не дух, творящий из ничего, задающий новые измерения бытия, преобразующий старые.

Вспомним, Геннадий Мартович, еще одну библейскую тему, новозаветную на сей раз: конфликт Иисуса Христа с фарисеями, главный конфликт Евангелий, который и привел к распятию. В центре фарисейства стояло строгое исполнение закона, аскеза своего рода. Исполнить сотни заповедей и ограничений разного рода очень нелегко; это подвижничество, требующее неслабой любви к Богу. Христос же говорил людям этой строгой религиозной жизни: фарисеи, вы гробы повапленные, разукрашенные. Очень даже оскорблял религиозные чувства мирных благочестивых людей, а за что? В чем был их грех?

Обычный ответ — в гордыне.

Но ведь гордыня — это ставить себя на место Бога, выше Бога.

Великий вавилонский народ, строитель Башни — вот где гордыня. Фарисей же, осужденный Христом, стоял в храме и благодарил Всевышнего, что дал силы исполнить положенное, что не обрек на позорную жизнь, вроде жизни этого негодяя мытаря, откупщика, дерущего последнюю копейку со вдов и бедняков ради казны оккупантов. Исполнивший трудные заповеди человек благодарил за все это Бога — какая же тут гордыня?

Нет, не в том здесь дело. Спор с фарисеями шел по самому большому счету, это был главный религиозный спор из всех возможных: в чем Замысел о человеке? В чем цель и назначение: в правильной форме жизни или в вечной работе духа? На языке философии можно было бы спросить — в бытии или становлении? Дававшие первый ответ, ставившие форму, традицию, закон, послушание целью и смыслом, уже совершали тем самым грех против духа, ничтожа его, приговаривая себя к духовной смерти в сколь угодно прекрасных замечательных гробах. Можно сказать — они были учителями духовной смерти. Потому что они и *фарисеи, гробы повапленные, разукрашенные*. Об этом же и притча о талантах, поражающая жестоким наказанием того, кто, казалось бы, никого не обидел, не украл, а всего лишь *ничего не добавил*.

«А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов».

Это Христос сказал, предупредил нас всех, за что главный спрос будет.

Дружба на вырост

Борис Лейбов

В высокой траве

Рассказы

Моему деду

1. Случай с моим рождением

В день, когда первый в мире женский экипаж поднял в воздух дирижабль, я родился. Я хорошо запомнил этот день, честное слово. Моя мама, черноволосая красавица, каких свет видывал, но не часто, была грустна. Отец, черноволосый красавец, был задумчив. Четырехлетний Эдик был, в отличие от родителей, весел, но, как и они, черноволос. Солнце стояло высоко над Москвой. Был апрель. Я родился восхитительно рыжим и, похоже, только весна была этому рада. Первый голос, который я услышал в этой жизни, был голос отца.

— Фаина, что ты такая грустная?

— А что ты такой задумчивый, Веня?

Так я познакомился с родителями. Красавица Фаина Исааковна и красавец Вениамин Львович. То, что Эдик был Эдиком, я как-то знал само собой.

— Я грустная, — не дождалась ответа мама, — потому что ты грустный и черноволосый, и я черноволосая, а Лёня рыжий.

Тут мама заплакала, а я оказался Лёней.

— Ну и что, — отец засмеялся, — у меня было шесть дядьев, и все рыжие, и их дети тоже — рыжие через одного.

— А что ты тогда молчал так серьезно? — мама не успокаивалась.

— Задумался просто, а что такого?

— Эдик, отойди от Лёни. Ты его сейчас проткнешь, — прикрикнула мама.

Она все-таки успокоилась. Я продолжал всему радоваться. Лопухий Эдик перестал тыкать мне в нос пальцем. Где-то через несколько секунд в моей памяти произойдет провал. На три, может быть, четыре года.

А пока девочка в синем платье, с двумя косичками и широкой улыбкой, прислонилась к стеклу в двери родильного отделения и смотрит на нас. Где-то недалеко от Смоленска идет поезд — из Минска в Москву. Он везет мою бабушку. И где-то высоко над нами парит дирижабль с бесстрашными женщинами. Три. Два. Один. Зеро.

Лейбов Борис Валерьевич родился в 1983 г. в Москве. Образование высшее, специальность — социолог. Окончил ВКСиР, мастерская Олега Дормана, специальность сценарист. Автор сборника рассказов «E-klasse» (под псевдонимом Леонид Левин; издательство «Альтернативная Литература», 2013). Печатался в альманахе «Литературные Знакомства». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

2. Случай со Сталиным

Декабрь. Снег. За окном Нескучный сад, голый и белый. С этой зимы я помню все. В тот день, когда бабушка вlepила мне первую и последнюю, вернее, единственную мою затрещину, в тот самый день молодой токарь товарищ Егоров взял обязательство дать в подарок седьмой партконференции две производственные нормы.

Был один вопрос, который меня томил. Конечно, после шлепка я научился задавать вопросы самому себе, про себя. Но то «после». А вот «до» я озвучил.

— Бабушка, а когда Сталин умрет, следующего тоже будут звать Сталин?

От оплеухи зазвенело в ушах. Мне показалось, что с меня слетели веснушки. Бабушка переживала больше, чем я. Она села на стул и тихо-тихо заплакала.

Когда-то очень давно бабушка была маленькой девочкой. Сталина тогда звали Царь, и она жила в Гомеле, потому что в Москве нам тогда жить было нельзя. У ее отца был большой огород, и все, что в нем росло, он отвозил на воскресный рынок. Детей у него было больше, чем грядок, и бабушка была очень худой. Однажды он взял ее с собой. Когда день подошел к концу, он обнаружил мою бабушку Лизу под телегой. Она играла с кошельком. Чужим кошельком.

— Лиза, ты знаешь, что это? — строго спросил он.

— Деньги?

— Ты знаешь, что они чужие? — еще строже спросил мой прадед.

— Да.

Так бабушка тоже получила свою первую оплеуху. Я не думаю, что прадед сел рядом и тихо плакал. Как рассказала бабушка, он взял ее за руку, и они обошли все ряды и лавки, спрашивая каждого, не его ли этот кошелек. Хозяина не нашли, и прадед купил ей платье — новое, синее.

А потом, почти через вечность, четыре года назад, бабушка села на одну из последних конок у Белорусского вокзала и приехала к нам. По крайней мере, чтобы познакомиться со мной. Ну, и еще потому, что мой отец, старший лейтенант, получил комнату в красивом доме на Большой Калужской, там, где заканчивается Москва, а справа каждое лето цветет Нескучный сад.

Бабушка вышла из конки и стала жить с нами — со мной, с Эдиком, с мамой и папой в шестнадцатиметровой комнате с видом на деревья. Я подошел и первый обнял ее. Больше нам плакать нечего.

3. Случай с детдомом

«Можно хочу сказать?» — так я стану часто говорить, когда вырасту, а всякий умник будет меня поправлять. Так вот, хочу задать вопрос, уместно ли будет рассказать о родителях и их жизни до меня? Полагаю, да. Жизнь до Лёни тоже достойна маленького внимания, но пристального. Ничего из этого я помнить не могу, но слышал с чужих слов и вот передаю.

Далеко от Москвы, далеко от Большой Калужской, целых четырнадцать лет назад, в 1927 году, родители познакомились. Недалеко от Смоленска стоял еврейский детский дом. Там дети учились на иврите и, как все в нашей молодой республике, не праздновали Рождество. И там, в десятом классе, начали дружить мама и папа, черноволосые красавцы.

Хочу заметить, они не были сиротами. Просто так получилось. Отец моей мамы, Исаак, предложил моей любимой бабушке уплыть с ним в Нью-Йорк. Родину бабушка

любила больше. К тому же она была членом ВКП(б). Подумаешь, Америка! Развод мой дед прислал по почте. Мы все знаем, что он там женился и завел новых внуков, но такое рыжеволосое счастье, как я, он уже никогда не увидит, ну и бог с ним. А вот маму пришлось определить в детдом, так как сидеть с ней было некогда и некому. Бабушка была очень нужным человеком, как я понимаю. Нарком просвещения поставил ей задачу просветить всех смоленских женщин, что теперь они в чем-то равны. По-моему, так.

С отцом все куда сложнее. Начнем с того, что отца моего отца, то есть моего другого деда, звали Лейб Лейбович Лейбович. Да, в паспортном столе, скорее всего, тоже смеялись и вручили документ на имя Льва Львовича Львова. В общем, у дедушки Льва было три жены. Не сразу, по очереди. У первой было семеро детей, она умерла. У второй детей тоже было много. А у третьей, моей бабушки, которой я не видел, детей было трое. Один из них — мой отец. Мне кажется, дед очень переживал. Время в стране было нелегким. Иностранные шпионы (думаю, японцы) то и дело похищали его братьев, племянников и сыновей. Все эти Львовичи бесследно исчезали. И похоже, работа сапожником (то, чем Львовичи занимались последние лет триста, а может, и больше) стала небезопасной. Лавки позакрывали. Отец оказался в детдоме, в безопасности.

Как было в детдоме, я не знаю. Наверное, доска была, и мел, и звонок. На маме, наверное, было бабушкино небесное платье. У отца военной формы еще точно не было. Мне рассказывала мама, что заговорили они друг с другом в день, когда в далекой Москве открылась Первая мировая выставка межпланетных аппаратов и механизмов. Я появлюсь на свет через десять лет. А когда мне будет двадцать, мы запустим первый спутник в волшебный космос.

4. Случай с войной

Я худой мальчик — и очень рыжий. Бабушка заправляет нам рубашки. У Эдика такая же белая рубашка, как у меня, и такие же коричневые шорты. Только его одежда больше, ведь он сам большой, ему восемь. Да и ботинки у него черные, как волосы. А мои серые. Почему у меня не рыжие ботинки? Бабушка сильно нервничает. Она то сядет, то подойдет к окну. У подъезда уже собрался весь дом. Человек тридцать или сто, не меньше. Я почти всех знаю в лицо. Наши соседи по квартире — пожилой мужчина с двумя дочерьми. Люди из третьей комнаты — муж и жена. Девочка, ровесница Эдика — никогда ее не видел.

— Все, Лёня, пошли! Хватит стоять в окне, пойдем. Эдик уже спустился.

На улице жарко. Середина лета. Очень хотелось забежать в Нескучный сад, до которого рукой подать. Но мама оторвала меня от земли и взяла на руки. Она плакала. Я понял, что в сад мы не пойдем. Отец стоял рядом с нами, улыбался. Соседи окружили нас кольцом. Они, наверное, тоже любовались папиной формой. Старший лейтенант! Взрослый, ему тридцать один год. Я знаю — три пальца на левой руке, один на правой. Вот столько!

Вдруг папа склонил голову к маме и стал что-то говорить, тихо и быстро. Мама засмеялась, не переставая плакать. Странно, как это у нее получается? Я вот если реву, то от начала и до конца. Тут загудел автомобиль. Люди расступились, и я увидел черную «эмку». Она приехала за отцом. Машина! Я чуть не взрывался от гордости.

— Это ненадолго!

Единственное, что я услышал из того, что говорил отец. Его хлопали по плечам, обнимали, жали руку. Эдик шнырял между взрослыми и говорил одно и то же: «Теперь

конец фашистам!» Отец обернулся еще раз, кивнул, и его увезли. Машина уехала по Большой Калужской, на запад. Люди разошлись. Где-то в толпе рыдала девочка. Я так и не увидел, какая. Эдика в парк отпустили, а мы с бабушкой пошли домой. Бабушка открыла форточки и пальцем указала мне на стул, чтобы я сел и молчал. Мама легла спать — лицом к стене. А мы с бабушкой сидели напротив. Почему она спит днем? Не маленькая же, да и что бы там ни случилось, это ведь ненадолго.

5. Случай с чемоданом

К осени мы совсем перестали ходить в парк. Там было много военных. Они рыли ямы и строили каменные домики. Приезжали и уезжали машины. Закрылись школа Эдика и мой детсад. Мама все время ждала почту и сильно волновалась — это было на нее не похоже. Нам нечем было себя занять, и мы гуляли — то по квартире, то по дому.

Однажды друзья Эдика разрешили мне пойти с ними на чердак. Оттуда мы вылезли на крышу. Я тихо сел, обхватив колени, и уставился на Москву. Никогда я не видел ее с такой высоты. Нескучный сад предстал целым лесом. Он тянулся и уходил до самого горизонта. Вдалеке бежала Москва-река. Внезапно Эдик дернул меня за руку: «Пошли!» Я не заметил, когда он умудрился разбить губу и порвать рубашку. Оказывается, он и с крыши чуть не скатился, пока я сидел как замороженный. Мама за рубашку не ругала — или просто не заметила. Но вот бабушка точно заметит, когда вернется с работы.

Еще мы любили (вернее, Эдик любил, а я за ним повторял) дойти на цыпочках по коридору до соседей и посмотреть, что они делают, если дверь не до конца закрыта. Пожилой Владимир Иванович, красногвардеец и отец двух дочерей, сидел на табурете и чистил яблоко.

— Вот буржуй, — шепнул мне брат, — яблоко чистит, как картошку.

Я кивнул и тут же представил, что все буржуи так и делают. Носят костюмы, курят сигары и чистят яблоки. Яблоки... Яблоки... За окном забарабанил дождь — уже не летний, не обещающий ничего хорошего. Мама лежала на кровати и смотрела в стену. Я слышал от соседей — не от буржуев, от других, — что она заболела. Яблоки... Очень захотелось есть, и я ждал бабушку.

Приехав к нам четыре года назад, бабушка, поиграв в меня первые дни, пошла, как и все взрослые, на работу. Там, где сейчас стоит Гагарин, Москвы еще не было. Там были деревни: вразнобой стояли одно-, двухэтажные здания, изредка проходили тощие коровы. Еще там было производство и при нем ремесленное училище. Бабушка там преподавала. Не думаю, что ей очень нравилось, но это было рядом с домом.

В этот день бабушка пришла позже обычного. Мы поели, по-моему, картошку, и нас отправили спать. Дождь сильно стучал по карнизу. За стенкой Владимир Иванович рассказывал дочерям о белых конях и красных знаменах. Под окнами остановился грузовик. Из него выпрыгивали люди, звук их шагов исчезал в Нескучном. Я засыпал. Эдик лежал и смотрел на меня. Его уши, казалось, оттопыривались сильнее обычного. Разбитой губы в темноте не было видно. Но ужас на его лице мне запомнился. Я засыпал, а он слушал бабушкин шепот и уже знал, чего не знал я, что мы уезжаем из дома. Бабушка сидела с мамой на кровати и говорила. Мама кивала: она понимала, что будет с нами, если немцы дойдут до Москвы. И бабушка понимала. У одного из ее учеников тоже была мама, и жила она в Тамбове, и у нее была комната, в которой мы могли остановиться.

— Вот билеты, — сказала бабушка.

— Но их три, — мама снова заплакала.

- Я никуда не еду. Если поеду, Лёня с Эдиком потеряют прописку.
Мама плакала пуше прежнего. Это мне брат рассказывал.
— Так, хватит. У вас с утра поезд, а мне на работу рано. Где чемодан?

Собственно, чемодан. На вокзале, как и на улице, было много людей. Дождь прекратился. Еще каких-то полчаса назад, дома утром, было так хорошо и спокойно. Бабушка перецеловала нас и, не проронив ни слезинки, пошла на работу. А мы отправились на вокзал. Москва была сама не своя. Вчера с крыши она казалась такой величественной, а сейчас была суетливая и беспокойная. Мама держала чемодан и Эдика, а Эдик держал меня. Попасть в вагон было очень тяжело. К маме подошел аккуратный мужчина с приветливой улыбкой. Эдик отчего-то съезжился, а мне, наоборот, стало спокойней.

— Женщина, давайте с чемоданом помогу и ребят подсажу.

Мама отдала ему чемодан. Он потеснил толпу и помог мне и Эдику запрыгнуть в вагон. Потом, под общее возмущение, помог и маме протиснуться. Теперь мы втроем были в поезде, все было хорошо. Мужчина развернулся (помню его коричневым пиджак) и быстро пошел по перрону с нашим чемоданом.

По Москве поезд катился медленно. Мама безучастно смотрела в окно. Эдик гладил ее по руке. Я стоял рядом и думал, какая она красивая. Черноволосая. Кареглазая. Потом я тоже уставился в окно. Вдалеке, у подъезда чужого дома, девочка вешала белье. Она остановилась и помахала нашему поезду, а я подумал, что девочка машет мне.

6. Случай со сценой

В Тамбове мы задержались ненадолго, пока мама искала работу. Через город протекала река, почти как наша, и по берегам стоял лес, почти как наш Нескучный. Была еще лодочная станция. И было очень тихо. Такая странная тишина, как будто ночь наступила днем. Это я потом только понял, что все ушли в ту же сторону, что и отец. А далеко дома, в Кремле, писатель Симонов получал премию за пьесу, которая чуть не лишила меня брата.

Мама нашла работу. Она стала ухаживать за больными — странными людьми без рук, без ног, которых привозили из больниц на восстановление в наш монастырь. Совсем забыл, Эдик, мама и я переехали в деревянный деревенский дом. Вернее, в комнату в этом доме. А деревня называлась Сухотинка. Напротив дома был старинный монастырь с высокими кирпичными стенами. Сюда привозили раненых, и мама их восстанавливала. Мне уже было пять, но я все равно некоторые вещи не понимал. Почему, например, нам нельзя внутрь, к маме, и почему мы с Эдиком и местными ребятами шатаемся по двору. Что такое «психически не здоров», и где это «психически» болит?

Еще в нашем монастыре был клуб. Однажды летом из Тамбова приехал театр. Ставили «Парень из нашего города». Маминым пациентам помогли разместиться в зале. Мы, дети, сидели на полу, между рядов. Это был важный день для Эдика. Он, смуглый и лопоухий, стоял на сцене. Ему доверили отодвигать шторы. Думаю, мама очень гордилась тем, что он был там, рядом с актерами.

Заиграла музыка. Эдик отодвинул одну штору, потом другую. Началось волшебство театра. Но когда на сцене появился парень в немецкой форме и заговорил на немецком, случилось страшное. Раненые и калеки все как один повскакали. Костыли полетели в сторону. Кто полз, кто прыгал, и все кричали: «За Родину, за Сталина!» Кто-

то в толпе ухватился за штору и с силой потянул ее вниз. Балка просвистела в сантиметрах от Эдиковых ушей. Спасла актера-немца и брата оркестровая яма. Ее инвалиды не одолели. Русские актеры не растерялись: быстро убили немца и объявили со сцены, что мы победили.

Ночью в нашей комнате мы сидели, прижавшись к маме. Она снова тихо плакала. Я уже был почти взрослый и догадывался, что она переживает за «психическую» своих больных и из-за того, что Эдика чуть не пришибло. Жалко, что бабушка сейчас далеко, с ней было бы надежней.

7. Случай со свиньей

Я никогда ни ел свинины. До того дня — потому что мы не могли себе этого позволить, а после — потому что все еще не могли себе этого позволить, а еще потому, что было неприятно.

Лето. Монастырь. Немецкие самолеты летали очень тихо и только ночью. Днем не страшно, и мы играли во дворе. В стенах монастыря был почти что город: огороды, бельевые веревки, скот. Мы играли только в войнушку. Стреляли из палок по невидимым самолетам. Жара.

Эдика подозвал крестьянин, глухонемой старик. Жестами показал, что идет в сарай резать свинью. Эдик собрал остальных детей и меня и объяснил, что делать. Мы должны были навалиться на дверь и держать, чтобы свинья не сбежала. Мы навалились. Что-то там внутри закричало и начало биться об дверь, но мы держали изо всех сил. Такое было время, что от поставленной цели не уклонялись. Когда старик наконец выбил дверь, а мы разлетелись в разные стороны, я вспомнил, что он глухонемой. Это он промахнулся и пытался сбежать от разъяренной свиньи, которая обглодала его, как собака кость. Крови было много. Приятного мало.

Как я понял потом, я был очень впечатлительным. Через час ребята уже все позабыли, а сам старик, наверное, добил эту свинью. А вот я остался сидеть на скамейке у дверей, откуда вечером выйдет мама. Этот мерзкий день заканчивался. Я болтал ногами. Эдик пошел в избу, а я остался ждать. Разбрелись и остальные дети, кроме одной девочки. Я ее как будто раньше не видел, хотя знал уже всех здешних. Начался грибной дождь, девочка спряталась под какой-то старой телегой и играла сама с собой.

Хотя я ее и ждал полдня, мама вышла неожиданно. Она взяла меня за руку, и мы пошли в дом.

— А Эдик?

— Уже дома.

— А ты что ж?

— Тебя жду.

— Чего?

— Защищать.

Мы шли по пыльной дороге, часто спотыкаясь о большие камни. Пахло мокрой травой. Где-то посередине, между домом и монастырем, мама остановилась, встала на колени и обняла меня. Я тоже ее обнял. И тут я понял, что это был за шум, который недавно появился в моей голове. Мимо нас, совсем низко над землей, летел немецкий самолет. Я видел лицо пилота. Хорошо видел. А он смотрел на меня. Не знаю, почему он нас не убил. Он пролетел дальше и набрал высоту, а мы с мамой так и стояли посередине дороги.

8. Случай с продуктами

Случай помог нам вернуться в Москву. Никаких денег у нас не было и, наверное, их не было ни у кого. Поезд с мамиными пациентами отправился в Москву, и маме удалось получить билет как сопровождающей медсестре, а нас с Эдиком впустили как довесок к маме. Я уже был большой, но все такой же рыжий и веселый. Было мне очень радостно, что мы едем обратно к бабушке, а еще радостно потому, что по радио сообщили: с Ленинграда снята блокада. Все в те дни были очень рады, и я вместе со всеми.

Мы приехали в заснеженную Москву. С вокзала добирались пешком. Хорошо, что не было тяжелого чемодана. Это уже был другой город — не тот, что мы покидали. Никакой паники. Ходили трамваи и работали светофоры. Помню, как я взбежал на наш второй этаж и как долго меня не могли оторвать от бабушки. В тот день я понял, что люди плачут и тогда, когда им очень хорошо.

Началась новая-старая жизнь. И организовала ее моя бабушка. Меня она отвела в школу для мальчиков, где я сразу завел друзей. Эдика как взрослого устроила в ремесленное училище. Маме помогла получить инвалидность по гипертонической болезни. Сама бабушка продолжала работать с утра до ночи — в то зимнее время, когда утро от ночи не отличается. Еще в какой-то момент я начал получать офицерскую пенсию. Эти деньги давали нашей семье жизнь, но ни бабушка, ни тем более мама были этому отчего-то не рады. Мама все время повторяла, что деньги эти ошибочны, и часто ходила по военным зданиям, пытаясь доказать это. «Без вести пропавший — это ведь значит живой», — говорила она. После войны она до конца жизни говорила про плен.

Бабушка не говорила ничего. Она будила меня в пять часов утра, еще до работы троллейбусов, мы одевались и выходили из дома. Эдика — наверное, как важного ремесленника — не будили. Мы шли четыре остановки, через темноту и снегопад, к Калужской площади — туда, где сейчас стоит Ленин. Там был единственный на всю улицу овощной магазин. Бабушка и я получали два номерка и ждали девяти — открытия магазина. Было очень холодно. Очень. Но в девять утра у нас было пять килограммов картошки, и мы шли с ней домой, зная, что еще целую неделю с нами все будет хорошо.

С нами стало еще лучше, когда Сталин отменил карточки. Это было в 1947 году. Я уже говорил, что помню все, но даже из всего есть особенные дни. День отмены карточек как раз такой. Уже стояло лето. Мне было десять, и вставать в шесть часов было не так сложно. У булочной, рядом с Донским монастырем, в это время уже стояли люди. Я встал в очередь. Когда к семи часам образовалась толпа, кто-то рядом сказал: «Мальчик, уходи, задавят». Я твердо решил достать хлеб, но когда к восьми часам передумал, уйти уже не вышло. Я даже подумать не мог, что во всей Москве есть столько людей. Казалось, в нашу булочную пришла вся страна. Все мостовые, вся проезжая часть, все, насколько хватало взгляда, было заполнено людьми. Дышать было очень сложно. Кто-то разбил витрину, посыпалось стекло. Засвистели милиционеры. Но они уже не смогли бы пробраться к магазину. Не знаю, в кого я такой сообразительный — в бабушку, наверное. Я сел на корточки, встал на четвереньки и пополз. Я был хищником в высокой траве. Я пробирался между ног, и волнение, что наверху, меня не касалось. Когда я дополз до двери, кто-то за шиворот втащил меня в магазин. Впускали по десять человек, я был одиннадцатым. Мне продали два килограмма черного хлеба — красивый целый кирпичик, одну четвертинку и довесок. С этим сокровищем меня выпустили через черный ход.

Домой я шел дворами, не переставая улыбаться самому себе. Мне казалось, что я не меньше чем герой Советского Союза. От огромной радости внутри хотелось петь, но песен я не знал. И тут, подходя к дому, я вспомнил, как пел отец в редкие праздники. Как же хорошо, что мы вернулись домой! Я не удержался и, входя в наш подъезд, запел: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем».

9. Случай с Эдиком

В коммунальной квартире ели по очереди. Когда наступал наш черед, бабушка первая уходила на кухню и звала, когда все было готово. Однажды вечером мы как обычно сидели вчетвером. Окно было распахнуто, и мы слышали, как подъехала машина. Но еще не знали, что это милиция. Мы слышали, как вышли двое мужчин, слышали, что они говорили. Со второго этажа можно было подслушать чужой разговор без особых усилий. Мы еще не знали, что они поднимаются к нам.

Милиционеры вошли на кухню. Из комнат повысовывались соседи.

— Вы Лейбов Эдуард Вениаминович?

Эдик был уже совсем взрослым. Я его очень любил. Он уже давно перестал быть тем лопоухим мальчиком, что тыкал мне пальцем в нос. Он был лопоухим мужчиной. К 1948 году и я, и Эдик, и бабушка уже понимали, что отец не вернется никогда, и мой брат как-то незаметно стал главным мужчиной в доме — ну, или в комнате. Ему было пятнадцать, и он уже полгода как работал токарем на заводе им.Семашко.

— Эдуард Вениаминович, вы вызываетесь на суд.

Мама сидела неподвижно. Эдик подошел к ней и сказал: «Я туда и обратно, это какая-то ошибка». И его увели.

Ошибки не было. По окончании ремесленного училища Эдик должен был отработать два года токарем на заводе «Красный пролетарий». В первый день работы ему не повезло с начальником цеха, который говорил ему: «Жид, сделай это. Жид, подай то». Эдик на этот завод не вернулся, а устроился на соседний, на той же улице, где работал до этого дня. Все это бабушка узнала в суде. Судья выслушал все стороны и посадил Эдика на полгода, по одному дню за каждый день прогула. Оказалось, что на «Красном пролетарии» была такая книга, которую показали в зале суда, там стояли крестики за каждый день прогула. Всего их было больше 130 — Эдик оказался тунеядцем, работающим тунеядцем.

Бабушка не стала говорить маме, что Эдика отправили во взрослую Серпуховскую тюрьму, так как колонии были переполнены. Мама лежала все на той же кровати и, как и шесть лет назад, разглядывала стену. Мы с бабушкой легли на матрас. Мне одиннадцать лет, я рыжий, в доме-комнате нас трое, и мне страшно становиться главным.

10. Случай в Гомеле

Вскоре после ареста Эдика наступили осенние каникулы. Бабушка с мамой решили отправить меня к тете в Гомель. У нее был дом с огородом, где росли овощи и картошка. В общих чертах — курорт. Я до сих пор не понимаю, почему меня, одиннадцатилетнего коммуниста-москвича, не предупредили о том, что меня ждало.

Гомель мне не запомнился ничем. После Большой Калужской, наверное, все показалось бы похожим на деревню. У моей тети Ани от мужа остался большой дом с огородом и трое ребят — Ноник, Фредик и Зяма. По крайней мере, скучно не будет, думал я.

После ночи в поезде (где я, наученный жизнью, не спал, положив голову на чемодан, хотя из всех ценностей там были штаны, сандалии и письма от родственников родственникам) я еле стоял на ногах.

Было много вопросов: «Почему без Эдика? Как Фаина? Как бабушка? Как школа? Как в Москве?»

— Видишь ли, Лёня, — вдруг сказала тетя, — после войны у нас не осталось синагоги. Много чего не осталось после войны.

Я подумал, что это какое-то название музея.

— Несколько дней ты поживешь у моего родственника, дяди Фройма, так как в нашем доме будет праздник, — продолжила тетя.

«Хорошенькие дела! — подумал я. — У них праздник, а меня к какому-то дяде! Представляю, как она приехала бы к нам на Новый год, а бабушка бы сказала: у нас Новый год, поэтому ты переночуешь в соседней комнате, у буржуев, что чистят яблоки».

Дом тети Ани разделялся на две части — ширмами, мебелью и перегородками. Когда я зашел, то увидел, что на лавках сидят девять мужчин с бородами — а в Москве я ни разу не видел бородатых. Был еще и десятый, он пел. Остальные подпевали. Язык явно был не русским. За перегородкой творилось что-то ужасное. Много-много женщин в головных уборах (и это в помещении!) сидели группами по трое и рыдали. Они ревели так, будто у каждой с утра кто-то умер. А одна пожилая дама читала под этот рев на том же непонятном языке. Я с ужасом попятился и вышел в сад. Дети тети Ани сидели на скамейке. Средний, Фред, был мой ровесник.

Я осторожно спросил:

— Фред, а почему все эти женщины плачут?

Мальчик совершенно естественно ответил:

— У Бога просят счастья на следующий год.

«Да, — подумал я, — деревня». Им из Москвы еще, наверное, не дошла новость, что Бога нет.

Чем дольше мы сидели на этой лавочке и грызли семечки, тем страннее и страшнее становился тетин дом. Чем темнее становилось на улице, тем больше приходило людей. С виду они были обыкновенными: мужчины в коричневых или серых брюках и белых рубашках, женщины в платьях. Мужчины безбородые, рабочие. Но их было так много! Может быть, тридцать или даже сто. Не так много, как у булочной, конечно, но для такого маленького огорода — слишком много.

— А эти чего все пришли? — спросил я Фреда.

— А, — сказал он безучастно, — услышать рожок кантора, чтобы быть счастливым, — и сплюнул шелуху.

Какой кантор? Какой рожок? На каком языке тут все разговаривают? Спас меня дядя Фройм. Он вышел из тетиного дома с моим чемоданом. Было уже темно.

— Лёня, — выделил он меня из всех сидящих детей. — Ого, да ты такой рыжий, что даже в темноте светишься!

Дядя мне очень понравился. Я сразу понял, что он не такой, как все. Оказалось, что он хорошо знает мою бабушку. А друг моей бабушки — мой друг. Еще выяснилось, что он секретарь партийной ячейки на предприятии, где работает. Сразу было видно — надежный человек, не то что те бородачи с канторами. Чем-то он был похож даже на отца. Гладковыбритый, черноволосый. И лет столько же.

У дяди Фройма был маленький дом. С одной комнатой, но очень чистой. Мне он постелил на террасе, так как было тепло.

Вечером за чаем я рассказывал ему про Тамбов, про отца, про Эдика. А дядя Фройм сидел очень грустный — даже сильнее, чем нужно, как мне показалось. Не

настолько же он нам родной, чтобы так переживать. Что было необычного, он угостил меня сахаром. Я помню чай и сейчас. Мой первый вкусный чай.

Дядя отправил меня спать, и я провалился в сон мгновенно, так как устал еще на вокзале. Всю ночь мне снились летающие над деревенскими домами рыдающие женщины.

11. В высокой траве

Бывает так, что ты просыпаешься, а глаза еще не открыл. Я помню, как лежу и уже понимаю, что я не дома, а очень далеко, в Гомеле, на матрасе. Воздух теплый. Я лежу и слышу голоса. Значит, у дяди Фройма гости. Говорили хотя и по-русски, но я слышал непонятные слова. Среди прочих — «независимость» и «Израиль». Когда я все-таки открыл глаза и осторожно приподнялся, то увидел, как мой дядя, секретарь партийной ячейки, и его товарищ надели себе на головы покрывала с кисточками и, встав лицом к стене, заговорили на иностранном языке. О ужас! Я накрылся одеялом с головой и не шевелился, пока они не ушли. Во двор они вышли, будто порядочные люди. В человеческих штанах и белых рубашках. И пошли, наверное, на свои заводы и фабрики. Да что же это такое? Они что, все японские шпионы? А бабушка знает? Она же член ВКП(б) с 20-го года! И понимала, куда меня отправляет!

Я открыл чемодан. Оделся. Умылся. Застегнул сандалии. На кухне дядя оставил мне два яблока. Я их съел с кожурой, как положено, и пошел гулять. За дядиной калиткой шла дорога, которая вела в центр города. Я это понял по людям, которые шли группами в одну и ту же сторону. Каких-то я уже вчера видел, на тетиним участке.

Я перешел дорогу. У меня в городе дел не было — как-никак, я был на отдыхе. Вышел на луг. Трава была высоченная, выше меня. Я шел вперед. Иногда попадались подсолнухи. Интересно, моя рыжая голова так же выглядит в этой траве, если смотреть с неба? Я долго шел и не заметил, как начал уставать. В какой-то момент поле превратилось в холм. Я, видимо, уже долго шел вверх, раз так запыхался. Я лег прямо на траву. Внизу под ногами виднелся дом дяди Фройма, и тетин дом, и все другие дома, и за ними весь Гомель. Доносились женские голоса. Козье блеянье. Мычание коров. Маленькие люди ходили взад-вперед, что-то делали. На горизонте дымили трубы. Где-то там дядя Фройм руководил своей ячейкой, и, наверное, никто не знал, как он говорит на иностранном языке со стеной по утрам. Сзади кто-то подошел и сел рядом. Я оглянулся. Это была девочка в платье небесного цвета.

- Привет!
- Привет!
- Москвич?
- Да, а как ты узнала?
- Да видно просто.

Я лежал и разглядывал город, а девочка сидела рядом, обхватив руками колени, и говорила. Она сказала, что скоро, когда вырасту, я встречу любовь всей своей жизни. Что она выберет меня из тысячи из-за моей горящей головы. У меня родится сын. И у него родится сын. И у него родятся дети. И я не буду одинок. Она говорила, что мои волосы, как костер, а потом погладила меня по голове. Помню странное чувство. Помню, что город под ногами разом стал родным. И дядя Фройм, и тетя Аня, и Фредик, и гуси с коровами — все стало родным.

Девочка ушла обратно на холм, а я встал и пошел в Гомель. Девочка не стала мне рассказывать, что Эдик уже не выйдет из тюрьмы, что бабушка скоро умрет, а опоздавший врач «скорой помощи» пожмет плечами и скажет: «Да ладно, пожила ведь

уже». Девочка не рассказала, что так скоро умрет мама, которая до последнего дня просидит на кровати в ожидании отца. Не рассказала, что когда отец садился в эмку, это был последний раз, когда я его видел.

Я спускался с холма теплым облачным утром. Я не знал, что так скоро останусь один в шестнадцати метрах на Большой Калужской. Не знал, что это так много для одного рыжего мальчика. Я помню, это было в жаркий сентябрьский день 5697 года от сотворения мира.

12. Вместо эпилога

Утром горы Иордании розовые. Их видно с нашего балкона. Под домом — детская площадка и брусчатая дорожка. Она тянется метров на сто пятьдесят и исчезает за соседним домом, таким же, как наш.

Сегодня очень важный день.

Я уже давно не рыжий. Мои волосы белые, как стены наших домов. Я сижу в плетеном кресле и вспоминаю все те важные дни моего детства. Внизу беззаботно играют дети. Девочка-соседка машет мне рукой.

Сегодня очень важный день.

Очень много дней я вот так просидел, представляя, как из-за соседнего здания вдруг выйдет молодой, тридцатиоднолетний офицер и пойдет в мою сторону. Он строен, красив, черноволос. Под руку он ведет мою молодую мать. Я представляю, каким стариком мог бы стать Эдик. Как он сидел бы в нашем дворе и смотрел на играющих детей.

Моя жена сидит рядом. Мы вдвоем.

Сегодня очень важный день. Нет, не потому, что мне сегодня восемьдесят пять, а потому, что мой правнук вот-вот выйдет из-за поворота и — красивый, стройный, в военной форме — пойдет к нашему дому, чтобы провести эту Субботу с нами.

Дружба на вырост

«Если смотреть ТВ, можно пропустить всё самое интересное в жизни...»

Размышления белгородских школьников

На этот раз мы спросили наших постоянных авторов о том, что они выбирают: телевизор или интернет, и предложили рассказать о своих ТВ-предпочтениях. В фаворитах — интернет, телеканалы Animal Planet, Discovery, National Geographic и передачи «Орёл и решка», «Галилео», КВН, «Пусть говорят», «Доброе утро».

Полностью все эссе можно прочесть в электронной версии номера на сайте журнала <http://magazines.russ.ru/druzhba/> и в «Журнальном Зале».

Орфография и пунктуация, написание названий и имен собственных — авторские.

Белякова Ульяна, 4в, гимназия №12

Моя любимая телепередача — это «Доброе утро». В ней можно узнать что-то новое. «Доброе утро» начинается где-то в 7:00 часов утра. Эта передача идет по Первому каналу. Там есть телеведущие. Они каждый день бывают в разных местах (г. Москвы). Она очень познавательная. Тем более там есть гороскоп, часы и вести и т.д.

Мне нравится эта телепередача.

Вобликова Арианна, 4в, гимназия №12

Моя любимая(ый) телепередача (сериал) «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН». Он мне нравится тем, что это происходит в реальной жизни. Мне нравится сериал «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН». Этот сериал идет по каналу СТС с понедельника по четверг. Мне нравится из этого сериала герой Дарья Канаева. Даша — справедливая девушка. Она добрая, красивая, умная и самое главное — ее честность.

Я смотрю этот сериал каждый день!

И он мне очень нравится!!

Я и вам советую посмотреть «ОТЕЛЬ ЭЛЕОН»!

Савченко Мария, 4в, гимназия №12

Моя любимая телепередача — Клуб веселых и находчивых. Это веселая и забавная игра.

В этой игре есть судьи и игроки. В игре есть наши игроки города Белгорода. Судьи судят игроков, у кого смешнее песня, рассказ или шутка. Мне очень нравится шутка «Хорошо, что "КВН" показывают после программы "Время", если бы "КВН" показывали перед этой программой, то все думали, что это продолжение игры». Мне очень нравится эта замечательная игра.

Савченко Таисия, 4в, гимназия №12

Моя любимая программа КВН. Это очень веселая игра. Выступают артисты, а судьи ставят им баллы. Мне нравится эта игра за то, что всем хорошо на душе. Эта прекрасная программа поднимает всем настроение.

Екатерина Дмитриева, 7а класс, гимназия №3

Если верить интернету, восемь часов или треть жизни уходит на сон. Еще такая же треть — это работа или обучение. Еще одна часть (четыре часа, т.е. шестая часть жизни) предназначена для просмотра телепередач. Оставшееся время уходит на прочий быт. А если человек уделяет телевизору больше внимания?

Считается, что чем чаще человек смотрит телевизор, тем больше снижается его мозговая активность. Если долго смотреть различные шоу или сериалы, то собственных мыслей почти не возникает. У меня есть пример из жизни. В данный момент я читаю книги, по многим из которых сняты фильмы. Например, «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети капитана Гранта» (как правило, я узнаю о фильмах в последнюю очередь). Но, как мне кажется, лучше сначала прочитать книгу, а потом уже, если захочется, смотреть фильм. В процессе чтения мы визуализируем в своей голове образ персонажа, развивая воображение, а в фильмах образы «подают» готовыми, и не надо напрягаться, чтобы представить героя или сцену из произведения.

Конечно, существуют программы, которые преподносят множество полезной информации о нашем мире, помогают задуматься, дают ценные советы. К примеру, когда собираюсь в школу, я смотрю «Доброе утро» на Первом канале, или, когда пью чай, наблюдаю за перемещением ведущих развлекательной программы «Орёл и решка». Приятно смотреть, например, шоу «Голос. Дети», да и многие другие.

Еще важно понимать, что для многих телевидение — это работа и мечта! Представляю, какой на телевидении темп и поток информации. Вот так смотришь телевизор и не понимаешь, как трудно, например, работать в прямом эфире, когда нет права на ошибку. Как сложно разговаривать собеседника, суметь сориентироваться и вовремя пошутить, не пошло, а с добродушной иронией. Профессия тележурналиста требует большой эрудиции и уровня образования, которое, думаю, идет не от диплома, а от воспитания.

Выходит, что критиковать — легко, а если задуматься, то ничего я, да и многие из телезрителей, о телевидении не знают. Сколько человек занято на съемочной площадке, какие ВУЗы заканчивали эти люди, какие получили специальности. Сколько сил они каждый день тратят, чтобы понять, что сегодня, а главное — завтра, будет интересно зрителям. А как сложно доказать, что твой проект достоин выхода на телеэкране. Мы можем только предполагать, сколько замечательных программ так и не появилось в эфире... Думаю, телевидение — это одна из самых быстро меняющихся сфер деятельности, электронная пресса требует больших усилий от всех участников! Я бы хотела посмотреть на мир телевидения изнутри.

Цышко Екатерина, 8а, гимназия №12

Я не так много смотрю телевизор — просмотру телепередач я предпочитаю чтение книг. Но все же у меня имеются любимые телепередачи.

Первая телепередача, которая мне приходит на ум при фразе «любимая телепередача», — это «Клуб Весёлых и Находчивых», иначе говоря «КВН». Это довольно старая юмористическая программа — в этом году ей исполняется 56 лет, но в ней шутят на актуальные темы. Мне нравятся шутки многих команд, но у меня есть

и любимые команды такие, как «Пятигорск», «Камызяки», «Парапапарам» и «Уральские пельмени». Эта телепрограмма мне очень нравится потому, что когда грустно и нерадостно, можно посмотреть КВН и сразу станет веселей. КВН можно смотреть в любое время и в любом месте, где есть Интернет, ведь у КВН имеется свой канал на Youtube, на который выкладываются небольшие отрывки телепередачи — рубрики — или даже телепередача полностью.

В детстве мне очень нравилась научно-познавательная телепередача, идущая по телеканалу СТС — телепередача «Галилео». Ее ведущим был Александр Пушной — бывший КВНщик, он добавлял каплю юмора в телепередачу, и она становилась даже немножко юмористической.

В «Галилео» входили разные интересные рубрики, из которых можно было узнать много нового, к примеру «Как дрессируют собак для кино» или «Как изготавливается бумага». Мне нравится эта телепрограмма потому, что из нее можно узнать много интересного и материал не подается скучно и непонятно, а все с разъяснениями, с хорошим видеорядом и не занудно.

К сожалению, СТС прекратил показ «Галилео», а «Галилео» прекратили снимать новые выпуски, но я все так же смотрю старые выпуски, которые выкладываются на официальном канале на Youtube.

Как и большая часть населения России, работающая с утра, я смотрю телепрограмму «Доброе утро» на Первом канале. Я смотрю ее вместе с родителями, когда завтракаю и собираюсь в школу потому, что в ней сообщают о том, что сегодня происходит и какой праздник, и рассказывается об интересных людях.

Конечно же, я смотрю телепередачу «Вести», которая транслируется на Втором канале, ведь я должна знать, что происходит в нашей России и во всем мире, чтобы не казаться от него «изолированной» и быть в курсе всех новостей.

Вечером, в завершение дня, когда я прихожу домой после школы и множества секций, мне нравится смотреть телепередачу «Вечерний Ургант». Она дает мне возможность расслабиться и узнать, что произошло в мире за день. Телепередачу ведет довольно известный телеведущий и российский актер, в честь которого и названа его передача — Иван Ургант. Мне очень нравится, как он шутит и рассказывает о новостях. Также мне нравятся разнообразные рубрики, такие как «Острый репортаж» или «Взгляд снизу».

Иногда я просматриваю телепрограммы на канале «Культура».

Впрочем, у меня нет времени на другие передачи и программы, ведь мне кажется если смотреть их слишком много, то можно пропустить все самое интересное в жизни.

Невзорова Ольга, 8а, гимназия №12

Смотря и изучая телепередачи, можно узнать множество полезной информации, но не всегда она полезная. Я считаю, что можно прожить и без них. Лично я не смотрю телевизор из-за того, что нет времени. Я занимаюсь легкой атлетикой, поэтому часто провожу свободное время за тренировками.

Эпельбаум Агнесса, 8а, гимназия №12

Мне нравится смотреть на Первом канале телепередачу «Пусть говорят». В этой передаче я узнала много интересного и нового о проблемах жителей нашей большой и необъятной страны.

Также мне очень нравится юмористическая телепередача «Импровизация» на телеканале «ТНТ». Суть этой передачи в том, что сценария в ней нет, и тебе дают тему

для шутки, под которую тебе нужно мгновенно подстроиться и быстро ответить так, чтобы ведущему и специальному гостю программы это понравилось. Еще мне очень нравится смотреть танцевальный проект «Танцы». В этом проекте множество молодых талантливых танцоров со всей страны соревнуются между собой, показывая свое мастерство, которое оценивают опытные тренеры и выдающиеся танцоры — наставники. Победителя проекта ждет главный приз — три миллиона рублей!

Ангелова Анна, 8а, гимназия №12

Телевизор я смотрю очень редко. Чаще всего я читаю книги, занимаюсь уроками, на телевизор времени почти не остается. Но если и получается посмотреть, то я смотрю Первый канал, чаще новости. Там я узнаю ситуацию в стране, политические действия и многое другое.

Также иногда смотрю познавательные программы про животных.

Также я смотрю программу «Пусть говорят». В ней обсуждают различные проблемы в обществе и пытаются их решить. В ней люди могут высказать свое мнение, и никто тебя осуждать не будет за это.

Также я смотрю «Танцы» на ТНТ, мне интересна эта программа, т.к. я тоже занимаюсь танцами. Я многое понимаю. Еще на разных каналах идут интересные передачи о Земле, о людях, об обществе. Мне интересны передачи о планетах, там рассказывается о строении нашей Солнечной системы.

Пономарева Дарья, 8а, гимназия №12

Сейчас по телевидению идет много телепередач. Но я не смотрю телепередачи, так как меня часто не бывает дома, и я редко вижу свою семью.

Единственный свободный день — воскресенье я хочу провести с моим любимым младшим братом.

Телевизор мы смотрим редко, только новости. Мне больше нравится проводить время с семьей на свежем воздухе, чем сидеть дома и смотреть телевизор.

Кухарева Светлана, 8а, гимназия №12

В последнее время я не смотрю передачи. Так как у меня не хватает времени. Но я нахожу порой время для просмотра каких-нибудь комедийных передач, чтобы отвлечься от всего, что произошло сегодня. Обычно это передачи на разных каналах. У меня нет такого канала, который я буду смотреть постоянно. И передачи тоже.

Я раньше любила смотреть сериал «Счастливы вместе». Каждый раз, когда я собиралась в школу утром, мой папа постоянно включал телевизор и уходил на работу. Этот сериал мне очень нравился тем, что эта семья очень забавная. Они постоянно забавно шутят. Эта семья была не такая уж и богатая, но они на это не обращали внимания.

Тем самым он учит тому, что никогда нельзя опускать свои руки, если что-то не получается.

Джаджая Ираклий, 8а, гимназия №12

Мои любимые телепередачи про животных. Их показывают по каналам «Планета животных», «Discovery». Эти телепередачи очень полезны. В них рассказывают про животных, живущих в разных уголках планеты.

Чем они питаются, как и на кого охотятся, дружелюбны они или нет.

Часто рассказывают про породы собак, кошек.

Мне нравится телепередача «Галилео», там делают разные опыты, как изготавливают интересные вещи.

Вообще мне очень интересны передачи, несущие пользу, а не бестолковые телепередачи, на них я даже не останавливаюсь.

Ожередова Александра, 8а, гимназия №12

Я не особо люблю смотреть телевизор. Мне кажется, что намного лучше читать.

Хотя я не отрицаю, что есть многие передачи, которые достойны внимания.

Мне нравятся исторические телепередачи, к примеру «Великолепный Век». Смысл это сериала — донести до людей, особенно православных верующих, что то, как мы живем — рай! Османы — очень жестокие люди. Также исторические фильмы очень помогают в изучении и понимании истории.

Фильмы о природе, например, на канале Animalplanet, помогают изучить биологию.

Сериалы могут помогать, но могут и навредить.

Косарева Ярослава, 8а, гимназия №12

Раньше я смотрела много телепередач, но потом мне перестали разрешать смотреть телевизор вообще. Потому что в данный момент полно глупых каналов. В таких нет ни капли пользы. Особенно перелистывая раз за разом сто каналов, не находится ничего нового и интересного.

Раньше я смотрела телевизор не каждый день. Чаще всего, когда есть свободное время. Мне очень нравится смотреть разные концерты, сериалы или познавательные передачи.

Я хотела бы рассказать немного о своей любимой телепередаче. Это шоу под названием «Галилео». Она названа в честь известного ученого Галилео Галилея, который любил делать эксперименты. Я смотрела эту программу регулярно и старалась не пропускать следующий выпуск.

Чушкина Владислава, 8а, гимназия №12

Мне очень нравятся передачи о знаменитых людях и их судьбах. Также я люблю познавательные передачи, в которых тоже немало интересного.

Но больше всего мне нравится одна передача о путешествии, она называется: «Орёл и Решка». Там ведущие путешествуют по всему миру и показывают много интересных стран и городов. Еще они рассказывают о культуре той страны, в которую приезжают. Благодаря этой передаче я узнала немало интересного о нашей планете.

Эту передачу показывают по каналу «Пятница». В этой передаче существуют условия для ведущих. По приезду в страну они подбрасывают монетку. Один из ведущих «орел», а второй «решка». Чья сторона выпала, тот проживает два дня с «золотой» картой, где неограниченный лимит денег, а второй «выживает» за сто долларов. И при этом ведущие рассказывают интересные вещи об этой стране и ее культуре.

Кобзева Ксения, 8а, гимназия №12

В наше время по телевизору идут разные передачи, но не все они полезны для детей.

Я смотрю телевизор только рано утром, когда собираюсь в школу.

Всегда у меня утром включен 1 канал, потому что там рассказывают интересные

234 «Если смотреть ТВ, можно пропустить всё самое интересное в жизни...»

истории, факты. «Доброе утро» — очень хорошая передача, там рассказывают гороскоп, полезные факты и показывают время, это очень удобно.

Иногда вечером я смотрю «Битву экстрасенсов». Очень интересно смотреть за работой экстрасенсов. Они расследуют разные преступления, паранормальные явления.

По выходным я смотрю твпередачи про разные работы, так как я еще не выбрала профессию, и мне интересно наблюдать за разной работой людей.

Хвостова Виктория, 8а, гимназия №12

Я очень люблю смотреть сериал «Белла и бульдоги». Это очень интересный сериал про девочку, которая смогла стать членом команды, состоявшей только из мальчиков. Сначала они не хотели принимать ее, но после того, как она спасла ребят от озверевшей коровы, приняли ее в свои ряды. Теперь Белла — полноправный квотербек. Этот сериал доказывает, что даже несмотря на то, что ты девочка, ты можешь стать членом команды мальчиков.

Очень познавательный мультик «Пинкод». В каждой серии рассказывают что-то новое про медицину, биологию, физику, химию. Это очень полезная информация для детей.

Поляков Никита, 8а, гимназия №12

Я не смотрю телевизор потому, что я считаю, что в телевизоре много ненужной информации и рекламы, зачастую телеканалы гонятся за деньгами и рейтингами, забывая об интересности материала. Редакторы телеканалов «высасывают из пальца» сенсации и скандалы.

Раньше я очень любил программу «Галилео». Мне было очень интересно смотреть и узнавать много интересного и нового, но из-за низких рейтингов канал закрыл эту передачу. Ее вытеснили программы со скандалами. Но я до сих пор пересматриваю в интернете старые программы с большим интересом. В свободное время я люблю посмотреть интересные и веселые ролики в интернете.

Паламарюк Давид, 8а, гимназия №12

Я нечасто смотрю телевизор. Но если я смотрю телевизор, я смотрю канал СТС. Обычно там идут боевики и фантастика. Но в основном я смотрю сериалы вселенной DC. В этих сериалах рассказывается о супергероях и их жизни. Еще я немного смотрю фильмы про животных, особенно про змей.

Коломейчук Ярослав, 8а, гимназия №12

После тяжелого дня я люблю лечь на диван и посмотреть телевизор. Я люблю смотреть поучительные и познавательные каналы.

Часто я смотрю каналы вроде «Discovery», «Discovery science» ну или «National Geographic». Оттуда я узнаю много интересного.

Денега Виталий, 8а, гимназия №12

Смотрю телевизор не очень часто.

Из самых любимых каналов у меня это СТС и Пятница. На СТС постоянно выходят интересные сериалы, которые постоянно хочется смотреть и смеяться, а на некоторых хочется плакать. На Пятнице выходят выпуски известных фильмов и сериалов, в которых снимаются известные актеры. На Discovery вы можете увидеть развивающие фильмы, выпуски и сериалы. На РЕНТВ по вечерам выходят смешные

видеоролики и хорошие фильмы. На Первом канале мне нравится смотреть по пятницам телешоу «Поле чудес», иногда смотрю новости. На России можно смотреть спортивные матчи и следить за новыми новостями.

Мощная Илона, 8а, гимназия №12

Я смотрю по воскресеньям передачи «Умники и умницы», где подростки отвечают на вопросы и участвуют в дискуссиях. Эта передача полезная для меня. Там обсуждаются вопросы из литературы, истории, обществознания. Там можно многое узнать. А еще мне нравятся передачи о животных. Я часто с семьей смотрю такие каналы, как «Nat Geo Wild». Этот канал о животных нашей планеты.

Котягина Кристина, 8а, гимназия №12

Я не особо люблю смотреть телевизор, но мне очень нравятся три передачи: «Битва экстрасенсов», потому что люди с экстрасенсорными способностями помогают другим людям.

Вторая передача — это «Интерны», потому что это юмористическая телепередача, там снимается мой любимый актер — Иван Охлобыстин.

И третья передача — «Сваты», потому что там каждую серию происходят чудные, смешные истории.

Обожаю эти передачи, они очень поучительны.

Киселев Владимир, 9б, гимназия №12

У меня нет любимой телепередачи, но у меня есть два жанра любимых программ — это научный и юмористический. Из научных передач я узнаю для себя много новых и интересных фактов в таких областях науки, как химия, физика, электротехника, биология и другие. Иногда эти передачи помогают мне в изучении школьных предметов, а иногда я смотрю их ради собственного интереса.

Что касается юмористических передач, я смотрю их вечером, чтобы отдохнуть после выполнения уроков.

Отдельно хочется отметить одну из юмористических передач — это «КВН». Эта игра — соревнование команд в остроумии, умении сыграть и импровизировать так, чтобы шутка была не только смешной, но и актуальной. Каждая игра разыгрывается по определенным правилам — она имеет общую тему, которой и придерживаются все конкурсы. Игру оценивает жюри, состоящее из людей имеющих отношение к телевидению, кино, эстраде.

На нашем телевидении много программ, в том числе и юмористических, ведущие и яркие исполнители которых вышли из КВН: Михаил Задорнов, Геннадий Хазанов, Леонид Якубович, Александр Пушной, Гарик Мартиросян, Павел Воля, Тимур Батрудинов, Михаил Галустян, Наталья Еприкян, Наталия Медведева и многие другие.

Недавно я присутствовал на межшкольном этапе КВН. Очень интересно было наблюдать, насколько некоторые команды артистичны и искрометны, насколько иные пресны и вялы в своих выступлениях.

Возможно, мне было бы интересно принять участие в таком мероприятии, как КВН.

Буханов Всеволод, 9б, гимназия №12

У меня не одна любимая телепередача, у меня их несколько, «Орёл и Решка» — одна из них. Программа «Орёл и Решка», в которой принимают участие двое ведущих,

путешествуют вместе по разным городам мира. При этом они располагают разным бюджетом. По правилам программы подбросив монету, ведущие определяют, кто проведет выходные с бюджетом в сто долларов, а кто с неограниченным бюджетом. Таким образом, пребывая в одном и том же городе, ведущие имеют разные финансовые возможности. Они посещают разные рестораны, останавливаются в разных отелях и посещают интересные места, исторические достопримечательности, парки, музеи, выставки, исходя из финансовых возможностей каждого.

К финалу каждой программы ведущие подводят нас к выводу, что путешествовать можно даже с небольшим количеством денег, деньги не главное. Вы все равно получите массу положительных эмоций, новых впечатлений и массу открытий о посещаемом вами городе или стране.

Анохин Денис, 9б, гимназия №12

Лично у меня нету любимой телепередачи, но это не потому, что у меня нету времени, а потому, что я больше смотрю фильмы. Но все же бывают дни, когда я смотрю сериалы. Например, такие, как «Кухня» на телеканале «СТС». Этот сериал заинтересовал меня своим сюжетом, спецэффектами и хорошим монтажом. В каждой серии происходит, что-то новое, но появляются моменты из прошлых серий, которые вместе составляют полную картину.

Но все же я считаю, что телевидение вредит нашему здоровью. Мой крестный дядя называет телевизор зомбификатором потому, что люди становятся зависимыми от телевизора и им становится лень что-то делать.

Тимохин Серафим, 9б, гимназия №12

У каждого человека есть передачи, которые он любит, а есть, которые — нет.

Я люблю смотреть новости, мне всегда интересно, что происходит в России и во всем мире. Обычно я смотрю новости по Первому каналу, но если я хочу узнать, какие события происходят в моей области, я начинаю смотреть канал «Россия Один. Белгород». Там также рассказывают интересные новости.

Кроме того, я люблю смотреть различные исторические и политические телепередачи. Я люблю историю, например: «Романовы». В этой передаче рассказывали обо всех событиях и о самом роде Романовых.

Но есть и не любимые. Различные юмористические передачи, которые шутят однообразно и не смешно.

В заключении я хотел бы сказать, что нужно смотреть передачи аккуратно и не перебарщивать с часами просмотра.

Воронцова Екатерина, 9б, гимназия №12

Я не очень люблю смотреть телевизор. Однако иногда я могу сесть и посмотреть телепередачу «Новости».

Эта передача идет на канале «Первый канал». Обычно я смотрю эту передачу в 21:00. Это так интересно смотреть, что происходит или произошло в мире за последний день, последние несколько часов, и даже минут.

Мне кажется, что если я смотрю эту телепередачу, то я в неожиданный для меня момент попадаю в это место: я переживаю с этими людьми, радуюсь за них, грущу. Иногда даже показывают, как нашли новый вид растений или как телефоны портят здоровье.

Из всех передач, которые я смотрю, «Новости» — моя самая любимая.

Сипий Вероника, 9б, гимназия №12

Я тот редкий вид людей, который очень редко пользуется телевидением и смотрит телепередачи. Однако, иногда у меня есть время на кино.

Моя любимая телепередача «КВН», но это больше не телепередача, а телеигра. Дата всегда разная, но время уже много-много лет одинаковое — 20:00. Эта телепередача всегда проходит по Первому каналу (так и называется).

Она появилась еще до моего рождения. В 2016 году был юбилей 55 лет! Ведущего этой игры знает весь мир. Он, наверное, единственный и неповторимый — Александр Васильевич Масляков.

Вся игра основана на юморе и шутках. Много разных команд, из разных областей России, собираются в большом зале и борят за право на имя самой смешной команды.

Моя любимая команда — «Городь Пятигорскъ», команда из красивого и жаркого города Краснодарского края Пятигорск. Они были победителями высшей лиги в 2006 и 2008 годах.

Игра невероятно смешная и интересная. Очень часто я смотрю ее с мамой.

Зорина Екатерина, 9б, гимназия №12

Вчера вечером пришла с тренировки. Вечер был скучен, и я решила включить телевизор. До сих пор удивляюсь, до чего дошла техника. Телевизор я смотрю достаточно редко.

Начала листать сотни каналов — ничего интересного, как всегда, не было, но к счастью я наткнулась на канал «ТНТ», чаще всего на этом канале я вижу программы юмора. В этот вечер шла программа «Орёл и Решка». Очень интересная и завораживающая программа про путешествия. Суть этой программы в том, что едут в определенную страну два путешественника, они подкидывают монету, и эта монета решает кому из них дадут больше денег на их путешествие. Таким образом человеку показывают две стороны: путешествие богатого и бедного путешественника. Мне очень понравилось, очень интересно. Теперь смотрю каждый выпуск.

Литвиненко Софья, 9б, гимназия №12

Моя любимая телепередача — это «След». Мой дядя — один из режиссеров данного сериала.

«След» — это российский криминальный телесериал, рассказывающий о сотрудниках вымышленной организации ФЭС — федеральная экспертная служба. Программа имеет 11 сезонов, 1530 серий. В главных ролях: Ольга Копосова, Владимир Таилов, Анна Дьяконова, Евгений Кулаков, Павел Шувалов и Сергей Пиоро. Жанр — детектив.

В фильме ФЭС — служба, объединяющая специалистов разных областей. ФЭС проводит спектр экспертиз и исследований и расследует преступления. Специально для съемок был построен офис ФЭС — лаборатория, переговорная комната, морг, допросная комната, и т.д.

Это очень увлекательный и познавательный, местами смешной сериал.

Ключко Дмитрий, 9б, гимназия №12

Моя любимая телепередача — это «Орёл и решка», первый раз я посмотрел это лет в тринадцать, эту передачу мне показал лучший друг, идет эта передача по каналу «Пятница» и идет почти каждый день.

Суть этой передачи — показать мир. Там есть 2 человека, у одного есть золотая

карта, у него есть безграничный баланс, он может тратить их куда хочет. Другой второй же человек получает всего сто долларов и экономит во всем, и пытается найти, где и как можно развлечься, есть, спать небогату туристу.

Нравится потому, что сидя дома я могу повидать мир. Это современная телепередача. Я немного завидую этим людям, потому что они постоянно летают куда-то, отдыхают, едят разную еду и испытывают разные развлечения на себе.

Ерофеева Елизавета, 9б, гимназия №12

Моя любимая передача — это шоу «Голос дети». Мне очень нравится после сложного дня сесть в уютный диван, включить телевизор и послушать, как прекрасно поют дети, малых возрастов — мне порой кажется, что маленькие дети поют лучше, чем некоторые взрослые певцы, которые уже давно поют на сцене.

На этом шоу много талантливых юных певцов. Часто, когда я слушаю песню, я очень искренне болею за того или иного ребенка, и когда судьи поворачиваются, то у меня замирает сердце, я готова сама пойти туда и петь! Но я прекрасно понимаю, что у меня нету голоса, и мне не быть певицей, мне остается только петь для самой себя, а точнее сказать, петь в свое удовольствие!

Мне вообще кажется, что многие, кто смотрит разные передачи, представляет себя на месте главного участника.

Перепелицын Никита, 9б, гимназия №12

Я обычно смотрю телевизор полтора часа в день. Мой любимый телеканал — это «Дискавери». Вообще я смотрю телевизор очень редко. Из-за того, что я занимаюсь программированием на Арддино на платформе C++. Мне это очень нравится.

Иногда я включаю телевизор на своем любимом канале и смотрю телепередачу «Выживание с Биаром Грилсом». Вданной передаче рассказывается о путешествиях бывшего морского пехотинца Беара. Он выживает в очень суровых условиях с одним только ножом. В одном из своих путешествий он побывал в Амазонке и там его чуть не укусила ядовитая змея.

Голоскоков Максим, 9б, гимназия №12

Моя любимая передача по телевизору — это «Орёл и Решка», на телеканале «Пятница». В этой передачи два путешественника кидают монету, и тот, кому выпадет Орёл, будет вести передачу с золотой картой, а проигравший останется в городе с одной сотней долларов.

Вся суть передачи сводится к тому, чтобы показать виды развлечений, достопримечательности, места проживания для «***» туристов и для богатых.

Эта передача мне очень интересна, так как в ней ведущие рассказывают о народах, достопримечательностях, историях, религиях, обычаях той или иной страны.

Я советую посмотреть вам эту передачу, потому что она интересная, познавательная и когда вы окажетесь за границей, то советы ведущих смогут помочь вам.

Овчарова Мария, 9б, гимназия №12

Я смотрю телевизор, только когда мне совсем скучно или я очень устала, ведь думать во время просмотра совсем не обязательно.

Например, я включаю «Воронины» или «Орёл и Решка», чтобы просто расслабиться.

Иногда очень приятно смотреть старые, фильмы, как и советские («Бриллиантовая

рука», «Приключения Шурика»), так и зарубежные («Трудный ребенок», «Майор Пейн») — вместе с семьей.

Но мне особо нравится смотреть передачи, заставляющие немного «пораскинуть мозгами». К примеру «Своя игра», «Кто хочет стать миллионером».

А в детстве я любила смотреть «Это мой ребенок?!», «Квартирный вопрос», «Дачный ответ». Да и сейчас смотрю эти передачи с удовольствием.

Может, телевизор и забивает наши головы рекламой, мнениями, специально навязываемыми людьми, для которых это выгодно, — все же иногда нужно отдыхать и проводить время с семьей, хотя бы и за просмотром фильмов.

Ксения Пересыпкина, 9б, гимназия №3

Почти полтора века назад в Землю врезалась «комета» с удивительным, непознанным, но таким желанным телевидением. В короткий срок «говорящие экраны» захватили мир, будучи сначала предметом роскоши, а затем став житейской необходимостью. Внедрившись в доверие к людям и приучив их постоянно использовать телевидение, голубые экраны «построили гранитную, нерушимую империю», ежедневно собирая семьи у Его Величества Телевизора. Процветание телевидения продолжалось довольно долго, но...

Сменилась эпоха, и человечество «накрыла волна» компьютеризации, растворив его в сети Интернет. Сначала незаметно, а потом все более явно и ощутимо теснили эти «новинки» старую добрую Телецивилизацию. К настоящему времени популярность и престиж телевидения сильно снизились. Как «вода точит камень», так и интернет-волна подточила каменное величие ТВ, казавшееся ранее неприступным.

Тенденция повсеместной компьютеризации коснулась и нашей семьи — все чаще пылится и молчит телевизор в гостиной. Но есть программы, ради которых протирается «тивишник», реанимируется пульт и вновь загорается темный экран.

Для нашей семьи такой телепередачей был и остается КВН.

Мой младший брат был чрезвычайно рад, когда на телеканале «Карусель» появился «Детский КВН». Теперь он с нетерпением ждет субботних шуток начинающих КВНщиков.

За бытовыми делами в нашей семье часто включается «Время» и информационные передачи, также популярны эксклюзивные материалы на канале РЕН ТВ. Новости и интересные истории всегда универсальны за мытьем посуды, глажкой одежды и приготовлением еды.

И пусть телевизоры в чем-то уступают тонким жидкокристаллическим мониторам с четкой графикой и интернетом на предельной скорости, но именно они — тот мост, что связывает двадцать первый век с двадцатым, наше мировоззрение с предшествующим, современность с прошлым.

Артем Фучиж, 9б класс, гимназия №3

Мне нравится программа «Галилео». Эту передачу назвали в честь великого ученого Галилео Галилея, который любил ставить опыты и объяснять непонятные явления. Я хотел бы познакомиться с ее ведущим Александром Пушным, потому что он интересный и разносторонне развитый человек. Он мог бы рассказать много нового и необычного.

В последнем выпуске передачи мне понравился рассказ о филигрании. Это древнее искусство плетения из серебряной проволоки разнообразных рисунков и поделок. На выполнение одной фигурки уходят многие месяцы. Мастер, который занимается этим

ремеслом, должен обладать терпением, упорством и хорошим глазомером. Если бы я не посмотрел эту передачу, то я бы никогда не узнал, что такое филигрань и что есть такие мастера, которые делают необыкновенные по красоте вещи.

Передача «Галилео» заканчивается словами, которые мне тоже очень нравятся: «Мир интереснее, чем вам кажется». Именно поэтому мне бы хотелось, чтобы все мои друзья смотрели ее и познавали наш удивительный мир, в котором мы живем.

Илья Орехов, 9б класс, гимназия №3

В детстве меня всегда привлекал манящий разноцветный экран телевизора. Как сейчас помню полуденные сеансы просмотра этого замечательного волшебного ящичка, ведь в 12 часов дня шли самые интересные телепрограммы. Вначале шла передача «Галилео», а затем мультики и фильмы. Когда мне было лет пять, эта программа казалась мне ужасно скучной и неинтересной. Но ближе к школьному возрасту я понял всю ее прелесть. Одни выпуски рассказывали об устройстве или истории вроде бы обычных на первый взгляд предметов, другие про интересных животных, третьи, наоборот, о самых необычных вещах, в четвертых проводились интереснейшие эксперименты... Список можно продолжать очень долго, ведь за время существования «Галилео» передача осветила не один десяток необычных, а иногда вроде бы самых обычных, но от этого не менее увлекательных тем. Помню, как хохотал с этой передачи, ведь интересные сведения всегда разбавлялись искрометным юмором, как охал от удивления, узнав что-то действительно интересное, как потом брал на себя роль знатока-пророка и доносил все самое увлекательное до родительских умов. Моя любимая программа транслировалась как раз после школы, когда надо было учить уроки, где не все было так интересно и увлекательно, как в «Галилео». И я пытался найти какие-то лазейки, чтобы успеть сделать все. Но чуть позже «Галилео» стали показывать поздно ночью, а потом передача и вовсе исчезла...

Сейчас я уже не так часто смотрю телевизор (предпочитаю ему Интернет или книгу), но телепередача «Галилео» и ее остроумный ведущий Александр Пушной остались лучшим, что я когда-либо видел на экране телевизионного аппарата.

Анастасия Демещенко, 9б класс, гимназия №3

Сегодня почти каждый человек смотрит телевизор. Но у каждого разные вкусы: кто-то смотрит сериалы, кто-то реалити-шоу, кто-то передачи про политику и т.д. Во многих случаях дети подражают родителям в том, что лучше смотреть. Но не всегда пример достоин подражания.

Я в детстве неохотно собиралась в детский сад и за завтраком обожала смотреть мультфильм «Смешарики», потому что в нем всегда рассказывалось о чем-нибудь интересном. До сих пор помню пару любимых серий: про то, как нужно переходить дорогу и что нельзя общаться с незнакомцами.

Но сейчас на телевидении есть намного больше различных передач, фильмов, сериалов, чем раньше. Как говорит мой папа: «Просмотр телепередач, которые ничему не учат и ничего нового не открывают для человека, — это пустая трата времени». Именно он и рассказал мне о телеканале «Россия-Культура». Мои родители смотрят его очень часто, а когда у меня находится свободное время, то я присоединяюсь к ним, и мы вместе наслаждаемся просмотром наших любимых семейных телепередач: «ACADEMIA», «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ», «ЖИВОЕ СЛОВО», «ПОЛИГЛОТ». Но, к сожалению, это бывает не часто.

Помимо культурно-развивающих передач мне нравится смотреть канал «Nat

Geo Wild». Там рассказывают о жизни разных животных и людей на других материках. Красота, таинственность, а иногда опасность дикой природы просто захватывают.

Я люблю смотреть художественные фильмы — такие, как «Гарри Поттер», документальные фильмы, например, сериал «Романовы», рассказывающий о многовековой богатой истории одной из самых известных и могущественных русских династий; еще мне нравятся комедии, а также фильмы в жанре фэнтези и мистики. Но не буду обманывать: чтобы не отставать от друзей, я иногда включаю сериалы, которые смотрят они.

На сегодняшний день у нас дома стоит спутниковая антенна с 500 каналами, и я очень благодарна родителям, которые помогли мне выбрать из всего этого многообразия действительно очень интересные и познавательные передачи, благодаря которым я всесторонне развиваюсь.

Трещева София, 9б, гимназия №3

В настоящее время телевидение стало неотъемлемой частью жизни современного человека. До сих пор большую часть информации мы получаем именно из этого источника. Сейчас любой из нас, придя домой, может включить тот канал, который ему больше всего нравится. Многие телепрограммы несут образовательную функцию, преподнося своим зрителям важную научную, историческую, культурную информацию. Однако все больше и больше появляется телепрограмм, имеющих негативное содержание: они пропагандируют насилие, безнравственное поведение, стремление любыми способами достичь богатства и власти.

Любые средства массовой информации и в особенности телевидение влияют на мировоззрение людей. Телевидение сопровождает человека практически с момента его рождения и до конца его жизни. Ребенок смотрит различные телепередачи и создает для себя образ для подражания, которому следует при формировании себя как личности.

Но, к сожалению, в настоящее время наша власть не уделяет должного внимания правильному содержанию телевизионных программ. А зачастую телевидение используется для манипулирования поведением населения, настраиванием людей друг против друга. Вот почему важно разработать законы, регулирующие содержание телевизионных программ, потому что телевидение должно нести правильные эмоции и мысли!

Андрей Гаргома, 9б класс, гимназия №3

Я не люблю проводить много времени, лежа на диване, и смотрю телевизор только вместе со своей семьей. По вечерам на выходных мы смотрим фильмы, которые затронули сердца многих людей. Также мы любим смотреть спортивные состязания на телеканале «Матч», но особенно прямые трансляции с ледовых арен чемпионатов мира по хоккею, ведь моя мечта — попасть на игру сборной России.

Также мне очень нравятся познавательные телепередачи, в которых можно узнать много интересного про окружающий нас мир и другие страны. Одна из таких — это «Орёл и решка», показ которой осуществляется в России на телеканале «Пятница». Одна из самых запоминающихся серий была посвящена поездке в Рио-де-Жанейро, после просмотра которой я пообещал себе, что обязательно посетю этот прекрасный бразильский город. В этой серии ведущие Андрей Бедняков и Жанна Бадоева посетили Самбадром и раскрыли красоты сказочных карнавалов, которые оставили массу впечатлений. Не обошлось и без осмотра великой статуи Иисуса

Христа, достигающей в высоту тридцати метров. Но больше всего Рио-де-Жанейро притянуло меня своим знаменитым на весь мир четырехкилометровым пляжем Копакабана, который является прямым отражением яркой, позитивной и зажигательной бразильской культуры, ведь это главный пляж Бразилии. И обо всем этом нам рассказывают облетевшие весь свет телеведущие-путешественники.

Анастасия Воробьева, 10а класс, гимназия №3

Далекие 90-е... Большие города полны суеты даже вечером. По улицам снуют автомобили, спешат люди в торговые центры, привлекающие разнообразием витрин. Из динамиков гремит музыка. Жизнь кипит!

А что же происходит в это время в маленьких городах? Машин мало, магазины закрыты. Редкие прохожие торопятся домой. Дворы пусты и кажутся совершенно безжизненными.

Однако в небольших городках вечерняя жизнь существует... у телевизора. Вот на первом этаже живет старушка, которая постоянно смотрит «Поле Чудес» и умиляется Леониду Якубовичу. Ее соседка — дама средних лет — любит сериалы о «капризной» любви. Посмотрев один телесериал, она переключается на другой (ведь сериалы транслируются в одно время!). Карапуз со второго этажа с восхищением впитывает каждую фразу любимого персонажа из мультфильма. На третьем этаже слышны голоса певцов Рикки и Повери из солнечной Италии. Под мелодии «Дискотеки 80-х» девушка выдумывает оригинальные движения, представляя себя звездой танцпола. А на четвертом этаже домохозяйка записывает очередной рецепт передачи «Смак». Во время трансляции футбольного матча мужчины забывают обо всем. Все их внимание приковано к событиям, происходящим на поле. И все это доступно благодаря ТВ.

Нулевые годы 21 столетия... Множество разнообразных каналов «живет» в каждом телевизоре страны, но многим голубой экран уже не интересен. А всему виной интернет, который захватил россиян и уволок в водоворот доступных знаний и общения. Бабули осваивают Skype и общаются со своими родственниками. Для детей интересен игровой мир. Подростки знакомятся «ВКонтакте». Ученые оперативно находят любую информацию! Интернет привлек всех! А телевидение потеряло смысл, оно существует в каком-то другом измерении.

Но... телевидение должно жить, а не существовать! Оно должно **ПОМЕНЯТЬСЯ!**

Думаю, что стоит начать реконструкцию с центральных телеканалов. Не всем нравится, что мелькают исключительно тревожные новости, транслируются сериалы про уголовные расследования или про героиню «из Хацапетовки». «Богатым» плохо. Все их обманывают. Их жизнь трудна и рутинна: Канары, Гавайи... Эту чушь вещают в лучшее вечернее время, а «Что? Где? Когда?» идет ночью, когда все люди стараются отдохнуть от тяжелых будней. Как мало выходит познавательных передач в удобное для зрителей время! Практически нет программ, похожих на «Очевидное-невероятное», «Клуб путешественников» или «В мире животных». Да, хотелось бы познакомиться с городами нашей необъятной Родины! Вместо этого на каналах телевизионщики рассказывают небылицы о зеленых человечках, выставяя их ужасными монстрами или «великими созидателями».

Анна Щербинина, 10а класс, гимназия №3

...Смотреть по сути нечего. Давайте начнем с новостей. Показывают? Да! Но что показывают? О каком бы событии ни сообщалось, нам это преподносят через цензурную призму, выставяя все так, как выгодно для сильных мира сего, а зачастую

медиа даже и не затрудняют себя сообщением о довольно необычных происшествиях. Истории тихонько «спускают на тормозах», а все, что до нас доходит, лишь ватная безжизненная тишина. О какой бы свободе слова и демократии нам ни говорили, цензура была, есть и будет, и, пока на журналистов давят, правдивых новостей нам не видать.

По многим каналам крутят сплошные сериалы, сюжеты которых вызывают непреодолимое желание схватиться за голову и бежать куда-нибудь подальше. А все почему? Потому что кровь, экстремизм и насилие — самое безобидное, что можно там увидеть. В противоположном же случае там может оказаться вселенная человеческой глупости вперемежку со слезливыми и совершенно неправдоподобными историями.

Пришедший с работы и очень уставший человек не в состоянии искать среди десятков и сотен телепередач что-то более или менее стоящее, и потому приходится смотреть то, чем с радостью пичкает нас первая двадцатка каналов. То есть глупые сериалы со специально предусмотренным смехом за кадром (а то вдруг не поймут, что это была искрометная шутка), подростковые драмы, передачи, где только и делают, что копаются в грязном белье знаменитостей и подглядывают в чужие окна.

А познавательно-развлекательные передачи? Их много... Да, они делятся полезной информацией о том, как правильно одеваться, краситься, вести себя, куда нужно ездить в отпуск и сколько там можно потратить денег. Но вы когда-нибудь замечали, что каждый выпуск любой из таких передач сопровождается какой-нибудь личной и крайне душещипательной историей с тизер-трейлером вроде: «В восемнадцать осталась одна с двумя детьми на шее»?..

Если бы я занимала пост главы телевизионного канала, то организовала бы все следующим образом. Во-первых, канал должен быть независимым, чтобы иметь возможность рассказывать целевой аудитории исключительно правдивые новости и факты, причем не заикливаясь на одной тематике, а затрагивая все аспекты человеческой жизни, от политики до моды. Свежий и непредвзятый взгляд на вещи — вот, что нужно хорошему каналу. Также стоит отметить, что он должен быть ориентирован на относительно молодую публику, так как именно это неиссякаемый источник свежих взглядов, гениальных умов и модернистских, свежих идей. Не будет никаких глупых фильмов и сериалов (конечно, такой контент нужен, но лишь качественный), тут следует проводить тщательный отбор и не надоедать людям бессмыслицей. Также никаких копаний в личной жизни кого бы то ни было! Документальные фильмы, передачи о спорте, о путешествиях, о правильном питании, о рациональной организации собственного времени и пространства, о саморазвитии и истории, обзоры музыкальных новинок — таков правильный рецепт идеального канала! Он должен быть эстетичным, правдивым, полезным. Будем искренне надеяться, что это всего лишь вопрос времени.

Петрук Илья, 11а гимназия №12

Телевизор стал крайне популярен в двадцать первом веке. Треть людей на Земле используют телевизор ежедневно, а некоторые не могут даже представить и дня без «ящика». Некоторые считают, что у телевизора больше плюсов, чем минусов, хотя и это мнение можно опровергнуть.

Лично я считаю, что телевизор нас зомбирует в какой-то степени. К примеру, мы можем это видеть, если взглянем на ситуацию с Украиной. Люди там думают, что все мы им желаем зла и относимся к ним негативно, хотя это не так, но ведь по телевизору «достоверная» информация.

Крицкая Екатерина, 11а, гимназия №12

Современные средства массовой информации — это свалка грязи и глупости. Я предпочитаю не отравлять свой мозг рекламой, поэтому не смотрю телевизор. Информацию о событиях в мире я получаю из независимого интернет-издания «Russia Today».

Гахраманова Лала, 11а, гимназия №12

Я не часто смотрю телевизор, но когда получается, я смотрю «Вести». В интернете я смотрю «Пусть говорят». Эта передача очень интересная. Когда у меня есть свободное время, я смотрю шоу «Голос». Эта передача, в которой раскрываются новые таланты детей и взрослых. Когда мои папа и мама смотрят какие-либо фильмы, в основном исторические и документальные, я смотрю вместе с ними. В интернете я иногда смотрю онлайн «Discovery».

Бигдан Эльвира, 11а, гимназия №12

Что касается меня, я не очень люблю смотреть телевизор, но есть действительно интересные передачи: «Поле чудес», «Орёл и Решка», «Самый умный», «Следствие вели», «Жить здорово», «Что? Где? Когда?», «Кто хочет стать миллионером?». С помощью телевидения можно узнать много новых вещей и фактов. Я считаю, что интернет является более эффективным источником информации, но телепередачи тоже бывают информативными и интеллектуальными.

Бирюкова София, 11а, гимназия №12

Я редко смотрю телевизор, потому как считаю, что большинство передач не несут в себе правдивой и полезной информации.

Да и вообще, люди, читающие книги, всегда будут управлять теми, кто смотрит телевизор.

Но просмотр телевизора я заменяю интернетом, где мне проще найти конкретно то, что нужно. Например, мне нравится смотреть документальные фильмы, блоги, которые ведут очень необычные люди с интересным мышлением, фильмы жанра «триллер», порой комедию или же драмы. На Youtube есть канал с видео, где люди рассказывают интересные факты и так называемые «лайфхаки», которые советуют тебе, как проще вести себя и решить свои проблемы.

Хамидех Незар, 11а, гимназия №12

Я очень редко смотрю телепередачи, для меня это не интересно, хотя несколько лет назад я смотрел довольно часто их. Я предпочитаю сидеть в интернете и смотреть то, что посчитаю интересным.

Недавно смотрел передачу «Пусть говорят», но в интернете. Я предпочитаю развлекательные шоу, видео в интернете. Также я смотрю различные онлайн решения ЕГЭ по предметам. Пару лет назад я смотрел различные сериалы и шоу по телевизору, но сейчас интересы изменились, и я чаще сижу в интернете, провожу там большое количество времени, и мне это интересно.

Посохов Вячеслав, 11а, гимназия №12

Я вообще не смотрю телепередачи. Для меня они не интересны, глупы и скучны. Когда-то в детстве я смотрел телепередачу «Галилео», где очень часто рассказывали об

интересных вещах, но сейчас ее убрали, зато добавили кучу тупых и скучных телепередач.

Недавно смотрел «Пусть говорят» по интернету, где рассказывали о девочке, которая напилась на молодежной тусовке, не смогла удержать себя в руках и вступила в контакт с молодым человеком, а теперь пытается засудить его.

Мое мнение о сегодняшних телепередачах сложилось очень негативное, потому что стали выпускать очень глупые передачи.

Палымова Виктория, 11а, гимназия №12

Что касается меня, я не смотрю телевизор, так как у меня нет времени на это, и я не считаю для себя нужным. Но все же, когда у меня есть свободное время, я могу посмотреть какой-нибудь фильм или «The Tonight Show» — это американское шоу. Это шоу я смотрю без субтитров, так как хочу сама понимать речь, и я считаю, это полезно для улучшения навыков говорения и аудирования на английском языке.

Козулин Никита, 11а, гимназия №12

Я смотрю только телепередачу «Галилео» и новости, потому что больше ничего интересного не показывают. В «Галилео» рассказывают и показывают различные технологии производства техники, материалов и т.п. с объяснением явлений с физической точки зрения. Это самая познавательная и увлекательная передача на нынешнем телевидении.

Чернуха Егор, 11а, гимназия №12

По моему мнению, просмотр телевизора занимает много времени и не приносит пользы. Временами я смотрю документальные фильмы в интернете. Обычно они представляют историческую или научную ценность для общества. Я люблю смотреть по интернету «Дискавери» и «National Geographic». Также предпочитаю смотреть интересные факты про наш мир на «Youtube».

Белоусова Анастасия, 11а, гимназия №12

Впервые я посмотрела реалити шоу «Взвешенные люди» достаточно давно. Меня заинтересовала эта передача стремлением людей изменить свою жизнь. У всех у них своя история, но у каждого из них есть стремление похудеть.

«Шеф — повар» — передача про детей, которые готовят блюда, которые не под силу даже взрослым. Но минус этой передачи в том, что детей сравнивают и давят на них. Нередко их психика пошатывается, для детей это настоящий удар.

Но для многих это жизненный урок. Они пытаются накопить опыт и пытаются стать сильней морально.

Турцева Анна, 11а, гимназия №12

Моя любимая телепередача — «Орёл и Решка». Это передача, в которой рассказывают обо всех странах мира и людях, проживающих там. Эта передача способствует развитию кругозора и интеллекта. Кроме того я люблю смотреть исторические программы от компании «Star Media». Им удается передать атмосферу того времени. Эта передача помогает запомнить точную хронологию правления царей и событий.

Кайманова Алина, 11а, гимназия №12

Утром, за завтраком, я включаю первый канал и смотрю «Доброе утро». После школы, за обедом, смотрю «Новости». Вечером с семьей смотрю «Пусть говорят», а затем «Вечерние новости».

По выходным смотрю «Animal planet» и «Discovery». Это очень интересные и познавательные телепередачи. Я профессионально занимаюсь спортом и поэтому смотрю «Россия Спорт» и «Белогорье», не пропускаю никакие матчи.

Лавришина Марина, 11а, гимназия №12

Иногда, в свободное время, я смотрю телепередачи — это могут быть передачи развлекательного характера, к примеру «Точь-в-точь» или «Танцы». Также бывает настроение посмотреть что-то более серьезное, вот к примеру «Следствие вели», там весьма интересно «разжевывают» преступления.

Но большую часть времени я провожу время за просмотром фильмов, сериалов или прочтением книг, чаще всего нешкольной программы, очень редко включаю телевизор.

Анна Розанова, 11б, гимназия №3

Телевизионные передачи бывают не только развлекательного характера, но и познавательного. Моя семья больше предпочитает такие.

Мама иногда не прочь в выходной день посмотреть программу о здоровом питании, послушать советы о том, как не ошибиться в качестве продукта и сохранить здоровье. Также достаточно интересны передачи, в которых рассказывается о культурах разных стран. Благодаря им можно узнать массу интересного о других народах, их обычаях и о жизни в общем. Мне кажется, раз в неделю можно уделить время на просмотр именно таких программ. Конечно, вместе с мамой и я узнаю что-то новое. Но все же в большинстве случаев я не смотрю телевизор. Все новости, интересные открытия и статьи можно с легкостью найти на просторах интернета.

Но бывают дни, когда по каналам показывают достаточно интересные фильмы. Да, такой же фильм можно в любой момент посмотреть на каком-нибудь сайте, но по телевизору, мне кажется, более атмосферней и уютней, особенно если это стоящая картина. Как ни странно, телевизор в моем доме включен почти всегда, но лишь для фона, когда занимаешься какими-то делами. Обычно это могут быть сериалы или же концерты. В детстве же я очень любила смотреть разные передачи («Большие гонки» или «Минуту славы»), также мне очень нравились ведущие этих программ.

Софья Гуд, 11а класс, гимназия №3

Каждое воскресное утро мы собираемся в гостиной комнате и смотрим телеигру «Сто к одному». Бессменным ведущим программы является Александр Гуревич. «Сто к одному» — командная игра. Каждый игрок должен высказать свое мнение, предложить свою версию, но победа (или поражение) достается всей команде в целом. Чаще всего команды для телеигры составляются по профессиональному признаку, и нередко в игре принимают участие популярные певцы, актеры, спортсмены. Просмотр новой серии телеигры — это самый любимый и долгожданный момент каждой недели, потому что мы как будто становимся одной из команд-участниц этого проекта. Самые интересные и смешные моменты просмотра, когда мама с папой спорят на тему, кто из них правильно назвал или угадал ответ. Телеигра «Сто к одному» — это маленькая традиция в нашей семье.

Алина Голосная, 11а класс, гимназия №3

В моей семье телевизор мы смотрим редко, а если и смотрим, то какие-нибудь бессмысленные, на мой взгляд, российские сериалы на ТНТ. Впрочем, в пятничные вечера родители не прочь посмотреть весьма незамысловатое шоу под названием «Импровизация». Простота и ненавязчивость этой программы помогают расслабиться после рабочей недели, перевести мысли в другое русло. Иногда мы всей семьей пересматриваем фильмы, которые транслируются на местном телевидении. С радостью восприняли информацию о том, что канал ТНТ вновь запустил показ «Гарри Поттера», ведь до определенного момента и я, и мама, и сестра бредили сказками о юном волшебнике.

Любимых ведущих в семье нет, да и назвать без особого напряжения можем только Павла Волю. Что касается меня, то несколько недель я следила за развитием сюжета «самого романтического шоу страны». На самом деле, «Холостяк» стал для меня своего рода соревнованием с самой собой. Я выбирала кого-либо из претенденток на роль дамы сердца звезды сериала «Интерны» Ильи Глинникова и пыталась определить, дойдет ли выбранная мной девушка до финала и одержит ли победу. Я даже делала своеобразные ставки, но в конечном итоге мои «фаворитки» выбывали одна за другой из шоу. Я оправдывала себя тем, что это просто постановка. В итоге я ошиблась даже в финале, где все было известно заранее! И, прогадав в очередной раз, я осознала, что ставки в реалити-шоу — не мой удел.

В общем, телевизор для нашей семьи — способ изредка отвлечься от повседневной рутины и развлечься, а иногда он просто является средством, создающим хоть какой-то фоновый шум.

Диана Немыкина, 11а класс, гимназия №3

Каждый день, после напряженного дня, наполненного очередными рабочими проблемами и домашними хлопотами, мы садимся вечером всей семьей за стол, ужинаем и смотрим телевизор. Чаще всего показывают какой-нибудь легкомысленный сериал или сентиментальный фильм. Когда же идет трансляция спортивных соревнований (особенно, если по хоккею), папа смело отбирает у мамы пульт и переключает на интересующий его чемпионат. Но маме это не нравится, и она начинает снова переключать на свою мелодраму. В конце концов родители находят компромисс, и весь вечер чередуются спортивно-мелодраматические страсти. Хотя, если подумать, телевизор служит лишь фоновым антуражем вечернего семейного общения. Мама часто во время просмотра проверяет тетради учеников или заполняет какие-то документы, я делаю уроки или готовлюсь к очередной олимпиаде, папа разбирает вещи после тренировки.

Вообще нашу семью можно назвать «телегурманом». Путешествия, танцы, пение, спорт, здоровый образ жизни, кулинария, интеллектуальные дискуссии... Особенно мы все любим смотреть передачи, рассказывающие о городах и странах, посещенных нами во время семейных путешествий. К таким относятся «Орёл и решка», «Поедем, поедим» и «Путешествия Познера и Урганта». Также без родительского внимания не остаются проекты наподобие «Голоса». Судя по всему, этот популярный вокальный проект помогает маме и папе перенестись во времена молодости.

Если честно, я двояко отношусь к просмотру мамой передач на канале «Культура». Если мама слушает классическую музыку или следит за перипетиями дискуссионных столкновений в программе «Игра в бисер», которую ведет Игорь Волгин, ее лучше не

беспокоить. В это время за ней интересно наблюдать. За тем, как она улыбается или же сердится. Как что-то лихорадочно записывает на салфетке. А уж если мама смотрит балет! Балет для мамы является сакральной областью. Говорит она о нем исключительно метафорами. Такими же восхитительно-воздушными, как фантастические прыжки Рудольфа Нуриева.

Я же в телевизионном мире каждый раз открываю что-то новое для себя. Одно время я любила смотреть передачу «Орёл и решка», сейчас же перешла на «танцевальные» передачи. Например, шоу «Танцы» меня познакомило со множеством новых направлений — поптинг, хаус, контемпорари, крамп и пр. Какое-то время я тоже увлекалась танцами и занималась в одной из известных хореографических студий нашего города, поэтому мне было безумно интересно смотреть за выступлениями участников, даже самой хотелось двигаться в такт музыке!

Не могу не упомянуть про проект «Танцуют все!» В нем соревновались уже сложившиеся коллективы. Из него я узнала, что в нашем городе есть замечательный коллектив «The first crew», участники которого, по моему мнению, настоящие профессионалы своего дела.

Телевидение может быть очень познавательным и увлекательным, и в какой-то степени мировоззренческим. Очень жаль, что оно уходит на второй план, вытесняясь интернетом.

Мы благодарим учителей русского языка и литературы гимназий №3 и №12 г. Белгорода Богомазову Лидию Васильевну, Данькову Галину Анатольевну, Коняеву Елену Петровну, Летошиникову Светлану Анатольевну, Немыкину Наталью Ивановну, Шаповалову Ирину Адольфовну.

Ольга Балла

Европейка в «Абсурдистане»

Эрика ФАТЛАНД. Советистан. Одиссея по Центральной Азии: Туркменистан, Казахстан, Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан глазами норвежского антрополога / Перевод Н.Кларк. — М.: РИПОЛ классик, 2018.

Самое главное при чтении книги отважной норвежской странницы по бывшим советским среднеазиатским окраинам — заранее избавиться от некоторых ложных, сбивающих восприятие ожиданий. Прежде всего: она не антропологична. Кроме того: это не исследование вообще.

Это не открытие новых смыслов и не их создание, не прояснение структуры смыслов уже существующих; не теоретическое моделирование таких человеческих типов и практик, которые до сих пор не освоены антропологической мыслью — или освоены ею еще недостаточно. (Зато — нечто не менее захватывающее: открытие совсем, по существу, новых пространств для европейского — да и для нашего — внимания; но о том речь впереди.) Не говоря уж о том, что никакой понятийный аппарат науки антропологии тут не востребован вообще, ссылки на коллег-исследователей — минимальны, и дискуссия с ними — не то, что занимает автора в первую очередь (если занимает вообще). Статистика по разным областям жизни региона — да, кое-какая встречается, но не спрашивайте, из каких источников она взята (указаний на них точно нет). Гораздо чаще Эрика Фатланд добросовестно, подробно и занимательно пересказывает читателям то, что уже написали о тех или иных областях жизни и истории интересующих ее стран другие авторы (безусловно, интересно, но ссылок опять же минимум): историю покорения и освоения этих мест русскими, борьбы их с англичанами за господство в регионе — Большой Игры, гражданской войны 1992—1997 годов в Таджикистане, застарелой, незаживающей этнической ненависти между узбеками и киргизами, биографии Чингисхана и Тамерлана, ныне действующих и ушедших в прошлое президентов, Ибн Сины, основателя художественного музея в Нукусе Игоря Савицкого... Текст, получающийся в результате, — никак не научный, но популярный, просветительский — зато с соответствующими задачами справляется прекрасно.

Более того. Читателя не отпускает впечатление, будто Фатланд — чрезвычайно, вообще-то, восприимчивая, внимательная к подробностям и оттенкам наблюдаемого вообще и к встречающимся по пути людям в особенности — несмотря на свой заявленный исследовательский статус, в принципе удерживает себя от соблазна обобщений и выводов. Выводов именно собственных, своими усилиями выработанных

(не говоря уж о том, что имеющих теоретическое значение), ограничиваясь там, где без них совсем уж никак не обойтись, самыми общими ходячими представлениями, вроде, например, следующего: «Имея пятимиллионное население и будучи четвертой в мире по величине газовой экономикой, Туркменистан обладал всеми возможностями для успешной самореализации, однако до сих пор им удавались только громкие слова». Ну, вполне может быть, норвежские читатели Фатланд ни о чем таком и не догадывались. (Вообще, не стоит забывать, что книга адресована в первую очередь далеким от всех этих — и советских, и тем паче постсоветских — материй соотечественникам автора, в связи с чем, например, упоминаемые в ней цены приводятся не только в мало что говорящей непосвященным местной валюте, но и в норвежских кронах.) Она вполне обходится оценками ситуативными — и уж тут вовсе пристрастными — типа холодно / жарко, вкусно / невкусно, понятно / непонятно, удобно / неудобно, безопасно / опасно... (Политических оценок она не выносит — ну, или почти, останавливаясь на самой-самой их грани.) Подробного анализа пережитого не ждите, зато автор не скупится на красочные описания соответствующих ситуаций.

«В народе его называют туннелем конца света или туннелем смерти. Анзобский туннель оказался настоящим бедствием. Первые километры по нему мы проехали еще сносно: под колесами чувствовался асфальт, на потолке горел свет, вдоль стен располагались аварийные телефоны — все казалось просто замечательным. Однако примерно на полпути туннель открыл свое настоящее лицо. С потолка свисали трубы и провода, лампочек уже не было. Мы проезжали между гор в кромешной темноте. Воздух был насыщен испарениями, которые проникали внутрь салона машины. Про асфальт можно было уже и не вспоминать: поверхность дороги представляла собой гравий, чередовавшийся с крупными ямами, доверху заполненными черной, сверкающей от масла водой, что не позволяло оценить их глубину. Водитель сидел, склонившись над баранкой, жестко шурясь. Он петлял зигзагами, пытаясь избежать самых страшных дыр и встречных машин, которые мчались нам навстречу, подпрыгивая в раздвоенных лучах света».

Скажу ужасное, язык поворачивается с трудом: интересных, неожиданных мыслей нам тут не обнаружить, вообще-то, совсем. (Зато сколько нетривиальных впечатлений и наблюдений!)

Да хватит уже, в конце концов, ворчать. Не за тем писано.

Итак: что же тут все-таки нового? Ради чего предпринято молодой норвежкой путешествие по пяти тоже довольно молодым государствам далекой от всего привычного ей Центральной Азии — путешествие, сумасшедшее по дерзости, иной раз и попросту опасное? В каком статусе, в какой культурной нише оказывается тут автор и к какому жанру относится текст, написанный по результатам ее советистанской Одиссеи?

Так вот, автор — первопроходец. В самом буквальном смысле, сопоставимом с тем, в котором мы называем так, ну, например, цитируемого Фатланд Марко Поло, проходившего во многом теми же самыми путями в XIII столетии. Она отправляется туда, куда нога европейца если и ступала, то — крайне редко. Как правило, не ступала вообще — и вряд ли имеет шанс когда-либо ступить: в такие углы и щели, куда забиралась Фатланд, туристы не ездят, никаких туристических радостей там нет. Там идет частная, трудная, замкнутая на себя жизнь, которой и самой нет дела до чужаков. Вооруженная одним только — до какой-то степени освоенным — русским языком, совсем не зная языков местных и еще того менее представляя себе принятые в этих (чрезвычайно, притом, разнородных) краях условности поведения, смелая европейка отправляется, по существу, в чистую неизвестность. И новые области внимания и воображения она открывает не столько коллегам-исследователям, сколько, куда

шире, — своим собратьям по культурной принадлежности вообще. А с ними — ведь и нам тоже: у многих ли из жителей постсоветской России есть шанс и попросту желание отправиться, скажем, в Ягнобскую долину (и услышать там язык прямых потомков согдийцев — язык, который даже лингвисты считали вымершим) или в затерянное селение на памирском плато — три с лишним тысячи метров над уровнем моря, ни на чем, кроме старого раздолбанного вертолета, не долетишь? А сунуться по доброй воле на бывший ядерный полигон под Семипалатинском (нынешний Семей) или на бывший же берег бывшего — теперь уже почти высохшего — Аральского моря (в катастрофу, в руины, в жизнь после жизни)? А испробовать обожаемый туркменами чал — напиток из перебродившего верблюжьего молока (по описанию, признаться, — преотвратительно!) или увидеть собственными глазами, как делается шелк из нитей шелкопряда, как вообще образуются и вызревают эти самые нити?

А тут — пожалуйста. За нас уже почти все сделали: только вживайся. Нам устроили точно то же самое, что обычно, согласно своему обжитому культурному статусу, делает художественная словесность: она, как известно, переносит читателя на уровне воображения в другие жизни. Именно так поступает и Фатланд.

И обширные популярные экскурсии в историю региона, которые, понятно, автор компилирует на основе вычитанного в других книжках в качестве старательного конспекта, тут оказываются как нельзя кстати: они дают всем этим впечатлениям вполне надежную основу.

В целом же книга — образная, полная диалогов (соответственно — чужих голосов), записанных, надо думать, сразу же, по горячим следам. И вся, от начальной до последней страницы, — от первого лица. Личная. И чрезвычайно живая.

По существу, это — записки частного человека, заимствующие свои жанровые, стилистические облики у статей из популярной периодики, у путевых очерков, у репортажей, у публицистики, у беллетристики, иногда, пожалуй, у школьного учебника, у постов в Живом Журнале и Фейсбуке, наконец. Чтобы другим частным людям было понятно и интересно.

Фатланд не преувеличивает своего понимания всего, что ей приходится наблюдать. Куда чаще признается она в принципиально — и, по всей видимости, непреодолимо — неполной проницаемости чужих культур для ее взгляда, в том, что здесь не только другие условности, но и другие исходные очевидности. «Путешествуя в туркменское идеальное общество, — изумляется она, — ты лишаешь себя опоры языка неолиберального глобализма — языка западного мышления, — о котором в повседневной жизни даже не приходится задумываться». Иностранная гостья видит сложный спектакль иной жизни — и не только в «обществе спектакля» диктаторского Туркменистана с его пышными лживыми декорациями и страшной, едва видимой изнанкой, но и, скажем, в глухой киргизской деревне, где, казалось бы, кроме страшной изнанки вообще ничего нет, — спектакль, о смысле которого может иной раз лишь догадываться, о котором наверняка знает только одно: к его настоящим значениям чужаку не пробиться.

«История похожа на русскую куклу *матрешку*, из которой появляются все новые и новые куклы, некоторые из которых похожи, в то время как другие украшены совершенно иными цветами и узорами. Слои за слоями открываешь новое. Что такое, еще одна кукла? А это что за штука? В конце концов мы доходим до последней, которая уже не открывается. Когда мы ее трясем, внутри нее что-то есть, возможно, там еще остались куклы, и мы не дошли даже до половины. Но проникнуть туда нельзя. На этот раз не получится».

Нам рассказана история столько же понимания, сколько и непонимания. Последнего, пожалуй, даже в большей степени.

И если Фатланд и занимает тут позицию антрополога, то — прежде всего прочего — по отношению к самой себе. Если угодно, она делает собственное тело инструментом исследования, ставит на себе развернутый многонедельный эксперимент — и протоколирует его (да, беллетристически, но ведь у такого описания есть своя точность, сухому научному описанию не доступная). Дает подробное, точное, самоироничное и честное — вплоть до, пожалуй, некоторого простодушия — описание телесного и душевного (тут не разделить!) самоощущения европейца в чужеродной ему природной, символической, предметной, эмоциональной, чувственной среде. Ну, заодно, конечно, и самой этой среды. Чистая фиксация — без усилий, скажем, проследить корни собственных реакций в их отличии от тех, что свойственны встречаемым по пути аборигенам, или вообще отнестись к этим реакциям критически. Главное — записать как есть. Анализ — отдельная работа.

Что симпатично, она описывает пережитое без избыточной экзотизации, без проклятий трудностям и страхам (но прямо в них признаваясь) — и, с другой стороны, без излишних очарований (а очаровываться, поверьте, тоже было чем!). Внутри этого по видимости частного человека на самом деле неизменно бодрствует антрополог, умеющий держать дистанцию между собой и предметом описания. Даже когда этот предмет — он сам.

«Почистив зубы, я встала у окна с панорамным видом, глядя вниз на рябь морских волн, плескавшихся в свете прожектора, — пишет Фатланд в конце всего лишь первого, туркменского этапа своего путешествия. — Мои три недели в Абсурдистане подходили к концу, и я была выжата как лимон. Четко следуя заданной программе, в течение трех недель мне пришлось помотаться туда-обратно, несколько раз пересечь пустыню, засыпать под рев верблюдов, облететь всю страну вдоль и поперек, проглотить множество отвратительных завтраков и спасти от гибели несколько горшков с прокисшим верблюжьим молоком».

А ведь сколько еще предстояло впереди...

Она заготавливает — и тщательно упаковывает — смысловой материал, сырьевой запас для просто не способной без такого материала обойтись — теоретической рефлексии. В том числе, возможно, и предстоящей собственной.

Дмитрий Володихин

Две России

Политика и вера в романе Алексея Иванова «Тобол: Мало избранных»

Алексей ИВАНОВ. Тобол. Роман-пеплум: Кн. 2. Мало избранных. — М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2017.

Представьте себе, что у вас убили сына.

Совершенно не важно, мужчина вы или женщина. Вы человек, и этого достаточно для того, чтобы горе ваше было огромным.

Возможно, утешением для вас, пусть и слабым, послужат обстоятельства его гибели. И... конечно, его уже не вернешь, но все же героическая гибель солдата, ушедшего из жизни в бою, спасая товарищей, проявляя в последний час лучшие качества своей личности, Наверное, подсветит кончину родного человека пламенем высоких смыслов...

Но это, знаете ли, «работает», если не вглядываться и не вдумываться в суть происходящего. Герой — и ладно. И не будем ворошить. Если все произошедшее для вас пребывает... как бы в легком тумане, если вы не обо всем информированы, что ж, может быть, легче смириться. И рубец на душе вашей не станет слишком уж глубоким. Как знать? Но возможно, возможно...

Что с вами станет, если вас просветить до конца о корнях той войны, на которой убили вашего сына? И не в общих словах, а со всею конкретикой. Допустим, некий государственный муж весьма высокого статуса развязал боевые действия и создал тем самым новую «горячую точку» из соображений пошлой корысти? Ему надо больше денег. Он вор по натуре своей, вор от корней до кроны, и он готов послать тысячи людей на смерть не за интересы своей страны или своего народа, а просто потому, что их смерть весьма прибыльна. А холопы, отправившиеся умирать, они ведь довольно многочисленны... стоит ли так уж скрупулезно учитывать, где, когда и сколько их мать сыр-земля упокоила? Чай, мамки новых нарожают!

Вот ради умножения его денег вашего сына-то и убили. Не ради отечества, не ради народа, не за веру, не за правду, не за справедливость, не за свободу, наконец, был опущен занавес его судьбы, а просто за денежки. Тупо израсходовали парня вместе с другими «боевыми единицами», когда перед взыскательными очами высокопоставленного чиновника нарисовался ошутимый барыш. И всё. И точка.

Ну, как вам?

Вы, кажется, не рады?

Что, своими руками готовы истребить злодея? Или же чувствуете, как нравственный стержень, доселе помогавший вам пережить трагедию, рассыпается, и душа ваша рушится в бездну?

Тогда, для полной ясности, добавим в картину вашего горя еще один мазок: моральный-то урод, погубивший тысячи молодых ребят, он, оказывается, вовсе не исключение из правила, не оживший раритет из кунсткамеры. Нет, вовсе нет! Он — *квинтэссенция системы*. В нем, пусть и в карикатурном виде, утрированно, гипертрофированно, шаржированно, воплощается общий порядок. Это не просто личность, он — то, что рядом с вами живет припеваючи, вами правит, да еще и не прочь с вами подружиться, если вы, конечно, небрезгливы и не потянетесь к его деньгам. Вот только деньги трогать не надо! Серьезно.

Иными словами — вор живет как общественная норма, с которой вы уже почти примирились. Или, может быть, вам для этого не так уж много не хватает. Вы понимаете, что это грех, но готовы сказать себе: да грех-то сей невелик.

Пока, разумеется, это чудовище не губит вашего сына...

Именно этот эпизод — гибель Петра Ремезова, сына тобольского «архитектона» Семёна Ульяновича Ремезова, и является тем ключиком, который заводит музыкальную шкатулку сюжета во второй книге романа-пеплума Алексея Иванова «Тобол».

Петька Ремезов вместе с тысячами других бойцов погиб в дальних краях, на войне с джунгарами, притом на войне, которая не нужна ни России, ни джунгарам и вызвана искусной работой китайской дипломатии, сумевшей подкупить сибирского губернатора князя Матвея Гагарина, высокородного Рюриковича. Семён Ульянович, не зная сути дела, бывало, пытался сдружиться с князем, уповая на то, что у Гагарина «не казенная душа», размах, ум, деловая хватка, что он может оценить затеи самого архитектона, помочь в их осуществлении. Итог вышел скверней скверного. Словами Семёна Ульяновича, обращенными к Гагарину, Алексей Иванов мудро подмечает: «Почему семь грехов смертными называются?.. Потому что ведут к гибели всего, а не токмо души грешника... Вот ты — хороший человек, добрый... Поначалу вроде даже весело было, хоть ты и воровал. Ну, конечно, кто-то зубами скрипел... кто-то плакал... однако же дела совершались, о чем-то мечталось, — вроде, и потерпеть можно твой грех. Но дьявола-то не унять. Церкву ему промеж рогов не построить. И глядишь — все благие начала в прах брошены, а певцам в глотки свинец заливают...»

Князь Гагарин ради своих прибылей и ради привычки к самовластию порушил дружбу с Ремезовым задолго до того, как тот узнал, что сын его Петька погиб из-за подлости губернатора. Семён Ульянович по воле своего вельможного «друга» оказался в каземате и надолго утратил возможность довести до конца главный проект своей жизни — строительство Тобольского кремля: деньги, отпущенные «сверху» на затею зодчего, были истрачены на взятку фискалу. Фальшивой оказалась дружба.

Но Семён Ульянович и сам кое в чем виноват. Ведь он с воровским грехом Гагарина мирился, более того, даже помогал князю уйти от наказания. И ему сам Бог, по его дерзкой просьбе, показал, насколько виноват князь и насколько виноват он сам, ввязавшись в грешные делишки Гагарина. Именно в том месте, где Семён Ульянович помог соорудить тайный подземный ход ради спасения губернатора от очередной «проверки из центра», вплотную подобравшейся к его воровству, рухнул Покровский храм, возведенный по проекту Ремезова.

Какого еще знака просить свыше? *Знак получен...*

Конечно, «Тобол» — эпопея о Сибири и на сибирском материале «поставленная». Но социальная суть высказывания, сделанного Алексеем Ивановым, относится не только к Сибири, но и ко всей России. Вернее, к двум разным Россиям. Одна из них, казенная, холодная, тяжкая, давящая, влита в мехи государственного аппарата, и морозное дыхание ее чувствуется от низов военно-чиновного мира до самого верха. Вот ее-то и представляет Гагарин. Другая, народная, богато одаренная творческим

духом, рвущаяся раздвинуть пределы умственные и географические, работающая, исполненная веры, прощающая обиды и умеющая любить крепко, до самозабвения, представлена Ремезовым, который до старости полон желания творить новое и учиться новому, а также митрополитом Филофеем, который миром, без вооруженного принуждения, но настойчиво добивается крещения вогулов: жизнь свою на кон готов поставить, мучиться в тяжких хождениях по тайге, но от долга веры ни за что не отступится!

По Алексею Иванову, вторая Россия не должна потакать первой в ее грехах, иначе выйдет то, что произошло с Семёном Ульяновичем: храм, им построенный, имея ложь в основании своем, разрушился, а возведение тобольского Кремля до крайности затянулось, хотя и было счастливо завершено — в конечном итоге.

Две России с большой силой показаны автором романа через образы городов.

Вот пестрая, жизненной силой переполненная Москва — глазами остяцкого князя Пантилы: «...этот огромный русский город изумлял Пантилу. Сколько тут всякой зелени — березы, липы, вербы, кругом малина. Раздвигая деревья, громоздились, расплзаясь пристроями, просторные причудливые терема со стеклянными окнами, высокими кровлями, висячими гульбищами, крылечками, наличниками и резьбой. Часовни с маленькими луковками. Колодцы. Бревенчатые вымостки улочек, кабаки с коновязями. Амбары, амбары и амбары. Небольшие и кудрявые кирпичные церковки, то белые, то красные. Бегущие тени листья на траве и легкие облака в ярком синем небе. Лошади, телеги, бабы, детишки, собаки, татары в халатах, гуси, приказные в мундирах, солдаты, купцы, попы в рясах и мужики в армяках. Здесь пахло печным дымом, медовухой, навозом, черемухой и свежими калачами... Здесь все было как-то радушно — пусть и небрежно, впроброс, невнимательно». Такова Россия народная.

Но вот в сердце Москвы ледяная громада Кремля, и через нее проступает силуэт России правительственной, казенной: «В очертаниях Кремля, в его жестких гранях и крутых округлостях. В длинных глухих протяженностях и остриях углов Пантила ощутил потаенное движение, торжественную готовность в любой момент нанести удар, сокрушить и раздавить тяжестью. Узкие бойницы смотрели надменно и безжалостно — в человеке они видели только цель для ружья. "Ласточкины хвосты" и окошки-"слухи" на кровлях напоминали уши настороженных волков. Малые "рядовые" башни проседали под весом своих ярусов, точно их одели в бронированные колонтари. А подступы к Кремлю перегораживали рвы с мутной водой и земляные бастионы с пушками... Зато храмы Кремля были как сети, в которых запуталось солнце».

В старой, допетровской России хоть церкви были «как сети, в которых запуталось солнце», а в Империи, созданной трудами «то мореплавателя, то плотника» пропал и этот оживляющий морозную реальность отсвет веры. Петр, как рисует его Алексей Иванов, и сам разочарован творением рук своих: «Его столицу размывали наводнения. Пышные дворцы — на самом-то деле деревянные, только оштукатуренные под камень — покосившись, тонули в зыбкой почве. Мощеные мостовые горбились и расплзались. Фрегаты, украшающие Неву, были построены из сырого леса, и через десять лет их ожидала участь мишеней для пушек Кроншлота. А сподвижники государя, князья и графы, генералы и адмиралы, воровали, будто подлые холопы».

Русские принесли Сибири хлеб, Христа милосердного, неумную тягу к знаниям, к творчеству, к раздвиганию пределов. Этим оправдано их владычество в Сибири. Но, с настойчивостью показывает Алексей Иванов, здесь нет заслуги России государственной, казенной, сухой в уставах и корыстной в побуждениях. Нравственное право главенствовать в Сибири и насаждать там свою культуру дали русскому народу лучшие свойства и качества второй России: мастеровитой, дерзновенной в вере своей и в любви, и в желании познать мир.

По Иванову, русская власть, большей частью, подла, а русский народ,

большей же частью, имеет добрую сердцевину и способен к великим делам. И то и другое, не без исключений — Алексей Иванов вообще не любит черно-белой гаммы, в его романах сплошь многоцветье, главное едва пробивается сквозь хаос второстепенного, — но ведь исключение самим фактом своего существования подтверждает наличие правила...

Что ж теперь, констатировать позицию «старого интеллигента» и начертать диагноз фосфоресцирующей краской на лбу романа? Все, конечно, упростится, все станет как бы яснее, но... простота редко заключает союз с истиной.

Алексей Иванов вообще *плохо «диагностируется»*. Он ведь не западник в полной мере, хотя «обобщенный Запад» на страницах своих романов не критикует, но и не почвенник в полной мере, хотя от почвы не оторван, совсем не белый монархист, но и не красный советист, не государственный, но и не анархист, не прогрессист ни в малой степени, но и не консерватор. Алексей Иванов вроде колобка — ото всех сбежал, ни к кому не пристал, живет «меж лагерей»: «раб Божий, обшит кожей», ума палата, да без царя в голове; ко всему глазок-смотрок, аршин не общий, да и тот в землю закопан на середке улицы, от кабака к храму ведущей. Поумневший Левша отделился на хутор, но все забыть не может, что у англичан ружья кирпичом не чистят!

Нет, какой уж тут «старый интеллигент»! Тут все сложнее.

Вот, кстати, не может не радовать, что автор романа отошел от старинной *интеллигентской* традиции показывать старообрядчество как некую среду, сохраняющую высокие, прекрасные смыслы — рядом с грубым, простоватым и «садически жестоким» миром патриаршей (а затем синодальной) Церкви. В «Тоболе» мир староверов подан как чудовищное искажение христианства, причиной которого стало свирепое давление государства. Алексей Иванов не находит никакого оправдания массовым «гарям» старообрядцев: в них, как показывает автор книги, нет ничего героического и прекрасного, это дикий акт коллективного самоубийства, рожденный самой черной, самой жуткой бесовщиной, пустившей корни в старообрядческой среде. Вплоть до явления бесов-соблазнительей среди бела дня в общинах, начинающих готовиться к гари...

Иной раз прелесть сплошного отрицания окружающей жизни как оскверненной и помраченной, столь сильна, что ее уже не вылечить ничем, и если тело «зараженного» ею человека можно спасти от «гари» физической, то душа его уже ничем не спасется от огня духовного, потому что в ней больше нет желания свернуть с гибельного пути. Так, с вожаком староверов, Авдонием, происходит обесовление, а влюбленная в него Епифания не может избавиться от злобной мстительности даже в монастыре.

Совершенно так же Алексей Иванов не склонен любоваться язычеством древних народов Сибири: остяков, вогулов и так далее. Нельзя сказать, что он рисует языческие обычаи бессмысленными и безобразными, нет, он даже высвечивает своего рода поэзию, с которой коренные народы воспринимают природу тайги в нераздельном ее слиянии с полуневидимыми таинственными обитателями — «божествами», «духами». До определенного порога все это может выглядеть даже красиво. Так, например, если глядеть на мир глазами остяцкой девушки Айкони, слушать ее ушами и вдыхать ее носом, то рождается изысканно прекрасное полотно: «Сильная и храбрая Айкони жила, как хотела, в домике на сосновом острове среди дивного болота. Там пахло водой, хвоей, древесной прелью, дымом костра. Там шумели под ветром ельники, плыли облака, и на папоротники с тихим шепотом падали дожди; там хлопали крыльями журавли, рысь точила когти о ствол, скулили волчата в логове, шуршали мыши и ухала сова, низко пролетая над берегом; там поскрипывали, оседая, заплесневелые буреломы и духи тихо пели свои вечные песни».

Вот только рядом с этой чудесной картиной в душе Айкони живет злое колдовство и равнодушие к страданиям других людей, в том числе и тех, кого измучила колдовством она сама. Айкони становится причиной отпадения от Христа, то есть гибели духовной (за которой вскоре последовала и физическая гибель)

добряка-малоросса Григория Новицкого, а через него, опосредованно, Айкони, не желая того, погубила и собственную сестру-близняшку Хомани, но немало о том не переживает. Ведь она, Айкони, — сильная, свободная, непокорная... и если надо в уплату за силу и свободу вырастить в груди ком зла, что ж, значит, так тому и быть. Не только и даже не столько трудные обстоятельства жизни привели душу Айкони в сердце тьмы, тут другое важнее: она с детства самым погружением в язычество научена тому, что обращение к нелюди за помощью против людей — дело, в общем, приемлемое.

Другой представитель языческого мира, вогульский князь-шаман Нахраб, горбун и смельчак, обладает даже обаянием дерзкой отваги, победительной силы, позволяющей ему успешно хранить порядок в своем лесном краю. Но так же, как и с Айкони, положительные свойства натуры Нахраба хороши... до определенного предела; когда предел этот достигнут, Алексей Иванов выводит на арену потаенную сущность Нахраба, а именно сущность безжалостного убийцы, опять-таки не брезгующего направлять силу темной нежити на людей.

Язычество, по Иванову, не принесло счастья и процветания древним народам Сибири. Напротив, слившись с ландшафтом, полагаясь на помощь нечистой силы в обыденных делах, сибирские племена постепенно утрачивали навыки сложного хозяйства (например, металлургии), а также способность создавать и поддерживать высокоорганизованный общественный строй. Что дает лес — то и хорошо; где удобно маленькой общинке, живущей тихо в нищей болотной стране, — то и хорошо... И уже лица не поднять к высотам духа, горизонта не увидеть, сколько-нибудь сложных задач развития не поставить... да куда там: даже от медленного вымирания не удержаться.

Русские, с их иконами, пищалями и хлебом, взбаламутили эти необозримые таежные пространства, многое переделали под себя, под свою веру и правду, зато они дали всем местным жителям перспективу чего-то большего, нежели простое гомеостатное существование.

Впрочем, Алексей Иванов показывает, что в судьбах Сибири начала XVIII века была альтернатива русскому пути. Стремительно поднималась джунгарская держава, и ее бурному развитию отдана очень значительная часть романа. Порой автор книги на время даже оставляет роль писателя и, увлекшись, принимает на себя обязанности «экскурсовода» по истории джунгар: посмотрите налево — там длинная путаная генеалогия их вождей, посмотрите направо — там масштабные войны джунгар с соседями... И выдает на гора многословную «справку», вызывая желание перелистнуть несколько страниц и вернуться к повествованию в том месте, где экскурсовод говорит: «Спасибо за внимание», — прощается и вынимает писателя из-за ширмы. Собственно, Алексей Иванов почти кричит: взгляните, это важно! Джунгары могли бы потеснить русских в Сибири, они были чрезвычайно сильны! Он рисует величественную фигуру джунгарского полководца Цэрэна Дондоба, разъезжающего повсюду на белой верблудице, сочетающего в себе холодную суровость к любому врагу джунгар с глубоким умом прирожденного стратега. Цэрэн Дондоб воевал всю жизнь и однажды добился величайшего триумфа: взял штурмом Лхасу. Это по-своему симпатичная фигура в пантеоне политиков и полководцев старинной Сибири. Цэрэн Дондоб сталкивался с русскими на поле боя, но пришел к выводу, что война с ними не нужна джунгарам. У русских свой мир, у джунгар — свой, их дом — «бесконечная степь», и если они, по соображениям тщеславия, вторгались во владения русских, то из их военного предприятия не выходило добра, так что лучше бы джунгарам покинуть «эту непокорную землю». Не по слабости своей — по мудрости!

В книге очень хорошо чувствуется растущее христианское чувство автора. Оно прочитывалось и в первой части «Тобола», но во второй очевидным образом нарастает¹.

¹ Сам Алексей Иванов публично позиционирует себя как человека верующего, хотя и не воцерковленного. Таков был, например, его ответ автору этих строк, заданный на встрече А.Иванова с читателями 17 февраля 2018 года в московском магазине «Библио-Глобус».

Алексей Иванов вводит в повествовательную ткань и лукавые проделки нечистой силы, и большие чудеса, совершенно однозначно трактованные с позиций православной мистики. Одно из таких чудес — свеча, с которою в руке скончался святой Иоанн, митрополит Тобольский; она продолжает гореть и после его смерти, пламя ее не иссякает днями, неделями...

Христос во второй книге «Тобола» — активно действующая сила, милосердная Личность, а не какой-нибудь абстрактный этический принцип. Он не всегда исполняет просьбы людей. Но всегда слышит их и откликается на их чувства, намерения, поступки. Иными словами, воздаст по вере и делам не только за гробом, но в «текущей» реальности. Алексей Иванов, таким образом, продолжает идти по дороге, которую проложил Иван Шмелев в повести «Куликово поле».

А для «старого интеллигента» это уж совсем не подобающий маршрут...

Прав ли автор «Тобола», говоря о страшном расколе, пролегшем меж двумя Россиями? Прав ли, что обличает правящую элиту Империи, давая ей уничтожающие характеристики? Или, может, переборщил? Речь-то идет не только о XVIII столетии, но и обо всем, что происходило на нашей земле с тех пор, вплоть до наших дней... вплоть до наших дней.

Если прав, то как же так выходило, что Империя столь долго жила в стоянии высокого цветения, была сильна на войне, могущественна в политике, изобильна в культуре? Может, все-таки имперская элита России не так плоха, как ее малюют?

Если неправ, то отчего Иван Солоневич последними словами честит ту самую имперскую элиту, прогнившую, по его словам, до основания? Стало быть, какая-то хворь все же ее поразила?

А вот тут пускай читатель разбирается сам. Автор этих строк сказал о романе «Тобол» все необходимое, и осталось лишь обозначить собственную позицию. Идеальных государств на этом свете не было, нет и не будет. Империя никогда не создаст рая на земле, ее дело — ад на землю не пускать. В этом смысле Российская империя была устроена лучше многих государств своего времени, в том числе самых «прогрессивных» европейских. Но в ней именно с Петровского времени начала никнуть живая вера, а Церковь православная подверглась дикому, ни с чем не сообразному унижению. Россия так устроена, что в ней существует только два заградительных барьера для чиновничьего воровства, предательства, безделья. Первый из них — вера, ибо Господь воровство, измену, леность и прочие слабости правительские поставил во грех; верующий чиновник да помнит об этом! Вторая же преграда — грозная, карающая рука государева. И вот вопрос: что лучше — возрождение веры или постоянное, из поколения в поколение, «санирование» элиты с помощью больших чисток? «Гроза» — полезная вещь, без нее не обойтись, но вера важнее: вера у нас, русских, в основе всего, и ее должно быть больше в людях.

Гораздо больше.

Тогда и подлости поубавится.

Ольга Погодина

Человеческий голос

18 марта 1898 Софья Андреевна Толстая записала в дневнике:

«Толливерова, издательница “Игрушечки”, хочет издавать журнал “Женское Дело”, и поднялся разговор о женском вопросе. Л.Н. говорил, что, прежде чем говорить о неравенстве женщины и ее угнетенности, надо прежде поставить вопрос о неравенстве людей вообще. Потом говорил, что если женщина сама ставит себе этот вопрос, то в этом есть что-то нескромное, не женственное и потому наглое».

Пройдут годы, критический разрыв мировоззрений Толстого и его жены усугубится, Софья Андреевна будет мстительно сетовать на несвободу женщины, на то, что лучшие годы она вынуждена была пожертвовать мужу и детям, не имея сил и времени на развитие собственных духовных потребностей. Скандал в благородном семействе прозвучит на весь мир и столетия спустя будет вызывать горячие споры.

Свою позицию в этой полемике займет и Павел Басинский, известный широкому кругу читателей прежде всего как исследователь загадки Толстого, автор «невыдуманных романов» «Бегство из рая», «Святой против Льва», «Лев в тени Льва».

Конечно, интересы литературоведа, историка, писателя Басинского выходят за рамки толстовской темы, но сосредоточены в основном на временном рубеже середины

XIX — начала XX веков. Он много размышлял о Горьком, о круге литераторов Серебряного века, о пейзаже культурной жизни в столицах и провинции в период смены столетий. Популярность этих книг, на мой взгляд, объясняется не только тем, что они занимательны и хорошо написаны. Вглядываясь в прошлое, Басинский вместе с нами ищет ответы на вопросы дня сегодняшнего. Ведь предметом его изучения является именно русский человек со всей его широтой и безалаберностью, истовой верой и богоборчеством, неисчерпаемыми талантами и непрактичностью, готовностью и на великий подвиг, и на чудовищное разрушение.

Поэтому не удивительно, что новая книга Басинского поворачивает проблему национального самосознания еще одной гранью. «Памяти русского феминизма» посвящается это исследование, которое начинается как исторический роман и заканчивается как детектив.

Выбор героя — важная отправная точка художественной книги, открытие героя — главная задача публициста. На этот раз Басинский выбирает героиню не из первого, даже не из третьего ряда имен, формирующих тот самый «культурный пейзаж». Лиза Дьяконова не оставила яркого следа ни в истории страны, ни в литературе, хотя опубликованный после ее ранней смерти в 1902 году «Дневник русской женщины» наделал немало шума и выдержал несколько переизданий. Но если бы не загадочная смерть, мы могли бы и не узнать о Лизе — она бы затерялась среди тысяч курсисток, десятков тысяч купеческих дочек, сотен тысяч

Павел Басинский. Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой»: Невымышленный роман. — М.: АСТ; Редакция Елены Шубиной, 2017.

мечтательных девушек с трудным характером и несчастливой судьбой.

Но в этой типичности, которая на рубеже XX века становится причиной популярности дневника Дьяконовой, автор «невдуманного романа» Басинский находит материал для обобщения, для разговора о том самом «женском вопросе», существование которого отрицал великий отрицатель Лев Толстой.

Словно брошенный в воду камень, дневник Лизы Дьяконовой производит расходящиеся волны в пространстве истории. Исследуя этот текст, Басинский захватывает все больше тем. Уклад жизни в провинции и столицах конца XIX века, воспитание детей в купеческих семьях, женское образование, книги домашней библиотеки, студенческие выступления, основы брачного законодательства, моды, путешествия, любовные отношения. Книга дает по-настоящему объемную картину развития «женского вопроса», который кипел в котле отечественной прогрессивной мысли вместе с другими мировыми идеями.

Осознанно или нет, но Павел Басинский нередко сталкивает свою героиню в заочной полемике с Толстым, и далеко не всегда великий гений побеждает скромную курсистку. Так, мы можем сравнить два описания чувств и мыслей, которые порождает пресловутый «арзамасский ужас» — осознание неизбежности собственной смерти, которое приходит и к зрелому писателю Толстому, и к студентке Высших женских курсов как душевное потрясение, кризисный поворот всей жизни.

«Заметим, что переживание девушки из Ярославля оказалось, пожалуй, глубже толстовского. Она испытала ужас не только от сознания своей ничтожности, но от представления о гибели всего мира, всех людей, живых и мертвых, ведь память о последних тоже исчезнет с концом Вселенной. Но тогда дела и мысли людей, меняющих этот мир к лучшему, равно как и их страдания на земле, тоже бессмысленны! Зачем? Если рано или поздно ничего этого не будет! Бессмертное “я”? Но для чего оно?»

“Вот уже девятый день я не понимаю, что со мною делается”, — пишет она в дневнике 9 октября. Арзамасский ужас Толстого прошел в более короткие сроки».

Особенно важно, что главную ценность этой книги составляет не познавательность, не широта изображаемой картины идей и нравов, а личность героини, которой мы сразу начинаем сопереживать. В характере Лизы Дьяконовой есть глубинное родство с самыми яркими образами русской литературы. Ей близки Катерина Кабанова и Лариса Огудалова из пьес Островского, Анна Одинцова и Елена Стахова из романов Тургенева, толстовские Наташа Ростова и Анна Каренина, пушкинская Татьяна Ларина.

Размышляя об этом, лучше понимаешь, как много сильных, независимых женских характеров дала нам отечественная литература XIX века. «Русская душой» Лиза Дьяконова сформирована тем же кругом чтения, той же средой, из которой вышли Ахматова и Цветаева, Лариса Рейснер, Инесса Арманд, Александра Коллонтай. Теми же идеями, которые подняли тысячи женщин на активное участие в Февральской революции 1917 года, и затем воплотились в целый перечень гражданских свобод, полученных после Октября.

«Если я потом всю жизнь по сей последний день всегда первая писала, первая протягивала руку — и руки, не боюсь суда — то только потому, что на заре моих дней лежащая Татьяна в книге, при свечке, с растрепанной и переброшенной через грудь косой, это на моих глазах — сделала. И если я потом, когда уходили (всегда — уходили), не только не протягивала след рук, а головы не оборачивала, то только потому, что тогда, в саду, Татьяна застыла статуей».

Урок смелости. Урок гордости. Урок верности. Урок судьбы. Урок одиночества.

Укого из народов — такая любовная героиня: смелая и достойная, влюбленная — и непреклонная, ясновидящая — и любящая!»

В этой любви к пушкинской героине признается Марина Цветаева, но могла бы признаться и Лиза Дьяконова — скрытная, одинокая, глубоко чувствующая. Стремящаяся к далекой и не до конца определенной цели.

Что говорить, я и сама чувствую некое родство с Лизой Дьяконовой. Мне близки ее взгляды на мир, свободомыслие, независимость суждений. Я читала в юности почти те же книги. Да и предки мои по линии

отца — провинциальные уральские купцы и промышленники Малаховы, в семью которых был принят зятем молодой инженер Алексей Алексеевич Кузмин, брат поэта. Об укладе их жизни, разрушенной и разбросанной революцией, я знаю из обрывочных воспоминаний бабушки.

Дорогого стоит уважительная попытка автора книги разобраться в формировании и становлении этого русского женского характера.

Стоит упомянуть и о том, что Павел Басинский относится к тому немногочисленному отряду литературоведов, которым удастся облечь итог кропотливой архивной работы в художественное повествование с завязкой, кульминацией и развязкой, с крепкой интригой и особым поэтическим взглядом на мир. У автора можно поучиться умению держать интригу до последних страниц. Здесь он уходит в сторону от анализа

фактов и дает волю художественной интерпретации, рисуя картины швейцарской природы, на фоне которой разыгралась трагедия гибели героини. Штрихами, полунамеками он прочерчивает сразу три возможные версии смерти Лизы Дьяконовой, оставляя читателю самому выбирать наиболее убедительную.

Мы живем в эпоху размывания чистых жанров искусства. Нам недостаточно просто получать удовольствие от чтения выдуманной истории или штудировать энциклопедии в поисках исторических знаний. Мы хотим совмещать оба эти процесса, и Павел Басинский в очередной раз дает нам эту возможность. У него есть счастливый дар и верный слух, который помогает расслышать эхо отдаленных общественных бурь, шорох движения тектонических плит большой Истории. Но и негромкий голос обыкновенного человека в миллионной толпе.

Юлия Подлубнова

Селфи на фоне спама

Русскоязычный поэт и культуртрегер из Таллина Игорь Котюх, лауреат «Русской премии» (2015), выпустил четвертую книгу стихов. Книга не похожа на предыдущие, она очень современная и при том мягко отстраняющая от современности, очень деликатная, но вовсе не обозначающая, что автор выбирает осторожность как жизненную или эстетическую стратегию. Книга Игоря Котюха во многом экспериментальна: ровно

год (один из недавно прошедших) с июля по июль ведется литературный дневник, записи регулярно появляются на странице автора в Facebook'е, кстати, сейчас закрытой, и читать эти записи могут только избранные 33 человека. А теперь представьте, что тексты из социальной сети перекочевали под одну обложку, составили издательское и художественное целое: вроде как уже и не записи, а стихотворения в прозе, как бы ни казалась устаревшей эта номинация в свете существующего разнообразия поэтических и стихопрозаических форм.

Разумеется, публикацией фейсбучных записей, фейсбучных романов нынче никого

Игорь Котюх. Естественно особенный случай: Стихотворения в прозе. — Пайде: Kite, 2017.

не удивишь. Записи — они же посты — это одна из излюбленных форм работы активно пишущих авторов, особенно критиков и тех, кто так или иначе фиксирует литературный быт, практически вытеснившая авторские колонки (до чего стремительно уходит в прошлое феномен колумнистики!). Другое дело, использование личной страницы в соцсети как ресурса, потенциально эстетически заряженного. Сколько мы знаем литературных масок, созданных с помощью соцсетей? Не очень-то и много, учитывая, что маска маске — тамбовский волк, друг и товарищ, и что литературное сообщество в соцсетях не такое уж и многочисленное: все друг друга опознают или, по крайней мере, отдаленно отражают, а яркие дебюты не проходят незамеченными. Тогда следующий вопрос: сколько мы знаем поэтических текстов, легко и непринужденно попадающих в паутину интернет-коммуникаций? Большое количество — не уследишь. И наконец, сколько мы знаем художественных проектов, продуманно осуществляющихся в рамках страницы одного автора (маски или авторские стратегии плюс тексты)? Ответ не предполагает обширного списка имен и перечислений. В общем, эксперимент с Facebook'ом от Игоря Котюха получился интересный и актуальный во всех смыслах — и в смысле очередного шага по олитературиванию популярной площадки коммуникации, и в смысле расширения поля художественности за счет перфомативности, как это принято в актуальном искусстве.

Соответственно тексты в книге «Естественно особенный случай», обозначенные в выходных сведениях как стихотворения в прозе, а в авторской благодарности 33 читателям — как стихи, располагаются в междискурсивном пространстве между стихами и дневниковыми записями в соцсетях. Это объясняет высокую степень авторской открытости (автор допускает читателя в сугубо приватное пространство), ибо запись в соцсети на какую-либо субъективно переживательную тему воспринимается в последнюю очередь как прямое лирическое высказывание. Между тем, стихи, замаскированные под записи дневникового характера в Facebook'е, формируют восприятие художественного текста как особо личного и таким непрямым образом заставляют вспомнить о дыхании «почвы и

судьбы», о связи поэзии с интуитивным способом познания мира, а также о комплексе модернистских представлений с выдвигающейся на первый план личностью самого поэта.

И еще. Читая эти тексты (я входила в число избранных, кто их видел в своей ленте), а затем и книгу, невольно начинаешь жалеть, что понятие сетературы как попытка обозначить формы взаимовлияния литературы и коммуникационных технологий больше не актуально. Ведь вот она, та самая литература, в создании которой участвует в том числе и сеть. Вот они, тексты, не просто размещенные в интернете, но вышагнувшие из него как из смыслопорождающей и формообразующей среды.

С другой стороны, если бы не соцсеть, то полем авторского эксперимента могли бы стать и обычный дневник, который нередко ведут поэты, в иных случаях охотно наделяя его поэтической функцией. И почему бы не протестировать такой дневник с помощью современных технологий на каком угодно количестве читателей, прежде чем обнародовать в виде книги?

Как бы то ни было, говорить о том, что книга состоялась только ради эксперимента, было бы неправильно. Сергей Оробий, отметивший «Естественно особенный случай» в своем обзоре на «Liteterrature», парадоксально, не очень разбираясь в тенденциях современной поэзии, но при том точно написал: «Вот книга, которая наверняка отпугнет 90% читателей... К счастью, современный литератор, сколь бы экстравагантные тексты ни создавал, имеет шанс достучаться до многих, даже если рассчитывает на некоторых». Книга, содержащая не такие уж привычные для широкого читателя стихопрозаические тексты, на самом деле привлекательна, ибо мир Игоря Котюха очень конкретен и узнаваем, практически близок каждому живущему на постсоветском или условно европейском пространстве. Это та реальность, которую мы видим и знаем, когда отрываем взгляд от Facebook'a, но при том не освобожденная от актуальностей современности, дополненная повесткой ежедневных новостей, пропущенная через неизменно кривые фильтры соцсетей.

Например, открывающий книгу текст от

16 июня: «дождливое лето с несколькими закладками солнечных дней, постоянная влага на густой траве и выюнок, берущий в тугой узел пышно разросшиеся кусты, ленивый футбол на полях франции и ветер, играющий детской вертушкой в саду, соседский кот трусливо пересекает двор — за ночь он стащил из оставленного на крыльце ведра шесть рыбок, две осталось, окунь и красноперка, давящий людей грузовик в нищце и бомбящий здание парламента вертолет в турции, бедные, бедные помидоры, еще зеленые». Сначала мы видим уютную повседневность, с летним дождливым садом, вороватым котом, удачной рыбалкой, — практически рай, осуществление мечты о безоблачном частном существовании, даче или доме в сельской местности, о бесконечном мирном небе над головой. Однако сюда вторгаются ад внешнего мира, агрессия и смерть, которые, находясь где-то вовне, вне зоны досягаемости, оказываются, на самом деле, тревожаще рядом. Потому финальные помидоры — не турецкие, а явно из тех же широт, что и выюнок, и пышно разросшиеся кусты, чье существование внезапно обнаруживает непрочность, хрупкость, и может быть разрушено в любую минуту. Нет никакого уютного стабильного мира, есть только территория, пока еще не присвоенная войной.

Поэзию Игоря Котюха сложно назвать остросоциальной, в ней нет манифестов, заявлений, риторики утверждения или протеста, зато в ней есть сознание, пытающееся отразить современность. Современность социальна? О, да. И социальный тренд в поэзии весьма существенен. Вот и Игорь Котюх осознанно работает с социальной дискурсивностью, но работа эта не является самоцелью. Социальность определяет вторичный пласт смыслов после первичной повседневности. И если повседневность фиксируется автором в ее объективированной предметности (права Елена Дорогавцева, сравнивающая в послесловии тексты Игоря Котюха с текстами Дмитрия Данилова, ибо Данилов — признанный мастер фиксации повседневности), то социальность подчас определяет эмоциональный фон книги. А иногда и проговаривается в виде клише из новостей: «но как писать стихи в XXI веке, который “атака на америку”, “терракты во франции”, “война в украине”. который “бе

женцы”, “пропаганда”, “культ силы”. как тут отдыхать или держать дистанцию, когда всего так много и оно так близко».

Однако, по большому счету, и повседневность, и социальность — всего лишь компоненты довольно пестрой и фрагментированной картины работы сознания, порождающего речь, — отсюда, кстати, и попытки метаописаний и выстраивания метадискурса, какие мы наблюдали в приведенном тексте с новостными клише. У сознания, разумеется, есть носитель — говорящий субъект Игоря Котюха целостен и щедро наделен автобиографическими и автопсихологическими чертами: перед нами портрет мужчины среднего возраста, социально состоявшегося, семьянина, поэта, имеющего литературный круг общения, иногда перемещающегося в пространстве Европы (Португалия, Украина), вполне себе симпатичного и очень взрослого по мироощущению. Но носитель сознания в данном случае, простите за философический радикализм, лишь приложение к самому сознанию, фиксирующему нелинейный поток мыслей, ощущений, различного рода информации, иногда столь напоминающей спам. Именно сознание сшивает воедино такие пестрые и неоднородные лоскуты реальности, точнее, множества реальностей, данных как в ощущениях, так и через виртуальные каналы. Чем-то этот многокрасочный перформанс напоминает поточную манеру Евгения Гришковца, но Гришковец нередко словесно избыточен и поверхностен. Котюх же предельно лаконичен и пытается найти смысл там, где его изначально не должно быть, и смысл неожиданно находится, пусть даже сугубо поэтический.

«“в россии надо жить долго — до всего доживешь!” — иронически наставляет опытный литератор молодого коллегу. и в этой фразе слышится одновременно приказ и обреченность, стоическое терпение и неизвестное будущее, движение и однообразные пейзажи. как пере мычка между двумя вагонами идущего поезда. как новый год между терактами в декабре и январе. как европа между вчера и сегодня и дальше» Пожалуйста, чего только в этом тексте нет: извечные разговоры о литературе и политике, попытка лингвостилистического анализа, клише

массмедиа, лиризм и ассоциативная образность поэтического текста, наконец, то самое воспринимающее сознание, напряженно ищущее суть происходящего и произнесенного.

Это сознание, как уже замечалось, фрагментированное, но фрагменты как бы случайно, а на самом деле, спокойно и мастерски складываются в целостную многоаспектную мозаику. «в таллинне проходит молодежный праздник песни и танца. тысячи школьников танцуют на центральном стадионе. десятки тысяч поют на певческом поле. национальные костюмы, сияющие лица. родите ли делают селфи на фоне праздника и выкладывают фото в социальные сети: найди здесь своего ребенка. в это же время, в тарту, мой добрый приятель излагает один из способов измерения свободы: на каком расстоянии находится место на природе, где хотя бы час можно читать книгу

вслух и чтобы никто тебя не потревожил. мне близка радость певческих праздников и острое желание уединиться на природе. одно дополняет другое, одно не мыслимо без другого. два полюса одной страны».

Попытки найти смысл в том, что довольно хаотично ощущается и воспринимается, отформатировать информационные потоки, дойти до того, что подчас не существует вообще, действуют просто завораживающе — не менее завораживающе, чем стремление увидеть обратную сторону вещного мира в творчестве повлиявшего на Котюха Яна Каплинского (еще одно точное сопоставление Елены Дорогавцевой). Но все-таки, наверное, самое ценное в книге Игоря Котюха то, что особенный случай здесь действительно особенный и действительно он не оставляет ощущения искусственности, даже при четком понимании того, как сделана книга.

Борис Кутенков

С позиции освободившегося

Вряд ли, конечно, «в прозе». Название этой злободневной и мастерски написанной книги, фонетически дисгармоничное (три согласные подряд), неточно раскрывает ее жанровую суть. Воденников, с легкой театральностью, но и неподдельной драматизацией запрещающий именовать себя поэтом, настаивающий теперь на звании «эссеиста», остается в своей эссеистике поэтом в первую очередь.

Дмитрий Воденников. Воденников в прозе: лучшие эссе / Сост. Полина Рыжова. — Москва: АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2018.

Книга трудно поддается фабульному изложению — словно подтверждая мандельштамовскую формулу о том, что при соизмеримости вещи с пересказом поэзия в этой вещи и не ночевала. Здесь — не только ночует, но и твердо настаивает на собственном вседневном присутствии. Мысль развивается ассоциативным методом, через соположение в одном тексте разнородных метафор, — и, пожалуй, последовательный пересказ движения этих метафор будет не только обедняющим, но и обедненным: без воденниковской язвительной иронии, без подтекста — и без

неожиданного «автологического» вкрапления личной позиции пишущего. Как неизбежно будет таковым, интонационно обокраденным, пересказ подлинного стихотворения.

«Но, честно говоря, мне это кажется гадким» — приближение к прямому высказыванию происходит в остроактуальном эссе о ханжестве последовательно. Перед ним — несколько показательных эпизодов: сперва — автобиографический, имеющий опосредованное отношение к теме (но задающий интригу и суть конфликта), затем — непосредственно относящиеся к общественной ситуации, раскрывающие суть первого эпизода, а в «перерыве» — параллель с одной сценой отношений Ахматовой и Надежды Мандельштам. Все это — не просто мастерское выстраивание композиции; так в стихотворении уже упомянутого Мандельштама произвольное движение души переосмысливает сложнометафорическое здание, поворачивая его фасадом беззащитной человеческой открытости.

И все же — с понятной условностью обозначая тему этой книги — можно было бы сказать, что она — о сне забвения и о той иллюзорной свободе безмыслия, невдумчивости, рабства, что подстерегает нас в этом сне.

Сюжет этот встречает нас на разных уровнях. Как Воденников-поэт мотивирует свой переход к эссеистике возможностью сказать больше, «вытянуть провалившееся мимо рифмованных строк», так и герой его эссе предостерегает против ограничения свобод и дешевого рабства. Скажете, слишком отдаленные параллели? Но эта отдаленность — во-первых, в духе воденниковской композиционной архитектоники. Во-вторых — и в главных — «рабство» лирического поэта есть его же свобода, счастливая возможность не знать до поры до времени о сути результата: поэзия и есть это блаженное незнание — от акта сотворения, подверженного интуитивному чувству, до бесконечных открытий самопознания в уже написанном. Потому не спешу согласиться с мотивацией поэта в данном случае: все это, несказанное, есть в рифмованных строках — а если стихотворение подлинное, то спрятано на глубину, в дополнительные оттенки слов, в их соположение в контексте. И — нет, никуда

«мимо строк» наш биографический опыт не «проваливается», но перевоплощается на глубине неведомого — и ждет возможности быть пойманным чутким собеседником. Но авторскую интенцию — стремление высказаться более явным образом, при этом сохранив поэтический строй речи, — вполне понимаю.

В-третьих, — что касается параллелей — с позиции освободившегося и власть имеющего и написана эта книга. Вне декларативной позиции риторического осуждения ханжества и различных форм идиотизма, как личного, так и общественного, — но с позиции его тонкого обличения. И если категория талантливости для Воденникова — меняющаяся переменная («был гений», «бывший поэт», «еще талантливого Никиты Михалкова...»), то рабство — сюжет постоянный и, может быть, скорее присутствующий в душе насильника, нежели жертвы.

Человек стоит — и его быют «с людоедской улыбкой». Превосходящему сознанию не столь важно, что человек держит табличку «Она убивает наших детей. Агент карателей», — это упоминание в эпизоде выступает скорее *вопреки* самоочевидной мерзости происходящего. Для него значимо, что *быют человека* — и значима попытка осмыслить то самое людоедское, лишенное рефлексии, зараженное агрессивным немислием сознание, садистическиторжествующее в причинении боли.

Мастер перформанса проводит опасный эксперимент со своим участием, чтобы показать, как быстро люди могут вернуться в пещерное состояние при возможности «делать что угодно» — и они возвращаются. Ахматова в начале другого эссе бросает розы в окно Модильяни — и в конце эссе та же Ахматова, только престарелая, боится попросить в Италии дополнительную кровать для двухместного номера, делимого с сопровождающей ее дамой. И то и другое — документальные свидетельства. Превосходящему сознанию важна сама ломка человека — в одном случае в условиях намеренной провокации, в другом — под влиянием жизненных испытаний и жерновов социалистической системы.

И те и другие — все уйдут «в небытие, под поблескивающую на солнце толщу воды...» Все в одной лодке: лагерный мучитель, плевавший в суп, спустя годы сидит в одном кафе с мучимым, преодолевая чувство вины.

Превосходящее сознание само признается в человеческом бессилии, будучи способно на жест словесный — стилистический, который дают стихи и эссеистика, и жест прямого открытия общественной позиции, не слишком органичный для стихов при боязни соприкоснуться с публицистической декларативностью, но «позволенный» в жанре смежном. Жест визуальный — фото человека сжавшегося, боящегося, в кресле на фоне снега, — нам предлагает обложка книги.

В одной лодке не только насильник и жертва, но и поэт (испытывающий, по Воденникову, насилие стихотворной формы) и «освободившийся» эссеист. Недаром одно из эссе, построенных на тех же бинарных оппозициях, посвящено взаимодействию и сходству тирана и художника: из ощущения собственной «второсортности» «вождь насилует страну и народ, а художник — самого себя», но поэт имеет бонус в виде перевоплощения в творчество любых комплексов — от жажды самоутверждения до садистических интенций. Поэт — тот, кто по определению Воденникова, «создает свою реальность». Эссеист же, избавившись от лирики — реальности «наносной» (по формуле этой книги) и не менее подлинной, но перевоплощающей авторский опыт (по моему мнению), — а по сути, просто избрав другую грань коммуникации, — создает реальность общую.

«Мы все живем в глупой придумке. У всех она есть. А надо бы сбросить эту придумку...»

Нарушение «всеобщего благолепия» заставляет вспомнить Елену Шварц, поэта, важнейшего для Воденникова не только интонационно, но и мировоззренчески, и цитируемого в этой книге чаще других. В рецензии Игоря Шайтанова на ее автобиографическую книгу («Вопросы литературы», 2004, № 3) достаточно упоминаний о «бросании бутылками и пирожными». Власть имеющий в этой эссеистике если и не кидается предметами попусту, то разбивает пару тарелок, защищая право на человеческую уязвимость. Разные версии выхода за пределы условности — налагаемой обществом или собственной косностью, — в этих притчах без морали,

окрашенных индивидуальной иронией и личным вызовом пишущего, — объединяет мотив человеческого высвобождения. В эссеистике Дмитрия Воденникова человек на краю бездны, на последнем пределе видит свет в конце тоннеля. И ничего не поделать — ни с человеком, ни с видимым им светом, иллюзорным или не иллюзорным. Можно только указывать на него — в бессилии или в надежде на спасение, неважно. Он здесь — зафиксированный в последней точке.

«И никто не видит, что где-то с краю стоит ребенок. Ничего особенного. Не ангел, не хулиган. Таких детей — миллионы. Он внимательно смотрит и слушает. Мотает на не существующий еще ус. Растет с этой песней, любит, пытается любить, уходит из Рая, находит свою новую девочку, теряет, становится известным поэтом, пьет.

А потом ребенок вешается».

Ужас — персонифицированный, документализированный — лишен в эссеистике Воденникова манипулятивной функции, но выступает бесстрастным свидетельством демонстрации последней правды, ее фиксатором перед лицом вечности. Эта страшная книга о том, о чем с нами еще не говорили с такой предельной откровенностью и таким не щадящим сочетанием язвительности и предельной серьезности: о внутренних демонах и внешних иллюзиях. Подобный «лобовой» вызов травматическому — в тренде современной документалистики, и эссеистика Воденникова, оставаясь в «актуальном» русле, демонстрирует удачное совпадение социального запроса с подлинными устремлениями ее автора.

«Я бы хотел, чтобы в этом городе было умеренное количество колоколов. Чтобы у людей в нашем городе наконец встали на место мозги. Чтобы они перестали сочиться ненавистью и биться в приступах ксенофобии. Чтоб мы наконец поняли, что мир — один. Что мир — большой», — так выглядит гуманистическая интенция автора этой книги.

Книга-предупреждение. И снять розовые очки лирики для возможности предельно четкой артикуляции этого предупреждения — дорогая, но справедливая цена.

Александр Чанцев

Тёплый холод

Новый альманах, детище Игоря Шулинского и К°, выглядит неожиданно и озадачивающе. По объёму — настоящая книга, изрядной толщины и большого формата. По оформлению — отдельный комплимент верстальщику и бильд-редактору — наследует «Птючу», главным редактором которого служил Шулинский, тот же глянец страниц, свободные и вызывающие подчас коллажи-иллюстрации. Книга тяжела и тянет чуть ли не на подарочное издание — бывшему рейверу или историку литературы. Или обоим.

Потому что по сути «Невидимки» — настоящая и довольно репрезентативная антология литературы 90-х. Такова собственно и была интенция составителей — довольно благая, ибо эпоха та перешла в стадию ностальгизируемой, но осмыслена ли и даже освоена ли она до конца? Еще давно, как раз в 90-е, сказано в предваряющем Письме редактора, «группа товарищей» хотела издавать журнал «Пост» с текстами тех лет, но — что-то не сложилось (легенда гласит, что труженицы смоленской типографии ужаснулись и забастовали издавать рассказ Владимира Сорокина «Обелиск»). Но вот прошло время осуществиться далекому замыслу — «нам посчастливилось найти другие “невидимые” тексты и “вернуть к жизни” не только их, но и людей, которые уже умерли. Необходимо восстановить историческую справедливость: сначала эти тексты, а потом уже мы. Личное часто отступает под натиском истории и фактов, и все “твое” становится не таким уж важным. В этом альманахе есть тексты, которые никогда не печатались нигде, кроме самиздата, но их

отсутствие в современном литпроцессе ничем не объяснить».

Составители хорошо чтут традиции, следуют принципу литературного наследования. Они начинают с Лианозовской школы, о которой можно, наверное, сказать, что она была первым неформальным объединением в позднесоветской культурной жизни, — если не принимать в рассмотрение те же посиделки на диссидентских кухнях, — прообразом той милой сердцам составителей атмосферы 90-х с их клубной культурой, хэппенингами и прочими акциями. За стихами И.Холина и Г.Сапгира следует беседа с Сорокиным о тех временах, именах и его нынешних поисках, уведших, к сожалению расспрашивающего его Шулинского, писателя в сторону от жесткого («жестокость — это дыхание метафизики», по словам нашего нового уже классика) препарирования российской действительности к по-европейски (с)покойному последнему роману «Манарага». Кроме всемирно, можно сказать, известных Кабакова, Булатова и «широко известного в узких кругах» Монастырского Сорокин (вс)поминает трагически погибшего и самого интересного для него из питерских артистических кругов Аркадия Бартова — много ли мы знаем о нем сейчас?

Из рук «изменившего» своей метафизической жестокости со «старым-добрым стилем» Сорокина знамя концептуального радикализма решительно выхватывает Игорь Лёвшин, аттестуемый как «один из самых непечатаемых, скромных и неузнаваемых лиц 80-х — 90-х. Айтишник, инструктор по горным лыжам, панк-рок-гитарист». С этим уже можно поспорить — стиль Лёвшина не перепутать ни с кем, особенно после вполне представительной книги короткой и не очень прозы 2015 года

«Невидимки»: Литературный альманах. № 1 (2017). — М.: Издательские решения, 2017.

«Петруша и комар». Здесь же Лёвшин выступает с настоящей повестью — медитацией над природой письма под прикрытием садического членовредительства (совсем буквально) и смачного секса. Текст о другом, даже ближем как «литературное изнасилование», статья писателем — «вроде как шел, шел по лесу и вдруг вляпался в говно. Это, Марина, не выбирают». Да, рассказчик «хотел, чтобы она ощутила себя наконец свободной. Я хотел, чтобы она почувствовала, что это значит — быть писателем». Писательство в его полной, тотальной реализации уравнивается с либертенской сексуальной освобожденностью. Но где эрос, там и братец его танатос — после рассуждений об эксгибиционистских свойствах литературы и необходимости вступить в грубый сексуальный контакт с читателем (в этой повести, кстати, реализованной — персонаж становится читательницей и затем любовницей рассказчика) рифмуется и со смертью.

Оттеняет эту разнообразную вещь легкий и привычный в общем-то галлюциноз Сергея Ануфриева. А затем вступает его давний соавтор одного из главных психоделических текстов этих самых 90-х «Мифогенная любовь каст» и соратник по обществу «Медицинская герменевтика» Павел Пепперштейн — со статьей-обзором обществ, входивших в «МГ», примыкавших к ней, образовывавших, как сейчас бы сказали, с ней кластер. Приводя целый список объединений Номы разной степени известности, Пепперштейн уже выступает почтенным летописцем и информантом будущих исследователей. Но присовокупляет он и любопытные характеристики — например, сообщая, что многие художники находили пропитание, иллюстрируя детские журналы, он связывает это место службы и с «психоделикой детства»: детям нужны были рисунки в поддержку своих свободных, не скованных еще общественными конвенциями фантазий, но также нужна была эстетическая поддержка для взрослых художников...

Хотя, конечно, не все так ярко, клубно, радужно и радостно было в те годы. Так, у художника Аркадия Насонова «есть немало живописных работ, написанных в туманных и дымных тонах, где дети скользят на коньках внутри больших холодильников, где медсестры

склоняются над горками льда, и где состояние детства и едкая нежность наркотической грезы сливаются в некий “тёплый холод”, тревожный и спокойный одновременно». Особенно ко второй половине 90-х, перипетии которых еще более чем свежи в нашей памяти, всеобщее общественное и культурное подмерзание начинает ощущаться всеми членами арт-сообщества — составители, кстати, не единожды подчеркивают, что сам феномен 90-х стал возможен благодаря сумрачному и яркому нахождению на сломе двух тектонических эпох, коммунистического Союза и капиталистической России. Да, это была, уже можно сказать со всей точностью, особая эпоха: «сейчас в это трудно поверить, но тогда люди жадно тянулись к прекрасному. Дворник, размахивая метлой, мог по-итальянски декламировать Данте. Киллер, пританцовывая в клубе, обсуждал будущее шоу модельера Насти Михайловской и готов был выделить под него деньги. Владельцы бутиков читали Радова. И никто ничему не удивлялся. Это время, когда странные люди и странные дела были в порядке вещей». Но такой порядок вещей был непорядком для Системы. И атмосфера клубного, свободного «угара» охлаждалась. Тот же Владислав Мамышев-Монро «придает светской жизни, миру вечеринок и банкетов экстатический привкус, он демонстрирует московской публике галлюцинаторный тип времяпровождения, он подает ей то сочетание китча и бездны, в котором она нуждается. Однако в этом деле у него слишком мощные конкуренты — деятели массовой субкультуры, поп-певцы и трансгрессивные политики (от Жириновского до Киркорова)», говорится в эссе Пепперштейна. Да и все это уже дважды переведено в регистр прошедшего времени — об умершем Владике Монро в «Невидимках», к слову, есть мемуар, описывающий его последние дни на Бали. Пепперштейну вторит в рассказе с красноречивым названием «Пока не сели батарейки» Перт Капкин: «И для чего все это существовало узнать нельзя, и никто не узнает. Как посмотришь с холодным вниманьем вокруг и никого не жалко: ни котенка, ни ребенка. Все это мираж. И нет смысла любить и жалеть, так как тот, кто любит и жалеет, жалеет и любит себя, пока не сели батарейки» (пунктуация и орфография

авторская. — А. Ч.). С тех пор, если вспомнить название произведения Романа Сенчина, движение продолжилось, видимо, «Вперёд и вверх на севших батарейках»:

Снова в морг отправили тебя
И на полке жестяной забыли.
Там лежишь ты, бирку теребя,
Спрятанный под слоем жирной пыли.

(из Коллективной поэзии
общества «Тарту», 1996—1998)

И в очередной раз «пластмассовый мир победил <...> последний фонарик устал» (Егор Летов):

Пенопластовый лес — это наша судьба,
Поролоновый замок в его глубине.
За Граалем Святым собралась гольтьба,
Предводитель их едет на ватном коне.

(Коллективная поэзия...)

Внутренние рифмы во множестве разбросаны и в самой антологии «Невидимки». Рассуждения о путях и атмосфере нынешнего Берлина у Сорокина и в большой повести П. Пепперштейна «Эксгибиционист». Рефлексия над собственным произведением

(воспринимаемым или, во всяком случае, подаваемом как сценарий несуществующего фильма — с отзывами несуществующих критиков соответственно) у него же и И. Лёвшина. Смерть и литература у них же — «писатель продолжает писать и перед лицом смерти, наверное, он полагает, что смерть станет ему преданнейшим читателем» (П. Пепперштейн). Детские рисунки в «Мурзилке», за которым скрывается жажда психоделии, и «детское начало, которое кроется за кулисами даже самого опытного разврата» у Пепперштейна. Инволюция к животному началу не бреющегося, не стриженного, ссыхающегося и ставшего «передвигаться на четвереньках» старика в рассказе П. Капкина и Тони Пони, «могучий нагой человек, перемещавшийся на четвереньках», у Пепперштейна же.

Рифмы внутри произведений той герметичной эпохи, конечно, не случайны. А вот проследить, что рифмуется уже со временем нашим, — задача, возможно, будущих «Невидимок». В формулировке С. Ануфриева:

Скачет легкий разум
По пустым холмам
Скачет, незаметно
Приближаясь к нам.

Глаза отца

Рубрику ведет Лев Аннинский

В триста тридцать страниц уложила свое «Избранное» Ирина Ракша. Могла бы увеличить вдсятеро. Если бы к «основным книгам» добавила киносценарии, исследования живописи (замечательный альбом «Юрий Ракша», посвященный мужу и сподвижнику), книжки для детей...

Из дюжины «основных книг» половина вошла в классику 60-х годов... Ступени признания: «Писатель года» — 2013, 2015, 2016...

Диапазон — «от Москвы до самых до окраин»... Рождение, детство военных лет, затем отъезд с отцом на Алтай. Там, кроме аттестата зрелости, — опыт работы на лесоскладе, на птицеферме... И дальше — Красноярский край, Тува, Хакасия...

Возвращение в Москву. Сценарный факультет Института кинематографии. Профессиональные занятия в Литературном институте.

Наставники — Михаил Светлов, Александр Межиров...

Труды по литературоведению: Пушкин, Гоголь, Бунин, Чехов, Набоков, Казаков. В особом творческом внимании — Шукшин.

Характер: соединение непреложной независимости и непоколебимого единства со своим народом.

Неутомимое любопытство к меняющимся условиям бытия. От ранних лет до эвакуации военной поры и до самых ранних эпизодов этой поры: на горизонте — рощи, увековеченные когда-то Исааком Левитаном, а рядом — аэростаты, ночами дежурящие в московском небе, а днями заземляющиеся здесь, в Останкине. Где со временем встанет гигантская телебашня... А пока...

А пока голодные мальчишки из бараков, укрывшись в кустах, жадно смотрят на то, как ужинают картофелем служивые охранники аэростатов. Упадет ли хоть одна картофелина?

Сюжеты таятся в этих буднях военной поры — потрясающие. Главное, что потрясает меня в портрете моего поколения, увековеченного у Ирины Ракши, — ожидание отца, ушедшего на фронт.

Это ожидание встречи в одном из рассказов доведено до головокрумной ситуации, которая разрешается... так просто, что не верится.

В послевоенный детдом приходит демобилизованный моряк: он ищет дочку, пропавшую в годы войны. Ему показывают мальчика. Ни моряк его не знает, ни сирота не видит в нем отца. Но оба ищут хоть что-нибудь общее в воспоминаниях. Море, песок, деревья... Ну а вдруг — родня?..

И только сотрудница детдома, взявшая в военное время сироту (и давшая ему имя и фамилию — свою, как и многие давали в детдомах) — она твердо знает, что родства здесь нет.

Но знает и другое: оно будет! Вот сейчас, когда моряк и мальчик в это поверят!

Волей к жизни возрождают люди кровное родство в опустошении, оставленном кровавой войной.

Мне остается привести еще один пример: финал повести «Останкинские дубки». Еще и затем, чтобы показать писательское мастерство повествовательницы. То, как замирает в паузах героиня: через каждые несколько шагов замирает. И на мгновение прислушивается. Словно не решается поверить в то, что должно произойти:

«...Я крепко уснула — уж очень хотелось спать. А проснулась от того, что меня ударили по спине. "Эй!.. Иди давай живо на улицу!.. Там к тебе кто-то приехал!.." Я с трудом разлепила глаза. "Иди живей!.. Директриса велела!.."

Простучав "мальчужковыми" башмаками по ступеням, без пальто я выбежала во двор. Во дворе все было сине. И заснежено, глухо, будто в стекле. И запорошенные кусты, и забор, и деревья. Я осмотрелась. Меня никто не ждал. Лишь в стороне на скамейке одиноко сидел кто-то черный, ссутулясь и уставившись себе под ноги. Черный силуэт на белом снегу. Было морозно и тихо. Школьный гвалт остался внутри. А здесь только галки редко каркали где-то под крышей. Я постояла. Хотела уйти. С досадой мелькнуло: опять подиутили. Но тут заметила, что сидящий выпрямился. Он был в убогой серой ушанке и телогрейке, а на ногах калоши не по сезону. И какой-то кулечек в руках на коленях. Вот неспешно он повернулся ко мне. Бледным лицом. Повернулся и внимательно посмотрел из-под низко надвинутой шапки. Наши взгляды случайно встретились. И тут сквозь белый пар от дыхания, клубящийся у моих губ, я увидела его глаза. Светлые-светлые, голубые глаза... Увидела и — замерла. Это были глаза отца... Моего отца».

Summary

Traditionally the cross-cutting theme of our May issue is the memory of the Great Patriotic War, the fates of the people inseparably connected with it and meditations of their descendants over “short happiness, long grief of the Second and First World Wars” (in the poems by Alexander ORLOV and Alexander GUTOV).

Of great literary occasions — the collection of yet unpublished poems by Boris SLUTSKIJ, one of the first-rate poets of the XX century.

Under the heading “Prose.doc” — the beginning of the biographical story by Ilya FALIKOV “Boris Slutskij: Poet and the Muse”

Andrej VASILJEV. Veteran. Long short story

Late 80-s. Our country celebrates the Victory Day. The visit of a Norway veterans’ delegation into a small Karelian town reverses the life-story of naive Kolka, hesitant but matey nice guy whom fear and spinelessness turn into the man of whom his former love says with bitterness: “You’ve become a monster a ghoul”.

Sergej PANARIN. Migrations at the Scale of History

In his article the well-known orientalist analyses the problem no less actual than the phenomenon itself: by what methods is it possible to conceive in full so fluent event as migration?

Gennadij PRASHKEVICH, Alexsej BUROV. About the Aim and the Direction

The authors keep looking for the answers to eternal questions. This time the subject of their dialogue is: “What if humanity sprang up in course of some idle evolution and the very question of its mission — like the faith in Creator — also took place due to an occasion or the laws fallen from somewhere — no more than that?”

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на <https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**5/2018**

В номере:

Повесть Андрея Васильева «Ветеран»:

“— Я-то с кем? — Калашников с ужасом смотрел на это капище смерти. — Неужели с этими грязными, корявыми людишками, которые готовы за миску, баланды сносить любые унижения? Или с вохрой? Тупыми скотами? Или я против всех, но с Лизой? Финской славной девочкой... Только где она? Что от неё осталось? Когда последний раз я видел её смеющейся? Даже вспомнить не могу. Вот она сегодняшняя — скулы от недоедания кожей обтянуты, спина вечно согнута, волосы серые, мышинного цвета. Я с ней? Нет! Я ни с кем. Я сам по себе. И цель у меня одна — выжить!”

Повесть Валерия Пискунова «Эльбрусский эдельвейс»:

“Юре ничего не стоило представить, как шел Курти шаг в шаг с русским товарищем, как их роднила тропа над разломом не шире 20 метров; они шли к «Приюту 11». Именно в этом месте вынужден был повернуть назад отряд, пытавшийся выбить фашистских егерей со стороны восточной вершины Эльбруса... Эта тропа свела их смертельно, когда Курти, искусно лавируя на горных лыжах, поливал из шмайсера, а его противник двигался на снегоступах, связанных из прутьев ожины. Соперничество за перевал завершилось тем, что Курти надел снегоступы, а его русский недруг — трофейные лыжи...”

Рассказ Бориса Лейбова «В высокой траве»:

“Был один вопрос, который меня томил. Конечно, потом я научился задавать вопросы самому себе, про себя. Но то — «после». А вот «до» я озвучил. — Бабушка, а когда Сталин умрет, следующего тоже будут звать Сталин? От оплеухи зазвенело в ушах. Мне показалось, что с меня слетели веснушки. Бабушка переживала больше. Она села на стул и тихо-тихо заплакала.”

И многое другое...